

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1997

3

1997

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 3(863)

Март, 1997 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

СОДЕРЖАНИЕ

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — Митина любовь, повесть	3
ОЛЬГА ПОСТНИКОВА — Вечная волна, стихи	63
АЛЕКСЕЙ ПУРИН — Среди чухонского мороза, стихи	65
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД — Сквозняки, стихи	67
А. СОЛЖЕНИЦЫН — Крохотки	70
БОРИС ЕКИМОВ — «Отцовский двор спокинул я...», рассказы	72
ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР — Рассказ, стихи	95
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ — Страстная седмица, рассказ	98
МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ — Змейка в траве, стихи	113
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ — После дождя с грозой, стихи	116
ДАРЬЯ СИМОНОВА — Сладкий запах вторых рук, рассказ	118

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ЭНТОНИ БЁРДЖЕС — Два рассказа. Перевел с английского Дмитрий Чекалов	126
--	-----

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

МАРК КОСТРОВ — Рыбные дни Новгородчины	145
ВЛАДИМИР КОРОБОВ — Крымская памятка	152

ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕОНИД АФОНСКИЙ — О будущей России — в тоталитарные времена	161
ВИКТОР БЕРДИНСКИХ — Восстание Дмитрия Панина	168

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Пастырь добрый	175
------------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. С. Пушкин. 1799 — 1999

ИРИНА СУРАТ — «Родрик»: жите великого грешника	187
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА — В поисках утраченной реальности 200

Борьба за стиль

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Загадка «Фро». К истории заглавия рассказа Андрея Платонова 213

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Алла Марченко. ...с прекрасным видом на Ершалаим 217

А. Барзах. Текстотфразы 222

Ольга Майорова. «Кошей православья» в отзывах потомков 225

Александр Мелихов. Мудрость бессилия — или толстокожести? 228

Андрей Василевский. — Юлия Латынина. Сто полей. Роман. Юлия Латынина. Колдуны и Империя. Роман 231

Инна Ростовцева. — Маргарита Денисова. Без гнева и пристрастия. Стихи. Маргарита Денисова. Откровение. Стихи 232

Л. Лаптева. — Джеймс Холл. Словарь сюжетов и символов в искусстве 233

Дмитрий Бак. — Н. М. Лисовский. Библиография русской периодической печати 234

В. Малиновский. — А. И. Воробьев, П. А. Воробьев. До и после Чернобыля (взгляд врача) 236

А. Александрова. — Красная книга Красноярского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных 238

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

З. П. ГОРЮНОВА — После Мологи 240

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

Майя Злобина. — М. Улановская. Свобода и догма. Жизнь и творчество Артура Кёстлера 242

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

К. Л. — Русская философия после перестройки 245

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко) 246

Периодика (составитель Андрей Василевский) 248

SUMMARY 256

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА

*

МИТИНА ЛЮБОВЬ

Повесть

...бесстыдность чистойшей невинности...

И. Бунин.

Не про нас... Мимо...

Однажды я рассказала своему приятелю, что временами, ни с того ни с сего, на ровном, можно сказать, месте у рукописи начинают заворачиваться углы. Я объяснила приятелю, как я выравниваю их своим рабочим локтем, выравниваю и держу, а уголки потом сворачиваются уже не просто так, а со свистом...

— Это тебе, дуре, знак, что все цивилизованные литераторы давно перешли на компьютер. Углы у нее, видите ли, свистят.

И он сделал специфический жест у виска.

Я стала выяснять все про компьютеры — где, как и почему. Но временно продолжала держать локтем угол живой и горячей рукописи. Это была повесть про учительницу географии, которая все мое детство лезла мне в глаза сухими шершавыми пальцами, чтоб заглянуть под веки, а потом, клацнув зубом, объясняла маме бесспорность моего недолголетия.

Учительница пахла свежеструганными досками, а это было для меня тогда запахом гроба. Хоронили прадедушку, во дворе стояла крышка и остро пахла, как мучительница географии. Одним словом, мы обе, прикасаясь друг к другу, содержали в себе некую информацию о смерти другого. Но если ее положение в мире по отношению к моему позволяло ей говорить, что «дитё недолговечно», то обреченное дитё сказать ей про запах гроба не могло. У дитя были строгие понятия, что можно говорить, а что нельзя.

На уроках в пятом классе учительница рассказывала нам, что степь — истинная *степь в географическом смысле слова* — способна скрыть травой идущих по ней в рост высоких мужчину и женщину. Малолетки, мы перемигивались, хихикали, и в нас рождалось сомнение — дева ли наша географичка, именуясь старой девой?

Вот про нее, горемычную деву-недеву, и была рукопись, углы которой завернулись, и я подумала: компьютер. Приятель прав — нельзя оставаться такой позавчерашней. Я даже кассеты в видак вставляю задом наперед. И я положила на уголок рукописи кусок чароита, который однажды нашла на дороге. Шла, шла, а под ногами — фиолетовый камень-чудо. Возьми меня! — сказал камень. А потом узналось — чароит с сибирской речки Чары. Как он попался мне на тротуаре в Москве? Но, взяв его в руки, чтоб прищемить угол, я поняла: не зря заворачивается рукопись. Отпусти ее дрейфовать в прибрежных водах фантазии, кто знает, может, обернется дева-географичка русалочкой и я найду ее, выброшенную на берег, лапochку мою хвостатую, и расскажу про ту самую расступившуюся степь.

И тут меня пронзило. Как же я буду понимать глубинные подмигивания компьютера и скумекаю, что он мне заворачивает уголки? Поэтому мне нужен на столе камень, не важно, чароит он или какая каменная дворняга, но именно камень, а не диод с триодом, с которыми нет у меня общего языка, хоть застрелись. Даже лампочка Ильича мила мне, когда служит иначе — когда сидит в носке и сверкает в дырке... Мне хорошо с ней и уютно...

По всему тому, исходя из камней, степей и дырок в носке, я отвергла компьютер как предмет мне лично не подходящий. Одновременно я отвергла евроремонт и привычку есть лягушек в Париже. Ладно им всем! Единственное, что я могу сделать, — вдеть для понта в одно ухо серьгу. Но это тоже по обстоятельствам... Если уж очень приспичит.

А пока я отодвинула рукопись с завернутыми углами и вынесла принадлежащие ей вещи.

...Тетрадь по географии для пятого класса. Она, гуляющая по полю учительница, почему-то любила письменные работы. Например, мы писали сочинение про город Кёнигсберг. Чтоб вы знали — это Калининград с 1946 года. Но писалось сочинение в сорок седьмом, и именно про Кёнигсберг и о князе Радзивилле, и я получила двойку, потому что дважды написала Кёнинсберг. Двойка была больше самого сочинения... Страстная, злая... Как *напоморде*. Откуда я могла знать, что географичка родом из тех краев, и переименование ее возмутило, как бы отняв у нее вкус и запах детства. Отняли же у меня сейчас Украину... Мне, конечно, нравится ее самостийность, я ею горжусь, но меня напрягают малые с ружьем на ее границе. Ну, не люблю я ружье. И с ним этот оксюморон — «мирная цель». На границе я себя ощущаю.

В общем, стала я выкидывать географический скарб — и мало не показалось...

В возникшей пустоте гуляло, как хотело, эхо... Мне кто-то умный сказал, а я поверила, что природа не терпит пустоты, поэтому я стала ждать наполнения, чтоб в пустоте что-то завязалось. Вот тогда и появился в доме бидон, который стоит у меня на подоконнике и в котором зелёно подкидает вода на случай отключения московского водопровода.

1

Я тогда тащилась по улице, а навстречу мне шла моя собственная дочь с этим самым бидоном. Во-первых, тут все совершенная фантастика, хотя все абсолютно достоверно. Я *тащилась* в старом смысле этого слова, в смысле еле-еле шла, едва передвигала ноги, а не пребывала в состоянии восторга (кайфа) или наслаждения. Я тащилась от усталости и обострения болезни коленной чашечки, а навстречу мне шла дочь. Красивая, молодая, раскрепощенная, а в руке несла бидон.

Надо ли описывать бидон? Не надо. Он известен.

Соединить в одно целое бидон и элегантную женщину в легких летящих одеждах, вкусно пахнущую то ли «пленэтюдом», то ли «проктер энд гемблом», невозможно, но это все невозможное идет мне навстречу. Пока я совмещаю в голове несовместимое, моя дочь с партизанским гиком кидается ко мне и всучивает мне бидон. Я понимаю, что девочка давно несла в себе мысль о несоответствии себя и бидона, и вручение мне бидона было идеальным выходом из положения: все-таки, что ни говори, он мне личил больше. Или там хорошо в меня вписался.

Вот в этот момент — допускаю — и началось сворачивание страниц на моем столе.

Недавно некий ведущий в телевизоре благостно-противным голосом объяснил нам, дуракам, что неправда, что стихи растут из сора, у него лично не так... Подтверждаю. Они, эти чудики, растут и из бидонов, и из больных коленок, они не ведают стыда ни от чего, потому что сам процесс рождения для них свят. Да ну его, ведущего... Главное другое. Я стою и удержу бидон.

— Ты знаешь, — кричит мне дочь, — у метро его продавала такая хрупкая, интеллигентная, печальная бабушка. Я отдала ей за него пятьдесят тысяч. Конечно, я переплатила. Но ты ведь меня понимаешь? Да?

Я молчу. Я слышу, как на шестнадцатом этаже моего жилья утихает эхо. И еще я перевозжу пятьдесят тысяч на старые цены.

Это тяжелое заболевание — считать на несуществующие деньги, отдавать тысячу и ждать сдачу, как с десяти.

Я понимаю, как они заходятся, придумщики нового счета, глядя на наши трясущиеся пальцы. Мы — как та батарея Тушина, про которую им хочется забыть.

С этим чувством я покупала билет в Ростов, где живет моя сестра Шура. Одна дама из Минкульта давным-давно объясняла мне научную силу «зигзага», петли в сторону. Когда все вывалилось из рук, мол, самое время купить билет. Я дала отбой панике и пошла покупать. У Шуры послел день рождения, у меня душевный и всяческий кризис, черт знает что может получиться из коктейля нервов и радости.

Было еще одно. Полтора года назад, «до заворачивания углов», произошла трагедия, в которую я была глупо вляпана. Слова плохие, нетрагедийные, но ничего не поделаешь, именно так и было. Временами я винила ту беду за свои последующие неудачи, а потом била себя по башке за свинство таких мыслей.

Поездкой к Шуре я хотела изжить этот грех и просто убедиться, что жизнь идет своим чередом.

Поездка случилась тихая до противности. Разговоры переговорили быстро, пошли по новой, к старому никто не возвращался, а когда уже в пятый раз стали мусолить подлость коммунистов и свинство демократов, я поняла: надо бечь, чтоб не взрастить раздражение уже к Шуре, которую я нежно люблю, и не виновата она, что я нагрязила родственную поездку к ней подспудной задачей, а теперь, как дура, жду незнамо чего.

Тут и позвонила Фаля.

Полтора года тому мы с ней попрощались навсегда. Во всяком случае, я была в этом уверена. После такого горя, думала я, старуха не выживет. Хотя все это чепуха. Люди живут странно: они могут пройти через невозможные потери, а могут не пережить хамство соседа. В *этой* жизни количество горя не аргумент ни для чего...

Тем более, что количество его и степень не имеют определения. Сразу скажу — смерть отдельного человека в тройку претендентов на лидерство по горю могла бы и не выйти. Ну что тут сделаешь? Такие мы.

— Сходи, — сказала Шура, — а то будет звонить и канючить...

Что-то во мне торкнулось, как будто ворохнулась живущая внутри птица. Но тут же все усмирилось, я вполне могла объяснить торканье причинами того полушария, которое отвечает за дурь и фантазию.

Была неловкость в том, что сама я Фале звонить не собиралась. Это говорит дурно обо мне, и только. Хотя и хотела посмотреть на то, «как стало». «Нечестно поступаешь», — сказала бы моя маленькая внучка. Так она определяет сверхлохое.

Нечестно.

— Господи! — говорит Шура. — Ну ничему нас жизнь не учит! Ничему! Иди уж к ней, иди! Ну что мы за неучи такие проклятые! Что мы за идиоты?

Митя начинается с этого ключевого слова.

Со слова бабушки:

— Митя, ты идиот!

Было у него замечательное качество: он покупал на базаре самое-пре-самое *не то* — исключительно из чувства жалости к продавцу. Он приносил траченные жуками листья щавеля, червивые яблоки, тапки, сшитые на одну ногу, картины, нарисованные на еще неизвестном человечеству материале, он покупал рассыпающиеся мониста — одним словом, все, что было «на тебе, Боже, что мне негоже».

— Такая старенькая бабуля, — оправдывался он. После чего моя бабушка произносила безнадежное:

— Идиот ты, Митя! Круглый!

То, что в моей дочери однажды вдруг взрыкнул дяди Митин ген и она купила ненужный бидон, вся ошеломительность такой возможности, конечно, отбросила меня на десятки лет назад.

— Знаешь, — сказала я, — у тебя был родственник, который очень хорошо бы тебя понял. Митя... Да я, по-моему, тебе рассказывала...

Дочь делает поворот кругом.

— Мама! — кричит она. — Я забыла. Мне в другую сторону!

Ну конечно... Она «сдала» мне бидон. А мои истории ей даром не нужны.

Я его несу. Я несу бидон, как беременность... Время расступилось... Я запросто вошла во вчерашние воды. Какой дурак сказал, что это невозможно?

Моя мама пикантная женщина. Она рисует себе на левой щеке мушку. Ступленный огрызок черного карандаша лежит в саше. Я подставляю табуретку, достаю карандаш и рисую на щеке нечто черное и жирное. Потом беру помаду и широко, от души малюю себе рот. (Из меня так и прут украинизмы детства, которые можно вырвать только с кровью. Так вот, «широ» — это щедро, если хотите — жирно.) Оторваться от такой красоты невозможно, и я увеличиваю ее в объеме. И понимаю невозможность остановиться, ибо красоты никогда не может быть достаточно.

Потом это во мне и осталось: все, что я делаю в первый раз, я делаю «густо намазанным». Первую увиденную дыню я съела одна — не могла удержаться. И ненавижу с тех пор дыни. Когда-нибудь я напишу «Историю первого раза». Но это я сделаю потом, а пока я на табуретке и нечеловечески прекрасна. Глаз от себя не оторвать. Такую красоту нельзя таить, ее надо предъявить человечеству.

Счастливо выдохнув, я слезаю с табуретки и иду в люди.

На крылечке стоит вусмерть выкрашенное дитя. Я вижу восторг (или ужас?) мамы и бабушки и то, как они с криком бегут ко мне, а наперерез им бросается Митя. Он хватает меня на руки, сажает на плечи и уносит вдаль. Я получаю главный женский опыт. Сверхсчастье — быть красивой и уносимой на руках мужчиной.

Как все помнится! Как чувствуется! Я знаю точно: женское в девочке есть сразу.

В конце сада стоит ржавая бочка с дождевой водой. Митя подносит меня к водяному зеркалу: в нем я выгляжу еще лучше! Я смотрю, замерев от восторга, а Митя мне шепчет, что надо умыться, чтоб не украл упырь, он на красоту падкий, хорошенькие девочки — это ему самый цимес.

«Цимес» я понимаю. Поднеся деревянную ложку ко рту с борщевой жижей, бабушка причмокивает и говорит: «Цимес!» Так и упырь причмокивает, глядя на меня.

Я замираю над строчкой. Я должна разобраться. Звоню одной из своих умных подруг:

— Слушай, а цимес — это что?

— Изюм, — отвечает она.

Она у меня девушка без сомнений, поэтому ее надо обязательно перепроверять. Звоню другой.

— Курага, — отвечает другая, очень осведомленная в искусствах и науках.

То-то и плохо. Осведомленные врут больше всех.

— Выпаренный сок цитрусовых, — говорит третья, тоже из горнего мира литератур.

Я нажимаю на виски. «Виски! — говорю я им. — Тут что-то не так...» — «Конечно, — вспоминают виски. — Цимес — что-то совсем нелепое».

Ночью мне приснилась морковка, желтая, корявая, с невкусной зеленоватой сердцевинкой. «Я — то самое слово!» — сказала она. И это была правда.

К чему этот пируэт? К тому, что ни бабушка, ни Митя тоже не знали про морковку. Что лишний раз доказывает, что все мы — чертовы идеалисты и наше глупое сознание придумывает, что хочет, и часто то, чего на свете нет вообще. Этим мы и отличаемся. Я даже подозреваю, что платье датскому королю шили русские заезжие портные. И они *видели* это платье, *видели*, черт возьми, на самом деле! А датский мальчик как раз был из местных, и у него был другой глаз, совсем другой. Дамский глаз. Он бы сроду не дал старому слову нового содержания, сроду!

Ну да ладно... Просто грешно было не объясниться наконец по поводу слова «цимес».

А теперь едем дальше, то есть совсем наоборот: вперед назад!

Мы с Митей взбаламучивали воду в бочке в четыре руки, мы смывали мою неземную красоту, чтоб не досталась она упырю. Носовым платком Митя довершает превращение красоты в обыкновенность, вытирая разводы помады под моим носом. Потом смотрит на пропащий платок и говорит:

— Ты свидетель! Это не то, что люди подумают!

Я понимаю: они подумают про Ольку.

Олька, большая, рыжая, делает уколы и пахнет болью. Возможно, она упырь... А Митя не догадывается. Я тут же начинаю плакать, а он качает меня на руках:

— Птица ты моя, птица...

В меня входит тоненькая игла — опыт женского счастья: утешающий, любящий мужчина.

Митя — странный, вневременной человек.

Он родился у старой, сорокапятилетней женщины, моей прабабушки, которая была убеждена, что у нее «краски ушли», то есть кончилась менструация. Она считала, что полнеет по этой причине. Что живот у нее «возрастной». А Митя возьми и выбулькни. К этому времени моя бабушка носила младшую мамину сестру Зою. Бабушка была в напряженных отношениях со своей матерью, потому что та в сумятице двадцатых годов, будучи уже пожилой дамой, прыгнула с семейного поезда к молодому маркшейдеру, потом ободранной кошкой вернулась в стойло, муж принял ее кротко и радостно, но моя бабушка никогда не могла ей этого простить. Митя родился много позже истории с маркшейдером, след его давно остыл, но старую беременность матери — своей матери — бабушка каким-то причудливым образом связывала с ее грехом. «Все должно быть в свой час, но идиот может сбить свое время», — говорила она.

Митя — результат сбитого времени.

У пожилой матери не было молока, бабушка, родившая тетю Зою, кормила сразу двух младенцев. Собственная дочь и это «черт-те что». Маленькэ, худенькэ, страшненькэ...

Головку Митя не держал, вес не набирал, глазками не лупал... Знакомая акушерка, взяв Митю за мошонку, сказала, что он вообще неполноценный. «Нема, — сказала, — в йом мужеского».

Я думаю, эти слова — как и слово «идиот» — были ключевыми. Откуда нам знать, как запускается в нас мотор выживания, но ключ где-то есть, обязательно есть! Некие силы, которые клубились возле хилого тельца и отвечали за «быть или не быть», были оскорблены этим хамским хватанием ребенка за деликатное место. А если тебе — в смысле акушерке — залезть под юбку и *смыкнуть* за шерсть, хорошо тебе будет? Возмутительно так обращаться с младенцем! И они — силы! — сделали что-то только им известное и раскошегарили Митину печку. Хлопчик пошел в рост, бабушка, уверенная, что сила была в ее молоке, полюбила свое творение нечеловеческой любовью и уже несколько критически смотрела на свою собственную дочь, которая оказалась неспособной употребить на пользу замечательное кормление. И коротконога. И «агу-агу» только с третьего раза понимает. И вообще...

А Митя так и рос у двух матерей. Перекормленный любовью, он сам раздавал ее направо и налево, никого не обходил: ни нищего, ни собаку, ни муху меж стекол, ни траву-лебеду.

— Закохали, — с осуждением говорила моя мама. — Занячили... Так нельзя.

Весной сорок первого у Мити на освидетельствовании в военкомате нашли каверну. Я хорошо помню панику в доме, отчаяние, ужас. Видимо, поэтому я не помню начала войны. Мне его подробно описала моя младшая сестра Шура, удивляясь моей невнимательности к такого рода событиям. Я ей объясняла, что с ужасом ждала смерти Мити. В доме тогда снова появилась та самая акушерка (а может, она всегда приходила?), она была глубоко удовлетворена точностью своего дальнобойного прогноза.

— Я ж помню его нежизнеспособную мошонку, — говорила она, — я мальчиков проверяю исключительно так! У меня в пальцах есть опыт.

— Лида! Перестаньте! — кричала бабушка. — При чем тут это? Мошонка, видите ли!.. У него каверна... Это, Лида, совсем в другом месте, чтоб вы знали. Вы принесли столетник?

— А я вам говорю — у мальчиков там все записано! И про каверну тоже. Вот ваш столетник... Мне, что ли, жалко?..

Я дала себе слово: умереть вместе с Митей. Я видела себя лежащей с ним в одном гробу, с белым веночком на голове. Я ложилась на диван напротив трюмо и складывала руки. Сгорбленные на груди косточки пальцев вызывали во мне невероятную к себе жалость. Трудно было удержаться от слез по своей рано загубленной жизни, все-таки лет почти нет, Митя, тот хоть успел прожить почти двадцать — можно сказать, вполне долгая жизнь. А тут совсем ничего...

Я мучаюсь, я страдаю... Я пропускаю, не заметив, начало войны. Видимо, здесь и взошли всходы моего индивидуализма, а также и его крайней формы — солипсизма.

Для Митинового лечения был куплен собачий жир — вдобавок к толстому алоэ Лиды. Бабушка варганила смесь по имени «Смерть палочке Коха».

Митя тогда работал после техникума на железной дороге, снимал угол у дальних родственников на узловой станции Никитовка. Узнав о его болезни, хозяева отказали ему в жилье, и Митя, взяв баночку собачьего жира, стал собираться в Ростов, где его должны были положить на поддувание в туберкулезную больницу.

Помню день отъезда. Плач в голос мамы и бабушки, приход Ольки, которая подала Мите для прощального поцелуя краешек уха, а потом все оттирала его и оттирала носовым платком. Помню, как подставили Мите мою голову и он, прикусив мне легонько волосы, сказал:

— Я залатаю эту дырку, птица!

Уже уехала подвода, а они выли над Митей, как над покойником, бабушка и мама. И зря.

Как потом выяснилось, поцеловав меня в макушку, Митя сел в поезд по ходу движения, поэтому успел увидеть (а мог ведь, дурачок, сесть к дороге спиной), как колготится на перроне молодая женщина с узлами и чемоданами, норовя ухватить их все сразу. Митя — как Митя — рванулся человеку на выручку, втащил все в вагон, да еще к себе в купе и поехал с девушкой со странным именем Фаля навстречу поддуванию, войне, судьбе и, можно даже сказать высокопарно, — смерти.

Я, уже сейчас, полезла в разные справочники, чтоб понять, откуда у нее это имя — Фаля Ивановна. Я ведь ее поначалу звала Валей, пока она, не изломив бровь и не отведя меня в сторону, не объяснила мне, что она — Фаля... «Фэ»...

Я почувствовала ее раздражение не только в изломленной брови, но и в наклоне ее прямой спины ко мне. Откуда ей, Фале, было знать, какой необыкновенной красавицей казалась она мне, как мечтала я, выросши, быть на нее похожей, как заворачивала я свои прямые лохмы за уши, чтоб обуздать свое скуластое лицо, как втягивала внутрь щеки и стучала себя по челюсти: это же надо иметь такие широкие зубы! Тогда как у Ф(Фэ)али во рту росли белоснежные дынные семечки, мелкие, продолговатые и такие плотненькие, что не заковыряешь никакой спичкой. Когда я бывала одна, я училась четко произносить букву «Фэ», чтоб даже в быстрой речи она ненароком не выскочила из меня вэ-звуком.

Но все это было потом... А пока мама и бабушка бегут навстречу почтальонше, как только та покажется в конце улицы. Причем бегут вдвоем.

Потом, через годы, мама мне объяснила, что они обе ждали плохих известий и как бы хотели (каждая в отдельности) принять удар на себя.

Но писем не было.

А однажды ночью в калитку застучали, и это было уже окончательно плохо, хуже не бывает, потому что ночью приходят только телеграммы.

— Господи! Господи! — шептала бабушка.

— Матерь Божая, спаси и сохрани! — шептала мама.

Обе часто крестились. Сестра Шура смотрела на все громадными глазами, в которых не было ни страха, ни любопытства, а нечто неведомое, нечто устойчивое, которое потом, через многие годы, я назову равнодушием притяжения судьбы, она оскорбится, а я начну оправдываться. «Ты же ничему не удивляешься!» — скажу я ей. «Потому что я и так знаю!» — ответит она.

Отдаю ей должное: она действительно много знает заранее.

Мы услышали с улицы крики, но это были крики жизни. В дом вошли Митя и женщина.

— Прощу любить и жаловать! — сказал Митя. — Моя жена Фаля.

Подробности были сногсшибательные. Фаля — врач. Каверна на рентгене не проявляется. Поэтому пока воздержались от поддувания, лечат медикаментозно, а Фаля хоть и хирург, но контролирует.

Тут у меня полная путаница со временем. Шура говорит, что война уже шла и Фаля как раз собиралась на фронт. У меня все сбито, потому что я помню только радость возвращения Мити. Только.

То, что Фаля была врачом, определило легкость вхождения ее в нашу семью. Врачей у нас не было. Были кулаки, пожарники, горные инженеры, химики-технологии, модистки, бухгалтера, учительницы, было *отродье* — четвероногая содержанка, которая, к радости семьи, умерла рано, — были верстальщики газет, домохозяйки, музыканты и даже инструктор райкома. Врачей не было, и это, на взгляд бабушки, было признаком недостаточной успешности рода. «Случись что...» — вздыхала ба-

бушка. Диплом врача перевесил немаловажную деталь — Фаля была старше Мити на восемь лет.

Видимо, все-таки уже была война. Хирургам полагалось отправляться на фронт, а стоящие на учете в тубдиспансере и нужные тылу железнодорожники, естественно, оставались на местах, то есть в тылу.

Но в нашем случае слово «тыл» смысла не имело. Мы были оккупированы сразу.

После женитьбы Митя жил в Ростове, который несколько раз переходил из рук в руки, и была в этом не военная хитрость, как у Кутузова, а нормальная человеческая нервность, она же дурь. Люди ненавидели немцев, но, когда возвращались наши, чувства подчас возникали аналогичные. Но это а пропо. Невеселое наблюдение над много стреляющим и много убиваемым народом. Он мечется. Он меченый.

Как потом узналось, Митю в Ростове три раза ставили к стенке. Один раз немцы, два раза наши. То, что его не убили, чистая мистика. Немцы прострелили ему левую руку, он упал, а окончательной, как теперь принято говорить, зачистки сделано не было. А еще немцы! Свои во второй Митин раз стрельнули по верху голов — такие же случайные были стрельцы, как и те, что стояли возле стенки, — а в третий раз пуля прямо мехонько попала в первую немецкую дырку, еще путем не зажившую. Митя снопом рухнул, и его даже чуть не закопали: от болевого шока он был мертвей мертвого. Но там поблизости случилась женщина... Она и выходила Митю стихийно, без медицинской грамоты, отчего левая рука у Мити плетью висела всю его оставшуюся жизнь, совсем мертвая рука, но как бы и живая тоже.

Фаля приехала к нам уже в конце войны. Ее демобилизовали по ранению. Она не нашла в Ростове Мити, соседи сказали, что его расстреляли, не соврали, между прочим, — откуда им было знать про траекторию полета пули-убийцы и существование близких к могилам сердобольных женщин? Фаля кинулась лицом в подушки, покричала в них криком и поехала к нам, узнать, как мы и что...

Теперь уже кричала в подушки бабушка, которая про Митю не знала ни сном ни духом и почему-то держала в своей голове возможность Митиной эвакуации: все-таки человек всю жизнь стоял как бы близко к паровозу. Когда все обрыдались и откричали и сели обедать, только тут обратили внимание на то, что у Фали нервный тик на правой половине лица, что уголок ее рта навсегда закрепился в ехидной усмешке, затрудняя общение с ней. На общем собрании семьи, устроенном бабушкой возле уборной, нам всем было приказано не обращать внимания на мимику Фалиного лица, закрывать на нее глаза, а только слушать. Одним словом, при виде Фали нам рекомендовалось временно ослепнуть.

Мама возмутилась:

— Мы что, недоумки, что надо это объяснять?

На что бабушка ответила:

— Мы запустили детей, они растут без понятий. Особенно ты, — и бабушка ткнула в меня пальцем.

Так все и наложилось: на выражение лица Фали моя детская обида на бабушку. Я ведь была хорошая девочка и, между прочим, с понятиями, я для Фали букву «Фэ» учила как ненормальная — за что же меня так? Неизвестно, какие бы из этого выросли букеты, если бы не случилось то, что случилось.

Дальше пойдет рассказ про то, чего я доподлинно ни знать, ни видеть не могла. Может ли быть достаточным основанием для достоверности узенькая прорезь для пуговички на Митиной манжете, которую он не мог победить сам и попросил меня помочь. Я так старалась, пропихивая пуговичку, что у меня замокрело под носом, а Митя сказал:

— Никто уже не скажет, что ты не тужилась в труде. Сопли — сильный аргумент...

— Ничего смешного, — обиделась я. — Тебе что? Некому дырочки разрезать?

Я к тому времени уже «прошла войну» и стала языкатая не по годам, что как раз и не нравилось бабушке. Она же не знала, что я научилась и другому — не ляпать с бухты-барахты, хотя Мите, как своему, я могла намекнуть, что не все в его жизни складно, если пуговичка в дырочку не пролезает. Я ведь выросла в семье, где соблюдались такие мелочи. У меня до сих пор ими полна голова, и я не могу без отвращения смотреть, как пьют «из горла» прямо на улице. Даже на пропол картошки собирали в беленькую хусточку железные кружки для воды — по числу копающих. Это же надо, какие аристократы долбаные! Пили ведь из мутного ручья, но каждый из своей кружки.

Вспоминаю еще случай с Митей того же времени.

Митя стоял возле уже поминаемой ржавой бочки и как-то печально баламутил воду, а я не удержалась и погладила его бессильно поникшую руку...

— Знаешь, птица, она у меня совсем мертвая, зачем я ее ношу?

— Вылечат, — тоненько пропищала я. — Под салютом всех вождей — вылечат.

— Ну разве что под салютом, — и он мокрой живой рукой прижал меня к себе, и в меня вошло его горе. Почему-то я сразу поняла: не в руке дело. И вообще не про нее речь.

Вот на основании узкой пуговичной прорези и Митиной частичной мертвости я рисую, как это могло быть.

... Однажды, проснувшись совсем в другом месте, Митя застегнул пуговичку на недвижной левой манжете и пошел к своей новой женщине — подруге-спасительнице, — чтоб она оформила ему правую манжету. Пока та вталкивала пуговичку в узковатую прорезь, Митя вздохнул и сказал:

— Надо бы съездить к Кате. — (Бабушке.) — Живые ли?

— Езжай, — сказала женщина. — Знать надо...

Она стояла и сопела близко, эта женщина, которая нашла его присыпанного и остановилась — а сколько людей прошло до нее мимо? Эта же затормозила, а потом сходила за тачкой и привезла его к себе, и раздела догола во дворе, и смыла с него шлангом человеческую и нечеловеческую грязь, а потом, уже в байковом одеяле, внесла в дом и положила прямо у порога, потому что на большее ее не хватило, внутри у нее вроде как что-то хряпнуло, и она подумала: «Это у меня произошло опущение матки».

Конечно, у Мити была жена Фаля. Она сражалась на фронте за жизнь наших раненых солдат. Что там говорить, какое может быть сравнение — жена-врач-воин и просто женщина с опущенной маткой. У Мити была бабушкина выучка в отношении к образованию вообще и к медицинскому в частности. Но вы же помните, что выбирал Митя на базаре?

В «момент пуговички» Митя, считайте, и сделал свой окончательный выбор. Поэтому следующая его фраза — «поедем вместе» — и легла в основание трагедии.

Люба — женщину звали Люба — поняла, что значат эти слова. То, что он у нее год как живет, значения не имело и не играло. Многие жили не там и не с тем, с кем положено. Это свойство войны — перебуковать все к чертовой матери, чтоб потом долгие годы метаться и искать, искать и метаться. А потом этим гордиться. Мы по гордости — первые на земле. Я помечу это место и вернусь к нему потом. Надо будет написать негордую статью о гордости. Как, например, Емелька Пугачев гулял со своим воинством по просторам родины чудесной, столько народу перемолотил, но нам тогда позарез надо было тешить гордость и чего-то оттяпать у турок. Кровь лилась из сотен дырок, и изнутри, и снаружи. Опять же Чечня...

Шахтеры голодают, пенсионеры ходят в кастрюлях на голове, но мы ведь еще не все чеченские дома разбомбили, чтоб было потом чем гордиться.

Что-то меня заносит в сторону, а не надо. Надо переступить через кровь. Надо возвращаться к месту и действию.

Дом Мити и Фали в Ростове был разбомблен, хотя именно их квартира пострадала меньше других. Но Митя, оставаясь у Любы, упирал именно на то, что дом разбомблен, а то, что квартира цела, он как бы опускал. Пусть там кто-то живет, пусть. Такое время, когда человек яко наг, яко благ, а у него ведь и крыша, и Люба. Что он, алчный какой-нибудь, чтоб хватать и хватать?

Кстати, так все и было. Люди захватили Митину квартиру, но не те, у которых ничего не было, а совсем другие. И поездка к нам на самом деле была вторым Фалиным делом, а первым было освобождение захваченной территории, что Фаля и сделала вполне профессионально. Война, она все-таки закаляет характер.

Но опять вернемся к «моменту пуговички». Люба как раз это сделала, всунула ее в дырочку, а Митя сказал «поедем вместе», что было равносильно «давай поженимся», иначе чего это ради тащить ее к родне? Надо сказать, что у Любы были правильные понятия, и она спросила Митю, не стыдно ли это при существовании жены. Видимо, конечно, не этими словами сказала Люба, а как-то иначе, но важна суть. Мысль Любы о Фале. И Митя, добрая душа, возьми и ляпни:

— Чует мое сердце — погибла она, — сказал он. — Ну ни одной же строчечки за всю войну, а мы ведь уже Киев обратно взяли, из двадцати четырех орудий салют был. Не из двенадцати. Столица ведь...

Митя и потом много говорил про взятие Киева, сидит-сидит, а потом ни с того ни с сего... Что-то его беспокоило, саднило в этом вопросе, я теперь думаю, это пошло с того момента, когда он осознал, что — Господи, прости! — он как бы бессознательно хочет, чтоб Фали не было, а была Люба, не вообще, а в его жизни, но мысль эта подлая не давала покоя совести, и на язык выползал Киев как сигнал этой самой едучей совести.

Они с Любой сели в рабочий поезд — существовали тогда такие местные поездочки, что, коптя и чадя, бегали между городками и деревеньками, выполняя воистину рабочую миссию коммуникации.

И вот они уже идут по нашей улице, как шерочка с машерочкой, а бабушка стоит возле калитки, глаза под козырьком ладони, стоит и думает: что это за чужая пара претса со стороны станции в нашем направлении? Ну, вчера к нам приехала Фаля, это понятно, а к кому же эти двое?

Потом бабушка говорила, что она Митю узнала сразу, но вырвала с корнем эту мысль, потому как Фаля вчера рассказала про расстрел и сегодня лежала на диване, укрытая пуховым платком, и только-только как задремала. *Этот ведь шел с бабой.*

Пара неуклонно приближалась, и уже не было сомнения, что это был Митя, и бабушке бы криком закричать и кинуться к любимому брату — мало ли кто к нему в дороге притулился, может, Митя просто подносит женщине чемоданчик, как человек отзывчивый, — но бабушка потом сказала:

— Я чула... Чула...

В смысле — чувствовала.

— Катя! — первым тонко вскрикнул Митя уже считай у калитки, на что бабушка как бы не в лад ответила:

— Тише! Фаля отдыхает.

Бабушка одним махом перечеркнула войну, взятие Киева и форсирование Днепра, тик Фали и долгое отсутствие Мити и его поникшую руку. Она, как отважный радист, соединила траченные жизнью концы, ну и что ты теперь будешь делать, женщина, если ты не случайная попутчица, а приехала с Митей и со своим смыслом?

В это время Фаля подскочила к окошку, потому как услышала тонкий Митин голос, и, конечно, во-первых, во-вторых и в-третьих увидела Любу.

И она видела, как бабушка взяла в свои руки всю ситуацию, а в зубы концы проводов. Все-таки, что ни говори, война учила быть генералами, и некоторые считали возможным и правильным жертв не считать, хотя другие — немногие — предпочитали спасти людей ценой обмана, хитрости, да мало ли чего.

Спасать или погубить — это не гносеологический вопрос для нашего народа, твердо знающего ответ: надо погубить. Поэтому ход мысли бабушки и ее поступок были исторически безупречны.

Она увела Любу с ее котомочкой к своей знакомой через три дома, которая была ей обязана. В свое время, в тот самый не к ночи помянутый тридцать седьмой, бабушка прятала ее сына, когда в очередной раз решался вопрос погубления. Бабушка продержала парня в погребе две недели, а потом ночью вывезла его на бричке, как мусор, набросав сверху живого тела какие-то банки и тряпки.

— Иди к жене! — громко сказала бабушка Мите, продолжая держать во рту концы искрящихся проводов. — Иди, она с ума сойдет от радости.

Услышав это, Фаля прыгнула на диван и зажмурила глаза, готовясь к изображению радостного сумасшествия, а Любу как под конвоем отвели к Митрофановне.

— А до тэбэ гости! — закричала ей бабушка на всю улицу. — Шукают тэбэ. — Это чтоб всем-всем-всем объяснить явление чужого человека.

Ведь еще война, еще половина народа потеряна, кто ж не поверит, кто кто-то кого-то ищет и, случается, находит.

— Я потом приду, — сказала она Любе, у которой от ужаса и стыда снова схватило в животе, она согнулась прямо до земли, до самых пахучих цветочков Митрофановны.

В нашем же доме были крики радости и удивления, и Митя плакал горючими слезами, увидев, как током бьется Фалина щека и как в ехидном уголке рта взбивается пенкой слюна.

Фаля не призналась, что видела в окне женщину, остальные не признались тем более.

Так как именно я толклась в центре событий, мне было повторено особо: женщина — Митина попутчица, она племянница Митрофановны. Беженка.

Мите и Фале было постелено на большой кровати, на которой после смерти дедушки никто не спал. Бабушка тогда сразу ушла на деревянный топчан в кухню, мои родители хотели было занять главное и лучшее место в доме, но бабушка их окоротила.

Завязался конфликт между бабушкой и мамой, и уже теперь я думаю: а с чего это она, бабушка, так упиралась? Зачем ей надо было сохранять парадную кровать под белым марселевым одеялом и с пышными подушками, укрытыми тюлевой накидкой? Что в этом было? И чего в этом не было? Я не знаю ответа. Но было как было: для Мити и Фали одеяло было сдернуто.

Очень пригодилась для вязи отношений в первый момент Митина бесполезная рука. Вокруг нее очень хорошо клубился разговор, и в какой-то момент у Мити от всеобщего к нему сочувствия, видимо, с души спало. Выйдя покурить на крыльцо, он с глубоким чувством сказал мне:

— Все-таки, птица, она инвалид лица.

И я поняла: Митя сходил на базар и сделал выбор.

В ту ночь мы не спали все, потому что бывшая в долгом неупотреблении кровать так бесстыдно скрипела и квакала, так ухала и ахала, что бабушка забрала меня к себе в кухню, и поэтому я знаю, что ночью она уходила. Вернулась холодная и мокрая, так как прошел дождик, но бабушка даже не заметила этого, потому что так и рухнула рядом со мной. Ночь высвечивала ее профиль, совсем не монетный, не римский, а вполне,

вполне наш, отечественный, и я слышала, именно слышала, как у нее болит и мается душа. Мне хотелось ее защитить, и я думала — как? Ну как? Придумала: надо, чтобы уехала Фаля. Навсегда.

Почему в моем детском мозгу возник именно этот вариант решения проблемы, не знаю, не ведаю. Я ведь когда-то хотела быть похожей на нее, я училась четко произносить букву «Фэ», мне и потом было ее жалко, жалко ее красоты, но такую я уже не могла ее любить, потому что я человек неважный, я «на внешнюю красоту падкая, не интересуюсь внутренним содержанием, мне бы лишь сверкало». Так объясняла мне меня бабушка.

Но Фаля не уехала. Они решили погостить и гостили. Не знаю, когда исчезла от Митрофановны беженка, но как собирались на это деньги, знаю. Это по тем временам был трудный вопрос, и я думаю, именно тогда бабушка лишилась двубортного синего драпового пальто, к которому все прилипало, но почему-то это объяснялось высоким качеством материи.

Истинному как бы полагалось быть плоховатым. Это только искусственное с виду «ах!», но надо же понимать суть вещей. Взять хотя бы человека... И человека брали. На его конкретном примере — некрасивый, сутулый, штаны в латках — делалось обобщение: добрый, отзывчивый, скромный. Чем хуже, тем лучше — такой была проистекающая из жизненных наблюдений мысль.

И шилось коричневое платье и из жидких сеченых волос плелись мышинные коски — ах, какая скромная девочка, любо-дорого посмотреть. Не то что...

Вспомнилось, и защемило, и шандарахнуло — такой я и осталась, чего уж там делать вид, что не так...

Митя объяснил Фале свое отсутствие в собственной, не разбомбленной врагами квартире в Ростове. Контузией объяснил и пребывание в бессознательности у каких-то стариков, которые открыли ему душу, как родному сыну.

В сущности, почти правда. Просто Любу повысили в возрасте, чине и звании и удвоили ее количество. Но неужели во время такой войны кто-то будет проверять подробности?

А потом они уехали. Бабушка широко перекрестилась, как только они исчезли за поворотом.

— Ты думаешь, из этого выйдет толк? — спросила ее мама. — По-моему, Фалька что-то унюхала. Митя ведь изнутри подраненный...

— Ничего, — сказала бабушка. — Загоется. *Та* ему не пара. Я с ней поговорила. Она даже семилетки не имеет.

— Ты считаешь не на те деньги, — закричала мама. И я знала, что ее крик был оттого, что мама сама недоучка, по бабушкиным понятиям.

Кончилась война, и как-то без передышки наступила голодуха. Нас подкармливал Митя — привозил вяленую рыбу, после которой до барабанного живота мы все наливались водой.

А Митя как раз выглядел хорошо.

— Ты справный, — с удовлетворением говорила бабушка.

Митю все еще держали на учете по туберкулезу, но больше для порядка. Было даже взято под сомнение существование довоенной каверны. Бабушка объясняла все это наличием медика в семье. Видимо, бабушке нужен был сильный оправдательный аргумент ее генеральского подвига тогда, ночью.

Аргумент был. Справность Мити.

Правда, был и контраргумент.

Отсутствие в отбитой в бою семье ребенка. Тут-то и возникала арифметика. Восемь лет разницы плюс война давали в окончательном итоге вполне приличный возраст, когда уже как бы не рожают. Но бабушка тут

же вспоминала свою грешную мать — получалось, что у Фали есть еще запас времени.

Вот когда нам пригождаются «отдельные случаи», те, что из ряда вон. Осуждаемая в одно историческое время, в другое историческое прабабка стала примером и, можно сказать, стимулом.

Это было время, когда семья затаила мысль. Не против Мити — ни Боже мой! слишком он был любим, — а против обстоятельств жизни вокруг него, кои были, куда ни верти, обстоятельствами женщин.

— Еще бы! — в какой уж раз возмущалась бабушка. — Идет, а он лежит. Наверняка там были и другие подраненные, но *эта* ведь не подвиг совершала, чтоб одного за другим вытащить, *эта* взяла нашего дурака, потому что у него на лице написано: вей из меня веревки.

Бабушка боялась близкого расстояния от Ростова до *того* места. Тем более, что Митя опять работал на железной дороге, а значит, всегда был при паровозе.

— Этих линий проложили без ума, будь они прокляты! — шептала бабушка.

Железнодорожный прогресс ложился поперек представлений бабушки о Митином благополучии. Пройдет много, много лет, и я с некоторым отвращением буду смотреть на блики цветомузыки в темной комнате дочери и буду гнусно подозревать ее компанию во всех смертных. И о Скрябине в такие минуты я думаю, что он провокатор. С него пошло-поехало. Блики, блики... Блики... Морганье жизни...

Но надо вернуться во вчерашнюю воду...

Та послевоенная голодуха была для нашей семьи даже потяжелее войны. Нет, никто не умер, слабое не выдержало в другом месте.

Молочная сестра Мити Зоя, которая была в роду как бы существом несколько бракованным, возьми и уйди в баптисты. Задумчивая, не очень способная в учении, боязливая с мужчинами женщина расцвела в обретенном братстве как цветок.

Еще до войны бабушка устроила ее в швейную мастерскую в другом городе. Это было трудное, но для семьи необходимое решение — отделить недоброкачественный побег от подрастающего. Я и Шура были причиной отделения Зои. Мы не могли у нее научиться ничему хорошему, потому как Зоя читать не читала, чуток заговаривалась и — что там говорить — была дурковата. А дети такие впечатлительные и из всего переймут именно дурь.

Бабушка ездила к Зое каждую неделю, платила за комнату, которую та снимала у старухи, жившей исключительно с огорода, и деньги, даваемые ей из рук в руки, казались ей почти дармовыми, потому как комнатка за занавеской цены, на ее взгляд, не имела.

Зачем нам нужна Зоя?

Зоя — знак некоего «другого ума», который возьми и проявись в здоромом, нормальном роду. Если за фокусами природы надо слеживать и изучать их, то фокусы провидения должно принимать безропотно. Мы еще не дожили до еврейской мудрости благодарить Бога за посланный тебе или твоим близким «другой ум», но не дожили — так не дожили. Я подозреваю, что евреи тоже горюют по поводу бракованного дитяти, но *делают вид радости*. Наша чертова фанаберия мешает нам поступать столь же разумно. И хотя бы делать вид.

Но вернемся к Зое, которая примкнула к баптистам, запела тоненьким высоким голосом, слетала вместе с ним на небко, а когда вернулась, то оказалась счастливой.

Другой ум. Другое счастье.

Конечно, был и оставался путь пойти на баптистов войной, дивиденды по тем временам могли быть приличные, но бабушка увидела счастье в не

замутненном суетой глаза дочери и стала его охранять. И счастье. И баптистов.

Вот и пригодился Митин паровоз. Бегала от Ростова «кукушечка» напрямиком к Зое. И попросила бабушка Митю приехать к ней и среди недели, чтоб в сумме получилось два контрольных посещения. И из головы у нее вон, что бежал паровозик «мимо гребли, мимо млына», что в переводе означает — мимо места, где Митю однажды недострелили и где по-прежнему жила некая особа.

Бабушка как бы напрочь забыла те свои мысли о неправильности положения дорог. Опять и снова возникает думка о нашей внутренней изворотливости, о том, что мыслим мы то так, то эдак, не угрызаясь внутренней противоречивостью. А может, все дело в том, что Митя жил далеко и, по слухам, хорошо, и воспоминания о женщине Любе мутнели и мутнели в памяти. Так думала бабушка.

И между прочим — зря...

Митя сошел-таки с поезда и пошел по степи, которая вполне могла скрыть идущих по ней мужчину и женщину. Но пока еще Митя шел один..

В тот день, а может, близко к нему лежащий Фаля пошла к гинекологу, потому что у нее были перебои и мазня. Фаля, дама образованная, конечно, сразу подумала про плохое. Мите она ничего не сказала, к гинекологу вошла прямо в медицинском халате, решительно, без всяких там цирлих-манирлих.

— Я прошла через бои, — сказала она, взбираясь на дыбу.

Гинеколог, пожилая еврейка, потерявшая всю свою семью, потому что не успела ее вывезти из Кременчуга, бой как таковой не считала самым большим несчастьем в жизни. Несчастье, когда деток малых везут в душегубках, — вот несчастье, которому нет равных. А теперь ей уже не родить никогда в жизни, хотя — казалось бы — она так близко стоит к месту, где за началом человечества послеживают. Поэтому эта, в халате, из хирургии, могла не говорить слова «прошла бои» — нашла чем испугать. Но, глядя в глубины Фали, отнюдь уже не сочные и малоплодородные, эта зазнавшаяся в своем горе женщина вдруг испытала толчок и последующее трясение всего организма. Она увидела завязь жизни там, где, по ее разумению, ее уже быть не могло. Быстрый профессиональный глаз запомнил год рождения Фали на медицинской карте и то, что между ними был всего год разницы.

Тут надо остановиться и оглянуться. Та библейская Сарра, которая начала рожальное дело в годы, до которых у нас не доживают, конечно же, была выдумкой истории. Даже сильно, можно сказать, истово верующие вряд ли воспринимали это всерьез. На всякий случай прости меня, Господи! Прости... Ну, не ведаю, не ведаю, что молочу... Так вот, та Сарра была нонсенс и для гинекологии. Мою прабабушку она не знала. Светлана же Сталина была еще молодая, еще любила папу, и ей на ум не могло прийти, что она родит, пусть не как Сарра, но все равно под пятьдесят и от американца. То было время женщин войны, которые сорок лет считали нормальным концом бабьей жизни. Конечно, шпалы были еще не все положены, их предстояло таскать — не перетаскать, и на это женщины оставались вполне и вполне гожие, что ярко, одним махом показала Нонна Мордюкова в фильме «Русский проект», взяла да и сказала, какие мы есть. Теперь долби, искусство, долби в другом месте. Тут уже скошено. Или добыто. Одним словом, пусто.

Вернемся в гинекологическое кресло — главное место действия.

— Вы беременны, — пронзительно сказала врач. — И вам немедленно надо лечь на сохранение.

Потом они обе поплакали, пациентка и врач. Одна о том, что случилось, другая о том, чего нет и вряд ли будет. Хотя именно сейчас у врача возникла мысль: может, не надо так уж отбиваться от вдового начальника орса, а исползовать его как шанс? В конце концов, чем она хуже *этой*?

Фаля легла в больницу сразу, не помыв даже дома посуду и не дождавшись Мити, который где-то там что-то инспектировал.

А Митя как раз шел по дороге и думал, что если во дворе у Любы будет *мужской след*, то он пройдет мимо, и все. Другое же будет дело, если следа не обнаружится. Тогда он стукнет в окошко там или в дверь, куда потянется рука.

Но разобраться было трудно. Двор был в порядке. Те женщины не только клали шпалы, они ставили печки, рубили дрова и поправляли покос дверей. Они все умели, и в этом было спасение страны и ее же извечное горе.

Вернувшийся с войны мужик, удивленный скорбностью и безрадостностью пейзажа всей жизни, находил единственное утешение в магазине, в котором весьма часто не было ничего, но водка на родине была всегда. Как береза.

Тут выплывает из тумана мысль. А не будь наши женщины ломовыми лошадьми и забрось они чепец за мельницу с криком: «А не желаю я класть шпалы! У меня для этого тело нежное, и я не допущу его гнобить!» — так вот, закричи они так, пошел бы процесс или не пошел? Пришли бы мы к полному одичанию или иванушки наши сподобились бы? Мысль эта грешная, потому как замашивается на самую основу первооснов, что чревато, как говорится... Поэтому уйдем подальше от выплывающих из тумана мыслей и идей.

Женщины деревни выстрелили глазом в Митю, который вальяжно, как какой-нибудь интеллигент в шляпе, прошагал по улице сначала в одну сторону, потом в другую, потом опять в первую и наконец толкнул калитку Любки, бабы, ломанной любовью и предательством.

Рассказывали так.

...Поехала она на погляд к родным парня, которого вынула из мертвой кучи людей, а те ее и на порог не пустили. Там была подлая старая сука (моя бабушка!). Она и вынесла Любке мятые в жмене гроши — это, мол, тебе спасибо, но мордой ты для нас не вышла, мы все из ученого роду-племени, у нас за столом не едят из одной миски, а ты вся из себя рубль двадцать, и кожа у тебя тресканая. И будто старая сука (моя бабушка!), показала Любке свои белые руки, по которым вилась-бежала голубая жилка... Ну какие у тебя, женщина, могут быть преимущества супротив нашей венозной крови?

Митя тогда переступил не только порог Любы, он переступил легенду одним, что называется, махом.

На всю деревню закричала женщина дикой счастливой горлицей, не имеющей понятия о тайности греха.

Так оно и пошло: жизнь в два ряда. Одна — наполненная смыслом сохранения ребенка и другая — смыслом, предшествующим по природе первому. Конечно, Фаля потеряла бдительность относительно Мити, а за ним водилось всякое-разное. То какой-нибудь хромоногой поможет войти в трамвай, а дальше возникает необходимость помочь выйти. В трамвае это важный момент. Глядишь, и припозднится... А то еще был случай: красавица глухонемая. Вернее, красавица левым боком, потому что правый был слегка обожжен в детстве, от детского испуга и глухота, и теперь по правой стороне лица женщина спускала каштановые волосы, что модным тогда не было и осуждалось народом, который считал: *какая есть, такая и*

живи. Правильным считалось горб носить честно. Так вот, Митя прошел бы и не глянул на красоту, а как увидел мятую щеку, двинул следом. Извращенец, по-нынешнему. И еще были разные некондиционные женщины, хотя кто их считал? Впрочем, Фаля считала.

Но тут в отделении на сохранении она про все это забыла. Она думала, что ей очень повезло в том смысле, что ребеночек родится, когда ей полных будет тридцать девять, а то, что до сорока всего месяц, то это уже не ваше собачье дело.

Ее регулярно навещала еврейка-гинеколог — оказывается, ее звали Саррой, бывают же такие совпадения. Сарра уже вошла в близкий контакт с начальником орс и ждала счастья начала новой жизни, где уже не будет душегубок и мученической смерти детей. Так как в дальнейшем нам это не понадобится, скажем сразу: Сарра родила девочку, назвала ее Светланой — в знак светлости задуманной жизни, а не в честь дочери Сталина.

Когда волею судьбы мы коснемся еврейской темы — а без этого нам не обойтись, — Сарры уже не будет в живых. Она умрет далеко отсюда — умрет в тот момент, когда по телевизору скажут, что взорвался рейсовый автобус в Тель-Авиве. Саррина семья не ездила этим автобусом, и вообще они жили в Беер-Шеве, но не по той дороге побежала в мозгу старой женщины страшная информация, причудливым образом она столкнулась со старой душегубкой той прошлой войны, и Сарра стала оплакивать своих детей и внуков, которые радостно бибикали на полу. Но она не признала их, живых, а признала тех, мертвых.

И тут что хочешь, то и думай... Проще, конечно, не думать. Что нам Сарра? Наши нервы крепче. Свое живое на чужое мертвое в нашей голове вряд ли подменится.

А пока мы находимся на этапе сохранения беременности и даже отсутствия ее у Сарры, и я с чистой совестью могу их оставить в этом состоянии и перейти к Мите, любимому Мите и его молочной сестре Зое.

Естественно подумать, что, срубив во второй раз Любу, Митя напрочь забудет про Зою. Другой бы забыл — не Митя. Он совмещал любовь и родственность как мог, как получалось.

А получалось скверно. Специфические органы однажды ночью пришли и взяли всех баптистов. Всех, кроме Зои, на которой у них была пометка «не в себе». Наверное, не этими словами, какими-то другими, им свойственными, но факт остается фактом: Зоя осталась на этой земле одна. Не имело значения, что была жива еще бабушка, были сестра и другие родственники. Она их всех любила, но не с ними летела на небко. Когда-то ей объяснили в общине, что на месте всякой порушенной церкви остается ангел, который не уйдет с поста, пока хоть одна живая душа будет помнить «камень церкви». Зоя осталась с ангелом, отказавшись от всех, а бабушка в ту пору впала в болезнь, которая перемещалась с одного органа на другой, с одного на другой, врачи говорили: старость, ну кто ее победит!

По всему по этому *нас* Зою один Митя. И случалось, привозил ее на паровозе к Любе. И Зоя первая усмотрела «животик для ребеночка» — у Мити тогда глаз был замылен «животиком Фаля».

Зоя кудяхтала над Любой, вырывая из ее рук то ведро, то топор, она забегала вперед, норовя сделать все Любины тяжелые дела. Митя разрывался на части, не знаю, что он себе думал, но, когда мы встретились в последний раз, легкий Митя как бы висел на своей мертвой руке, и она, мертвая, как бы им руководила.

Он тогда приезжал к нам редко, являлся всегда неожиданно. Врасплохи были радостными, шумными, а этот последний очень разгневил бабушку. Митя явился утром, что противоречило железнодорожному расписа-

нию, которое знали у нас все, ибо по нему жили и умирали. Я слышала, как голосила наша соседка над умирающей матерью:

— Мамочка моя родненькая, не уходите раньше времени. Поезд через Магдалиновку уже прошел, я его гудок слышала. Вася же мне не простит, что я вас не удержала!

— А может, это гудел встречный? — возвращалась из тонких материй родненькая мамочка. И лицо ее, уже совсем тамошнее, при слове *гудел* делалось совсем тутошним.

Так что приспичит умереть — попроси побибикать паровозный гудок. Встанешь как миленький. И не таких мертвых подымал.

Поэтому явление Мити не по расписанию сразу обнажало для бабушки его порочную сущность: *его где-то носили черти*. Кажется, я уже рассказывала о женщине, которая с опаской подставляла Мите ухо для прощания, когда он был помечен туберкулезом. Но это ж когда было! Прошла целая война и послевойна. Девушка Оля выросла в крупную и гордую своей полнотой женщину. Тогда так было. Большой небеременный живот носили с достоинством, валиком подбородка чванились, и я помню только одно ограничение в деле полноты — высокая холка, загривок. Относительно этого было особое мнение: некрасиво. Все нынешние топ-модели не нашли бы себе — в те времена — даже завалыщенького мужика в околоте. Народ бы просто брезговал мосластыми ногами до ушей, он бы зашелся от смеха, глядя на какую-нибудь Евангелисту или на эту черненькую африканочку с глазками-пуговицами. Разве на сисечках Клавочки Шиффер отдохнул бы мой народ глазом? Но ставить ее рядом с Олей смысла не имело. Оля по тем временам была самое то. Большая, упругая, и загривочек был в норме и не тяжел шею. С Митей у них давно ничего не было, с той самой дотуберкулезной поры. У Оли был здоровяк муж: когда они шли по улице, меридиан под ними прогибался, поскольку мысленная линия — очень слабая вещь.

Но тут ехали Митя и Оля вместе на «кукушке», чисто случайно, «ах, ах...». Разговорились, и узнал Митя, что, если человек с виду здоровяк, это еще ничего не означает... Вот он, Митя, был сопля соплей... Более того, туберкулезник, но — «ты помнишь, Митя?» — Митя начинал всякого человека жалеть сразу, даже не с жалобного слова — с открытого рта. А тут у женщины такое горе. И он пошел за Олей, не думая в тот момент о беременной жене, о горячечной Любе и всех других, потому что в этот момент он слушал и чувствовал Олю. Одним словом, Митя припозднился ровно на рабочую смену...

Бабушка взяла огромное блюдо — правда, с трещинкой — и грохнула его об пол.

Так вот, последняя наша встреча.

Я сдаю экзамены на аттестат. Жму на медаль. Митя щечочет мне веточкой под носом.

— Да брось ты эту чертову книжку. Ты ж давно все знаешь...

— Митя! — говорю я. — Отстань. Иди к Шурке.

— Шура меня не любит, — отвечает Митя. — А мне интересно с женщиной, которая меня любит.

— Мы не женщины, — говорю я строго. — Не мели своим языком.

— Еще какие! — смеется Митя. — Вы были женщинами, еще когда я держал вас над травой.

— Фу! — злюсь я.

— Ты знаешь, какая ты женщина? Я тебе сейчас скажу... Тебе с нашим братом будет трудно, потому что ты... ну как тебе сказать?.. Ждешь от нас больших впечатлений. Ты, птица, воображай помене мозгами... У тебя вся главная жизнь проходит в голове. Кто ж это за мыслью поспеет? Ты слышишь своего Митю, птица? Я когда-нибудь желал тебе плохого? Ослобони головку, птица, оставь ей цифирь. Я ж люблю тебя.

Ну что бы мне сказать, что я его люблю тоже, что бы мне попросить: объясни подробней, Митя! Как мне жить? И как быть, если я уже «прожила» в головке всю свою жизнь и даже не один раз умирала? Но в моей са-

модостаточной башке клубится совсем другое, и я вместо нужного, важно-го гоню от себя Митю.

Он уходит, а я смотрю ему в спину, меня наотмашь бьет, валит с ног какая-то необъяснимая тревога не тревога, боль не боль, печаль не печаль. Митя крутит лопатками, поворачивается ко мне:

— Ну, ты прямо навывлет смотришь...

Так он и стоит передо мной, весь как бы повисший на собственной мертвой руке. «Какая дурь», — думает моя дурья башка.

— Не отвлекай меня, — бурчу я.

— Ах ты, птица моя! — говорит Митя. — Вот умру, плакать будешь, а уж я посмеюсь...

Ни с одним человеком на земле нельзя было говорить на эти темы: что есть *там* и есть ли оно? Мое атеистическое сознание вообще не допускало этих мыслей, а Митя толкал меня к ним. Болела бабушка и на всякий случай готовилась умирать.

— Перестань! — кричала мама.

— Узелок лежит слева на верхней полке... Сходишь к Мокеевне, чтоб надо мной почитала, когда буду лежать... Денег она не возьмет, дашь продуктами... Там у меня в узелке шоколадка, это для нее... Тапочки купишь у Леши-механика — он шьет смертные.

— Как будешь давать нам указания оттуда? — смеется Митя. — В каком виде?

— Не буду, — отвечает бабушка. — Мне наконец будет все равно. Вот рай-то!

Я ловлю эти слова — *все равно*. Они и есть смерть. Безразличие. Бесчувствие. Безмыслие. Ничего страшнее вообразить нельзя.

— Ладно, ладно, — говорит Митя бабушке, а смотрит на меня. — Указания будешь давать мне. Во сне. Приснишься к утречку, чтоб я не забыл до вставания, что мне передать живому народу. Я аккуратно все исполню.

— Ты-то? — улыбается бабушка.

— Только к ней не приходи, — тычет Митя в меня пальцем. — Она у нас гордое тело. Она дух не признает.

— Сейчас нельзя признавать, не то время, — говорит бабушка и уже подымается с подушки, уже ищет ногами тапки. И как-то это по-дурному завязывается в голове: духа нет, значит, вся надежда на тело, а значит, ищи тапки, встань и иди!

Вполне атеистическая цепь — на мой взгляд, и я смотрю на Митю победительно.

Нет, Митя, никакого духа нет! Человек состоит из *клеток*... Я поперхаюсь мысленно на этом слове. Я не люблю его, это какая-то изначальная очень личная нелюбовь к звуку, букве этого слова. Но это я обдумую когда-нибудь потом, сейчас же я торжествую в своем материализме, а Митя мне печально говорит:

— Птица! Иногда ты бываешь забубенной дурой.

Бываю. Сейчас я это знаю точно.

А потом Митя умер.

А до того... До того... У него от Фали родился живой сын Георгий, в просторечии Ежик, а от Любы попозже — мертвая дочь. И в той деревне уже стали жить две женщины с «другим умом» — Зоя и Люба. Душа Мити рвалась на части между живым, мертвым и «другим», и казалось — вот-вот не выдержит.

Мне это написала в письме мама. Главным в письме была Зоя, которую забрала потом бабушка. «...И что теперь с ней делать, доча? Она совсем чудная, и от людей бывает неудобно». Бабушка пыталась пристроить ее в швейную мастерскую, но народ оказался не способным принять человека, который нитку тянет с певучим звуком, а с пуговицами разговари-

вает. Народ смеялся над Зоей, но той это было, как говорится, без разницы, более того, Зоя любила смех вокруг себя, она считала, что смехом разговаривают в нас ангелы. Но дело было не только в смехе. Народ оскорблялся наличием в своей среде причудливого существа, непохожего на других, существа, не ведающего зла. Это очень раздражало народ, потому что заматереть во зле значило для него выжить. Еще слыхом не слыхивали про выгодность добра. Была другая истина, которую передавали изустно, — добро недолговечно. Ну посмотри вокруг, посмотри! Кто на войне остался в земле? А кто цветет и пахнет? Пришлось Зою перевозить в колхоз, к бабушкиным сродникам, там ее приспособили в птичники, где она и умерла быстренько и легко, потому что в ней просто кончилась жизнь. Это все уже было без меня, я даже письмами в этом не участвовала, своя собственная бурная жизнь была куда громче и звончее, а Зою я просто плохо знала. Именно от меня и Шуры отделили этот недоброкачественный побег, чтоб, не дай Бог, не перешла зараза.

Так вот, умер Митя.

Хоронить его ездила бабушка, вернулась лицом черная и сказала:

— Она его убила...

И все. Дальше занавес.

2

Уже давно нет бабушки. Я живу совсем другой жизнью, она по вкусу, по цвету, по запаху настолько отличается от той моей детской, что временами я начинаю по бабушкиному методу нервно связывать концы, боясь, что ирреальность детства и отрочества в собственной памяти — признак губительный: оглянуться не успеешь, как распадется на отдельные материи собственная жизнь. Хотя тоже сказанула — материи. Скромнее надо, скромнее — острова, скажем, островочки, имея в виду, что распастся можно просто на отдельные камни. Кто тебя потом соберет в кучу, кому это будет надо? И я плыву к острову детства, цепляюсь за него тростью, купленной по случаю вывихнутой ноги, так вот, подручным способом, подтягиваю его к собственному взрослому боку и держу... Маленькое свое детство...

Во взрослой жизни у меня есть подруга. Дама легкая на легкую любовь. Я боюсь с ней часто встречаться, потому что она всегда норовит разломать к чертовой матери мои внутренние устои.

Ей это, как теперь говорят, в кайф. Она с удовольствием углубляется в подробности сексуальных отношений, где так все просто, легко и необременительно по форме и так «полезно» для организма. «Ты же дура!» В этот момент я делаюсь неуверенной в себе и диагноз «дура» принимаю со скорбным согласием и готовностью лечиться по методу подруги.

Порок во мне начинает дышать полной грудью, ведь — в конце концов! — он тоже хочет полноценной жизни.

Так вот. Мы сидим с Риммой — подругу зовут Риммой — и пьем чай. Она рассказывает мне про своего ...надцатого любовника, который был так небрежен, что приволок домой к жене Риммины следы.

Римма закатывается смехом не отягощенного устоями человека, а я мысленно топчусь возле жены любовника и как бы нахожу Риммины следы.

Мне бы чавкать в пандан с подругой, которую я знаю и почти люблю, вместо того чтобы глотать слезы с женой любовника, о которой я до этой секунды вообще не слышала. Ан нет. Глотаю...

Мы не вдвоем. В кресле с огромным количеством подушек сидит Риммина бабушка. Она идиллически вяжет, но в разговоре присутствует. Во всяком случае, на ее старой мордахе написано: похождения внучки ей для

здоровья полезны. Она бы сама так поступила, не будь этих чертовых подушек на ее пути.

В какой-то момент, когда Римма уже сказала, а я еще не нашлась, что ответить, старушка подняла свое печеное яблочко и, хихикая, проблемкала:

— Ты, Римка, допрыгаешься. У меня была в Ростове приятельница, так она за «амур налево» мужа отравила. А потом замечательно его похоронила, с таким почетом.

— А! Брось, баба Леля! — отмахнулась Римма. — Кто это сегодня берет в голову «амур налево»? Ну, даст жена по морде... И сама сходит в этом же направлении...

— Фаля была не такая, — с чувством сказала баба Леля.

Нельзя давать людям редкие имена. Нельзя до такой степени их обозначивать. Если бы я была все-таки птица, как называл меня Митя, то я бы, наверное, тонко вскрикнула в небе. Но я сидела на широком и теплом стуле, меня разморил чай с вареньем, и я уже расстегнула верхнюю пуговичку на юбке. Какая там я птица! Разве что курица.

— Фаля? — говорю я. — Я знаю одну Фалю. Она врач?

— Всю жизнь просидела в горздраве, — отвечает баба Леля. — У нее, по-моему, и образования-то нет.

Я-то точно знаю, что образование было! Моя бабушка такую промашку не допустила бы. Диплом был ею освидетельствован тактильно и зрительно.

— Откуда ты можешь ее знать? — спрашивает меня баба Леля.

— Да она как бы мне родственница, — смеюсь я.

— Не вздумай написать ей, что я тебе сказала! — говорит баба Леля. — В конце концов, может быть, это и сплетня. Римма! Дай мне Вотчала.

Запахло валерьянкой, вода побежала по старому подбородку, я несую полотенце. Старушку явно взволновали любовь и смерть.

Старая ворона нагляделась на дурь и мерзость человечества, но помнит, что в ее вороньей юности человеческий ребенок подлечил ей сломанное крыло. И хоть она, ворона, давно без иллюзий, но дитя помнит... Скажем так... Потому и подсочувствует этим двуногим и неуклюжим...

Митя — такова официальная версия — умер в больнице от кишечной колики. Боли были такие, что хоть караул кричи, что он и делал. Лечила его будто бы сама Фаля, не отходила от него ни днем ни ночью, все его восхищались и говорили о ней исключительно в превосходной степени.

Но ведь бабушка сказала тогда: «Она его убила».

Естественно, моя мама сразу потребовала у бабушки объяснений, и та ответила, что ей это сказала Зоя.

— Нашла кого слушать! — закричала мама. — Забрать ее надо от Любки. Она нам никто!

Вот это было по существу. Кто-кому-кто в иерархии человеческих связей имело в нашей семье большое значение. Входящие в нее сразу получали особый статус. За этим уровнем стоял близкий и маленький круг друзей, потом круг друзей друзей, крепость связи с ядром-семьей все истончалась и истончалась, в конце концов переходя в бесформенную массу просто людей, плавающих в мире безотносительно к нам.

Когда мама говорила: «Она тебе никто», то это был суровый диагноз. Те годы, когда я набирала свой опыт уже вне семьи, я боролась с внедренной в меня иерархией. Я готовила себя к жизни, где я буду любить людей более охватно, невзирая на глупости в виде «родственник — не родственник». Я была стихийным интернационалистом и космополитом, и мне казалось правильным дальних любить больше, чем ближних. Молодая дура думала, что она идет трудным человеколюбивым путем, а когда она, дура, спохватилась, то поняла, что самое трудное — любить близких. Они, как

никто, исхитряются своими словами и делами подорвать твою любовь к ним. Откуда было знать, что путь через раздражение и возмущение и есть путь испытания любви. Новозеландец, папуас или мужик из соседнего подъезда сроду не раздражит тебя так, как родной брат или сестра.

К моменту чаепития у Риммы я была практически свободна и от категоричности мамы, и от собственной необъятной любви к людям. Я была никто по отношению к очень многим старым привязанностям. Но Митя и Фаля... Это не подлежало селекции и саднило.

И вошь в голову была запущена.

Я вспоминала приезды Фали к нам с сыном, ее всегда встречали радушно, мальчика ласкали, но бабушка в эти приезды всегда была несколько другой, чем обычно. Собственно, я знаю как бы двух бабушек: бабушка как она есть и та, что бывала, когда приезжала Фаля. Эта вторая ходила со втянутым животом, глаз ее был цепким, она снимала косынку, которую вообще-то не снимала никогда, завязывая ее узлом на затылке, — тут же, при Фале, она ходила простоволосая, время от времени быстрой рукой проводила круглым гребешком по волосам, но не до самого конца, а оставляя гребешок где-то по дороге в спутанности серебряных кудрей. И еще бабушка в «дни Фали» не прибегала, как у нас принято, к красному словцу «ридной мовы». В доме стоял высокий стиль русского языка.

— Будь любезна, убери за собой, — говорила она мне.

Потом Фаля уезжала, а бабушка закрывала ставни в комнате и ложилась на диван, прикрыв за собой двери. Почему-то я боялась этих ее уходов от нас всех. Я норовила заглянуть в комнату и слышала оттуда тихое:

— Геть!

Вчера она мне сказала: «Иди вон!» «Геть» — это дело на поправку, это уже нормальная температура и выход из кризиса.

Когда я окончила школу и во весь могучий рост встал вопрос, куда ехать учиться дальше, возникла идея — не поехать ли мне в Ростов к Фале? Бабушка сняла косынку, провела до упора гребешком и сказала:

— Нет.

Потом, через много лет, я пересеклась с Фалей. Она приехала одна, без сына, который отдыхал где-то в Анапе. Как выяснилось, Фаля засобиралась замуж за преподавателя техникума, вдовца.

— Дети есть? — спросила бабушка.

— Нету, — ответила Фаля.

— Слава тебе, Господи, — сказала бабушка и широко перекрестилась.

— Ну зачем же так? — обиделась Фаля. — Я ничего против детей не имею. Я могла бы выйти и на детей.

— Никому не надо чужое горе, — сказала — теперь уже — мама. — Так что на самом деле слава Богу, что без детей.

Вечером Фаля подошла ко мне в палисадник, села напротив на чурбачок. У нее было спокойное лицо, нервный тик у нее за все эти годы прошел, и я уже не помнила, на правильном ли месте стоит у нее уголок рта. Мне нравилась ее прическа — гладкие, зачесанные на прямой пробор волосы сзади были затянуты красивым узлом.

— Как бежит время, — сказала Фаля. — Ежику уже семнадцать. Ты уже, извини, баба... А еще недавно была черной, как галка, девчонкой в цыпках...

— Да не было у меня цыпок, — смеюсь я. — Это у Шурки были.

— Тебя Митя очень любил, — сказала она. — Даже девочку хотел...

Из-за тебя...

У меня сжалось сердце. Я этого не знала.

— Расскажите, как он умер, — попросила я, — я толком так и не знаю.

— Не хочу, — ответила Фаля. — Не хочу о смерти... — Она отвернулась и стала смотреть куда-то в сторону, я посмотрела, куда, — ничего там не было, дощатая стена угольного сарая. Давным-давно он горел, и, когда я смотрела на него, в ноздрях возникал запах того пожара. Я думаю о ма-

териальности памяти. Я уже не та девочка, что отрицает дух, я уже продвинулась в этом направлении; конечно, сознание вполне еще сумеречное, но нет-нет, а что-то начинает мигать. Ведь пожар был когда! Я же смотрю на уже *старые новые* доски, а в носу у меня щиплет!

— Лучше Мити я не знала человека, — говорю я Фале. Она резко поворачивается ко мне. И мы смотрим глаза в глаза.

Есть что-то в пересечении наших взглядов, есть. Но разве это можно продать или купить? Или предъявить как свидетельство? Мы обе бурно выдыхаем это необъяснимое нечто. И даже как бы радуемся, что мы тут и что во дворе пахнет жареными синенькими.

С Фалей связан стремительный, невозможный по возрасту бег мамы по улице от дома. Потом она плетется назад, в руке у нее головной платок, она прижимает его к носу, и он у нее уже весь кровавый, но мама довольна: сосуд — благодарение Богу — лопнул в носу.

— Это даже полезно, — говорит она мне. — У меня есть знакомая гипертоничка, так она просит мужа, когда у нее болит голова, дать ей по морде. Лопается сосуд в носу, и давление в голове уменьшается. Запомни это на будущее.

При чем тут Фаля? А при том, что она забыла свою косметичку, и мама хотела догнать ее на автобусной остановке.

— Она привезла мне сильное лекарство, неудобно не взять, — говорит мама. Потом открывает заслонку печки. Заполосенно, не понимая, за что им такое, горят разноцветные таблетки. — А косметичка ей пригодится. Польская...

Занавес...

Сегодня у меня уже началось будущее, о котором меня предупреждала мама.

— Можешь мне дать по морде в профилактических целях? — спрашиваю я у мужа. Он начинает криком кричать (а так смирный) о моей темноте, темноте моего рода (он знает эту историю с неизвестной и чужой теткой из маминой жизни), он начинает листать справочник, где у него уже лет десять записан телефон специалиста по сосудам и всему сопутствующему, мы входим в хороший ступор, и я горстями глотаю разноцветную (чтоб ей сгореть!) химию, через час тупею, чуманею, мне всё — всё равно, и из вязкого равнодушия выползает тонкая, изящная змея. Она тычется в меня своей красивой головкой и шипит: «По морде было бы лучше, дорогая моя... Зачем ты вышла за этого чистоплюя, который не может это сделать? Помнишь, у тебя был знакомый горняк? Он еще хотел тебя пристрелить, когда ты от него вильнула. Ты помнишь его карабин?»

Поскреби чуток семейные истории, открой старый шкаф, вывезенный на дачу и уже там давно пребывающий не в комнате, а в сарае, открой створку — и тебе на голову свалится карабин ли, скелет ли... Одним словом, в чем-то мы вполне англичане.

Вернувшись от Риммы, я, что называется, взяла себе в голову Митю и его смерть. Мне как раз предстояла поездка в Ростов на серебряную свадьбу Шуры.

На этой свадьбе тогда круто замешались один криминальный и два любовных сюжета. Про один я как-то уже рассказывала — это когда сватья увела свата на глазах гуляющего народа. Два сюжета пребывают в анабиозе.

Но тогда у меня была другая цель. Фаля. Она тоже должна была быть на свадьбе вместе с Ежиком и его женой. Сестра, сидючи над ведерной кастрюлей, в которую нервно шлепалась толстая, неэкономно снятая картофельная кожа, рассказывала:

— Я ее в гробу видела, эту свадьбу. Чему радоваться? Что у меня за всю жизнь нет ни одной вещи, которая *для меня*, понимаешь, сделана, для меня лично...

— У меня тоже нет, — говорю я ей.

— Не перебивай, — кричит она. — При чем тут ты? Это же моя свадьба! Это же я подвожу итоги. На своей подведешь свои. Я бы сроду не пошла на эти траты, но родня, будь она проклята. Сволочи, помнят срок. У этой Фальки все записано — кто, когда и с кем. Там и твой срок есть...

— Знаешь, — говорю я, — мне бы хотелось съездить на могилу Мити.

Сестра распахивает на меня свои огромные глазищи. Серо-зеленые, с желтой подпалиной, на голубоватом яблоке. Всю жизнь они тревожны и прекрасны. Я не знаю глаз более нервных и возбуждающих... Хотя кого возбуждать? Меня? Так меня возбуждает даже косынка на ее бигудях — такой от нее ко мне идет ток. И не берите в голову дурное. Это вибрации верхних чакр, они идут поверх голов, а потому моя красавица и умница сестра дожила до своей серебряной свадьбы как бы вне мужского рода, который весь с вибрациями низкими и грубыми. Ах, Господи ты мой, ты сам-то мужчина? Можешь ли ты понять несовершенство слепленного тобой человека? Ты понимаешь, как нам трудно с ним? Конечно, Господи, у тебя есть оправдание. Ты на нем учился творению, а нас ты лепил уже с некоторым опытом. И мы — если настаивать на ребре — все-таки сделаны из культурной материи. Ты же старался делать ребра? Ты их гнул, сгибал? Но Адам у тебя не получился, и не вали с больной головы на здоровую. Змей просто мимо шел...

— Ты помнишь этот слух, — говорю я сестре, — что Фаля отравила Митю?

— А ты помнишь Митю? — отвечает мне сестра. — Ты помнишь, какой он был?

— Замечательный! — кричу я. — Он был замечательный.

— Еще бы! Потаскун всех времен и народов.

Одним словом, идти на могилу Мити сестра отказалась. А вот Фаля радостно согласилась.

Могила была что надо. Ухоженная, с белоснежным надгробием, с провисающими чугунными цепями. Летний сад, а не могила. Тут росли не случайные одуванчики, а высокой породы цветы, и трава была выстрижена ровно по всему периметру, а вокруг лавочки хорошего дерева лежал нежный песок, такой чистый и промытый, как будто он не русский песок с ближнего карьера, а песок-иностранец.

Одним словом, придаться не к чему.

— Я его очень любила, — сказала я Фале.

— Его любили дети, собаки и женщины, — засмеялась Фаля.

Фаля пригласила меня в гости. Она жила в старой квартире, отказавшись переезжать в первые пятиэтажки хрущевского разлива. На второй этаж вела деревянная лестница, кончающаяся широким общим балконом. Здесь густо пахло коммунальным бытом: ведрами, керосином, хозяйственным мылом, селедкой и жареными семечками. В самой же квартире Фали не пахло ничем, здесь была стерильная, как бы не помеченная человеком атмосфера. Хотя в кресле-качалке как раз сидел человек и смотрел на нас ясными голубыми глазами.

— Знакомьтесь, — сказала Фаля. — Мой муж. Митина внучатая племянница.

— Сергей Давыдович, — почему-то хохотнул Фалин муж.

Я поняла, что это у него такая манера — прокладывать слова легким смехом. По профессии он был учителем математики, по призванию — учителем литературы. В тот день он читал «Пушкинский календарь» 1937 года, выпущенный к столетию гибели поэта.

Потом я поняла, как это было замечательно. Пушкин нас «развел» с Фалей. Не то чтобы я готовилась задавать ей обескураживающие вопросы, совсем нет. На тот момент мир в моей голове был устроен окончательно и бесповоротно, и в этом мире Фаля была у меня виноватой. Другое дело,

что устройство в голове обладало свойством саморазрушения. Моргнут реснички — и нету мира. Стройте, мадам, с нуля, если вам не надоел этот сизифов труд. Но на тот момент, на тот... Фаля была убийцей, и так было кстати, что этот ее новый, хотя уже и старый и, скорее всего, окончательный, муж разворачивал в мою сторону пушкинские легкие наброски, и я думала, что вселенная напрасно воображает о своем вселенстве, не она тут главная. Росчерк пера, небрежная линия локона — и у тебя равновесие, дама вселенная, а так черт его знает.

Фаля же работала в этот момент исключительно грубыми мазками. Она выставляла на стол графинчики с какими-то густыми напитками от ярко-красного до ярко-зеленого цвета, они уже внесли в комнату дух полыни, чеснока, свеклы.

Фаля объясняла мне содержание настоек на травах, корнеплодах, листьях и ветках. Моя бывшая родственница не искала в этом деле легких путей, она была стихийна в этой своей страсти купажей и вытяжек. Зеленый штофик, особенно торчащий на столе, являл собой экстракт из хвои, пах оглушительно елово-сосново, но каким был на вкус — не знаю. У меня странным образом спазмировалось горло, и я под предлогом повышенного давления пила воду, которую сама и наливала из чайника.

К счастью, Фаля не была из тех хозяек, которые с грохотом садятся гостю на лицо. Не хочет гость — не надо. Сами съедим. Они с мужем с аппетитом вкушали как синее, так и розовое, а я пила воду и заедала ее тщательно освобожденной от костей селедкой.

Такая дура! Ничего не попробовала.

Потом мы смотрели альбом. Я невежливо переворачивала страницы жизни Фали мне не интересные. Я искала нужное мне время.

И снова она угадала мои мысли, принесла старый, с пуговичкой, в котором белыми зонтиками и шляпками, шнурованными сапожками смотрело на меня детство Фали, стремительно перешедшее в полосатые блузоны и косыночки по самые брови. Прошло и это, и вот уже Фаля — медсестра, а вот уже веселые предвоенные сборы, а вот и Митя проклюнулся, тощенький наш недотепа Митя.

Была их общая фотография после войны, головка к головке.

— Я тут беременная, — сказала Фаля.

Но вид беременный был у Мити. Раздобревший, осоловевший.

— Такого Митю я помню плохо, — сказала я.

— Было, — ответила Фаля. — Одно время он очень поправился. После войны. А уже перед смертью много ел. Жадничал.

Встрял Сергей Давыдович. Он знал случай:

— У одной старой знакомой мне дамы перед финальным маршем Шопена стали набухать соски. — Сергей Давыдович рассыпался в смехе, но потом сконцентрировался для рассказа. — И даже возникла — понимаете? — тяга... Буквально за несколько дней до смерти. Вы понимаете, что я имею в виду?

— Она что? Стала про это говорить — про соски и тягу? — Фаля безусловно рассердилась.

— Зачем говорить? Она вела дневник. Это моя тетя...

— Фу! Какая гадость! — воскликнула Фаля. — Нашел что рассказать. К Мите это не имеет никакого отношения. Митя на головку был здоров.

Но что я увидела? Я увидела в Фалиных глазах гнев, который ну никак нельзя было отнести к Сергею Давыдовичу. Скорее уж к его тете с возбужденными сосками, но тетя-то тут при чем?

Я перевернула лист альбома. В уголочек для фотографий был всунут рассыпающийся старый конверт, на котором было написано: «Дмитрий».

Я сочла возможным его открыть.

Профсоюзная карточка. Членский билет ДОСАРМа. Читательский. Мелкие фотки для документов. Справки. Об уплатах, сдачах анализов, о наличии и отсутствии, о полагающемся и не имеющем права быть. Одна просто прелесть: «Гражданка Юрченко Любовь Кирилловна прошла про-

верку на ящур. Дана для мясобойни». И лиловое чернильное пятно. Ничего не понять, но четко видно — Мясниковский район.

В этом районе жили родители мужа Шуры. Шура обрадовалась, что из-за меня может не ехать туда в очередное воскресенье, а я возьми и скажи, что охотно съездила бы с ними. Сто лет не была в деревне.

— Когда еще выпадет случай?

Действительно, когда тебя еще занесет в Мясницкий район? По вероятности попадания это почти как Париж там, Лондон... Но мне как раз туда не надо! Мне как раз надо в Мясницкий район, к Юрченко Л. К. Проверившей на ящур свою корову.

Отдайся на волю воде. Она приведет тебя куда надо. Не исключено, что в омут. В сущности, это право воды.

Оказывается, Люба Юрченко всю свою жизнь жила наискосок от све-крови моей драгоценной Шуры. Зара Акоповна, свекровь, большая, шумная, бородатая армянка, даже смутно помнила Митю. Шура отвергала это начисто. Во-первых, этого не могло быть, потому что «эта старая дура» была, что во время войны ее тут не было. Она была в Нахичевани.

Но Зара возьми и скажи, что помнит и девушку, у которой были «не все дома». По воскресеньям она носила на голове веночек, а куда делась, не помнит...

Шура наступила мне на ногу. «Ага! — подумала я. — Ты все знаешь, просто не хочешь говорить... Хорошо, не буду...»

Зару же остановить было невозможно.

— Хватит, — резко обрезала ее Шура. — Ну сколько можно? Такую бы память да в мирных целях!

— Ты так хочешь? Ладно! Пусть! Я сейчас возьму и выну свою память! — кричала Зара Шуре. — Ты этого хочешь, этого? Я все для тебя сделаю, потому что делаю это не для тебя, а для сына! Для этого я вынимаю свои мозги вместе с памятью. Я выбрасываю их в помойное ведро. Вместе с вашим дядей или кто он вам есть, будь он проклят на том свете, если ты из-за него со мной ссоришься. Так вот. Я не видела его, не видела, какой он из себя худой, как последняя стадия туберкулеза. Я не видела и не знаю, что эта женщина, которая напротив, сначала была с ним счастливая, а потом из нее вышел дух... Все! Кончено! Все в помойном ведре!

— Я же не говорю, — резко отвечала ей Шура, — что не было какого-то мужчины и что из кого-то не выходил дух. Я про фантазии моей дуры сестры. Она всю жизнь наворачивает в своей голове такие сюжеты, что можно подумать, ей больше нечего делать.

— Я выбросила мозги в ведро, — гордо отвечала Зара, — я выбросила туда имя Митя и закончила тему. Хотя почему не пойти и не спросить правду, я не знаю... Две минуты — и решение вопроса. Она сейчас в разуме.

— Нечего вытаскивать покойников из их могил, — твердо отвечает Шура.

— Хорошо! Хорошо! — кричит Зара. — Это мое пожелание тоже в помойном ведре! Ты можешь быть довольна, я подчиняюсь тебе, как ваш Иванушка-дурочок.

И она уходит от нас обиженная, а мне неловко, что это из-за меня. Приехала и устроила. Не хватало мне чужих скандалов, хотя, видит Бог, я не понимаю, что уж такого в моем любопытстве?

— Ладно, — отвечает Шура. — В конце концов, это наша история... Если уж приехала — сходи.

Я бурно не соглашаюсь. Зачем это мне надо, кричу я. Зачем? Просто взбрело в голову. Моча ударила, — помнишь, Шура, так говорила бабушка о дурных делах: ударила моча.

— Но ударила же, — печально говорит Шура.

— Ну прям! — возмущаюсь я и иду.

Я уже иду... Я уже на другой стороне улицы. Я открываю калитку и топчу тропинку, посыпанную желтым-прежелтым песком-иностранцем.

Мне вслед что-то кричит Шура.

Что-то Зара.

Залаяли собаки, захлопали двери. А что вы хотели: я ведь на самом деле на всю деревню ворошу покойников.

Она не подготовила меня, Зара, к встрече с Л. Юрченко. Надо было сказать, какая она старуха, какая она лунь, как высохла ее плоть. Я нервно считаю ее года. Ну, приблизительно, исходя из всего... И нахожу, что ей еще нет шестидесяти. Странное ощущение, что она не была молодой никогда. И мне не за что ухватиться, чтобы войти в ее далекое-далекое и подсмотреть.

— Вы меня извините, — говорю я. — Я из семьи Мити.

Она открыла дверь, приглашая меня войти. На стене висел увеличенный с фотографии на паспорте портрет Мити. Сразу после войны они тучами ходили — увеличители портретов. У меня есть собственный, тайком от мамы заказанный бабушкой. Я на нем школьница, с белым гофрированным бантом под шеей. «Художники» на свой вкус вздыбили мне волосы на темечке и дотошно выписали улыбку. Она у меня виновато-нахальная, как сказала бабушка: «Ты тут себе на уме». Был сделан и портрет Шуры. Маляры от фотографии нарисовали ей круглые глаза, они так старались передать их огромность, что явно переборщили, получились не глаза, а пуговицы для тяжелого зимнего пальто, мощные пуговицы, которым надлежит держать стеганные полы.

Бабушка спрятала Шурин портрет глубоко в комод. Сейчас он у меня дома, и Шура мне на нем нравится. Ведь она на самом деле держатель всего и вся, так что мастеровые не так уж были и не правы.

Я поразились Митиной молодости на портрете. Наверное, это случилось от потрясения старостью женщины, от сравнения, наконец, с собственной уже неюностью. Митя был на портрете лукав, как будто предвидел этот мой приход через время.

— Как ваше отчество? — спросила я.

— Меня зовут Любой, — ответила женщина. — Отчество я сроду не носила.

— Я помню, как вы приезжали к нам с Митей, — сказала я. — Бабушка ходила к вам в дождь ночью.

— Откупалась, — ответила Люба.

— Вы можете мне это рассказать? — спросила я.

— А что рассказывать? Ваша бабушка сказала, что вернулась с фронта его жена контуженая. А я, мол, кровь с молоком. И найду другого.

— Понятно, — улыбнулась я. Делался упор на основополагающую Митину черту. — А что было потом?

— А потом она его отравила.

Я сказала ей, что моя сестра Шура осуждает меня за то, что вторгаюсь в прошлое, что живая жизнь, по ее мнению, не любит, когда возвращаются назад и перекапывают ее русло.

— Я с ней согласна, — ответила Люба.

Она говорила глядя через мое плечо, как будто именно за мной стоял ее собеседник, ему, не мне, предназначались странные движения пальцев, мелкие, изящные, будто она перебирала ноты на округлом инструменте, лежащем у нее на коленях.

— ...Это сейчас автобус, — говорила она. — А тогда ехали на «кукушке». И пешком. Он только приедет — и сразу надо обратно. Мы иногда с ним прямо на приступках в хату любились... Не было времени, чтоб в доме и как у людей.

...Я его далеко провожала...

...Иногда мы с ним сворачивали в кусточки и любились уже на каменной земле. Видите? — Люба в одну секунду подняла кофту, повернулась, и я увидела под лифчиком кривой, плохо зашитый шрам. — Это я напоролась на стекло. Митю посадила на машину, сама иду, а с меня кровь кап-кап... Зашла к Вале, нашей медсестре, она увидела, как закричит...

...Я ее успокоила, сказала, что живучая и боли не боюсь. Она мне скобки поставила, у нее остались от коровы, когда та распорала проволокой себе вымя...

...Хорошо зажило, быстро, правда, спину сильно стянуло, и я стала дергаться... Мне все время хотелось кожу спрятать...

...Но ничего... Привыкла...

...Митя, правда, когда увидел, просто зашелся. У него случился испуг на «если бы...». Ну не случилось же...

...С тех пор я брала с собой в поле одеяльце, оно и сейчас живое. Не могу выкинуть. Оно пахнет Митей и ржаным холодком.

...А может, это мне кажется? Митя особенно пах. Он курил хорошие папиросы, «Казбек». И пах хорошо. Чистой водой... Знаешь, — страстно сказала она собеседнику за моим плечом, — знаешь...

Меня всю как бы размазали по стеклу, лишив формы и содержания. Я ведь не умею говорить на такие темы, в моем лексиконе просто не было слов *про это*. Но в меня впились слова о ржаном Митином холодке, о запахе чистой воды, все это смущало не фактом существования, а фактом говорения. Женщина же торопилась вспоминать Митю страстно, подробно. Чувственно... И лицо у нее при этом было странное — напряженное, дрожащее... Она как бы была в той лесополосе, посаженной державным повелением против ветров, а оказалось, для греха... Для греха!

Люба все говорила, и я не могла уйти. Сколько это могло продолжаться — ее воспоминания и мое нетерпеливое смущение.

Я остановила ее:

— Извините, Люба...

— А... а... а... — последним звуком кончилась женщина. — А... а... а...

На чем она себя перекусила?

— Извините, — повторила я. — Меня, наверное, потеряли...

Одним словом, я бежала суетно, стараясь не зацепить ее глазом. Когда ненароком зацепила, передо мной стояла старая, заплетенная морщинами старуха, играющая на округлом инструменте.

Зара зажала меня своим большим горячим телом в уголке летней кухни.

— Ну? — спросила она.

— Узнала некоторые натуралистические подробности. Все-таки, — сказала я с чувством, — даже подруге я такого не скажу!

Зара выпустила меня из жарких объятий, и в этом ее отпускании я ощутила презрение. Меня это царапнуло. «Мясниковское сестринство, — подумала я. — Они заодно просто по факту прописки».

Ведь Зара мне нравилась, мне хотелось, чтоб я ей тоже... А она меня, считай, оттолкнула.

Шура же упорно меня ни о чем не спрашивала.

Когда уезжали, Люба стояла на крыльце, от него бежала желтая дорожка песка, и я подумала, что песок не такая уж редкость на этой земле, даже если он чисто вымыт.

Я не собиралась больше встречаться с Фалей, но она сама пришла на вокзал меня проводить. Вручила донской джентльменский набор. Бутылочку «Пухляковского», рыба и домашнее варенье из райских яблок. Это было мило с ее стороны, но смутило: я ведь к ней приходила без гостинцев и даже прощаться не собиралась, а нá тебе... Получалось, она — щедрее...

— Жаль, — сказала я, — что я так и не увидела Ежика. Фаля промолчала.

Время стремительно сыпалось в одну ему известную щель. Так работает грохот, отделяя мелкое от крупного, одновременно подтачивая большое. Смысл грохота — спустить к чертовой матери все и затихнуть в пустоте. Я замечаю собственное трясение, знаю, к чему это — к выходу, выходу! Великое бессилие *быть* перед могуществом *кануть*...

Умерла жаркая Зара. Шура подумала-подумала и оставила себе Зарин дом. Теперь туда ходил рейсовый автобус, Зарино подворье обозвали «дачей». Шура написала: «Приезжай! Так завязался виноград, что в августе не будем знать, куда его девать». Я сумела вырваться только в сентябре...

Эта женщина, Люба, поди, совсем, совсем старуха, если вообще жива. Да и Фаля тоже. Сестра никогда о ней не писала, да я никогда и не спрашивала... Ежик... Уже вполне пожилой господин... И нахлынуло это старое, далекое, все в запахах и вкусе, как вчерашнее. А живее всех живых — Митя...

«Митя! — говорю ему я. — Я уже старше тебя почти вдвое! Как тебе эта хохма?» — «Не бери, птица, в башку, — смеется он. — Вся жизнь — сплошная кажимость...»

Все придумываю... Все... Что я вообще могу знать о Мите истинного? Но, видимо, это свойство породы — заронить в душу другого семечко, и уже этот другой холит и нежит это чужое в себе диво. Митя во мне высидил сад.

Пала ли я в кого семечком? Проросла ли?

Шура прямо с вокзала повезла меня в деревню.

— В городе все равно нет воды. Набираем ванну с ночи, так и живем.

Шура в моих глазах изменяется скачками. Кажется, совсем недавно я ее видела светлой седоватой шатенкой. Сейчас она седая полностью и, что называется, с вызовом. С вызовом тем, кто колготится с краской и пергидролью. Мне она нравится в этом своем вызове; интересно, знает ли она, догадывается, как я ее люблю? Она скажет на это: «Я стараюсь без этого обойтись. Нежность — скоропортящийся продукт. Мы — сестры. Это не любовь, это судьба».

В доме Зары остался ее дух. Я сказала это Шуре.

— Вот несчастье, — ответила она, — я держу в доме сквозняк, держу!

— Да нет же! — кричу я. — Я не о запахе. Я о духе.

— Я человек неверующий, — отвечает Шура. — А запах есть. Пахнет старой армянкой. И ничего тут не поделаешь. Внедрилось в стены. Нужен капитальный ремонт. Но ты знаешь, откуда у моего руки растут...

Наискосок, на месте Любиного домишки, двухэтажный кирпичный бастион. Спросить?

— А эта... Люба... Что с ней?

Шура пожимает плечами:

— Понятия не имею.

Вижу, что врет. Но я только с поезда, я только переступила порог, для меня стоит целое блюдо оглушительно пахнувшей «Изабеллы». Я чуманею от одного натюрморта.

— Как там Фаля? — спрашиваю я, но это уже после обеда, когда нет сил двигаться, как не было их отказаться от вкуснот, и надо встать и идти куда-нибудь, идти, чтоб победить в себе то, чего больше всего хочется, — лежать и лежать.

— Я у тебя спросила про Фалю, — лениво повторяю я.

— Да ну ее, — машет рукой Шура. — Старая ведьма. Просила тебя зайти.

Только на второй день пошла я прогуляться к дому-бастиону. Румяная молодайка с откровенным деревенским любопытством тут же возникла у калитки.

— Ищете кого или так? — спросила она, жадно ощупывая мой неказистый, но неместный наряд. — Эта юбка у вас китайская? Они говнисто шьют, но материя без химии...

Нечего стесняться задавать вопросы, и я задаю:

— На этом месте когда-то жила моя знакомая. Люба Юрченко.

— Она уже давно умерла, мы подворье оформляли как ничейное... У нее ж ни родни, никого...

— А где ее похоронили?

— На кладбище, где ж еще? Не в мавзолее же... На дальнем склоне. Но точно я не знаю. Что на дальнем — знаю... Армянка покойная к ней ходила, а потом криком кричала за свои больные ноги. Это ж сначала вниз, а потом вверх. У нас же не жгут, всех в землю... Прямо горе... Людям же строиться хочется, а места нету. Все захватили мертвые.

— Это у нас-то места нет? — засмеялась я.

— Получается! — вскрикнула молодайка. — Стоймя бы уж ставили покойников, как евреи... Или, на крайность, сидья... А то ж навьютяжу... В длину... Это ж большой получается метраж.

Румяная женщина... Просто прелесть... Русская красавица... Наше достоиние... Ну что ей на все это сказать?

— Спасибо, — говорю я. — Я схожу на кладбище.

— Убедитесь сами! — кричит она мне вслед. — Убедитесь!

Я с трудом нашла могилу Любы; собственно, я не нашла и уже уходила, но шли мужики-копатели, податые, добрые, они и показали место. И даже сказали какие-то слова, что, мол, вполне хорошая была старуха, ну, с легким прибабахом, так кто сейчас без него? Нормальных нет — *ваще!*

— Я, например, — сказал один, — я, например, курей не ем. У меня сразу возникает в голове замечание, что это как бы я сам... Ничего смешного! Я ж понимаю, что дурь, а в момент еды не понимаю... А вот Коля... Коля боится летать на самолете. Правда, ему не приходилось... Но мало ли... Но он боится... И у вас тоже есть свое, просто можете не признаться... Чего это ради, скажете вы, я буду им признаваться? Кто они мне? Правильно я говорю или нет?

— Правильно, — засмеялась я. Потом я пожалала их каменные, грязные лапы, что их очень расположило ко мне, и они даже предложили помянуть бабушку Любу, если я выделю соответствующие средства. Я развела пустыми руками, на «говенной юбке» карманчик тоже не оттопыривался, взять с меня было нечего, кроме душевного разговора. Но он, кажется, тоже иссяк, а на подъеме возникли люди с цветами, солидные люди, не то что я, мужички мои шустро пошли им наперерез.

Люба умерла уже пять лет как. Могилка ее была проста — холмик с конусом и крестик на нем шапочкой. Я оборвала сорную траву, которая забивала стихийные ромашки, удивилась собственной печали, объяснила ее тем, что как бы пришла к собственной могиле, ведь как всякий колокол звонит по тебе, так и чужие холмики стоят тебя дожидаячи. Ну как тут не запечалишься?

Возвращаясь, решила, что к живой Фале схожу тоже. Это будет справедливо.

Попала я к ней накануне самого отъезда, все мои мысли были уже дома, и я пришла к ней, ведя себя силой. Я знала, что сын ее, Ежик, часто бывает в Москве, но не заходит же! Шура сказала, что муж Фали умер от инфаркта, что Фаля живет одна, не ладит с невесткой и балует деньгами внука.

Она была суха и стара, майор медицинской службы. Но обслуживала себя сама. В крохотной квартирке ее было опрятно, на подоконнике вовсю цвели разные цветы.

— Из-за них поменялась на первый этаж, — сказала она, — на первом всегда хватает напора воды.

Я спросила ее про внука. Фаля отогнула угол скатерти и достала фотографию, запаянную в целлофан. Она что, всегда держит ее на столе или специально для меня положила, чтоб не искать долго? Я надела очки и повернулась к свету.

На меня смотрел Митя.

— О Господи! — прошептала я. — О Господи!

— То-то! — ответила Фаля со странным удовлетворением. Она взяла у меня фотографию и сказала с иронией: — Родился, и все пошло по новой...

— Что пошло? — тихо спросила я.

— Все, — ответила Фаля. — Такая ядовитая оказалась генетика... — Она посмотрела на меня с легким отвращением. — Ты не знаешь, почему мне выпало любить их без памяти? Не знаешь, за что мне этот крест — любить то, что я ненавижу? А? Никто не знает... Этот, что на небесах, ставит на мне эксперимент?

— Да бросьте, Фаля! — говорю я. — Митя был чудный, его любить — счастье, а если у вас внук в него, так это ж такое везение. Для меня Митя...

— Ах! Ах! — воскликнула Фаля. — Ты-то тут при чем? Ты, что ли, за него замуж ходила? А пошла бы, может, еще и не то сказала бы...

— Сколько лет прошло! — рассердилась я. — Вы и второй раз замуж сходили, второго мужа похоронили.

И снова она посмотрела на меня не просто, а странно. Осуждала ли, что я приплела второго мужа? Или понуждала самой постичь эту ее странность — любить то, что ненавидишь? Но так не бывает, это чепуха, такого не может быть именно потому, что быть не может.

И в то же время я как бы сразу и признала: может быть, и так... Я стала искать в себе это же, даже глаза прикрыла, ныряя глубоко и испуганно, и не то чтобы узнала в лицо эту дикую помесь собственной любви-ненависти, а как бы почувствовала ее на вкус.

Я рассказала Фале, что была на могиле Любы и что когда-то, когда-то встречалась с ней.

— А! — сказала Фаля равнодушно. — А! Она была счастливая, она была сумасшедшая.

Нет, мне не хотелось с ней говорить о сумасшествии Любы. Хотя, конечно, вопрос, кто лучше — сумасшедший или убийца, — годился бы. И во мне даже что-то заколобродило, но я вовремя ударила себя в солнечное сплетение.

— Так что там у вас с внуком? — спрашиваю я.

— Он — Митя. Ты увидела это сама. А я уже никуда не гожусь, чтоб что-то изменить...

— Как это можно изменить? — засмеялась я. — Если внук похож на дедушку?

— С тобой трудно разговаривать, ты ничего не знаешь...

— Тогда расскажите, — сказала я.

— Твоя знакомая Люба была не просто безумная, она была дура... Единственная женщина, против которой я ничего не имела. Знаешь, наложила война, благодарность за спасение Мити, то, что она сама отступилась без всякого...

— Со всяким, — сказала я. — Бабушка продала свое пальто.

— А я — военный трофей... Привезла из Германии хирургический инструментарий... Цены ему не было, а сбыва его за бесценок... Чтоб Люба купила корову. Она тогда и тронулась, увидела столько денег, а у нее их сроду не было... Никаких... Вообще... Я их ей на стол вывалила и говорю: выбирай — Митя или деньги. Она как закричит. И стала сметать их в подол. Потом, когда Митя нашел ее по новой, он уже от нее отказаться не мог из жалости... Ездил вроде тайком, а на самом деле у всех на виду. На-

род на меня пальцем показывал: вон идет беременная дура, от которой муж бегаёт к ненормальной. Но у меня на Любу зла не было, а вот против Мити стало запекаться. Потом у него завелась инструкторша из райкома. Хромая по природе: нога у нее была короче. На высокой левой подошве ходила. Других я пропускаю — мелочи... Всех увечных на тело и на голову. Инструкторша же вонзилась в Митю всем, чем могла. Я устроила Мите бемс. Тогда он мне и сказал, что это у него не блядство, а глубочайшая жалость, до «сжимания сердца» к женщине, «которую Бог обделил».

— Так что мне? — кричала я ему. — Глаз себе выколоти, чтоб ты пристал к месту?

А он мне:

— Ничего тебе не надо, Фалечка! Ты войной битая... Это пуше...

Получалось, я проходила у него как инвалид войны.

Но мы тогда как бы и помирились. И я стала думать, что это есть такое. Может, извращение? Брать то, что хуже... Из жалости к этому худшему?..

И я простила ему райкомовку на толстой подошве, тем более ее взяла на какие-то партийные курсы в Москву. И знаешь, она после Мити очень хорошо вышла там замуж. Дурак мой радовался: «Она, — говорит, — ничем других женщин не хуже».

Знаешь, на чем я рухнула? На старухе, которая была старше его на двадцать лет. Такая великолепная бабка, из бывших аристократок. Манишки, лорнеты там всякие, пузо, прилипшее к позвоночнику, копытки в походке в сторону, как у балерины. Там не то что изъяна, там малюсенького брака не было. Только возраст... За пятьдесят... Ты вот сейчас в свои годы побежишь за мужиком, если он тебе кончик из штанов покажет? А они с Митей сразу нашли общий язык. Тут уже надо мной пошел общий смех. Именно надо мной, потому что ему все шло в масть... Его как все любили, так и любили. Ему все было можно, а я — дура, последняя в ряду. Вот тогда я и стала желать ему смерти.

А он возьми и заболей. И я даже виноватиться стала, что болезнь у него по моему вызову. Слух тогда и пошел... Ты же знаешь, что такое слух. Ваща сумасшедшая Зоя просто кричала на всю улицу, будто Митя потом приходил к ней и сказал.

Не буду врать... В конце концов, случилось великое облегчение. Великое. Я теперь точно знала, где он лежит и что я всегда найду его на этом месте. Большое счастье для женщины, у которой долгогуляющий муж... Награда, можно сказать... Но я, дура старая, забыла, чей у меня внук. А теперь хоть караул кричи... Ты мне нужна...

3

Теперь главное — вдеть в ухо серьгу. И повернуться этим помеченным ухом ко времени в расчете на то, что часовой, который стоит на вахте, в сумраке ночи не обратит внимания на остальное: на мое вчерашнее, отяжелевшее тело, на скарб всяческих разностей, которые я волоку с собой (женщина-волокуша), на всю мою нетутошность... Часовой должен клюнуть на серьгу...

В сущности, это главное — обмануть их раньше, чем они выкинут меня из своего времени с моим вчерашним днем.

Мне надо найти в Москве Митиного внука Егора, который бросил университет, вынул из бабушкиного треснутого кувшина заначку, отложенную ему же, дураку, на джинсовый жилет с восемью карманами, не считая ложных, и исчез, оставив записку: «Уехал в Москву».

— Найди его, — сказала Фаля. — Вот тебе список людей, у которых он может возникнуть.

Никто не обязан помнить подробности, которыми автор обременил читателя в начале сочинения. Поэтому смею намекнуть на бидон, что сто-

ит у меня на подоконнике. Можно в связи с бидоном вспомнить и мою вкусно пахнущую дочь, в которой летуче проявился дяди Митин ген, но так же легко и слинял. Так случается — входит в нас что-то чудное, взба-ламучивает внутренний порядок вещей и исчезает, оставляя ощущение тоски, когда ты раззявил свою варежку на одно, а тем временем что-то другое — нужное, важное — щекотнуло тебя легким перышком и исчезло.

Одним словом, сейчас как раз время бидона. Это сейчас мне надо найти в Москве Митинового внука и вернуть его бабушке, которая, что бы там ни говорили злые языки, не убивала его дедушку, а просто люто ненавидела в нем то, что любила. Так она сказала сама.

Время бидона — время распада всех связей, а родственников в первую голову. Давным-давно, охая над каким-то очередным неожиданным разводом, я услышала от своей подруги:

— Чего ты кряхтишь? Ну не выдерживает семья давления системы, ну нет у нее на это сил!

И я вижу эту семью-бубочку, по которой катается-валяется Система. Ну, закатись в щель, лапочка, ну, схоронись, где можешь, от колес времени.

Уже нет той системы, а семья-бубочка все трещит и трещит под ногами... Я думаю про этот треск и хруст в связи с самой собой. Я не хочу искать Егора. На Мите кончилась *моя* история. Я положила цветочки на его могилу. Я вырвала траву на могиле блаженной Любы. Я сделала больше, чем, казалось, могло вместить мое сердце: я почти полюбила Фалю. Во всяком случае, поняла ее. Я сделала это за маму, за бабушку, за всех, кто горячо, до крови, жил в том, Митином, времени.

Сейчас же мне нужно, чтоб кто-то понял меня в этом моем нежелании связывать семейные концы.

Тогда зачем же я вдела в ухо серьгу?

Не хочу, а делаю? Или во мне этот вчерашний принцип подает сигнал, что я как бы отвечаю за все?.. Господи, за себя бы ответить, с собой бы разобратся.

Не буду искать Егора. Не буду. Он мне никто. Я не видела его ни разу в жизни. Он стрельнул в меня глазом с фотографии, ну и что? Мало ли...

Я меняю воду в бидоне, вода из крана бежит чуть-чуть, обмелела Москва, выползла наружу грязными боками. Так напоказ, распластанно лежишь после родов, ждешь, когда подметут тебя синькой-зеленкой. И тебе до того все равно, до того пофигейно, что это можно принять за умиротворение и покой, но это не то... Просто вся вышла...

Не буду я никого искать. Не буду. Не в том я возрасте.

А однажды мне позвонили в дверь. И во весь могучий рост встал главный вопрос современности: открывать или не открывать? У меня нет глазка, и я кричу через защиту убогих — дерматин и дээспэ. Я кричу тонко и пугающе:

— Кто там?

— Тетя! Это я. Егор. Ваш родственник...

Только дураки думают, что так не бывает. Только так и бывает. В сущности, всегда случается то, чего ты ждешь. И нет ничего сильнее тайных помыслов, ибо они-то сбываются непременно. Я это давно знаю, поэтому боюсь плохих мыслей, которые в одночасье могут пронзить тебя насквозь до момента наслаждения. Эти мысли из самой твоей требухи, которую ты всюю окутал, спрятал воспитанием и «понятиями». Требуха же без понятий. Зато она все про тебя знает лучше, чем ты сам. И она готовит тебе на взлет подлое желание, от которого ты, конечно, немедленно отречешься, но какой же рыбицей оно в тебе всплеснет, каким всполохом взиграет, как покажет тебе твою же рожу, с виду такого порядочного, такого хорошего человека. Бойся требухи, в тебе лежащей.

Голос мальчика Егора за дверью, конечно, не тот случай. Он из других, внутренних сигналов, которые назовем «последней каплей». Ты со-

мневаешься, прикидываешь, химичишь с весами жизни, ты, как плохой ученик, подгоняешь ответ — вот тогда и капает на тебя последняя тяжелая капля... И ты делаешь то, что делаешь.

Явление Егора мне.

Я открываю дверь и заполошенно, забыв, кто я и где, кричу:

— Митя-я-я!

Ведь была проделана фотографическая подготовка, уже была явлена мне в доме Фали карточка.

— Митя! Митя! — кричу я, обнимая мальчика. Время встало с ног на голову, и это я его сейчас понесу на руках, как нес меня когда-то его дедушка к кадке с водой и называл птицей.

Он покровительственно, но и нежно гладит меня по плечу.

— Я Егор, тетя. Вам кажется. Я на деда не похож... Я совсем другой...

— Заходи, — говорю я ему. — Я чуток спятила.

— А Ленке можно?

Она стоит возле лифта, девочка с рюкзачком. Такая точно приезжала ко мне из Питтсбурга. У нее было семинарское задание — познакомиться с разными московскими филологическими людьми. Она положила на колленку тетрадочку и стала записывать за мной открывание моего рта. Я поняла, что самый большой ее враг — бойкость моей речи, и пошла ей навстречу.

— У нас де-мо-кра-ти-чес-кие пе-ре-ме-ны. Пе-ре-ме-на — это ког-да од-но ме-ня-ет-ся на дру-гое. На-при-мер. Ши-ло на мы-ло.

Дальше пришлось объяснять ей уникальную неповторимость такого рода перемен-обмена, так сказать, нашу русскую ментальность, будь она проклята.

Девочка знания схватывает на лету.

— Достоевский! — кричит она, уловив где-то слышанное, что у русских-де не как у остальных.

Самое то. Шило, мыло и Достоевский. Я попала в зыбучие пески. Спаситься от объяснения русскости перемен можно, только покормив ребенка. И я ее кормлю чем Бог послал. Ест с аппетитом. Потрясение — подсолнечная халва нецивилизованным куском, шматом.

— Ковыряй! — говорю я Джейн.

— Ко-вы-ряй? — спрашивает она.

Я показываю, что это значит.

— О! — восклицает американочка.

Мы постигаем друг друга, ковыряясь в тунгусском метеорите полтавской халвы. Тень Достоевского обиженно отступает.

Иди отсюда! — говорю я тени. Ты через раз сидишь в кухнях, где русские объясняют жадному до всего американцу твою суть. Дай нам просто поесть халвы. Видишь, девочке нравится ко-вы-рять.

Достоевский, как человек культурный, линяет, а тетрадочку с записями мы больше не открываем.

Так вот, Ленка у лифта — чистая питтсбургская Джейн.

— Заходи, Джейн! — говорю я ей.

— Я Егор, а она Лена, — ласково поправляет меня мальчик.

— Кто вас разберет? — отвечаю я.

Сначала они вдвоем толкутся в ванной... Ладно... Пусть... Я, конечно, не понимаю, почему нельзя вымыть руки по очереди, но у меня в ухе серьга. Она у меня ретранслятор с «ихнего» на «мой». Серьга говорит: «Если они останутся ночевать, стели вместе... У них так принято... И не спрашивай паспорта...» О Боже! Серьга, ты спятила...

Они вышли из ванной с мокрыми чубчиками. Я гремлю в кухне и рассказываю им про Джейн. Ту часть, что про халву. И другую...

Дело в том, что с Джейн связана не только халва. Когда девочка маленьким гребешочком расчесывала свои слабенькие волосики, уже собира-

ясь уходить, выиграла сентиментальность моей природы, которую я старательно прячу, потому как стыжусь. Видите, как я написала? Гребешочек, волосики... Это уже сыпь, и полагается принимать меры. И я гикнула что-то бодрое в виде «пламенного привета родителям». Девочка повернула ко мне свою дитячью сытую мордочку (сыпь!) и сказала, что папа и мама ее украинцы, что мама — «пароходская девочка», родилась в сорок пятом у родителей, которых угнали в Германию, а они потом после войны развернулись, так сказать, в сторону Америки. «Откуда же твоя мама?» — спросила я. «Друшбовка», — ответила девочка. А когда она ушла, я, моя чашки, скумекала, что нет никакой Друшбовки, а есть Дружковка. Делают там посуду, и от моих родных мест это рукой подать. Через «Друшбовку» бегал тот самый паровозик, что возил Митю к Любе. В «Друшбовке» жили какие-то дядья со стороны дедушки, и всех их, в отличие от нас, сильно помолотила война. Семьи почти не осталось. И хоть ничего я не знаю про угнанных в Германию барышень из этого рода, можно ли считать случайным такого рода попадание? Или глобальная подлунная связь людей и земель не бывает просто так, а дана нам для осмысления чего-то важного по отдельности?

Эту недалеко закопанную мысль я и предъявила детям, усаживая их за стол и грея чашками.

— Вот из этой чашки она пила, — говорю я и смеюсь над многозначительностью фразы. Не так надо было. Иначе. Вот вам, ребята, чашки, из которых кто только не пил.

— А адрес у вас есть? — спрашивает Лена. — Ну, если вам поехать или кому... Они вам там поставят?

— Не сомневаюсь, — быстро отвечаю я. — Просто ни на грамм не сомневаюсь.

Но девочка сбила меня с панталыку. История для начала чаепития как-то опасно крунулась, разворачиваясь совсем к другому. К ненавистной мне теме «трех хлебцев».

— Три чашки, три хлеба — и гуд бай! — объясняла мне тамошнее гостеприимство одна бурно путешествующая подруга. И я ей, как Ленин, втолковывала о двух культурах угощения и приема — не плохой и хорошей, а разных по происхождению.

Ни Боже мой! Я и слова не сказала это нынешним своим гостям. Ни слова. Я выныривала из ситуации при помощи неохватного нашенского любопытства.

— А что вы тут делаете? В Москве?

— Да так, — сказал Митя.

— Да так, — ответила Лена.

— Ну и хорошо, — согласилась я с этим как бы ответом. — Давайте пить чай...

Я кормлю их. Митя ест жадно, хорошо — голоден! — Лена же ковыряется и не ест ничего.

— Я не ем некошерного, — говорит она мне, прямо глядя в глаза.

— Господи Иисусе! — кричу я. — Откуда же я знала. Ты такая верующая?

— Да нет, — смеется Митя. — Это она так.

— Ничего себе так, — отвечает Лена, и встает из-за стола, и приносит пачечку печенья, на котором черным по белому написано «Юбилейное».

— Оно кошерное, — говорит она.

Ладно. Пусть. Возможно, кондитерская фабрика уже приняла иудаизм. Не мне их судить там или восторгаться.

На мне серьга. Я учусь не удивляться. Но неужели девочка — еврейка? И я пялюсь на ее высокие калмычские скулы, на утопленные под крутыми надбровьями серые блестящие глаза, на всю ее русскую «самость», которая уж если есть — то есть, всплеснет, взбрыкнет, но проявится-объявится непременно. С другой стороны, все может быть... Полукровка, в которой победило одно начало, в следующем поколении победит другое.

И вообще — не мое дело. Разберитесь, мадам, с вашей собственной верой, которую вы во взрослом виде заглотнули до поперха, до задыхания, а пока приходили в себя, не заметили, как церковь, куда тайком приходили плакать и стыдиться, стала толковищем, где уже не поплачешь, потому что обтопчут.

Последнее время я хожу в церковь только в дни поминовения. Я ищу в храме самое одинокое место, потому что боюсь людских пересечений, ибо не нахожу в церкви благодати. И мне — к несчастью — не встретился священник, которому я захотела бы исповедаться. У меня с Богом личные, можно сказать, приватные отношения. «Бог! — кричу я ему поверх голов его клеветов. — Я желала сегодня позора для русской армии в Чечне. Вчера и третьего дня я желала того же. Может, мне честнее уйти к чеченам и принять магометанство?» — «Не морочь мне голову, — отвечает Бог. — От твоих криков поверх голов у меня помехи... Хочешь к чеченам — уходи. Я-то тут при чем?» — «Но как же? — говорю. — Я ведь православная!» — «По этому вопросу — к попу Евдокиму». — «Не надо мне твоего Евдокима. Что он — умней меня?» — «Ну, тогда к Чубайсу». И я слышу Его смех.

Я захлопываю дверь в небо. Не хочешь разговаривать — не надо. Но или я буду орать тебе непосредственно, или уйду в одичание. Нет для меня подходящего Евдокима Чубайса. Нет — и все.

Поэтому не мне судить этих пришлых чужих детей. Прости, Господи, мою нищету и скудоумие перед малыми. Они, как сказала бы бабушка, драгут меня.

Я — хороший для этого объект. Можно сказать, сумасшедшая в откате. Это значит, что все считают меня нормальной, но я-то знаю...

На уголке кухонного стола девочка щиплет печенье. Указательным пальчиком цепляет с блюдечка крошки. Хочет же есть, балда! Хочет! Но терпит. И я не знаю, какая степень голода собьет ее с толку.

Кроме высоких, можно сказать, божественных вопросов остаются низкие, бытовня, одним словом.

— Как у вас с ночевкой? — спрашиваю я.

— Можно, мы придем?

— Можно.

— Тогда мы придем.

Они сматываются по-быстрому, оставив мне два вопроса: не знаю, когда придут, и не знаю, как им стелить, чтоб поступить грамотно.

В моем коридоре остается маленький рюкзачок. Я хожу вокруг этого овеществленного события и думаю: позвонить Фале и сказать, что Митя нашелся? Или?

И выбираю или.

Я удивляюсь себе самой. Получается, что этим самым я беру на себя всю эту историю и все последующее за ней, пренебрегая тем, что где-то беспокоятся родители Мити, и, может, в этот момент у матери Мити плохо с сердцем, и она стучит горлышком флакончика от валокордина по ребру стакана, а капли, как всегда бывает в этом случае, торопясь на волю, устраивают у выхода затор... Что бы ей, сердечной Митиной маме, перестать трясти рукой, а усмириться... Но колотится, колотится флакончик.

Что-то меня в этих каплях, в тайном моем молении, чтоб они накапались спокойно и точно в стакан мамы Мити, сбивает с мысли.

Собственной дочери я выдала — по телефону — информацию дозированно: мальчик и девочка остановились проездом. Мальчик — наш дальний родственник.

— Ты когда-нибудь усвоишь понятие прайвести? — закричала на меня дочь.

— По буквам, — попросила я.

— Нет, давай я лучше объясню на пальцах! — закричала на меня дочь. — Тебе не одолеть грамоты.

— И все-таки я буду постигать смысл по буквам, — сказала я. — Целиком мне его не заглотнуть.

— Спрашиваю: надолго нашествие? — не унимается дочь.

— Пока не кончится «Юбилейное» печенье, — ответила я и положила трубку. Пусть злится, пусть. Но ведь много она слушать не захочет: по ее мнению, я всегда сообщаю много лишних подробностей, но как быть, если жизнь только из них и состоит? Одна только смерть освобождает от лишнего. Приходится выбирать — малу кучу лишнего жизни либо сухое отработанное вещество смерти. Это я так бы ей сказала, если бы моя дочь меня спросила. Но она не спросила. Возможно, она тут же забыла о мальчике и девочке как о чем-то лишнем...

А привести, моя дорогая, или как там это пишется, идеальное выражение смерти. Торжество отделения.

Вечером они пришли уже втроем. Привели с собой мальчика Сережу с серьгой в ухе. Моя мысленная серьга звякнула в знак приветствия.

Сережа был совершенно раскован и сел на пол.

— Я же живу на вокзале, — объяснил он. — И сплю на полу. У меня на жопе может быть всякое. Зачем же я вам буду это переносить на диван?

— Может, поможешь? — предложила я.

— Телом я чистый, — ответил он. — Меня вокзальные мойщики из шланга по утрам поливают. Такое шикарное получается шарко, будь здоров!

— Твой-то хоть родители знают, где ты? — спросила я. — Митины вон не знают.

— Митя — это я, — пояснил Егор. — Тете так нравится.

— Ты просто вылитый дедушка, — говорю я.

— Вот горе! — вздыхает Митя. — Я другого дедушку знаю. Того я даже на фотографии не помню.

— Ну, не ври! — говорю я. — У вас есть альбом.

— Может, и есть... Там много всяких родственников. Разве упомнишь?

Сережа ночевать не собирается. Он дорожит вокзальным местом. Уяснив это, я оставляю детей одних в комнате. У мужа ночное дежурство, и я освобождена от потребности оправдывать перед ним ситуацию. Дети говорят громко, и я все слышу. Есть некая Вика и ее бабушка, которая умрет тут же, как только Вика решит спрыгнуть с самолета.

— Не умрет, — говорит Лена. — Эти вечно умирающие старухи живее всех живых.

«Жестокая девочка», — думаю я себе.

— А если умрет? — говорит чистый телом Сережа. — Вика ж себе этого не простит.

— Человечество давно вымерло бы, если бы считало себя виноватым за тех, кто умирает. — Это опять девочка. «Митина девочка», — сигналил мне сердце.

— Надо сделать обманный ход, — предлагает Митя. — Что-то повесить им на уши... У тети, — (у меня), — муж врач. Попросим какую-нибудь болезнь напрокат.

— Ну и кто ж Вику одну тут оставит? — отвечает Сережа. — Ее здоровье застраховано всеми банками и синагогами. Я ей предлагаю простое дело: я за тобой поеду. Я даже согласен, пусть мне сделают чик-чик...

— Привет! — кричит Лена. — Не стоит хера.

— Уехать охота, — говорит Сережа. — Если она на мне женится, то мы сгоняем в Израиль, а оттуда куда-нибудь подальше...

— Ты дурак! — кричит Лена. — Оттуда никуда. Сейчас здесь возможностей больше. И учат тут лучше. Это стопроцентно.

Я успокаиваюсь. Все просто. У Сережи проблемы с отъезжающей в Израиль девочкой, но он мне — никто, значит, я про это не думаю. У отъезжающих евреев девочка Мити взяла поносить «кошерность». Или для

экзотики. Или просто так. Но она мне тоже никто. И я не буду брать в голову ее проблемы.

Мальчик же Митя — он мне как раз кто... Но он мне нравится. У него хороший аппетит и хороший нрав. В сущности, все замечательно. Я не люблю оставаться дома одна ночью, не люблю и не буду. Рядом будут дышать дети.

Дети ушли провожать Сережу и не вернулись.

Рюкзачок увяло лежал на домашних тапках моего мужа.

Из глубины памяти вышли и встали все ночи страхов моей жизни. Оказывается, их набралось приличное количество у немолодой женщины, которая не была, не состояла, не привлекалась.

Очень хотелось, сосредоточившись на собственном страдании, этих детишек переплюнуть. В смысле — мне бы ваши заботы. Не такое видела, не такое чувствовала, не в такое вляпывалась.

Я пыталась высадиться в свои собственные шестнадцать — семнадцать лет. У меня тогда тоже была поездка в Москву к тете на каникулы. Я спала на гипотенузе девятиметровой комнаты, а на катетах спали тетя и ее домработница. Треугольники «квартиры» являли собой гостиную, столовую, прихожую и кладовку сразу. Я лежала поперек и осмысляла тетин принцип: девушка, окончившая институт с отличием, обязана иметь домработницу. Иначе зачем проливались чернила? Она не была мне родной теткой, она была ростком совсем другой ветви рода, в котором ценились совсем другие вещи. Наличие домработницы, ежегодная поездка на курорт, строгое неукоснительное ношение туфель на высоком каблуке, невозможность иметь ничего общего с мужчинами «из простых» и др., и пр. Я спала на гипотенузе, ногами к домработнице Стюре. Уже не сообразить, сколько ей лет, но она до сих пор живет в той самой гипотенузной комнате, которую ей щедро оставила тетка, когда наконец нашла мужчину «не из простых», а из высокопартийных, и переехала в режим, при котором Стюра как должность полагалась по штату. Но эта, что спала на катете, не годилась, требовалась другая выучка. Царство небесное им всем. И дяде, и тете. Они погибли в автокатастрофе, а вот Стюра все еще жива, и я хожу к ней на Пасху. Она хорошо помнит прошлое, и чем давнее история, тем она ее помнит лучше. Каждый раз она напоминает мне, что у меня были деревенские пятки, которые она наблюдала из своей постели целую неделю. Господи! Каким же забитым и глупым существом я тогда была. Я туда-сюда ездила на метро и с тех пор, можно сказать, наизусть знаю старые станции. Я соврала тетке, что была в Мавзолее, — я там не была. Ни тогда, ни потом. Но сказала, что была, и даже приняла соответствующее выражение.

Так вот... Это единственная вольность моих шестнадцати лет.

Летали ли тогда туда-сюда девочки с рюкзаками? Вряд ли... Но если что и было, оно не могло в меня попасть и существовало в другом пространстве, в другой системе координат, где гипотенузы и катеты просто иначе выглядят. И ты их сроду не узнаешь в лицо, явись они тебе.

А тут... Пришли дети, а потом исчезли, оставив мне беспокойство. Но если они готовы запросто перемещаться по частям света, то что им Москва? Сидят где-нибудь на полу Курского вокзала, завтра их помогут из шланга. А потом, глядишь, они смоят эту воду в Средиземном море.

Дети не пришли ночью. Не пришли на следующий день. И на следующую ночь.

Я полезла в рюкзачок.

Почтая пачка печенья. Майка с буквами неведомой мне азбуки. Детектив на английском. Карта Москвы. Два комочка трусиков. Бумажка с двумя телефонами. Один из них — мой собственный.

И ничего больше. Понятно, что такое добро можно оставить где угодно.

Я набрала неизвестный мне номер с бумажки и, чтоб никого не испугать, вежливо так сказала, что Лена забыла у меня сушиую ерунду, но мало ли...

— Какая Лена? — спросили меня.

Я положила трубку. Я не знала, что ответить незнакомой женщине.

У современных телефонных прикамбасов есть одно умение — определять номер телефона тебе звонящего. У меня такого нет, и я, что называется, не брала это в голову. Но меня определили. Суровый мужской голос категорически предупредил меня, чтобы я никогда — слышите, никогда! — не спрашивала по нему ни Лену, ни черта в ступе. И трубка была брошена.

В хамском тоне содержалась информация: грубиян знал Лену, но одновременно знать ее не хотел.

И я набрала номер снова.

— Стойте! — закричала я ему. — Дети ушли от меня. От меня! Скажите, где они, и я забуду ваш телефон навсегда.

Он послал меня матом. Я взвизгнула и сказала, что отправляю его туда же. С эскортом.

— Они улетели, — сказал мне мужчина, и в его голосе уже не было никакого хамства. Это был голос измученного человека. — Они улетели домой, — повторил мужчина и положил трубку.

Если б он еще раз меня послал, я бы позвонила ему еще и еще раз. Но тон его голоса... Он был мне в пандан, он совпадал с моим беспокойством — беспокойством втравленного в ненужное ему дело человека. Было во мне и чувство вины перед Фалей... И злость на себя. В том же телефонном голосе было нечто большее. Или я ни черта не понимаю в жизни.

Я сидела над рюкзачком, эдакая клуша, побившая по дури собственные яйца. И думала плохое о молодых. «Какие сволочи! — думала. — Как в анекдоте: ни мне здарсьте, ни тебе спасибо. И дочь у меня такая же. Прайвести! Прайвести! Лучше бы научилась настоящий борщ варить, а то разгоняет по кастрюле эту чертову «Галину бланку»...»

Я сунула рюкзачок на антресоли. В эту жизнь я уже не прорасту. Но я ведь всегда это знала.

Будь здоров, новый Митя! Вряд ли свидимся...

Неожиданный звонок настиг меня через несколько дней. Звонил мужчина с тем странным голосом горя и раздражения. Я подумала: ишь, запомнил телефон. Но тут же себя окоротила. Его телефон я помнила тоже.

— Знаете, — сказал он, — я хотел бы с вами встретиться. Только давайте точно определим место. Самое простое место. Памятник Пушкину...

Он представился Михаил Сергеевичем и почему-то сильно за это извинялся.

— Ну и что? — сказала я. — У меня маму звали Надеждой Константиновной.

Я приготовилась к рассмеянию, но фокус не удался. Михаил Сергеевич сокрушенно покачал головой, сочувствуя моему несчастью.

«Ну что ж, — подумала я, — люди всякие нужны, люди всякие важны...» Я ждала главного: зачем? В конце концов, прервав скорбно-странную паузу по поводу фатальности имен и отчеств, я сказала:

— Я вас слушаю, Михаил Сергеевич.

— Видите ли, — сказал он. — Я не знал, что вы родственница Жоры. Я был груб, а у вас ведь естественное беспокойство.

Он кашлянул как-то в сторону, прикрываясь рукавом, а я подумала: что-то не то и не так. Как — не знаю, но так не поперхаются взрослые мужики, если они невиноватые и непросящие. Грубость по телефону, увы, не повод для вины, а просить ему меня как бы не о чем.

Но дальше стало хлеще. Он стал подробно рассказывать, как они учились вместе с Ежиком. Как потерялись во времени, а потом нашлись. Ездили вместе в Болгарию, когда дети были еще маленькие. Планировали общую Турцию уже в наше время, но случилась беда. У жены Михаила Сергеевича Тани обнаружили рак и срочно положили на операцию. Таня

оказалась духом слабой и сдалась болезни без всякого сопротивления. «Готовность умереть номер один, — так назвал это Михаил Сергеевич, — хотя случай по медицине заурядный, она, что ли, первая будет жить с грудным протезом?»

Вот тут и позвонил им Жорка. Спросил, не примут ли они на недельку Егора. Конечно, надо было сказать все как есть, но Таня взяла клятву: никому не говорить о ее болезни. Такой бзик. Своих мальчишек — «у меня двое, восемнадцать и десять» — он отправил к своим родителям в Кинешму. Из Павлодара приехала теща. «Приехала с воем. Надо было выгнать сразу, для Тани мать — противопоказание».

Но теща тут же решила, увидев, что Михаил Сергеевич как бы и не рад ей, что у него *кто-то есть*. Потому, мол, и детей отправил. Получалось, что Егору как бы и неплохо приехать в такой ситуации.

Теща ночью пошла дежурить в больницу, Тане делали первый сеанс химии. У Михаила Сергеевича от всего была такая депрессия, что он слинял к приятелю, жена которого уехала на дачу. Они хорошо погудели вдвоем, два затасканных жизнью мужика, а Егор возьми и приведи каких-то девок — или девку, он не в курсе. Утром те ушли, а следы женского пребывания оставили — волосы в ванной, еще какую-то херню, которую вынюхала вернувшаяся из больницы теща. Михаил же Сергеевич пришел утром от приятеля и лег, как срубленное дерево. Оправдаться не смог. «Я лежал на диване с этими самыми чужими кудрями. В запахах дезодорантов я ничего не смыслю. Они мне на один вкус». Теща же — надо же, какой сволочизм ситуации! — товаровед как раз по парфюмерии. Она все «вынюхала» и бегом к Тане.

— Она что, сошла с ума? — спросила я.

— Нет, — ответил Михаил Сергеевич, — у нее смысл жизни — доказывать всем и каждому свою правоту. По любому вопросу, даже не требующему доказательства. Солнце идет с востока, потому что она *так* знает. Каждый раз обьясняет: не забывай, солнце идет с востока, у вас по утрам будет жарко. То, что напротив нас стоит высоченная башня и мы солнца не видим вообще, — не важно. Я, по ее *знанию*, — ходок и хитрован. Она все время ругает Таню, что та мне верит, тогда как у меня *на лице написано*. Но у нее никогда не было ни одной зацепки, чтоб доказать наконец свою правоту. А тут — *на тебе!* Я побежал за ней в больницу, она меня стала позорить на весь этаж. «Женщины, — кричала она, — вы тут теряете свое тело, а эти кобельеры на ваших же постелях! Женщины!»

Самое невероятное, что все там ржали как кони. Меня это просто потрясло. Несчастные, перевязанные, умирающие, ждущие своего часа бабы хохотали, как на концерте Хазанова. Все! Кроме Тани. Таня решила, что смеются над ней. В общем, это так больно и страшно, что, попадись мне этот сопляк, я бы его удушил. Потом позвонили вы.

Оставим в стороне естественный вопрос: зачем мне это нужно? Чужое подробное горе. Ну с какой, скажите, стати?.. Об этом типе людей, ввергающих вас в варево неизвестных жизней, я так много знаю, что пора бы и поделиться, что я и сделаю со временем непременно. Я буду изголяться над чужими печальями, и вы не дождетесь моего нежного сердца. Сейчас же... Сейчас... Что-то было не так.

Половинки не сходились. Дети, которые были у меня, — приличные негодяи, так как исчезли не сказав до свиданья, но вообразить оргию с ними я тоже не могла. Михаила Сергеевича особенно заинтересовала «кошерность» Лены.

— Все сожрали, — сказал он. — И спали они друг с дружкой, точно. Теща не знает, а я позже нашел презерватив. Полный под завязочку.

— Давайте без подробностей, — сказала я. — Я дама старорежимная.

— Вот и теща мне кричит: «В наше время! В наше время!»

Мир без оттенков. Если ты не умеешь непринужденно с первым попавшимся мужчиной говорить о контрацепции, то ты дура райкомовка, у которой очень часто половое развитие заменяли чужие персоналки. О, как

они обогащали скудный личный опыт! Как беспредельно расширили горизонты возможностей невозможного наслаждения.

— Куда мы с вами пойдем дальше? — спросила я и добавила свое: — Это не похоже на Митю.

— Какого еще Митю? — не понял Михаил Сергеевич, и я вдруг почувствовала, что ему безумно, невероятно хочется, чтоб все это оказалось недоразумением. Ведь мог же случиться испорченный телефон и мы имеем дело с разными мальчиками.

Не было мальчика. Не было девочки. Не было тещи. Не было операции. Нету меня... Как мне хотелось подыграть ему, облегчить груз, и я сказала:

— У вас своих проблем полно. В конце концов, мальчик взрослый, если у него, как вы говорите, под завязочку...

Это я дернула себя за серьгу, о которой, считай, забыла. И потом, мне как-то не понравилось быть в глазах мужчины, пусть даже чужого, тещей. Нечего, господа хорошие, нечего! Не сбросите с моста!

— Проблем, конечно, более чем... Тanya совсем плоха, она умирает не от операции — от характера, от испуга...

— Но ведь есть чего испугаться, — сказала я.

Мы шли вместе по Страстному, хотя все уже было как бы сказано. Я не знаю, о чем думал Михаил Сергеевич, я знаю, что я думала о себе. В конце концов, даже если ты думаешь о рыженькой дочери Клинтона, это все равно о себе. У тебя, мол, дочь куда красивее, но с дурным характером, что есть справедливое возмездие за красоту. А неказистые — они чаще добрые, вот ты сама (в смысле я) ни то ни се. Это совсем плохо, так как не на что опереться в себе самой...

Впереди маячил рыбный магазин, и я мысленно уже была в нем, уже купила живую рыбу и уже готовила ужин.

— Я зайду в рыбный. — Я произнесла это категорически, как и должно говорить о важном — моменте покупки пищи.

Я выхожу с полиэтиленовым пакетом, в котором отчаянно бьются за жизнь карпы. Всегда, всегда... Суп для живого из чьей-то смерти. Ну так выпусти их, дура! Если такая добрая! Куда? На землю! Михаил же Сергеевич все идет и идет за мной следом, уже вниз к яме Трубной, где стоит мальчик со шпагой, долженствующий изображать остервенелость в нашей всегдашней борьбе. Мы безграничны в своей свирепости ее изображения. А вот этот легкий мальчик — нет. Его просмотрели, и он утешает меня в скорби по поводу гибели карпов и возвращает меня к Мите. То есть к Егору. Но все равно к Мите.

Потому что без всяких на то оснований я утверждаюсь в мысли: ночью в квартире Михаила Сергеевича *моих* детей не было.

Это не объяснить словами. Но как это говорится... У первого впечатления второго шанса нет. Так вот — у меня был *внук Мити*... Ну, не способен он сожрать всю еду и бросить под диван презерватив. У него на это нет природы. Он — другое дерево.

— Скажите, — спрашиваю я Михаила Сергеевича, — я запомнила: вашему старшему сыну сколько?

— Уже восемнадцать, — отвечает он. — Здоровенный амбал.

— Он у вас где?

— В Кинешме.

— Кинешма — это раз плюнуть...

— В каком смысле?..

— Во всех, — говорю я.

Он плохо соображает, этот всю жизнь подозреваемый мужчина. Просто совсем тупой. Но я не буду ему подсказывать. Тупые, как правило, драчливы — двинуть может. Я дернула серьгу, ах, умна ты, мать, сил нет...

— Звоните, если что, — сказала я ему и пошла по пересеченной местности бульвара к метро. Я уходила категорически, не оставляя возможности идти за собой.

Дальше было так...

Позвонила какая-то женщина и сказала, что если я хочу передать Шуре лекарство, то она уезжает вечером. Поезд, платформа, вагон... Зовут ее Мария Ивановна, она полная, на голове парик пятьдесят восьмого размера.

— Хорошо. Спасибо. Я приду, — ответила я, удивляясь опознавательным знакам. Стала бы я о себе такое? Что-нибудь элегантно набуровила бы — типа «на мне косыночка беж и книга Манделъштама (Кристи, Лимонова, Волкогонова, Губермана, Христопродавенко)» в зависимости от уровня элегантности. Эта же — «я полная, и на мне парик», просто апофеоз самодостаточности.

Она стояла — большая на зеленом фоне вагона, над париком трепетали оконные занавесочки поезда. Рядом, как свой, родной, а не как попутчик, стоял мальчик Сергей из той самой детской компании. Ростовским женщинам не надо задавать вопросов. Они сами скажут. Их просто надо слушать.

— В вашей чертовой Москве, — сказала эта, — варится беспорядок для всей страны. Я бы закрыла к такой-то маме эту кастрюлю раз и навсегда. Я привезла ребенка, — (тычок в сторону Сергея), — чтоб ему оформили визу в Израиль. Я поправились кил на десять — это точно, потому что на нервной почве я много ем. Я должна все время жевать, чтобы выжить, так у меня реагирует на стресс нервная система. А потом опять и снова, но уже билеты на самолет, и каждая тварь хочет на лапу. Но ребенок не умеет дать. Он не обучен этому. Он уже почти знает буквы, но еще не читает. Что называется, еле-еле... Но теперь они мне там, на своем Сионе, уже не скажут, что я не помогла. Ребенок им расскажет, как я полнела на глазах народных масс. Эти люди... Они что — спятили? Их там всех ждут или? Наш случай особый. У нас любовный роман. Ромео и Джульетта. Дети выросли вместе, а сволочь жизнь разводит их по разным странам. Барышня — моя племянница, а его мама, — (тычок в Сергея), — моя заведующая. Я делаю хорошо сразу двум семьям и себе тоже, хотя знаю: не делай добра — не получишь зла. Но это правило для очень умных, а я деловая... Я знаю и вашу сестру, она у нас в ателье шила пальто еще тогда, когда это делали и для простого народа. С тех пор здороваемся, как люди, а почему нет, если живем рядом?.. Вы старшая сестра? Все равно видно, хотя вы и очень стараетесь выглядеть на меньшее... А мне сколько дадите? Я знаю, дадите пятьдесят, думая, что мне шестьдесят, а мне тридцать восемь... Можете не проверять. Вы передаете лекарство, не знаю, какое, но у нас за деньги все есть... Сейчас сядем и поедем. Мне молодой человек уступил нижнюю полку, я не успела рта открыть. Разумный эгоист. Он понял, что толчком вагона меня может сверху сбросить... Он увидел и все сразу понял, говнюк такой... Можно же было как-то красиво, не сразу, не с перепуга...

— Ты меня узнаешь? — спросила я Сергея, когда говорящая машина отвлеклась на роскошный чемодан, проплывающий мимо на колесиках.

— Так вот же нет! — воскликнул Сергей. — Смотрю на вас, а вспомнить не могу, где я вас видел!

— У меня дома, Сережа, — сказала я. — Ты был с Митей, то есть Егором, и Леной. Они пошли тебя провожать и не вернулись...

— О! — закричал Сергей. — Точно!

— Так куда вы тогда делись?

— Мы с Гошкой остались на вокзале. Кайфом посидели... А Ленка ушла к знакомому.

Мария Ивановна уже внимательно нас слушала, но мне нужно было задать еще один вопрос:

— Сергей! Вы ночевали когда-нибудь в квартире некоего Михаила Сергеевича?

— Я лично? Никогда... Я же вам говорил, что жил на вокзале. А на другой день мы вдруг поняли, что зря сидим в Москве... И рванули назад.

— Идиоты малолетние, — с нежностью сказала Мария Ивановна. — Недоумки. Расскажи про своего приятеля.

— Да ладно, — грубо ответил Сережа. — Кому это надо?

— Дурачок! — добродушно сказала Мария Ивановна. — Опыт — он что? Рассказанные случаи. Так вот случай. Один малахольный парень взял за себя чужую беременную. Ничего особенного, если не считать родителей малахольного.

Я смотрю на Сережу. Он смотрит в небо. В небе самолетный след. Нежное кружево скорости и силы.

— Я его знаю? — спрашиваю я Сережу.

— Ну! — отвечает он.

— А ее?

Сережа смеется.

В осадке осталась малость. Оказывается, Фаля патронирует Митю и Лену.

Шура сломала ногу. Конечно, она меня ни о чем не просила, сломай она шею — не просила бы тоже. В ее представлении так выглядит гордость. Это только кажется, что у понятия есть строгое определение. Ничего себе...

Я поехала, хотя не звали.

Потом я поняла, что та половица, за которую зацепилась носком Шура, вздыбилась не случайно. Великий магистр пасьянса человеческих отношений нажал легким касанием ноту, ответственную за состояние деревянных полов в квартирах. Пробежала легкая дрожь по паркетам мира, брезгливо перекинулась на досочный настил, и, невидимая глазу, выгнулась нужная спинка доски.

Я должна была приехать.

В Ростов я еду мимо родных своих мест. В окно залетает мой воздух. Он надул мои легкие первым криком, и теперь, где бы я ни была, я всегда улавливаю горечь угля, растворенного в густом настое кукурузного поля, и сухой треснутой корочки земли. Тут ничего не поделаешь. Из них сложена формула моей крови.

Зачем я ломлюсь в дверь, открытую лучшим афористом мира, который давно сказал про дым Отечества? Ужас сколько людей знает это наизусть. Вопрос в другом: помогла ли кому мудрость другого?

Все знание было выдано нам сразу и оптом. Считай, задаром. Но подлость в том, что дармовой товар для человека не ценен. И каждый сам приобретает знание по дорогой цене. Купит — и удивляется: «Так у меня ж такое в гардеробе сто лет лежало!» И сравнивает и додумывается до простой мысли: если это уже однажды выбрасывали, так, может, оно вообще ни к чему? И все по новой.

Интересно, кто победит? Бесстрастное знание или упрямый человек?

Куда ведет меня внутренний голос-придурок? Не хватало мне впасть в разъяснение сути вещей, которую я сама не знаю, а только тшусь понять. Мне ведь предстоит рассказывать дальше историю, спровоцированную той самой душой половицей.

Шура была мне рада, но тщательно скрывала свою радость. Еще, мол, чего!

Я стала ей рассказывать про Митю-Егора, но Шура резко меня остановила.

— Не хочу знать! — сказала она. — Зачем мне чужие люди?

— Но ты же смотришь сериалы, — засмеялась я. — Куда чужее...

— Это кино, — сердито сказала Шура. — И я заранее знаю, что все придумано. А ты мне будешь сочинять про людей живых, запутаешься,

собиешь с толку... — Потом она как-то странно замолчала, как будто забыла мысль. Но нет, не забыла... — Не вмешивайся в жизнь людей...

— Так не бывает, — засмеялась я, — мы только этим и занимаемся.

— А я не хочу, — твердо сказала Шура.

Я сказала ей, что никакая это не доблесть, что во вмешательстве состоит половина человеческого общения, а оно, как известно, — радость, и ничего тут не поделаешь, вмешиваться — значит любить и не быть равнодушным... Ну, в общем, победить меня в слове не так-то просто. Тем не менее я не рассказала ей ни про Михаила Сергеевича (а очень хотелось), ни про говорливую Марию Ивановну, которая если уж вмешивается, то вмешивается... Спросила про Фалю, как там старуха.

— Позвони, — сказала Шура. — Она знает, что ты приехала.

Фаля сказала:

— Приходи...

Когда я засобиралась, Шура усмехнулась:

— Она переживет нас всех.

В квартире Фали не было никаких следов ни внука, ни чужой девочки. Ничто не было сдвинуто, стронуту с насиженного места, что само по себе чудно, если сюда приходят молодые. Фаля поставила чайник. Пока она стояла повернувшись к плите, я увидела проплешины у нее на затылке, увидела, как искривилась ее спина и усохли лодыжки. Как теперь со мной бывает, чужая старость царапнула остро, как мороз с тепла. «Ты на входе в нее, дорогая, — сказала я себе, — оттого и щиплет».

— Как Ежик? Как Митя? — спросила я.

Она развернулась быстро, и это ей чего-то стоило: я увидела, как боль отразилась у нее на лице.

— Какой еще Митя? — прошептала она.

— О Господи, прости! — засмеялась я. — Он так на него похож, Егор, что я мысленно называю его Митей.

— С чего ты взяла? — ответила Фаля. — Дмитрий был пустой человек, бабник, Егор, слава Богу, другой...

— А как Лена? — спросила я.

— Какая Лена? — рассердилась Фаля. — Опять путаешь. Лена была у Мити... Его последняя историческая находка... У Егора нет никакой Лены. Ты не пьешь ноотропил? Тебе надо, такие заскоки памяти.

Фаля ничего не знала. Что же мне тогда молотила эта дура Мария Ивановна на вокзале? Но там ведь был и мальчик этот, Сергей. Заскок у меня с памятью? Или у них с разумом? Или мне морочит голову Фаля? Но на несдвинутость предметов с места я ведь сама обратила внимание.

— Значит, я что-то путаю, — пробормотала я. — Но в Москве Егорушка что-то говорил о какой-то Лене, ну, я и взяла в голову...

— Он из Москвы тогда быстро вернулся, — сказала она. — И деньги вернул. Но я ему этого не простила. Что взял без спроса. Так ему и сказала. Не прощу. Говоришь, Лена? Нет, такой девочки не знаю.

— Значит, я в маразме, — отвечаю я, а Фаля идет к раковине, и я понимаю, что так она прячет свое лицо... Мне бы сейчас туда, в мойку, чтоб увидеть, какую тайну скрывает старая женщина. Пусть даже не тайну... Хотя бы эмоцию...

Но не дождалась. Фаля вернулась за стол бесстрастной и вконец усталой.

Я задала приличествующие случаю вопросы о здоровье, о Ежике. Фаля сказала, что Ежик весь ушел в строительство домика на шести сотках, «опростел», «видела бы ты его ногти», жена его в новую жизнь вписалась хорошо, «кто бы мог подумать, что финансово-экономический — самый тот институт, который следовало кончать. Сейчас она на каком-то важном съезде предпринимателей в Петербурге».

— Закапывают коммунизм, — закончила она, и я не могла понять, чего в этих словах больше — издевки, удовлетворения или скорби. А может, это была триада чувств, старуха передо мной сидела не простая.

— А чем занимается Егор?

— Валяет дурака. У нас уговор, он звонит мне в одиннадцать вечера... Чтоб я знала, что он дома...

«Как будто, — подумала я, — нельзя позвонить с другого телефона».

Фаля засмеялась:

— Я не идиотка. Не думай. Время от времени я его проверяю. Звоню и говорю, что забыла что-то сказать...

Возвращаясь от Фали, я тщетно пыталась найти работающий телефонный автомат. Не нашла. Пришлось идти на почту. Я хотела позвонить Мите. Я хотела его увидеть. В конце концов, я имела на это право как невольная соучастница не совсем ясных мне обстоятельств.

Возле междугородних кабин стояла «кошерная» девочка Лена. Хотя на ней было балахоновое платье, которое вполне скур, бурые, неровные пятна на лбу и по всему окружью лица не оставляли сомнений: она была беременна.

Тягучая тоска-жалость накрыла меня всю без остатка. Наверное, там, в ней, тоске-жалости, я даже повыла и поплакала над всем беременным миром сразу. Я ведь давно не прихожу в умиление от туго обтянутых, или скрытых в пышных, от самой груди, складках, или спрятанных в модные стильные беременные одежды животов-домиков... Каждый раз... Каждый!.. Я боюсь... Как сказала бы моя умная дочь — у меня невроз навязчивых состояний. И, видимо, это правда. Я боюсь за них, беспомощных, обезоруженных своим положением женщин. Идиотия нашей жизни, русский вариант жестокости может осиротить их младенцев, и те будут царапаться и пробираться сами с каким-нибудь конопатым повелителем мух.

Это конспективно, приблизительно, что я могу сказать о беременной нашей земле.

Я отрыдала свое в своем личном «бункере», потом раздвинула его стены и подошла к девочке в пятнах.

— Привет, Лена! Ты меня помнишь? Ты забыла у меня рюкзачок.

Девочка заметалась на крохотном пространстве, которое занимала она вместе со всей той будущей жизнью, которую я успела уже оплакать. Но сейчас, «в людях», я была уже другой, во мне набрякали чувства и мысли человека общественного, социального, даже, можно сказать, защитника полей, детей и пашен. А также кокошников, бубнов и мацы.

— Здравствуйте! — тихо ответила Лена.

— А я как раз хотела звонить Мите, извини, Егору, чтоб узнать, как вы тут. Вы так неприлично тогда смылись, что, не будь я доброй тетей...

— Да, — тихо сказала Лена. — Неудобно получилось, извините... — Она кинулась к освободившейся кабине и так громко закричала кому-то, что он должен приехать, должен, что она за себя не отвечает...

Вышла из кабины вся серая, скукоженная, ей явно было нехорошо, и я просто подхватила ее на руки.

Потом мы сидели на лавочке в каком-то дворе, и я была тем самым «попутчиком в поезде», которому легче рассказать все-про-все, чем родной маме. Да нет! Маме это, как правило, вообще не рассказывают.

...С Гошкой (моим Митей, как я поняла) она дружила в школе, но именно дружила, потому что он без памяти был влюблен в одну дуру, которая приехала из Чечни, он за нее делал все письменные, а она вся была как замороженная рыба, и ей не нужны были ни школа, ни Гошка, вообще никто, у нее все погибли, и она, можно сказать, умом тронулась. Но дядя у нее — крутой, он приказал учителям ее учить, иначе обещал подорвать школу. Ее ненавидели за эту угрозу, хотя не она же грозила. И ее

родителей убили мы же! От всего этого она была как треска в холодильнике, а Гошка на нее дул горячим ртом.

Вскоре эта Лия поехала на каникулы, и ее убили, Гошка ездил хоронить, вернулся нечеловеком. И она, Лена, его так жалела, так жалела, как раненую собаку. «Это много сильнее, чем жалеть людей», — уточнила девочка.

Потом приехал Ленька, его друг. Они таскались втроем, но Гошка часто линял, раз — и нету его. А Ленина мать после скоростижной смерти мужа ушла работать в круглосуточный магазин на вокзале. У них там в подсобке койка, и бывшие женщины НИИ спали на ней по очереди, благодаря судьбу за везение: НИИ горели синим пламенем.

Однажды они остались одни дома, Гошка куда-то смылся, а Ленька ей сказал: «Хочешь, проведем экскурсию не выходя из дома?»

Ну, не то чтобы она была бестолочь и не интересовалась и не ведала про это. Но ей с детства внушили, что случится такое, «когда сольются две реки». У покойного папы была теория рек, которые из разных мест, из разных дырочек земли, через камни, грязь и преграды устремляются как ненормальные понятия не имея куда. Но этого по их слабому водянистому уму они не ведают. На самом деле есть закон встреч и слияний. «Ну, это скучно», — перекусила тему Лена, хотя мне как раз нравился ход мысли незнакомого мне мертвого папы, они — мысли — были чем-то похожи на изыски моего не всегда могучего ума, который вечно норовит понять глубину океана, опуская в него палец... Но Лена вела меня, своего случайного попутчика, дальше и дальше от своего хитроумного папы, нарисовавшего перед дочерью сокрушительно бегущие потоки, которых ей надлежит дожидаться.

И девочка вдруг увидела их как бы вживе — неспроста же принес в Ростов свои воды Ленька. Может, это самое то и есть? Пока она колготилась своим умом над извечной задачей, что делать, если с нее стаскивают джинсы и майку, и можно ли так сразу, Ленька смог. Экскурсия внутрь человека оказалась достаточно приятной. Ей описывали такие боли, такие крови, а тут — говорить не стоило.

Все остальное время они только и делали, что искали с Ленькой место, прятась от Гошки.

Ленка ходила слегка ошалелая от новых ощущений, но, если бы кто-нибудь назвал это любовью, удивилась бы от всей души. Что она, не знала, что от этого бывают дети? Знала. Но Ленька сказал, что он осторожен. «Ты же видишь?» — показывал он. Когда он уезжал, то приглашал ее в гости и вообще. До нее не сразу дошло, что у нее долгая задержка. У нее такое бывало, какая-то дисфункция яичников, но тут уже был явный перебор. Она решила поехать в Москву как бы в гости, а на самом деле обсудить с Ленькой, как ей быть, потому что была уверена, что сделанное двумя и принадлежит двоим, а один не имеет права голоса. Перед отъездом она позвонила Гошке.

Что ее дернуло ему рассказать, сразу не сообразишь. Не исключено, что довольно похабное чувство: а что, парень, хочешь знать, какие у меня проблемы? Не слабее твоих... В конце концов, у тебя была Смерть, а у меня Жизнь... Одно за другое...

У него же именно так в голове и зацепилось. Жизнь за Смерть. И он сказал: «Я с тобой еду. Я Леньке, если что...» Если что? Ей поворот, о котором предупреждает самая дурная учительница и самая бестолковая мать, был известен. Но это — она, дура, так думала — не про нее. Совсем как мать, которая кричала на похоронах отца, еще будучи инженером-электриком: «Я думала, так бывает с другими!» И даже ей, Ленке, было неудобно за этот крик: она что, мать, воображала себе бессмертие? И еще раз мать покричала о том, что «думала — так бывает с другими», когда перешла в торговлю. Сейчас она уже не та. Смелая и ни черта не боится. Ленка проходила этот же путь — выдавливания из себя идеализма. Первый опыт был с Ленькой, который, узнав, что есть что, сразу смотался из Москвы.

Если бы не Гошка, она бы просто не знала, что делать. Москва — город чужой, но это в каком-то смысле лучше, никто тебя не знает, ни одна собака. Хотя почему — собака? Кошки в незнакомом месте еще чернее... Как раз у нее началось это... Как оно называется, когда мутит от всего?

— Токсикоз, — говорю я.

Лена кивает головой и объясняет мне, что тогда, когда они ко мне приходили, ей совсем было плохо, а она возьми и вспомни кошерность. Как раз накануне им про нее плел Сережка.

— Ловко придумала, — сказала я ей и испугалась, что спугнула (пуг-пуг!) ее, что она встанет и уйдет, ну и как мне тогда быть? И, видно, у девочки был этот порыв, был. Я знаю это выражение глаз — у дочери, у детей моих приятелей, просто у едущих со мной в метро молодых, когда они, отвлекшись от себя, увидят меня, — так вот, у них из глубины зрачка материализуется безнадежность. Ну что, мол, будто говорят они мне, доковыляла? И как тебе *там*? Я не думаю, что они сравнивают свои года с «моим богатством», — я, что ли, это делала смолоду? Здесь не то. Я могу прицепить серьгу, могу даже две, могу напялить на себя металлические браслеты, я их всегда любила. Но слив старой крови уже произошел. И они, имея в жилах какой-то неведомый мне состав, смотрят на носителей старой, забубенной крови с чувством безнадежности и тоскливой жалости. Так смотрят на повешенную кошку.

Хотя черт его знает!.. Я ведь рассказываю историю, которая — кто ее знает? — может и опровергнуть мои же умственные экзерсисы.

Это (оказывается!) такая прелесть — плюрализм в одной башке. Хрен вам — шизофрения! Я же не знала в свои онегинские годы, что у простого хлеба может быть куда больше модификаций, чем белый и черный. А тут хоровод мыслей одна другой веселей... И хочется всеми ими обладать, как какому-нибудь насильнику из епархии Сербского.

Они правильно на меня смотрят — с безнадежностью. Я ведь их люблю без взаимности.

Ленка же думала-думала, думала-думала. Даже вот сейчас звонила Ленке, хотя какой в этом уже смысл? Они с Гошкой расписались, отдав бывшей однокласснице, работающей в загсе, золотое колечко с аметистом, которое купила ей мать на свой первый продавщицкий заработок.

— В общем, все, — сказала она тускло.

— Девочка моя! — говорю я ей. — Знает ли мама?

— Вы что! Она меня убьет, — отвечает Лена. — Я иногда становлюсь на просвет — в упор не видит.

— Не говори ерунды!

— Да нет... Не убьет, конечно. Но так будет противно, так противно... А когда узнают Гошкины скелеты, эти точно могут убить...

Хотя идея зарегистрироваться — Гошкина. Он против незаконнорожденности. «Человека делают двое. Прочерк — это как бы уродство». Лена с ним не спорила. Ей так было легче. «В конце концов, столько про это снято кино. В «Санта-Барбаре» все дети не от своих отцов».

Я ее обнимаю и смеюсь. Вот оно! Сбылось! Искусство слилось в экстазе с жизнью. Потом смеюсь и плачу. Потом плачу и захожусь гневом. Захожусь гневом и... — о Господи! — хочу ударить кого-нибудь по голове. Ударить — это я, стесняясь, прикрываю другое слово... Окончательное...

— Менталитет, — шепчу я, — это совокупность...

Лена бежит в кусточки, а у меня на подоле остается этот недосформулированный менталитет. Он крючится и вертится, скользкая такая и мокрая тварь, не возьмешь руками... Его надо доформулировать, срочно надо, но как я могу это сделать под рвотные спазмы девочки?

Я сбрасываю его с колен.

Мне легко оставить за скобками мою истинную цель приезда — Шуру. Потому что, хотя я и делала все, что положено делать в случае поломанной ноги, я делала это автоматически. Она упрямо не хотела ничего знать ни о Фале, ни о ее внучке, а когда я, не выдержав, закричала, что хотя бы из жалости ко мне она могла бы выслушать, Шура ответила:

— Я все знаю. И подзреваю, что все всё знают, даже Фаля. Просто все заинтересованные люди ждут, когда ишак сдохнет.

— Какой ишак? — не поняла я.

— Султанов, — засмеялась Шура. — С чего ты взяла, что на тебе лежит какая-то ответственность? Они уже взрослые. Трахаются. Так это теперь называется? Гнусное какое слово. Все слова про это теперь гнусные. Хуже матерных.

— Жалко ребят, — говорю я.

— А мне нет, — отвечает Шура. — Случается только то, что должно случиться.

— Откуда ты все знаешь?

— Господи! — ответила Шура. — Девчонка, что их расписала, дочь медсестры, которая накладывала мне гипс. Она рассказывала историю громко, на всю операционную... Там народу было человек семь... Фалю там многие еще помнят по работе в горздраве и не любят до сих пор. Она была крутая начальница.. Вот сказала — и споткнулась... Правильно ли я употребила слово «крутой»? Его теперь через раз произносят.

— Смысл-то тот же, — отвечаю я.

— Тот же? — удивляется Шура. — Не морочь голову, не такая я идиотка. Так вот... Людям, знающим Фалю, нравится, что у нее внук оказался кретином. Во-первых, никакой не стыд в наше время родить без мужа. Они затанули с абортom. Но если есть медицинские показания, вынут и готового младенца. Я тебя уверяю. Мы за ценой не постоим.

— У тебя нет детей...

Господи, ну никогда, никогда в жизни я не могла, не смела коснуться этой стороны жизни моей сестры. Что же это случилось, что сложились слова во фразу, что бездарные мышцы сделали свое дело и воробей, эта маленькая сволочь, вылетел — не поймаешь.

— У меня нет детей, потому что все вмешались, — спокойно сказала она. — Вот я тебя и прошу — уйди от этого.

Шурин грех был очень ранним, по старым временам. Она была в девятом классе. Угрюмая, недружелюбная девочка жила столь отъединенно и замкнуто, что заподозрить ее в чем-то было просто невозможно. Это я, что называется, ходила на грани, это я могла в одну секунду стать «позором» семьи, это у меня мозги были «не туда» повернуты. Шура смотрела строго в нужном направлении. Я никогда не могла понять, что связало молчаливую девочку из хорошей семьи и немолодого фотографа — ему тогда было лет тридцать. Не больше. Он был хром от рождения, но безусловно красив лицом и улыбкой. Был он невероятно беден, даже по тем временам, а физический недостаток не давал ему возможности развернуться в профессии и обслуживать в районном масштабе свадьбы, выпускные вечера и голых младенцев. Он жил наискосок от нас, у бабки, которая торговала семечками. Мы с Шурой ходили к ней с самодельными кулечками: старуха умела жарить семечки как никто. Это было баловство, потому что мешок семечек стоял у нас в летней кухне — просей как следует и жарь сколько хочешь. Но ни у кого из нас это не получалось. Мы их пережаривали, недожаривали, сжигали совсем, была даже придумана теория неинтеллигентности самого процесса, который как бы отторгал нашу семью. Никто не заметил, как Шура повадилась ходить с кулечком. Спихватились, когда, припадая на ногу, в дом пришел фотограф и сказал, что любит Шуру и хочет жениться на ней.

Помню, как он стоит в дверях, отмахивается рукой от мухи, и все. Как его выгнали, как кричала Шура, как тайком явилась в дом известная всем

абортчика, как штормили окна и кипятили инструментарий убийства, как Шура едва не умерла, и тайком пришел уже другой врач, и мама ходила с синяками на руке от перевязки жгутом — она давала Шуре кровь... Когда кончился весь этот ужас, я мертво уснула, а когда проснулась — Шура уже стояла на ногах и смотрела в окно. Фотограф грузил на хилую бричку свое барахлишко, в котором доминировал новенький, с иглочки, штатив. У Шуры было совсем бескровное, белое, как лист бумаги, по которой я сейчас пишу эти буквы, лицо, и по нему текли какие-то мелкие частые слезы.

«А! — подумала я со сна. — Хорошо, что он уезжает. Разве он пара Шуры?»

— Дура! — сказала я ей сиплым со сна голосом. — Нашла о ком плакать!

Я так хочу верить, что она тогда меня не услышала. Ведь она даже не пошевелилась.

Итак, все всё знают и ждут смерти ишака. Знать бы еще в лицо этого ишака. Я наполняю емкости водой, пользуясь моментом, что она поднялась на четвертый этаж. Думаю мысль: ни в Ростове на Дону, ни в Волгограде на Волге нет воды. В Донбассе проблемы с углем на зиму. Почему живущий на этой земле человек не видит иронию такой своей судьбы? Почему не слышит небесного хора про нас, в котором тенора ангелов сливаются с басами чертей, и, может, это единственный случай, когда они против нас заодно: ну никому мы не нравимся, никому. Ни воде, ни земле. Бидоны и кастрюли набраны, у меня мокрый подол, и я уже достаточно расчесала себя. Как всегда бывает в этом случае, вместо того чтобы помолиться Богу хотя бы как умею, хватаю телефонную трубку.

Фаля берет ее мгновенно. Значит, сидела ждала. Меня? Кого?

— Фаля! — говорю я ей. — Давайте не делать вид. Я все знаю про Лену и Гошу и, хотя мне это совершенно не нужно, считаю, что им надо помочь.

— Не надо делать то, что не считаешь нужным, — отвечает Фаля.

— Нет! — кричу я. — Я плохо выразилась... Мне как бы лично...

— Общественная деятельность кончилась, — смеется Фаля, и я вижу, как дрожит ее рука, щеки, подбородок, я почти ощущаю движение ее старой плоти, тогда как я в этот момент вполне каменная баба.

— Успокойся, — говорит Фаля, — у Егора есть родители. У Лены мать. Они совершеннолетние. А ты человек в этом деле случайный...

— Не было бы беды, — бормочу я.

— Она уже случилась, — отвечает Фаля. — Больше куда уж...

Потом она меня спрашивает про Шуру. Я отвечаю про нее и про воду, которой надо запастись, потом иду к Шуре. Она подрубливает кухонные полотенца. Когда-то купленный впрок рулон вафельной ткани наконец-таки пущен в ход. Шура подрубливает полотенца для меня. Материя вся изжелтела, в придавленных местах остались темные полосы.

— Ну и что? — говорит Шура. — Для посуды самое то.

Я чуть не ляпнула ей про соседку по площадке, которая, увидев в моей сумке туалетную бумагу, сказала все и сразу:

— Взяли моду подтираться мягким и белым. Раньше такого и в заводе не было, а люди были куда здоровее. Перенимаем у американцев черт-те что... И слабеем духом и телом от нежностей...

Она сверлила меня и сверлила своим острым и злым глазом, а я думала: может, она права? «В войне, — говаривал покойный Лев Николаевич Гумилев, — побеждает тот, кто умеет спать на земле». Тогда, действительно, нежности ни к чему... Для нас ведь война — дело святое. «Як попереду танцювать», — сказала бы моя бабушка.

Вот и пятьдесят метров вафли были куплены Шурой не просто так... На случай... А случай у нас один — война, а потом разруха. И где-то есть уже наша могилка — могилка неизвестной мне девочки Лии. Ее кровь перетекла в нашу, война стала как бы семейным горем. Самое время подрубливать полотенца, самое время...

— Я же говорила тебе: не вмешивайся. — Шура перекусывает нитку. — Пусть все идет само собой.

А само собой было так. Я встретила на улице Митю.

— Митя! — закричала я, а мальчик, естественно, не обернулся. — Господи! Егор, — поправилась я.

Он остановился и смотрел на меня виновато-рассерженно.

— Тетя! — сказал он. — Мы тогда так нехорошо от вас ушли, вы, наверное, беспокоились...

— Да ладно, — ответила я. — Прошло-проехало... Егор! Гоша... — И я замолчала.

В общем, меня это не касалось. Из времени, в котором я учила слова, что за все про все в ответе, я выпала. Именно с моей стороны у времени был рваный край, куда следом за мной вывалились все мои бебехи — где они теперь? Зачем же я лезу со своим «надо так и эдак»? В каком еще под- или надпространстве я потом очухаюсь?

Я знаю, как выглядит несовпадение во времени. Моя дочь щелкает пальцами то слева плеча, то справа. «Мама! — говорит она. — Смотри сюда! Ты где?» — «Я тут, доченька!» — «Ты не тут!» В каком-то кино видела, так приводят в чувство потерявшего сознание. Значит, и я выгляжу так.

Что мне сказать мальчику, которого я дернула за рукав? Какие такие советы я могу дать и можно ли вообще давать советы, если у тебя их не спрашивают? Мы ведь живем совсем в другой эпохе, страна советов была до того.

— Я просто рада тебя видеть, — сказала я. — Лена тебе говорила, как мы встретились на почте?

— На почте, — повторил Митя. — А что она делала на почте?

— Митя! — воскликнула я. — А что делают на почте?

— Много чего... — ответил он. — Она звонила в Москву?

— Митя! — начинаю я.

— Да перестаньте вы называть меня Митей! — кричит он. — Не знаю я вашего Митю! Меня другой дед воспитал, а про этого остались одни анекдоты, и они мне не в кайф. От него, как я знаю, всем было плохо, а вы — Митя! Митя! Оскорбительно даже!

— Господи! — теряюсь я. — О чем ты говоришь? Это лучший человек, которого я знаю. Лучший в нашем роду, и я просто была счастлива увидеть, как вы похожи. Но ты, конечно, извини, Егор, у тебя свое имя... Это у меня произвольно...

Он смотрит на меня оторопело.

Еще бы! Наворотила слов. Лучший в роду. Вот он сейчас спросит — чем? Конечно, я объясню... Что я не знаю чем?

Я ему скажу: «Взять за себя чужую беременную мог только Митя. Он всегда брал порченное... Прикинь на себя его костюм».

Но я молчу. Мне стыдно слов, которые я придумала. Во-первых, я ничего подобного не знаю за Митей. Во-вторых, обозвать беременную порченной — срам, в-третьих, «примерь костюм» — гадость и пошлость вообще. Это из того скарба, который я потеряла, вываливаясь из времени.

— Мне о нем никто ничего не рассказывал, кроме того, что он был бабник и трус. От войны прятался, а бабушка, между прочим, прошла почти всю, и ее хорошо поколошматило. Вы меня извините, тетя, но я бегу.

— Иди, Е-гор, — сказала я. — И-ди.

— Так тебе и надо, — сказала Шура. — Сидит в тебе этот проклятый ген семьи — во все лапами, лапами...

— Что я сделала? Что? — кричала я.

— Ты всю жизнь ставишь на божничку этого придурочного дядю Митю. Сообрази, за что?! За то, что он ни одной своей бабе не принес

счастья? Что всегда брал, что плохо лежит? А плохо лежали девки с изъясном, несчастные... Порченные...

Вот оно — вдругорядь за последний час выскочило это слово. Как будто, не распрямившись толком в моей глотке, оно наконец нашло другую, поподатливей, и выпорхнуло, хлопая мокрыми крыльями.

— Мне в нем это как раз нравилось, — сказала я. — Кто еще мог одарить обделенную? Пожалеть некрасивую? Я, например, сроду бы не смогла...

— Вот именно.

И тут до меня дошло. Шура... Ведь Шура любила калеку, Шура... Так и вижу этот новенький штатив на бричке. Митя, где ты был тогда? Где ты сейчас?

— Прости, Шура, — сказала я. — Я не права. Действительно, не мое это дело.

— А! — спокойно ответила Шура. — Ты вспомнила Марка. Его звали Марк. Так я ничего о нем и не знаю. Сейчас вот сама без ноги... Очень о нем думается. И на сердце так хорошо, хорошо, как в раннем детстве. Но это только из большого далека видно... Как было хорошо. А тогда — не дай Бог! И до сих пор не знаю — это правильно, что я выжила, или нет?

— Грех говоришь, — плачу я. И ухожу проверять воду.

Вечером с Шуриным мужем мы трясем на улице половики: это задание Шуры, она не верит в пылесос. Мама моя не верила в стиральную машину и до последнего дня своего кипятила белье в цинковом баке, терла его на доске, а перед гладкой накручивала простыни на палку, «рубель», и стучала ими по столу так, что в буфете вызванивали чашечки и рюмочки и, бывало, валились, хрупкие, наборк, не приемля такой силы труда.

Во что-то не верю и я...

На обратной дороге Шурин муж говорит мне сквозь толщу половика на его плече:

— Шура думает плохую мысль... Узнай, какую...

— Наоборот, — отвечаю я, — она мне сказала, что вспоминает детство и ей от этого хорошо.

— Не верь, — говорит он. — Не верь. Она думает, что я ей не тот муж.

— Господи! — смеюсь я. — Думаешь, я иногда о своем не думаю так же? Или он обо мне? Мысли, ведь они — пришли-ушли. А по жизни мы уже давно одно целое.

— Узнай, — говорит несчастный, открывая дверь. — Узнай.

— Он нервничает, — сказала я Шуре, — боится твоих мыслей.

— Еще бы! — ответила. — Мысли для него — НЛО.

— Нет! — кричит Левон, входя в комнату. — Нет! Думаешь, я не хочу сесть и додумать все до конца? Думаешь, в моей голове нет вопросов? Думаешь, там же нет ответов? И думаешь, я не смог бы сплести из них парочку? Но нельзя... Нельзя создавать головой страшное...

Я вижу — на бесстрастном Шурином лице тенью проскакивает интерес. Она подымает на мужа свои удивительные глаза, а тот уже жметя в дверном проеме, норовя исчезнуть, провалиться от взгляда женщины, которую боготворит, а слова сказать не смеет. Сколько лет вместе — и не смеет. Потому как думает, что нет и не может быть слов вровень с тем, что он чувствует, а тут еще этот все-таки чужой язык, эти фразы, которые так плохо слепляются и так стыдно разваливаются на глазах.

— Левон! — говорит Шура. — Звонили Бибиковы. Просили отвезти шифер на дачу. Помоги, дорогой!

Левон делает какие-то странные движения: то ли хочет допрыгнуть до притолоки, то ли сорвать к чертовой матери, то ли расширить пространство и простор проема, а потом и преодолеть его. С какими-то непонятными армянскими горловыми звуками он выскакивает из квартиры.

— Не смей опровергать, — говорю я Шуре, — но тебе везет в любви.

На следующий день мы с Леоном возили Шуру в больницу: ей меняли гипс. Я смотрела, как распеленали синюю, мятую, какую-то неживую ногу, почему-то думалось плохое: о свойстве человека отмирать частями. Умереть ногой. Ухом. Локтем. Сердцем. Душой. Думалось печально о самой себе. Знаю ли я, чем мертва сама? Что во мне давно не фурычит? И способна ли я буду осознать собственное отмирание? Одним словом, мысленно я подкрадывалась к идее мгновенной смерти как большему благу, чем умирание частями, даже если это единственный способ продолжения жизни, тысячу раз проклятой и от этого еще более божественной.

На обратной дороге Шура сказала, что, пожалуй, мне пора возвращаться, а то Николай (мой муж) на нее затаится.

Я сказала, что возьму обратный билет на пятницу.

Был вторник.

Удивительная сила слова! Стоило только назвать день — пятница, — и я ощутила запах своего дома, звук его телефонного звонка, услышала в трубке слегка раздраженный голос дочери: «Ну и что? Ты утолила родственный зуд?» Гадости она говорит, как правило, с порога. Потом лапочка лапочкой, а сначала — неперемный укус. Такой у нее способ защиты. Как она это называет — прайвести?

Помогая Шуре войти в квартиру, саживая ее в кресло, я уже отсутствовала в ее доме и в этом городе. Я наполнялась «собой», и было радостно возвращаться к надоевшему, вдруг оборотившемуся главным.

— Уже уехала? — насмешливо спросила Шура.

— От тебя не скроешься, — засмеялась я.

Это был очень тихий вторник.

А в среду утром я поехала за билетами и встала в очередь. Он меня оттолкнул у самого окошка. Я напрочь забыла его имя. Я помнила, что один раз он сидел у меня на полу, а другой раз маячил на фоне зеленого вагона. Он не видел меня, он сдавал билет на поезд и кричал. Я дернула его за рукав, и какое-то время мы бездарно и тупо смотрели друг на друга.

— А! — сказал он. — Извините. Я не знал, что вы тоже сдаете билет.

— Я покупаю, — засмеялась я.

— А как же похороны? — спросил он.

— Какие похороны? — не поняла я и даже еще не испугалась самого слова.

— Егора, — как-то грубо ответил мальчик, и я вспомнила, что его зовут Сергей. Теперь мне оставалось понять, кто же такой Егор. Не Митя же... Это бы я уже знала. Плохие новости дошли бы сразу. Значит, это неизвестный мне Егор. Теперь это модное имя.

Все это заняло столько времени, сколько нужно, чтобы мальчику вернулись деньги за сданный билет, и вот уже мне кричат «следующий», а я пулей вылетаю из очереди и хватаю Сергея за руку, как пойманного карманника.

Он смотрит на меня, снимает мою руку и осторожно, как больную, выводит на улицу. Я не слышу, что он мне говорит, потому что сердце стучит почему-то в голове громче шума окружающего мира, норовя пробить барабанные перепонки и выскочить через них к чертовой матери.

Решив, что он мне уже все рассказал, Сергей бросает меня на площади.

Я пытаюсь сложить слова в смысл. Почему-то вперед вылезает то, что у Сергея уже есть билет на самолет в Израиль, а теперь он может к нему не поспеть. На эту его мысль я отвечаю своей — мол, может быть, и слава Богу. Что ему там делать, русскому мальчику? Любовь — это, конечно, славно... И тут я запинаясь, потому что начинаю резко сомневаться в этом.

Что мне сказал Сергей? «У них, — сказал он, — с Ленкой все по делу. Тогда в Москве она его на вокзале встретила, он пьяный шел, с девкой... Она как закричит... И я лишился прописки на ихнем полу. Мне менты сказали: «У, козел! Чтоб ноги твоей и этой горластой». А она моя? Она не

моя! А Гошка ее грудью... Но ведь она и не его! Тут же отношения с соображением...»

Я не ручаюсь за подлинность его слов. Я вообще ни за что не ручаюсь. В моей голове мир устроен окончательно и бесповоротно, пока его не сжигает какой-нибудь Кибальчиш. Тогда я кидаюсь грудью на обломки и лежу на них до тех пор, пока поджигатель где-то бродит поблизости. Дождавшись его ухода, я уже *ладнаю* новый мир, лучше прежнего, с запасом прочности на случай нового Кибальчиша. Хотя прийти и разрушить его может козел совсем из другого роду-племени.

Я плетусь, оставляя за собой витиеватый след несформулированных мыслей. Плетусь к Фале — к кому же еще? На звонок никто не отвечает. Я звоню во все соседние двери. Только из одной детский голос ответил, что мамы нет дома.

Шура спокойно спит на диване, в кухне под толстым полотенцем сохраняется тепло супа. Как тихо, мирно... Я несу телефон в кухню и закрываю дверь.

— Алло! — бормочу я. — Алло!

— Вы насчет похорон? — Голос чужой, посторонний. — В пятницу, в двенадцать часов...

Я кладу трубку. Я не знаю, где живет Ежик. Ни разу у него не была. Телефон я нашла в Шурином блокноте.

— Ты пришла? — Голос у сестры теплый со сна. — Тебе дали нижнюю полку?

Я вхожу с телефоном.

— Шура! — говорю я. — Случилось самое плохое с Фалиным внуком. — Отстраняйся от беды! Отстраняйся! Она тебе чужая, не своя. Своя — это совсем другое, другая связь. Шура мальчика вообще ни разу не видела, а я так... Походя... — Похороны в пятницу. Но отвечают чужие...

У нее странный взгляд, у Шуры, — хорошо запакованный гнев. Гнев для далекой доставки. Через время и расстояния. Для такого содержания нужен четкий адрес, чтоб не ошибиться во вручении. Кому?

Митя погиб, нарушив правила перехода: трамвай — спереди, автобус — сзади. Или наоборот, не помню. Просто шел, а его сбили, потому что не там шел. Такая вот негероическая смерть. Почему-то много говорилось о его осторожности, что он не лихач какой, а пешеход совсем даже аккуратный, строго по зебре там или с угла на угол по знаку. В какой-то момент мне показалось, что говорят только об этом — о правилах перехода. Просто какой-то семинар ГАИ при затянутых зеркалах.

Я увидела *его* на кладбище. Он стоял рядом с Ежиком. Я смотрела как раз на Ежика, седого, загорелого, совершенно не похожего ни на отца, ни на мать. Ну, не росли в нашем огороде с таким туповатым строем лица! Я отхлестала себя по щекам, что смела в такой час думать черт-те что, а *он* возьми и повернись, человек, стоящий рядом с Ежиком. Повернулся и кивнул мне головой. Как раз началось прощание, и я сделала шаг назад, чтоб пропустить людей ближе к гробу. Сама я не хотела, не могла видеть мертвого Митю и была рада, что церковная бумажка на лбу прячет его лицо. Здесь ведь не ждут от меня бурного выражения горя, я чужая, я могу стоять в стороне, даже Левон ближе, он тут рабочая сила. Но если я — чужая, дальняя, то кто этот, что кивнул мне как своей, а теперь держит за локоток каких-то ближних к нему женщин?

Ах вот это кто, вдруг ясно и просто вспомнилось мне. Это же Михаил Сергеевич. Друг Ежика. Хороший, видимо, друг, если все бросил и прилетел. Но я уже поняла, что не в этом правда.

Когда был моден кубик Рубика и страна остервенело его крутила, я заранее знала: у меня он не сложится никогда. Так и было. А однажды сидела просто так, даже смотрела телевизор, а он возьми и сложились в моих руках как бы без моего участия, сам по себе. И потому, что это было аб-

солютно случайно и не было моей заслугой, я тут же раскрутила его в обратную сторону. Что-то подобное было и сейчас, хотя я понимаю всю глупость такой аналогии.

Но все сложилось. И мне уже было не важно видеть Лену, которую за плечи вел какой-то парень, не важно.

Михаил Сергеевич — и кубик получился.

Я хотела пробиться к Фале, но ее впихнули в машину, где уже гнездились какие-то тетки, пришлось несколько раз хлопать дверцей машины, чтобы умять Фалин бок. Какая-то дама в черном гипюре пронзительно тихо объясняла всем желающим, где будут поминки и каким транспортом лучше туда доехать. Автобуса не хватило, потому что было много молодежи. Дама сетовала на детей. Кто, мол, знал...

Меня даже пронзило сочувствие к этой даме, инструктору похорон. На кого же ей еще сетовать? На стариков — бесполезно, да их и мало было, на свое поколение — глупо, сама находишься в нем. Конечно, молодые, дети! Не знают правил, идут под колеса, а потом хорони их. У нее на лице было написано: свинство.

— Шура! — сказала я дома. — Не надо про похороны. Не хочу!

— Ну и не надо, — ответила Шура.

Позвали Левона пить чай, разговаривали про разное, Левон все смотрел на нас своими огромными, горячими, «булькатыми», как сказала бы бабушка, глазами, потом не выдержал и закричал: «Ну что вы за народ! Что за народ!»

— Тебе покрепче? — спросила его Шура. — Говори сразу, а то я заварку разбавлю.

В поезде мне, как оказалось, досталась нижняя полка двухместного купе, прижатого к туалету. Он оглушительно ощущался. Пришла проводница и сказала, что я буду ехать одна, так как вторая полка сломана, ее не продают, поэтому она у них для хозяйственных нужд, и хорошо бы мне не запирается до ночи, пока то да се. Преимущества одиночества просто исчезали на глазах. Я провякала что-то про служебные помещения, на что языкатая проводница ответила мне коротко и просто, что это не мое, так сказать, собачье... Она даже постояла в дверях, рассчитывая подать, если понадобится, еще одну убойную реплику, все в ней просто дрожало от нетерпеливой злости ума, я сообразила это и смолчала. Пришлось ей унести свои слова под язык, на кого-то они, определенно, опрокинутся.

Когда уже разнесли белье и люди успокоились на недолгое время ожидания чая, в проеме купе возник Михаил Сергеевич.

— Мы едем в соседнем вагоне, — сказал он. — Я видел, как вы сядились. Я войду?

Куда я могла деться?

— Такая история, — вздохнул он, аккуратно сядясь на одеяло. — А я думал, что мы с вами никогда не встретимся.

— Кто же думал? — ответила я. — Как здоровье вашей жены?

— Вы знаете, — радостно сказал он, — хорошо. Что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда она узнала про отношения Лены и нашего сына, она настояла, чтоб они были вместе и чтоб ребенок рождался у нас. Она сказала, что хочет видеть рождение и рост новой жизни, что это для нее важно. Она просто заставила нас с сыном поехать и забрать Лену, она совсем другая стала, наполненная смыслом. Мы присмотрели детям квартиру на первом этаже в нашем же доме, квартира не ах, но по деньгам. Ленина мать дает половину, половину мы. Будут жить и отдельно, и на глазах. Куда лучше? Жена просто воспряла. Мечтает о внуке... Мы договорились не рассказывать ей про фиктивный брак и смерть... Знаете, чтоб не заронять плохих мыслей. Я этого мальчика знаю, он был безобидный, хороший... Абсолютно... Мой сын, конечно, пошляк. Они теперь все такие. Свобода. Доступность. Если бы не случай с женой и ее ве-

рой в выздоровление при помощи новой жизни, то я бы еще очень и очень подумал насчет этой Лены. Мать — торговый работник на вокзале. То-се. Одним словом... Отец — скоропостижно. Этот ее брак с Егором... В сущности, нашла дурашку... Хотя названивала нам каждый день, просто безумие какое-то. Но, может, это все на нервной почве, дурочка ведь молоденькая.

Мне хотелось выдернуть из-под него край малинового железнодорожного, но в данный момент моего одеяла и сказануть ему такое, чтоб он пулей выскочил.

Но я проклокотала что-то неразборчивое.

— Этот мальчик... Я понимаю, он ваш родственник... Но согласитесь... Поступок наивный, глупый... И потом... Вы знаете? Он препятствовал! Он кричал на Леонида, хамски кричал... Я боялся, еще немного — и мой развернется назад. Он мне ведь по дороге в Ростов сказал прямо: «Мне, отец, это на фиг... Я не отрицаю, но мне это на фиг...» Лена, правда, умница, она сразу перешла на нашу сторону и очень толково сказала Егору: «Так правильно, а с тобой неправильно». Станный мальчик, странный... Конечно, неудобно и не к месту спрашивать... Но как вы считаете, он был здоров психически? Я что-то такое слышал... По чьей-то линии...

— По моей линии, — сказала я. — Это у нас побег другого ума.

— Побег? Побег ума? — Он смотрел так ясно и недоуменно, что, существуй в моем организме смех, я бы уж дала ему волю.

— Да нет, я неудачно выразилась... Просто за нами водится выбирать не то и не тех...

— Это понятно, — закивал Михаил Сергеевич. — Такое случается даже при полной здравости.

Я же думала про Зою. Про то, как она осталась одна с ангелом у камня церкви. Как летала на небко... Даже удивительно, как по ниточке-волосочку карабкается к нам прошлое... Бабушка так уж норовила отделить ее от нас, чтоб, не дай Бог, не перешло безумие... Перешло, бабушка, перешло. Во всяком случае, так считает *следующий по времени* народ. Выследил-таки *другой ум* мальчонку, летающего на небко, и забрал к себе.

— Я рада, что все для вас хорошо кончилось, — сказала я, определяя окончательность разговора.

— Да, конечно, — ответил Михаил Сергеевич. — Хотя, конечно, мальчика очень жалко. Один ребенок, ужасно... Я им посоветовал круиз. Теперь это доступно, а мы народ неизбалованный, нам хоть что покажи — интересно.

Когда он ушел, пришлось выпить горсть таблеток: от головы, от души и от сердца. Тройной коктейль выживания простого русского человека. Хоть что выпить, хоть что посмотреть.

Совсем к ночи, когда проводница сказала, что я уже могу запереться, и я так и поступила, кто-то поскребся в дверь. Я открыла, и она стремительно прошла мимо меня, как бы предупреждая возможность протеста с моей стороны. Ворвалась и села. Лена. Меня только-только стал пробирать «коктейль», благословенная тупость накрыла ватным одеялом выпрыгивающие некстати мысли, приятно было осознавать мощь науки химии непосредственно в своем теле.

Она плакала. Вернее, даже выла, уткнувшись носом в мою подушку, которую она грубо стащила с места.

Я вспомнила, как она валяла у меня ваньку в первую нашу встречу, притворяясь иудейкой. А я тогда пялилась на ее поднятые скулки и пыталась вычислить процент ее еврейства. В другой раз она рассказывала мне историю своего греха, а я воображала себя случайным, но необходимым попутчиком ее жизни. Сейчас она склонявит мою подушку, будучи одновременно родительницей и спасительницей женщины, которая в одно историческое время непременно спрятала бы от нее сына, а в другое — сына за ней же послала. И, в сущности, жизнь Мити все время висела на волос-

ке желаний и страстей совершенно посторонних женщин. Я отливаю в домашнюю кружечку чай из недопитого стакана, я гигиенически мыслю, что негоже совать девочке свой питьый стакан, я выколупливаю из гнездышка желтые горошинки сухой валерьянки, соображая, что фенозепам, которым спасаюсь сама, девочке не годится, потому как девочка беременная. Когда она все сглотнула вместе со слезами, она сказала:

— А что, у женщины есть другой способ отплатить? Ну, за добро там или за подвезти? Есть? Я ему сказала: ты должен это сделать, потому что я не хочу быть тебе обязана. Мне даже хочется с тобой... Я представляю — другой какой... Надо было бы его упрашивать? А этот развернулся и ушел... Сволочь такая... И не говорите, — кричала она на меня, — что его уже нет! Откуда вы знаете? Я его ощущаю, понимаете, ощущаю... Как будто он меня трогает. Хотя он ко мне пальцем не прикоснулся! Псих он, псих! На дух мне такого не надо! Ленька, конечно, гад, но он живой гад, в полном смысле этого слова. От него вкус и запах. Живой Ванька-дурак лучше мертвого Ивана-царевича. Так и знайте! Это я умно сказала. А он развернулся и ушел. — Лена швыряет в меня комканую подушку, она громко втягивает в себя соплю, она задвигает дверь так, как будто задвигает вагон, поезд, всех едущих в нем, всех — к чертовой матери.

Ну что тебе стоило, Митя, стянуть с нее трусики? Девяносто девять из ста поступили бы так же, а потом, ширкнув молнией, убежали бы живые и невредимые. Мир был бы больше на целого тебя, Митя. Ее приставание, его... Что? Отвращение? Хотя нет... Какое отвращение? Может, именно в этот момент он ее и любил, распахнутую, с пятнами на лице и расплюснутым ртом. Любил и бежал от несовпадения чувств, мыслей и обстоятельств, которые были вразнотык?

Потому что голая женщина, как голая правда, возникнув без вашего желания, — аргумент сильный, но и противный. Ты или распнись пред ней, или уж беги сломя голову. У мальчика заколотилось сердце, и он бежал, не зная правил.

Потому как был Егор по природе Митя.

Или все было не так и не то?

Не знаю.

В Москве они перегнали меня в тоннеле. Михаил Сергеевич сделал мне рукой небрежно так — пока, мол, пока... Лена притормозила.

— Я вам наплела вчера... Не верьте мне... Все было не так...

Утром все не так, девочка, все не так. Утро — время забывания.

Она скользнула глазом мимо меня, красивый рот был слегка сбит набок, как тогда, когда она морочила мне голову в первую нашу встречу.

— Твой рюкзачок все еще у меня, — сказала я ей вслед.

Она не повернувшись махнула рукой. Делов! Рюкзачок...

Интересен был разворот в мою сторону Леньки. Он демонстрировал мне замену жизни. Смотри, тетка! Вот я, всклокоченный, невыспавшийся, набрякший весь, от начала до конца... Я хочу есть, пить, в уборную... Хочу Ленку... Других хочу тоже... Я густой мужчина... Очень мужчина и очень густой...

На финал он пнул ногой вокзальную тумбу. Просто так, для движения молодой крови и чтоб знала... Но в этом не было зла. Была природа.

Дома я трогаю предметы. Стулья и кастрюли. Чайник еще теплый. Я наливаю в чашку пойло. Рука дрожит, как при абстиненции. Я нутром, кожей чувствую, что меня постигла неудача. Зачем-то с бухты-барахты я бросила на полуслове почти законченную вещь и кинулась рассказывать другую. Надо, кстати, поменять воду в бидоне, с которого все пошло... Ведь все было нормально... Пока я не вдела эту проклятую серьгу в ухо.

Я их не знаю... Они не даются мне в ощущении, эти мальчики и девочки, которых я взялась строгать без знания предмета. Старый дурак папа Карло мечтал о сыне, хоть каком, хоть деревянном, я тоже мечтала хотя

бы понять. Не получилось... Вынимайте, мадам, серьгу. Это поколение живет мимо вас, не замайте его абстинентными пальцами.

Мою дно бидона. Пальцы мазюкают теплоту и мягкость осадка. Интересно, кто та старушка, что всучила моей дочери бидон? На какой метле улетела старая ведьма, смеясь над молодой дурочкой? Может, это правильный путь — обдурить и посмеяться над всеми?

Звонок у меня пронзительный, как бы для очень задумчивого глухого. Я не знаю, как насчет физики, но лично я вижу, как звук высекает свет в квартире. Как бы для глухого, но зрячего.

— Кто там? — кричу я в старый дерматин, ибо никого не жду и никем не предупреждена.

— Это я, тетя! Бабушка дала мне ваш адрес.

Я открываю дверь.

— Митя! — кричу я. — Живой!

— То есть? — спрашивает мальчик и недоуменно смотрит на номер квартиры. — Я — Егор.

— Это все равно, — отвечаю я. — Хотя нет! Нет! Ты — Егор! Я запомню, ты — Егор. Я больше не собьюсь.

— Я с Леной. Можно?

Она смотрит на меня из-за его спины, девочка с рюкзачком и сбитым в сторону ртом.

Я поняла, Господи! Ты даешь им шанс?.. Чтобы они все иначе... Или чтоб я?

Падает на обувь рюкзачок. Дети идут в ванную. Где-то далеко смеется плач.

...Над мо-е-ю го-о-ло-во-о-ю...

Ты спятила, женщина. Спятила. Звенело у тебя в голове.

Я тогда покаталась-повалаялась в постели, но, как говаривал один мудрый старик, молодой организм до поры до времени свое берет.

Прошло полтора года. И я вот иду к Фале. Вот я уже вошла. Я на нее смотрю.

4

Ей уже сильно за семьдесят, но в ней всегда хороши были прямая спина и красивые кисти рук, которые артрит победить не мог.

Комнатку, в которой она меня принимала, я знала, она была крошечной, но на этот раз почему-то оказалась и косоватой, однако мой глаз уперся в ее юбку, которую я помнила уже лет двадцать. Синюю, шевиотовую... Когда Фаля села закинув ногу на ногу, я увидела, что изнутри она обужена, грубо, методом загиба, считай, на две ладони. Сейчас юбка крутилась у нее на поясе и явно требовала уменьшения.

Я подумала, что ей не много осталось, что она как бы иссыхает. Но грех гневить Бога, возраст вполне порядочный, более «двух Пушкиных»... Чего же еще? Мысль, конечно, гнусная, и, отловив ее в последний момент, я прищучила ее. Потому что этих «нехороших мыслей» за жизнь накопилось столько, что, не научись я откручивать им шеи, мою бы они развернули еще неизвестно куда.

— Ты мне нужна, — сказала Фаля. — Со мной непорядок.

Что приходит в голову прежде всего? Нашупано у себя нечто. Опять же мозговые явления: кажется, что выключил газ-свет, ан нет. Или наоборот: выключил и бегаешь проверять живой ладонью. Недержание, несварение... Наконец, фобии. Мании. О Господи! С этим у нас — о'кей!

Вот что подумалось, когда Фаля сказала про непорядок. А тут еще юбка, обуженная на две ладони.

... — То, что это про мою смерть, это понятно... — продолжала Фаля. — Я к ней готова. Но *они* приходят и приходят. Видишь, я уже не передвигаю стулья... Они стоят так, как *те* садятся.

Действительно, именно стулья стояли странно, вызвав во мне ощущение косоватости комнаты.

— Каждый раз это на ясном уме, — говорит мне Фаля, — я в этот момент что-то делаю, вытираю стол там или гоняюсь за молюю. Много моли... Я плюнула, но есть такие настырные... Будто изголяются над тобой... Но не об этом речь. Я что-то делаю, и приходит соседка *в салоне*. Слушай внимательно. Приходит и просит попить.

...Воду соседка пьет запрокинув голову, без глотков, будто вливает в воронку. Некрасивый вид... Но главное не это. Главное, у нас никогда не было с ней ничего общего, даже имени ее я не знала, только фамилию. Храмцова. Соседка Храмцова из пятьдесят шестой.

Так вот... Влив в себя воду — бокал на триста граммов — и не вытерев капель с подбородка, водяным ртом Храмцова проблемкивает:

— Мою дочь попутал дьявол. Она крестилась по пояс голая. В вафельном полотенце. Скажите, что мне теперь делать? Как быть с комсомольским билетом и грамотами ЦК?

Я предлагаю Храмцовой прежде всего снять салоп. От него пахнет прибитой дождем старой пылью.

— Разденьтесь у себя дома и приходите, поговорим.

На слове «у себя» делаю ударение. Не развешивать же мокредь в прихожей? В моей кубатуре и так дышать нечем. Воздух доходит только до шейной ямочки и выпрыгивает назад, как шарик. Но не будешь же объяснять это Храмцовой: моим легким вреден ваш салоп.

— Хорошо, — говорит соседка, — сейчас разденусь и приду.

Она уходит, оставив дверь открытой, а я мою трехсотграммовый бокал. Место, которого касались губы Храмцовой, тру содой. Я очень верю в разность психических болезней. Иначе не объяснить их количество. Долго поливаю «место губ» кипятком.

Потом стою в дверях и жду, когда Храмцова разденется, снимет этот старорежимный салоп — никто уже сто лет таких не носит, откуда только он у нее — и придет разговаривать. Но соседка не идет. Тогда я иду к ней сама и звоню в дверь: вдруг с ней что случилось? Дверь не открыли. Я повернула ручку и вошла — квартира была пустой. Возникла мысль о балконе. Но дверь на балкон была не просто закрыта — она была заклеена широким серым пластырем. Почему-то возникла жалость к этой несчастной щели.

Я вернулась в коридор, удивляясь, что, запечатав дверь балконную, Храмцова входную держит открытой. Это в наше-то время!

И вот я снова у себя в квартире и снова удивляюсь этой Храмцовой. Куда она исчезла? А тут она снова появилась. Опять же в мокром салопе и с теми же словами:

— Попить воды...

Точно так же влила в себя, как через воронку, воду. Так же водяным ртом проблемкала:

— Мою дочь попутал дьявол. Она крестилась по пояс голая. В вафельном полотенце. Скажите, что мне делать? С комсомольским билетом и грамотами ЦК?

Я ей снова сказала, что прежде всего надо раздеться...

И началось по новой. Я пошла к ней и во второй раз испытала жалость к балконной щели, которую стягивает пластырь...

Значит, теперь в мокром салопе должна появиться Храмцова и попросить пить... Уже в третий раз.

Надо закрыть дверь и позвонить сыну, чтоб рассказать, какая из-за Храмцовой стряслась глупая история, но, подумала, Храмцова за дверью может услышать разговор и поймет, как к ней относятся, в частности к этому ее салопу и неприятной манере вливать в себя воду без глотков. Надо отложить звонок на потом, когда эта безумная Храмцова уgomонится и перестанет туда-сюда бегать.

Я не заметила, сколько так просидела в темноте, во всяком случае, вечер кончился, это точно. Наступила ночь. И такая, что я удивилась звездности неба. И не в том смысле, что звезд много и что они большие-маленькие, голубые там или зеленые, а в том, что я как бы знала, кто из них мужчина или женщина, кто старик, а кто молодой, и даже пристрастия каждой звезды были определены. Например, были такие, что морщились от неудовольствия. Были и подхихикивающие.

Звезды так взволновались, что я вышла на балкон: вдруг это ложный эффект и его дало стекло окна? Когда уже вышла, сообразила — у меня не было балкона. Я ведь живу на первом этаже. И там я вспомнила или поняла, что Храмцова умерла уже давно. Я сюда въехала, а через неделю Храмцову вынесли ногами вперед. Мы даже не были знакомы, а что соседка по фамилии Храмцова, так это я узнала, потому что были выборы и какие-то ребята пришли проверять списки. И я им сказала: «В пятьдесят шестой женщина умерла». И парень, веселый такой, сказал: «Вот и замечательно. Баба з возу... Значит, вычеркнем Храмцову навсегда...»

А тут вижу: стоит в дверях моя мама. На ней серое платье рубашечного покроя. Такого в ее время не было. На шее бусы каких-то красных необработанных камней, сроду таких не видела.

— Где ты нашла этот битый кирпич? — спросила я маму. — Это натуральное или подделка?

— Подделки кончились, — сказала мама. — Ты ведешь себя глупо.

Я пошла с ней в эту вот комнату, тут как бы сидели гости.

— Это твой отец, — сказала мама, показывая на неизвестного мне мужчину. — Он сидел на твоём месте.

— Откуда ж мне его знать, — засмеялась я, — если он пропал без вести, когда мне было три года.

Потом смотрю — Митя. Улыбается, он же сроду приветливый. А рядом с ним Гоша. И вся ваша родня. Я только собираюсь их спросить, как все исчезают...

Я не помню уже, сколько раз так было. Уже нет страха, а одно ожидание звонка Храмцовой. Уходят они тоже всегда в тот момент, когда я раскрываю рот. Раскрываю, а моль между ладонями. Бью.

— Вы, Фаля, — смеюсь я, — просто задремываете на ходу... Такое случается...

— А стулья? Ты на них посмотри. Так может расставить нормальный человек?

«Конечно, не может, — про себя думаю я. — Ты сама произнесла это слово. Ты, Фаля, тихо пятишься с ума... Ничего удивительного — старость, одиночество и горе».

Я думаю, что надо позвонить Ежику и рассказать, что мать выходит на несуществующий балкон.

— Не вздумай, — читает мои мысли Фаля. — Не хватало, чтоб он меня возненавидел. Сейчас он раздражается на расстоянии, а ты ему задашь задачу. Устраивать в больницу, то да се.

Только в хорошем чтиве я приму ходящих в салопе призраков. В жизни — увольте. Обвисшую юбку — это да, пойму. Этот чертов загиб в две ладони внутри ее. Это ужасающее убывание тела, самоуничтожение плоти, мечущейся между вкривь и вкось расставленных стульев.

Болезнь, тяжелая болезнь... Ежу видно, а сыну Ежику нет. Такая вот невольная лингвистическая получилась фигура.

Зачем меня позвала Фаля, зачем? Что я должна сделать? Что? Разогнать ее призраков?

— Ничего не надо, — впопад отвечает Фаля. — Ты просто должна знать. Храмцова приходит из-за Мити.

— Но Митя тоже ведь там, — говорю я. — Могли бы между собой разбраться. — Такой у меня юмор.

Мне не нравится разговор, мне он неловок. Быть наполовину ненормальной нельзя, как нельзя быть наполовину беременной. А тут именно случай половины. Здравая часть Фали ведаёт мне о нездоровости, одновременно предлагая мне эту нездоровость считать нормой.

— Мне надо разобраться с прошлым, — говорит Фаля. — Чтоб не бегать туда-сюда, как Храмцова. Надо рассказать о Мите. Ты ведь в курсе, какой он был бабник? Весь народ был в курсе...

— А вы его бабе покупали корову, — смеюсь я.

— Ты знаешь?

— Вы сами мне рассказали...

— Не помню, — отвечает Фаля. — Не помню, что рассказала... А я тебе рассказала, как он умер?

— От колики...

— Понятно... Не от колики. От моей руки.

— Фаля! Не берите на себя грех. Вам это кажется. Вы поверили в то, чего не было...

— Не было?

Она замирает, и я вижу, что она не то что растерянна и сбита с толку, а потрясена чем-то другим, куда более важным...

— А про веночки я говорила?

— Какие веночки?

— Слава Богу, — сердито говорит она. — Как ты не понимаешь, что меня сейчас не надо сбивать с пути. Не делай этого.

...Меня тогда добила веночки из одуванчиков. Ты их когда-нибудь плела? Руки от них делаются черные и липкие. Я это помню. Значит, так... Я еду... Ах да... Надо объяснить. Я взяла служебную машину как бы для инспекции... Шофер был грек. Или армянин? Молодой парень. Сильный. Жара. Он потел. Я это помню до сих пор ноздрями — крепкий мужской пот, от которого у меня кружилась голова. Но заметь, это важная деталь: я не открывала окно. Я *это* вдыхала.

И продолжала после паузы:

— Больше всего на свете я боюсь, что, когда буду умирать, ляпну в бессознание *про это*... Уходящая старуха ведь может что-то вспомнить — слово там, имя, действие... И прохрипит остающимся стыдную тайную мысль, с которой жила всю жизнь. Это ж какой случится позор!

«Ах вот оно что! — думаю я. — Она боится себя от возможной болтливости, когда ослабеет мозг. Говори, Фаля, говори. Я тебя пойму. Я у тебя одна. Но ты права: проговориться о себе страшно».

— ...Вот мы, значит, едем. Медленно так, будто боимся курей подавить. А на крыльце сидят две Офелии в веночках и поют «Виють витры, виють буйни...». У Любы голос — тонкий бисер, а у Зои — контральто, бархат. И они, значит, как бы вышивают песню. Я говорю шоферу: «Остановись, чтоб не видели... Хорошо поют». Встали, а тут выходит Митя с тазом и начинает развешивать одной рукой своей полотенца. Эти с песней сорвались и давай ему помогать. Такой полоумный коллективный труд. Я говорю шоферу: «Поехали». И до сих пор гоняю мысль: Митя сам одной рукой стирал или уже после них вешал? И так мне стало... Не передать... Когда уже не понимаешь ни кто ты, ни зачем... Только вот запах мужчины в машине... Он один от жизни... И я сказала греку... Или армянину: «Остановись». Это уже в чистом поле.

Вот этой остановки — не баб! — я Мите уже простить не смогла. Я не знала, что я *такая*. Что это может во мне возникнуть и я сама позову мужчину. И буду звать потом. Я все боялась, чтоб он не стал говорить, мне было бы это не пережить, но он молчал. Всегда. Ты хочешь спросить, как все было?

— Нет, — ответила я, — какое это уже имеет значение?

— Так и было. Еще с войны у меня был порошок. А он тогда мучился болью.

— Я вам не судья, — пробормотала я Фале. — Да и никто вам не судья. Как говорится, за давностью лет...

И тут Фаля заплакала. Она плакала тихо, по-старушечьи, застенчиво сморкаясь и аккуратно подтирая нос, губы и проверяя потом сухими пальцами кожу лица и стесняясь своей возможной неопрятности. Во всех этих ее движениях, мелких и частых, была не просто чистоплотность, а деликатность, желание не задеть другого своим видом и обликом.

Она уснула как-то сразу, мгновенно, а я, грешница, боялась, что, высказавшись, она не захочет возвращаться и найдет во сне дверь в другие пределы. И что мне тогда делать? Но она проснулась, стала извиняться, а я засуетилась уходить.

Мы обнялись с ней на прощанье, и я поняла, что я люблю эту старуху, получалось, что и она любит меня. Иначе... С чего бы нам так оплакивать друг друга?

Когда вышла, слышала, как Фаля тяжело двигает стулья. А я вот не сообразила это сделать.

Я рассказала все Шуре. Кроме армянина-грека.

— Тоже мне новость, — ответила Шура. — Мы народ-убивец, это давно известно.

— Во мне нет осуждения, — сказала я. — Еще неизвестно, случись мне на дороге две Офелии в веночках и случись в кармане порошок.

— Кстати... — ответила Шура. — Этого не знает никто... Мой дурак Левон давным-давно был в нее влюблен. Он тогда шоферил в горздраве. Любовь снизу вверх. Понимаешь? Но она этого не заметила, она вообще его не запомнила. А он все стеснялся потом с нею встречаться. Его просто колотун бил. Смешно, правда? Левон и Фаля... Хорошо, что мне всегда это было до звезды...



ОЛЬГА ПОСТНИКОВА



ВЕЧНАЯ ВОЛНА

Тяжба о Черноморском флоте

Пороховую размечи завесу,
О покровительница Херсонеса,
Богиня Тихе в башенном венце,
С улыбкою на глиняном лице,

Приди сюда и защити свой город!
Он замер под конвоем субмарин,
Он в море смотрит язвами куртин,
А в чанах бродит виноградный солод.

Его базилик мраморы прохладны,
Его мозаик лотосы нарядны,
И меж развалин высмотреть отрадню
Головки маков малых, а репей
Так любяще цепляется к подолу.
Приди сюда по смальтовому полу,
Из тайного источника испей,

Из красной той трубы, что при осаде
Велел рубить Владимир. В этом граде
После победы окрестился он.
И отнял, чтоб молиться неустанно,
С корсунским серебром Юстиниана
Цветкообразный крест-энколпион.

Но снова пахнет горько или сладко
Цикорий, кориандр и белена.
Над морем накренившуюся кладку
В объятья ловит вечная волна.

Покудова Россия с Украиной
Не могут поделить металлолом,
О гераклейской роскоши наивной,
О византийской гордости былинной
Я думаю — о новом, о былом,

О русском горе, о хохлацком лихе,
О девочке средь монастырских лоз,
Чьих двух сестер извел туберкулез...
Приди сюда скорей, богиня Тихе,
Укрой дождем божественных волос!

* *
*

Когда украли наши иконы, мне было жалко все четыре:
и Богородицу с Младенцем

(большие, мудрые у него надбровные дуги!)

в неизбываемом материнском ласканье,

и Крестителя загорелого

(выпуклые белки глазные,

точные мазки-оживки),

и бумажную литографию в рамке

(целителя Пантелеймона),

память о глухой моей бабке,

и Трифона-всадника с птицей в ладони.

Я стояла на службе в соборе в Лавре,

там среди местных икон увидала

Трифона — безбородый, юный,

с кречетом на плече, царским любимцем,

что улетел было, но святым был найден

(«мой» был постарше, с волосами седыми).

Вспомнила пропавшие святыни своего рода

и вдруг простила грабителя, простила.

* *
*

Всюду символы, напоминанья,
Буквы огненной хищной весны.
И везут, как ягнят на закланье,
Новобранцев для тайной войны.

И облезлая птица стенает,
Расшвырвав по асфальту галчат.
Хорошо тому жить, кто не знает,
Что горящие в танке — кричат.

Сталь охрупла, и мрамор нестоек,
И от света болит голова.
Почему на стенах новостроек
Валтасарова пира слова?

Снова женщины вышли до света,
Чтоб расспрашивать военкомат,
Почему неохватная эта,
Неподъемная родина-мать

Подневольных сынов ненавидит,
Полпланеты вгоняя в психоз.
Восемнадцатилетнего видеть
Почему невозможно без слез?



АЛЕКСЕЙ ПУРИН

*

СРЕДИ ЧУХОНСКОГО МОРОЗА

Euterpe nabokovi

1

Евтерпа, бабочка, рампеткой и тебя
пленили наконец! У прозы
камены не было — платочек теребя,
сквозь слезы, с завистью на все метаморфозы
глазела лирики: вот повезло сестре!
Смотрела косо,
как ритмы с рифмами сплетаются в игре
неплодоносного Лесббса.

И вдруг таинственный живой цветок пророс
среди чухонского мороза —
не сон Новалиса, не медный купорос,
но — полусирин-полурога.
Воистину, страна чудесная, он — твой
(где тверже Реомюра стилос?):
кроилось крылышко чертой береговой,
иглой блистающей чертилось.

2

И к радости моей, с трещоткою ни Фромм,
ни Фрейд не забредал в прохладный
магический объем над невским серебром —
чернильницы, что бред, громадной.
Не лечится душа. От санитарных стран,
от голубого лабрадора
торопится она, как тленный Монферран,
под сень бездонного собора.

Не сны я на земной язык переведу,
но невозможность осязания.
Пусть память роется в младенческом бреду
потустороннего зиянья;
пронзенная иглой, пусть ночь лежит ничком
в дневном беспамятстве широком...
Но нет в Прекрасном встреч с банальным Стариком
и костюмированным Роком.

3

Где, — спросишь, — Благодать? — Она живет внутри
огромных траурниц, смеживших переплеты.

Возьми одну в ладонь — и, как пыльцу, сотри
 пыль ежесуточной заботы!
 Ажурно-нежива (не говори: «мертва»),
 она лишь оторопь иного
 пространства — лучшего, где утлые слова
 сливаются в пределе в Слово.

Так вслушайся тоской одушевленных сил
 в то, что твердит тебе бумага:
 «Я куколкою стал и гусеницей был,
 но образ чаемый — имаго».
 И мне мерещится грядущей веры храм,
 как бы начертанный харитой:
 не шпиль язвительный, не выпуклый лингам,
 но — вроде бабочки раскрытой.

Святой Себастьян

Он мышцы разметал, как спящий,
 ресницы радужно смежил —
 весь в предвкушенье предстоящей
 Любви, в смятенье влажных жил.

Летающий, кажется он выше.
 И безмятежно изнутри
 тростинке острой шепчет псиша:
 «Бери же, жадная, бери!»

На мураве его рубаха —
 что перл на беличьем пуху.

А он — из золота и праха,
 с пернатым трепетом в паху.

Трудна, Господь, Твоя работа —
 и, хоть испарина сладка,
 лоснится липко струйка пота,
 стекая в яблочко пупка.

Но юный лучник ясноглазо
 в сердечный целится сосок,
 поскольку смерть — пустая фраза,
 а день безоблачный высок.

* *
 *

Cette pendule de Saxe...
Mallarmé.

Часы саксонского фарфора,
 у нас нашедшие приют,
 в знак эмигрантского укора
 тринадцать раз в двенадцать бьют...
 Скажи, кто вслушивался раньше
 в их транс? Кто странный
 их расспрос
 на допотопном дилижансе
 сюда из Дрездена привез?

Сочти вопрос маниакальным, —
 но сколько зыбкой наготы
 роится в омуте зеркальном,
 в который смотрим я и ты

на грани судорожной дрожи:
 ах, там проявится сейчас
 атлас венецианской кожи
 и зной полузакрытых глаз...

И призрак старого дивана,
 где с тем же трепетом, что мы,
 сплетаются телами рьяно
 насельники земной тюрьмы —
 в неразрешаемой шараде
 среды причинных паутин...
 О, жизнь! — лишь змейка пряной
 пряди
 и неги призрачной притин...



ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД



СКВОЗНЯКИ



Памяти Аллы Беляковой.

Книжка записная, запасная...
Где вы, кто остался про запас?
Памяти небрежной вязь сплошная
Так черна, что не рассмотришь вас.

Живы те, кого не хоронила.
Вас неведенье мое хранит.

Та, что всех роднее, мне звонила.
Пусть никто мне больше не звонит.

Набираю номер осторожно.
Долгие смертельные гудки.
Как в пустой сторожке придорожной,
Гулко дышат в книжке сквозняки.



Как собака сторожевая,
Конуру свою обживаю.
Я дожевываю, доживаю
День, обглоданный, точно кость.
Цепь тяну все куда-то вкось.

Как приبلудная рыжая псина,
Увернувшаяся на бегу
От хозяина-бедуина,
Что-то чую — сказать не могу.
И теперь одно — обезноживать
Меж овечьих троп, между волчьих,
Что темно, что давно —
 пыдытоживать
На подстилке, дождавшись ночи.

Перебирая фотографии

Пестры, нарядны пять последних лет,
А снимки старые черны и лживы,
Как будто прошлое слизнуло цвет,
Оставив мне на память негативы.

Все наизнанку, все наоборот.
Сквозь пятна времени, наплывы, ретушь
Тебе навстречу продираюсь вброд —
На свет давно погасшей сигареты.

Учусь оттенки мрака различать
И пятиться, собрав остатки воли.
А гладкая цветистая печать —
Простая тайна техники — всего лишь.

* *
*

Две скобки — два числа:
Рождение — уход.
От койки до стола
И дальше — в небосвод.

Пришел ты, как домой,
А циферки — вдогон.
И вот уж — с глаз долой,
И вот — из сердца вон.

Ты на виду у птиц,
Ты в сердце облаков —
Меж просветленных лиц
Бесполоых стариков.

Во дворе

Посудина зеленая, стальная,
Забитая отбросами в мешках.
Смотрю, как плечи слабые склоняя
Старуха-нищенка тасует прах.

Кто право дал судить высокомерно
О тех, кого я вижу со спины,
О тех, кто в поисках полушки медной
По локоть в тление погружены?

Не лучше ль с небом повстречаться взглядом?
Невозмутимый свет — в глазах темно.
А кто-то во дворе — со мною рядом —
Сквозь мусор видит золотое дно.

* *
*

Заржавлена игрушка
С названием жарким: «Жизнь».
Ты говоришь: «Старушка,
Не унывай, держись!»

Стараюсь уцепиться,
Хватаюсь за песок.
Соленая крупица.
Июльский кипяток.

Зовешь, не замечая,
Что я растворена
В голубизне без края,
В сухом котле без дна.



А. СОЛЖЕНИЦЫН



КРОХОТКИ

КОЛОКОЛЬНЯ

Кто хочет увидеть единым взором, в один окоём, нашу недотопленную Россию — не упустите посмотреть на калязинскую колокольню.

Она стояла при соборе, в гуще изобильного торгового города, близ Гостиного двора, и на площадь к ней спускались улицы двухэтажных купеческих особняков. И никакой же провидец не предсказал тогда, что древний этот город, переживший разорения жестокие и от татар, и от поляков, на своём восьмом веку будет, невежественной волей самодурных властителей, утоплен на две трети в Волге: всё бы спасла вторая плотина, да поскудились большевики на неё. (Да что! — Молóга и вся на дне.) И сегодня, стань на прибрежной грани, — даже воображению твоему уже не подъять из хляби этот изневольный Китеж или Атлантиду, ушедшую на дюжину саженой глубины.

Но осталась от утопленного города — высокостройная колокольня. Собор взорвали или растащили на кирпичи ради нашего будущего — а колокольню почему-то не доспели свалить, даже вовсе не тронули, как заповедную бы. И — вот, стоит из воды, добротнейшей кладки, белого кирпича, в шести ярусах сужаясь кверху (полтора яруса залито), в последние годы уж и отмостку присыпали к ней для сохранности низа, — стоит, ни сколько не покосясь, не искривясь, пятью просквоженными пролётами, а дальше луковкой и шпилем — в небо! Да ещё на шпиле — каким чудом? — крест уцелел. От крупных волжских теплоходов, не добирающих высотой, как издали глянуть, и на пол-яруса, — шлёпают волны по белым стенам, и с палуб уже пятьдесят лет глазек советские пассажиры.

Как по израненным, бродяшь по грустным уцелевшим улочкам, где и с покошенными уже домишками тех поспешно переселенных затопленцев. На фальшивой набережной калязинские бабы, сохраняя старую приверженность к исконной мягкости и чистоте волжской воды, тшчатся выполаскивать бельё. Полузамерший, переломленный, недобитый город, с малым остатком прежних отменных зданий. Но и в этой запусте у покинутых тут, обманутых людей нет другого выбора, как ж и ть. И жить — здесь.

И для них тут, и для всех, кто однажды увидел это диво: ведь стоит колокольня! Как наша надежда. Как наша молитва: нет, в с ю Русь до конца не попустит Господь утопить...

СТАРЕНИЕ

Сколько написано об ужасе смерти, но и: какое же естественное она звено, если не насильственная.

Помню в лагере греческого поэта, уже обречённого, а лет — за тридцать. И никакого страха перед смертью не было в его мягко-печальной

улыбке. Я изумился. А он: «Прежде чем наступает смерть, в нас происходит внутренняя подготовка: мы созреваем к ней. И уже ничто не страшно».

Всего год прошёл тогда — и я испытал всё это на себе сам, в мои тридцать четыре. Месяц за месяцем, неделя за неделей клонясь к смерти, свыкаясь, — я в своей готовности, смиренности опередил тело.

Так насколько же легче, какая открытость, если к смерти медленно подводит нас преклонный возраст. Старенье — вовсе не наказание Божье, в нём своя благодать и свои тёплые краски.

Тепло видеть возню ребятишек, набирающих крепости и характера. Теплится может даже ослабление твоих сил, сравниваешь: а каким, значит, коренником я был раньше. Не вытягиваешь целого дня работы — сладок и краткий перерыв сознания, и снова ясность второго или третьего утра в день, ещё подарок. И есть наслаждение духа — ограничиваться в поедании, не искать вкусовых переборов: ещё ты живые, а поднимаешься выше материи. И какой неотъёмный клад — воспоминания; молодой того лишён, а при тебе они все, безотказно, и живой отрывок их посещает тебя ежедневно — при медленном-медленном переходе от ночи ко дню, ото дня к ночи.

Ясное старение — это путь не вниз, а вверх.

Только не пошли, Бог, старости в нищете и холоде.

Как — и бросили мы стольких и стольких...

ПОЗОР

Какое это мучительное чувство: испытывать позор за свою Родину.

В чьих Она равнодушных или скользких руках, безмыслие или корыстно правящих Её жизнь. В каких заносчивых, или коварных, или стёртых лицах видится Она миру. Какое тленное пойло вливают Ей вместо здоровой духовной пищи. До какого разора и нищеты доведена народная жизнь, не в силах взяться.

Унизительное чувство, неотстанное. И — не беглое, оно не переменяется легко, как чувства личные, повседневные, от мелькучих обстоятельств. Нет, это — постоянный, неотступный гнёт, с ним просыпаешься, с ним провакиваешь каждый час дня, с ним роняешься в ночь. И даже через смерть, освобождающую нас от огорчений личных, — от этого Позора не уйти: он так и останется висеть над головами живых, а ты же — их частица.

Листаешь, листаешь глубь нашей истории, ищешь ободрения в образцах. Но и знаешь неумолимую истину: бывало и вовсе гибли народы земные. Это — бывало.

Нет, другая глубь — той четверть-сотни областей, где побыл я, — вот та дышит мне надеждой: там видел и чистоту помыслов, и неубитый поиск, и живых, щедродушных, родных людей. Неужель не прорвут они эту черту обречённости? Прорвут! ещё — в силах.

Но Позор висит и висит над нами, как жёлто-розовое отравленное облако газа, — и выедаёт наши лёгкие. И даже сдув его прочь — уже никогда не уберём его из нашей истории.



БОРИС ЕКИМОВ

*

«ОТЦОВСКИЙ ДВОР СПОКИНУЛ Я...»

Рассказы

ПРОСНЕТСЯ ДЕНЬ...

Зима. Январь бредет к середине, но день еще прибывает скупно. Восемь часов утра, а в небе луна светит белой ледышкой. В глухой западной стороне — синяя тьма, желтеет и розовеет заря на востоке, поднимая день. Снега. До самого Крещенья сыпало и мело. Хату занесло по окна, а глухую стену — вовсе до крыши. Так теплее. Но темно в доме, словно в берлоге.

Первым, впотьмах, чтобы не тревожить жену и внука, поднимается старый курыка Пономарь. Сунув ноги в сухие высокие валенки и накинув полушубок, он спешит на волю, дымит там, кашляет, глядит погоду.

Ластится к хозяину кудлатая большая овчарка Найда — последняя сторожиха. Тобика и Жучку — обычных дворовых шавок, залиvistых, глухых, — тех волки унесли.

— Живая? — спрашивает хозяин. — Сторожишь или от волков хорошишься?

Найда молчит, она зря не лает, не визжит. Подойдет к хозяину, морду поднимет — значит, рада.

Слава богу, ночью не сыпало и не дуло, снег чистить нет нужды. Руки отваливаются грести его да кидать. Заборы перемело. По двору к сараям, к базам тянутся целые траншеи, широкие и узкие, где какая нужда. Но сегодня — тихо.

Первый поход из дома для Пономаря — недолгий: покурить, покашлять, поглядеть, все ли в порядке. И снова — под крышу, в тепло.

Вошел в дом, а навстречу, с кровати, кубарем, внук Сережа, младший Пономарь, глаза аж круглые:

— Не появился еще?!

— Кто? — будто не понял дед.

— Кто — кто... Мой жеребенок!

— Вроде нет.

— А ты и не глядел?

— Не слышать... Пойдем корму задавать, разглядим до дела.

Мальчика подгонять не надо, он одевается быстро.

— Умойся, — напоминает бабка.

— Потом, когда завтракать, — отвечает внук и торопит деда: — Ты чего?.. Я уже оделся.

— Ты — молодой, вот и быстрый, — оправдывается дед. — А я — старый.

Мальчик не ждет его, он уже за порогом, в темном коридоре, потом на воле. И всякое утро встречает его, вскидываясь, и порой валит мохнатая Найда, норовя лизнуть горячим языком. Хоть и в привычку, но со сна это всегда неожиданно, когда валится на тебя пушистая громада и дышит жаром в лицо. Мальчик не обижается, лишь досадует:

— Погоди, игрчая... Пошли поглядим.

И они спешат наперегонки к конюшне. Найда, большая и с виду будто неловкая, в шерсти словно овца, в два мягких прыжка поспекает. А потом ждет, потому что не умеет запор открыть.

Жеребенка опять нет. В теплой конюшенной тьме кобыла Дарья шумно вздыхает, словно винится перед мальчиком.

— Ладно... — говорит он. — Это лучше. Теплеет. А то приморозишь.

Услышав человеческий голос, гусак Василий гогочет и шумно бьет крылами за дощатой перегородкой. И сразу же, по соседству, курлычет индюк Игорь, названный мальчиком неспроста, а в честь старшего заносистого брата, который, слава богу, живет не здесь, а в городе, при отце с матерью.

Мальчик быстро отворяет лазы всей птице. И когда выходит из дома дед, крылатое воинство уже бушует на невеликой толоке, от снега расчищенной. С гогогом, распутив крыла, мчатся по кругу гуси. Индюк Игорь злится на них, багровеет, страшая, скрежещет жестяными крылами; услужливые индюшки поддакивают, заполошно курлыча: «Позор-позор... Какой позор...» А на всех вместе нагло орет рыжий петух Чубайс. Это не мальчик, это дед назвал, раз уж мода такая пошла. Петух молодой, но жилистый, настырный, двух старых забил. А уж горло — луженое. Дед назвал, и теперь, когда настоящего Чубайса по телевизору видели, радовались и говорили: «Наш...»

Бушует птица недолго. Мальчик приносит из амбара ведро зерна и рассыпает его желтыми дорожками по снегу, а остатки — веером. И сразу — тишина. Лишь слышно, как прожористые утки стригут, словно ножницами, все подряд, со снегом. Да и гуси от них не отстанут. Порою птицы ссорятся. Но мальчик приносит еще ведро. Хватает всем.

— Нет жеребенка, — сообщает мальчик деду.

— Нынче нет, значит, завтра будет. Никуда не денется.

Внук соглашается, со вздохом. Хочется поскорей.

Без лишних разговоров начинаются привычные дела. Дед, отворяя двери катухов, выпускает на выгульные базы, расчищенные от снега, летошних телок да бычков, коров, которые стоят отдельно. Скотина на волю не торопится. Старый Пономарь чистит ясли на базах и в стойлах, выбирая вилами объедья и подгребая роненое. Внук его, малый Пономарь, тащит легкие деревянные санки к гумну; но прежде отворяет козий катух и кличет:

— Лукашка, Микитка!

Из сумеречной тьмы стойла светят зеленые огни козьих глаз. Два малых козленка кидаются к молодому хозяину. Они уже слышали голос его и ждали и теперь с меканьем тычутся под ноги и убегают вперед, к гумну, к сену.

Сено — прессованное, в тюках. Мальчик наваливает тючок на санки и катит к деду. Свалил — и покотил за другим. А уж разваливать тюки, набивать сено в ясли — забота деда.

Прошла с подойником жена хозяина. Коров было немало. Но доили лишь трех, для себя. К остальным подпускали телят.

Неторопливо вершились всегдашние утренние заботы. День обещал быть безветренным, не больно холодным. Туманилось, на ветках деревьев — мохнатый иней-куржак. Солнце поднялось розовое и быстро остыло, освещая просторную степную округу: пологие холмы, крутые обрывы, разлужную речную долину, размах которой скрадывала снежная беля. Снег и снег, куда ни глянь, — до самого горизонта.

Лениво кружит в небе орлан-белохвост, ища ранней поживы. Снежная пустыня мертва. И птичий зоркий глаз с высокого поднебесья видит то же: на многие километры, на десятки верст — лишь снег и снег, белая степь и степь. По теклинам, в балках, в долине над речкой — черные деревья: тополя, вербы, дубки, груши по-зимнему голые. Маковки занесенных снегом тернов, шиповника, боярки. И на всем огромном белом просторе, который лишь ветру мерить, единое гнездо человежье. Под высоким холмом,

в укрыеве, и тоже в белом плену, но живое. Там шевелятся. Там есть пожива.

Первые утренние заботы не больно длинные: корма задать скотине, птице, свиньям — на базах, в закутах, в сараях. В четыре руки мужики управляют скоро. Потом уходят в дом, где уже горит печка, чайник кипит, сладко пахнет печеным. Это для внука бабка оладушков напекла. Он любит олады. С медом, со сметаной, с вареньем. Старый Пономарь поутру хлебает щи.

— Ты неправильно делаешь, — учит его внук. — Щи — это обед. На завтрак надо яичницу и олады.

— Это по-городскому... — оправдывается дед. — А я — колхозник. Мне горяченького похлевать. Так заведено.

— Ты не колхозник. Мы — фермеры, — поправляет его внук.

На воле — светло. В хате — свет электрический. Окошки малые, снегом заметены. Дед хлебает щи вяло. Бабка понукает его:

— Хлебай, хлебай. Может, оладушков покушаешь?

— Не хочу.

Он не больно хороший едок. Зато внук за двоих старается. Съел яичницу с двумя оранжевыми «глазками», а теперь с оладьями управляет: накладывает на масляный ноздреватый кругляш горку густой сметаны, ложкой ровняет ее, а сверху — варенье, яблочное, с твердыми дольками. Ест, жмурится, ему вкусно.

— Ты, дед, расти не будешь. Я тебя перегоню.

Бабка усмехается:

— Уже, считай, догнал.

— Правда? Сегодня будем меряться.

Это — забава занятная: стать с дедом спиной к спине и «меряться». Мальчику шесть лет, он — рослый. Деду подпирает к шестидесяти. Он не больно высок, ногами короток, телом еще силен, кубоват, горбится и гнется в поясице. Когда они «меряются», мальчик тянется вверх, ему кажется, что очень скоро, вот-вот он деда догонит ростом.

Теперь — недосуг. Будь за столом один, старый Пономарь давно бы поднялся. Но он знает, что следом вскочит и внук. И потому ждет. Пусть ест мальчишка. Ему в радость еда и в пользу. Привезли его из города осенью, хворого, тощего. На глазах поправился. Подрос, лицо округлилось. Во всю щеку румянец горит на морозе. Любо глядеть. И все хвори пропали.

Глядя на внука, дед свои щеки потрогал, небритые.

— Побрейся, — сказала жена. — Прямо старец. Тем более на люди.

Возрастом она — с мужем вровень, хотя кажется много моложе: свежее лицом, телом пышнее. А муж ее — в недельной седой щетине, морщинистый.

— Ехать? — понял он жену.

— Без хлеба сидим.

За хлебом ездили на соседний хутор, за десять верст. Хоть и трактор в помощь, но — снега, метельные переметы. Не всякий раз проберешься. Да и привезут ли хлеб из станицы, с центральной усадьбы. Тоже — дорога неблизкая, без асфальта, снега, метель. Обязаны-то два раза в неделю возить. Но кто нынче кому обязан? А без хлеба нехорошо. Привыкли к хлебцу.

— Ладно, поеду.

— Ура! Поедем! — обрадовался внук.

— А ты при чем? — спросила бабка. — Без тебя никак?

— Без меня никак, — серьезно ответил внук. — Я — рулевой.

— Перевернетесь еще. Не давай ему руля.

— Ладно. Напоим — и поехали. А то расхватают.

Хлеба привозили немного. Припоздаешь — значит, прокатился зазря.

От базов и подворья до заметенной снегами речки путь недалекый. Не торная дорога — но снежная сакма, пробитая трактором да скотскими копытами. Коровы, бычки да телки идут не спеша; все, на подбор, черные

тушистые «абердины», мохнатые, в шерсти, словно в шубе. Зима им — непочем. За ними вослед тянутся овечки. Коз выпускают позже, они с мяканьем мчатся вперед. Лезут на обочину, в снег, лишь бы раньше других поспеть. Такая у них натура.

Старый Пономарь с пешней и дырчатой лопатой ушел вперед, чтобы прочистить проруби и ледовый желоб. Молодой помощник позади скотины, с ним — Найда. Собака бросается в сторону, бороздя рыхлый снег, шумно нюхает, роется, вздымая снежную пыль. Порою она берет след и тогда глухо лает. Это след волчий.

Скотина идет неторопливо. Черная рать на белом снегу.

Скотина сама идет, ее уже подгонять не надо, но утренняя радость брызжет из детской души. Утро погожее, светит солнце, а впереди — дорога на большой хутор... Чем не жизнь. И как не запеть:

Проснется день красы моей,
Зарей раскрашен свет...

Это песня деда, любимая, тот ее не часто поет.

Я вижу горы — небеса...
Я вижу чудо — чудеса!
Везде большие чудеса!
Все вижу, вижу я!

А здесь уже дед ни при чем. Это мальчик сам сочинил, для себя, потому что у деда совсем иное. А по-своему лучше.

Везде большие чудеса!
Все вижу — вижу я!
Все вижу — вижу я!
Ар-ря! Ар-ря!

Ему нравится эта песня и этот клич.

— Ар-ря! Ар-ря! Бырь-бырь! — подает голос мальчик.

— Ар-р-ря!! — разносится звонкое над индевелыми старыми грушами, что тянутся по долине, отступая от речки далеко.

Здесь, меж пологих холмов, когда-то лежал немалый хутор. Он тянулся над речкой и под горою двумя порядками. Усадьбы стояли не теснясь, просторно. Базы, огороды, немереные левады, сады и даже свои родовые кладбища — все с размахом, чтобы хватало на жизнь и на смерть. А потом все не вдруг, но ушло: люди, дома, иные постройки — вся жизнь. От богатого бывшего хутора лишь память да два брошенных черных дома.

В пору летнюю еще можно сыскать старые фундаменты из дикого камня, заплывшие ямы погребов, желтые глинища на месте лепленых кухонь — знаки прошлой жизни. Лишь донские груши-дулины живут долгий век. Могучие деревья в безлюдье, в покое поднимают и ширят просторные кроны, словно храня до поры обжитое место. По осени, когда поспевают желтые «баргамоты», сочные «черномяски», «ильинки», в пору плодов, приезжают старые хуторяне, их наследники, собирая на своих усадьбах сладкую дань. Больше, конечно, для памяти. Новые насельники — чеченцы — порою пытались гнать их: «Это — наше...» — «Ваше знаете где?! — вскипала казачья кровь. — Ваше там, где вы сажали. А тут мой прадед...»

Потом, вослед за угасшим колхозом, с его отарами, гуртами, кормами, с волей на чужбинку, понемногу ушли и чеченцы. В последний перед окончательным опустением год, когда стали землю давать и разрешили вольно хозяйствовать, без колхозов, приехал и стал жить на хуторе старый Пономарь с женою. То было пять лет назад.

На речке, для водопоя, держали две проруби, прикрывая их камышовыми матами. В ледяные корыта вода шла своим ходом, лишь почищай наледи.

Пока скотина не торопясь пила, успевали поднять и проверить два сетчатых вентера. Попадались шурята, окуни, увесистые красноперки. На уху да малую жареху хватало.

— Геть, геть! — гнали скотину домой. — Ар-ря! Ар-ря! Бырь-бырь! Кызь-куда!

* * *

Синий трактор на высоких колесах быстро катил, оставляя четкие зубчатые следы. Дороги не было видно. За неделю все замело, сровняло. Белой скатертью лежит чистое поле.

На обратном пути мальчик будет рулить по проторенному следу. А сейчас лишь дед видит дорогу, по своим приметам. Он знает ее повороты, опасные места, промоины, в которые того и гляди сверзнешься, кувыркнешься. Дед знает, куда рулить. Трактор бежит и бежит. И вот уже позади замыло белью дом и высокие груши. Ничего не видеть.

Если ехать так час и два, то можно добраться до центральной усадьбы, до станицы; а за три-четыре часа — до самого райцентра. До города на тракторе не доберешься, город — далеко. Там квартира мальчика, его родители, старший брат. Там — дома и дома, машины, троллейбусы, трамваи, много людей, толчея. А здесь — пустое белое поле, речка, занесенная снегом, по-над речкой — урема: голые деревья, кусты. Справа и слева, сторожа долину, вздымаются высокие курганы: Кораблев, похожий на корабль, островерхий Маяк, Трофеи, где можно и теперь отыскать оружие, мины, снаряды. На самом верху Трофеев — могила генерала, погибшего в войну.

Солнце стоит невысоко и светит холодной белью. Далеко все видеть, да глядеть нечего: снег и снег.

— Вот он... — говорит дед. — Не спешит. Знает, что ружье забыли.

По обочине, впереди трактора, неторопливо бежит заяц, повиливая светлым «фонарем» похвостья. Потом он уходит к речке.

Далеко, в распах долины, зачернелся лес. Там — большая река Дон. Там и хутор. Его высокие печные дымы видны издали. Но еще ехать и ехать, катить и катить, оставляя рубчатый след и спугивая с придорожных кустов боярки и шиповника стайки снегирей, свиристелей, щеглов. Иногда птицы не улетают. Придорожный куст словно цветет красными ягодами и алой, синей, розовой, желтой пестрядью птичьего оперенья.

Недалеко от хутора, под горою, — просторные скоты строения: кирпичные, под шифером, с железными оградами базов. Они пустуют. Но там, возле ферм, — черная фигура человека. Он стоит, ожидая трактора. До хутора — шагать и шагать. Лучше подъехать.

С попутчиком в кабине становится тесно.

— Сторожуете? — спрашивает его дед.

— Сторожем. Кинулись, когда окна-двери повынули.

— Шиферу много.

— И шифер уже снимают, стропила пошли...

— А вы для чего?

— Разве углядишь?!. Такую страсть понастроили.

— Старались... — вздыхает дед.

— Из города все возили, — вспоминает спутник. — До тебя еще. Везут и везут. Людей понагнали... Как в Китае... Комплекс будет, комплекс. Начальство приезжало, красную ленту резали. В газетах, по телевизору... И все прахом. Лишь тебе отдать.

— Нет, — отказывается дед. — Мне такого не надо. Тут целая фабрика, завод.

И верно, что фабрика: проплывают мимо кирпичные корпуса, один за другим. Словно город.

— За хлебом? — спрашивает попутчик.

— За ним.

— Должны привезти. Обещали.

У крайних домов хутора сторож выходит.

С бугра, сверху, в отвычку, таким огромным кажется хутор: дома, сараи, заборы; и все — рядом, тесно, даже в глазах рябит. И дорога пошла езда. Трактор катит по ней легче, быстрее.

Большой кирпичный магазин с огромной стеной-витриной не работает, на замке. Хлебом торгуют прямо из машины, из дощатой будки. Но она еще не приехала.

Рядом с магазином — старая школа: дом без окон. Напротив школы, через улицу, живет человек знакомый, старого Пономаря приятель — Майор. «Пенсионер Министерства обороны!» — обычно представляется он. И одежда на нем всегда военная: зеленого цвета рубашка, брюки, зеленая теплая куртка и шапка с эмблемой.

Майор встречает гостей на улице, кричит мальчику:

— Здорово, земля! Живой-крепкий?! Молодец!

«Земля» — потому что у Майора квартира в городе, как и у мальчика, но живет он здесь.

— Какую я шуку поймал! Крокодил! Иди сюда!

В гараже Майора — куча мороженых окуней, щук, бершей, а отдельно — и впрямь не шука, а пятнистый крокодил с разинутой зубастой пастью.

— На жерлицу. Забирай. Бабка котлет накрутит. Вчера ходил, двух зайцев взял, — хвалится он старому Пономарю. — Одного — в садах, другого на Большом Демкине с лежки поднял.

Майор со старым Пономарем знают с давних лет, они — земляки и почти одногодки. Правда, глядится Майор много моложе Пономаря: мордатенький, без морщин, как говорят, «в силах» мужик. И говорливый.

— Земля, в дом заходи, — приглашает он мальчика. — А мы с дедом лишь глянём. Еще две у меня отелились, — сияет он радостью, — таких бычков принесли... Любо-дорого!

Они возвращаются в дом, когда мальчик уже разделся, сидит за столом, угощается ватрушками. На мужа хозяйка ворчит:

— Большая радость... Всю ночь в катухе просидел. Отелились, на мою голову. Куда их столько? Скоро в хату приведем коров и телят. Ничего мне не надо: ни кур, ни гусей, ни телят. Все брошу и уеду. Кохайся тут...

— Р-р-разговорчики в строю! — весело окорачивает ее муж. — Поднеси нам по рюмке за новорожденных. Под зайчатинку. Любишь зайчатинку, земля? Не пробовал? Вот это дед у тебя, охотник называется. Сейчас отпробуешь.

Дом у Майора просторный. Не с печкой, а с водяным отоплением. На кухне — газовая плита. Окна большие, в комнатах светло и без электричества. Жена Майора, мужу под стать, глядится, словно сдобная пышка. Она приветлива, гостеприимна, скучает на хуторе, никак не привыкнет.

Пока греется на плите зайчатина, сообщают новость печальную:

— Бабу Мотю убили. Васька Курунин, Петра сынок. Денег не дала бабка на бутылку. Может, поугатать хотел... Стрельнул через окошко — и конец.

— Уеду я, уеду... — говорит жена Майора. — Он же к нам приходил, тоже просил денег, но мы не дали. Петро на неделю уехал и всем наказал: денег не давайте. Он приходил, просил, мы проводили. А потом слышали выстрел. Как раз кино сели смотреть, слышали выстрел. Но плохого не подумали. Мало ли кто стрельнет. А уж на другой день к вечеру кинулись — бабки нет. То зайдет, или в окно ее видишь. Кинулись — окошко разбитое, и она лежит. Уеду, я сказала, уеду... — всхлипнула жена Майора. — Пристрелят тут, и никто не узнает. Будешь лежать.

— В городе быстрее прихлопнут, — хмыкнул муж. — Там мастеров...

Мужики выпили по рюмке, поспела зайчатина.

— Говоришь, волки... — оживился Майор. — Значит, надо устроить за-саду. Приморозим дохлину, засядем...

— Сами приморозитесь, — встряла жена. — Как та дохлаина.

— Нашла кого заморозить... Нет, мы их поучим.

Разговор старших об охоте да жалобы женщины быстро наскучили мальчику, тем более что вокруг лежал людный хутор.

— Пойди, земля, побегай, — заметив его нетерпение, сказал Майор. — Хлебовозку увидишь, шуми. К Вьюркам сбегай, у них весело.

— Очень весело... Приходила нынче Вьюркова за солью. Жалится: плохо без колхоза. Раньше старших — в школьный интернат, на всю зиму, там их и одевают и кормят, голова не боли. А младшим — с фермы дробленки. Кашу на всю орду. А нынче — интерната нет, в школу не ездят, ферму закрыли, дробленки нет. Вот и плачет...

— Молодые, здоровые... — горько вздохнул Майор. — Мне бы их годы, полон двор бы скотины навел.

— Кто о чем... — укорила его супруга.

Но муж не слышал ее:

— Такие молодые... Сарай на дрова сожгли. Жалобы пишут Ельциной. Раньше Терешковой писали, нынче Ельциной... Грамотные. А работать не хотят. Колхоз кончился — по миру пошли... Где выпросят, где украдут. У тебя — быка, у меня телушку... Чечены... Сами стали хуже чеченов. Все прут.

Мальчик оставил старших с их разговорами и заботами и вышел во двор. К Вьюркам идти не хотелось. Там — все кричат, все орут, грязь и вонь. Он просто выбрался из дома и со двора, завернул за медпункт и с пригорка, от разбитого клуба, стал глядеть в ту сторону, где меж холмами, совсем недалеко, лежала тоже снежная беля, уже не земная. Это был Дон, большой и широкий, от меловых обрывистых круч на этом берегу до густого леса на том. Издали, даже через снежный покров, мальчик, казалось, видел прочный панцирь зеленоватого прозрачного льда, от берега к берегу. Под ледяной толщей — темная немереная глубь с рыбами. Не той мелочью, что попадает в вентеря на своей речке. Щука плывет, как бревно. Сомы — еще больше. Они уток живьем глотают. Придет лето, и они с дедом приедут сюда рыбачить. Возьмут у Майора лодку и поплывут. За Доном, в лесу, — глубокие озера. Теперь они тоже под снегом, под толстым льдом. В темной воде — рыбы, но другие. Мальчик видел их: больших золотистых карасей, дремлющих в зимнем покое.

— Сына... — окликнули его. — Моя сынушка... Ты либо первый за хлебом?

Очнувшись от грез, мальчик увидел старую женщину, укутанную в большой теплый платок.

— Первый. А за мной — Майор, — ответил он.

— Буду за вами. А привезут хлеб? — Женщина шурилась, разглядывая мальчика, а потом спросила: — Ты чей же будешь? Не угадаю?

— Борисов, — ответил мальчик свою фамилию.

— Борисы?.. Не накину умом...

— Мы живем на Теплом хуторе.

— Догнала, догнала... Пономаря внучок. За хлебом приехал? Волки вас там не поели? — серьезно спросила она.

— Нет. Они наших собак поели, Тобика и Жучку. Дед их пугает. Стрельнет, стрельнет, и они убегут. А на тот год у нас будут другие собаки, от Найды, большие. Они с волками сладят...

Понемногу стекался народ, занимая очередь. Потом пришла жена Майора с известием:

— Выехали из Малой Голубой. Хлеба везут много.

— Дал бы бог, доехали... Набраться бы... Надоели джуреки.

Когда синяя будка машины-хлебовозки показалась на холме, народ взволновался: стали делить хлеб, прикидывая, по сколько буханок давать в одни руки.

— Тот раз первые похватали, а картулевские припоздали и с таким ушли.

— Не будут дремать...

— Надо по норме: три буханки на руки, мало — становись снова в очередь.

— Будем кружиться, как овечки?

— Умом рухнула. Три буханки. Мы за присест две съедаем.

— Тогда на вас пекарни не хватит. Свой хлеб заводи.

Машина подъехала. Выстроились в очередь, готовя мешки. Кричали:

— По три на руки!

— По пять!

— Вволю давайте!

— Не шумите! Всем хватит! — успокоил шофер. — Еще и назад повезу.

Он открыл двери будки, пахло хлебным духом. И хотя видел народ полные лотки, но ворчал, глядя, как старый Пономарь держит мешок, а в нем, как в прорве, пропадают за буханкой буханка:

— Восемь... десять...

— Хорош!

— Двенадцать, тринадцать...

— Все готовы сглонуть... Помещики... А с Картулей подъедут...

Старый Пономарь молчал. Майор заступился:

— Не шумите, человек издаля приехал.

Мешок хлеба набрали, отнесли в трактор. А пока то да се: с Майором и женою его прощались, забирали мороженую огромную щуку, которая в кабину не помещалась, пришлось ее сзади привязывать.

— Прибуду, — обещал Майор. — Днями прибуду. Устроим засаду. Всех выбьем. А потом гульнем, песняка поиграем. Верно, земля? — подмигнул он мальчику. — Нашу сыграем. «Проснется день красы моей, — воздел он руку. — Ой-ды, просне... Ой-ды...»

Пока собирались, прощались, очередь у хлебовозки растаяла. Последние нагружались уже без крику и шуму, под завяз.

Старый Пономарь подъехал к хлебовозке, спросил:

— Еще дашь? Ко мне ребята надъезжают, Калмыков Алексей, Зимарков, какие в землянке живут, на Есауловском провале. Они просили...

— Забирай под гребло. Ждать никого не буду. Значит, им не надо, картулевским. Поднимется сипуга, застряну.

Начинало и впрямь понемногу мести. Ветер шел с Дона. По склонам холмов дымила низовая поземка.

Набрали еще мешок. Шофер попросил:

— Вы не спешите. Я поеду, погляди, пока я на бугор заберусь, Резина — лысая, цепей нет, гальмует. Застряну, а трактора где? Нету.

Он поехал. Синий фургон осторожно карабкался по белой горе и белой дороге. Синий трактор ждал, пока он взберется. Потом тронулись. В кабине сладко пахло хлебом.

— Бабка наша обрадуется, — сказал дед. — Да еще два письма везем.

— От кого?

— От твоих и от Маши.

— Дай поглядеть.

Дед хмыкнул и, вынув из кармана, подал ему два конверта. Мальчик повертел их, даже понюхал и вернул деду, сказав:

— Ладно, вечером прочитаем.

За хутором, на пробитой утренней колее, еще не заметенной поземкой, мальчик попросил:

— Дай порулить.

— Садись, — сказал дед.

Поменялись местами. Старый Пономарь помог выжать сцепление, а скорость мальчик сам включил. Покатили. Трактор шел мягко и споро. На прямой дороге не было нужды руль крутить. Но мальчик пробовал: туда да сюда. Трактор послушно вилял.

Небо понемногу затягивала непогода. Солнце глядело тусклей и тусклей, словно меркло. И округа: поле, холмы — все подвигалось ближе, смыкаясь с близкой далью и сизыми небесами.

Внезапно посыпал снег, крупными хлопьями и густой, что называется — стеновой. Не то что дороги, выхлопной трубы не видать, а она — за стеклом, перед носом. Остановились. Снег был недолгим. Словно розом рухнуло — и все. Обычный серый зимний денек: порхающий снег, дорога, белая долина, холмы, засыпанная снегом речка, черная чащоба деревьев.

Помаленьку доехали. После хутора, его домов и домов, обитель своя: невеликий флигелек, потонувший в снегу, базы да сараи занесенные, лишь крыши торчат, — все это показалось таким малым.

Но выбежала навстречу Найда, кинулась к трактору. Сразу хорошо на душе: домой приехали.

Хозяйка была хлебу очень рада.

— Молодцы... Какие молодцы... — хвалила и хвалила она. — Как удачно съездили. На морозе с ним ничего не сделается. Потом в полотенце и паром — как свежий будет. Немного сухариков посушим.

Она брала за буханкой буханку, выкладывая из мешка на стол. В электрическом свете буханки сияли золотистой солнечной желтизной. Хлеб в тепле согревался, наполняя дом сладостью и кислинкой свежего печева. Хозяйка взяла нож и отрезала щедрую горбушку. Ноздреватая мякушка засветила, словно медовые соты, хлебный дух поплыл явственно и дразняще, щекотал ноздри.

— Мне горбушку, — попросил мальчик.

— И мне давай, — со вздохом сказал дед, усаживаясь к столу.

Взяли по ломтю и молча ели.

Соль и сахар, сметана и масло, варенье в баночке — все было на столе, под рукой, но ничего не тронули. Ели хлеб, наскучав по нему за неделю. Пышки, конечно, хороши, и оладьи — тоже, и блины, а хлеб все же лучше. Он сладко пахуч, и чутся языком и нёбом дрожжевая ли, хмельная кислина. Все в нем впору и в меру, не надо и слабировать, тем более — свежий.

Как говорится, невидя, в охотку съели буханку.

— Разговелись, — сказала хозяйка. — Слава богу.

Разговелись и подались к делам привычным: хозяйка — в доме, мужики — на базах, у скотины. Чистили да вывозили навоз, стелили в стойлах. Вилы, скребки, лопаты... Деревянный короб на полозьях, навоз вывозить. Черный баз на задах. Гумно. Пахучая солома. Пшеничная — на подстилку. Сыпучая просяная — в ясли. Работали... Шустрые козлята, Лукашка с Никиткой, скачут рядом с мальчиком, под ноги суются, тычутся в руки горячими носами. «Кызь-куда! — окорачивает их молодой хозяин. — Все бы они игрались!» Козлята прыгнули в сторону, тревожа гусей, которые дремлют, головы — под крыло. Лишь гусак Василий всегда настороже. Га-га-га... — предупреждает он и норовит щипануть непоседливых. Индюк Игорь наливается злостью. Позор-позор... Позор-позор... — подзуживают индюшки. Натопырив жесткие крылья, индюк, словно броненосец, движется на козлят. Спасенье — возле молодого хозяина, который индюка не боится.

Свиной закут. Тяжелым хавроньям и хряку — зерна и воды. Бокастую жеребую кобылу Дарью — на баз, пусть промнется. Ее стойло мальчик чистит только сам, не доверяя деду. Дочиста выскреб и настелил ворох соломы, чуть не в пояс, чтобы жеребенку, коли появится он, было тепло и мягко. Дарье — сытного поила из дома, хорошего сенца.

Кудлатая Найда что-то учуяла на черном базу, позади катухов, шумно нюхала, азартно гребла снег.

— Либо ночью лиса сюда приходила? — спросил старый Пономарь. — Слабину пытается.

По всему видать — рыжая. След и дух волчий собака встречала сдержанным глухим рыком, понимая серьезного зверя. С лисами Найда управлялась ловко: давила и рвала их. Лишь одну премудрую, видно старую, не могла взять. Та уже забиралась в курятник через крышу. Спасибо, петух Чубайс поднял крик, Найда успела на помощь. Лишь двух кур зарезала лиса и убежать успела. Спасибо, двух. У Майора — двадцать пять, всех,

что были, вместе с петухом порезала, в кучу сложила и присыпала сверху соломой. У деда Вьючнова — тоже два десятка. Теперь, видно, сюда метила, к старому Пономарю.

— Гляди, — приказал Найде хозяин. — Бабка нам не простит.

Снежная зима. На десятку верст пустая округа. Глухие лесистые балки. Непролазные терны над речкой. Раздолье для зверя. Заячьи тропы. Мудреная вязь «петель». По красноталам — жировки. Лисьи «цепочки» там и здесь пересекают округу. В глубоком снегу нелегко мышковать.

Всем трудно. Волчий, будто бы одинокий, след возле жилья человеческого, скотьего вдруг распадается веером: один, два, три, четыре, пять, шесть. Волк с волчицей да «прибылые». Зимний быт нелегок для всех.

Прежде на каждом хуторе, на отлете, — молочные фермы, свинарники, гурты овец. Редким крапом по степи — чабанские «точки». Отары на Калиновом, на Фомин-колодце, на Хорошем, на Осиноголовском... В одном лишь колхозе — три десятка отар. И все не больно путевые. Одной дохлины всем хватало: и волкам, и лисам. А нынче — пустые кошары, базы. Лишь скотий дух, а им сыт не будешь. Зверю надо кормиться.

Прежде от охотников не было отбоя: свои, райцентровские, городские, начальство и простецкий люд. Брали красного зверя флажками, выгоняли из балок, делали засады на падаль, машинами гнали, расстреливали с вертолетов. Нынче все стало дорого и недоступно: охотничьи припасы, бензин — не по карману баловство. А уж вертолеты — тем более.

Вот и плодятся зверь, смелеет. Глурых дворняжек уносит с порога, из конуры вынимает. Тобика с Жучкой волки утащили еще в начале зимы. Тут же, на бугре, разорвали, оставив лишь ключья рыжей да черной шерсти.

Умная Найда на стаю одна не пойдет. Она и ночует в старом курнике, возле хаты. Волков учуя, голос подает. Всякую ночь приходится выходить и стрелять. И, конечно, следить, чтобы крепки были запоры и заплоты.

Зимний быт — снега, метели, холод. Всем нелегко: людям и зверям.

Обедали. Тут уж ни деда, ни внука уговаривать не приходилось. Напегон ели прозрачный крутой холодец, окисленный помидорным да огуречным рассолом, хлебали жирный борщ, приняховались к тому, что шкворчит на плите, в чугунной жаровне.

— Утка? — отгадал внук. — Я люблю утку...

Лишь сама хозяйка-стряпушка, которая, как известно, «сыта с покушки», больше подкладывала, чем ела, про письма рассказывала, какие привезли.

— Отец с матерью пишут: может, скучает...

— Некогда нам скучать, — ответил внук ее же словами.

— Пишут, в сентябре в школу. Игорь будет готовить тебя...

— Какой Игорь? Индюк?

— При чем тут индюк? Брата забыл...

— А он тоже — индюк. Еще хуже нашего. Учитель нашелся. Только и знает, что в угол ставить.

— Какой ни есть, а брат родной, старший... И нельзя так.

Слова внука, пусть и не больно вежие, были по сердцу бабушке. Прожили вместе с осени, приросла душой. Каким привезли его: весь в хворях, синий, как снятое молоко. А нынче не дитё — а спель, лишь нажми — сок брызнет. И растет — на глазах. Не сглазить бы, тьфу-тьфу...

Отобедали. Дед отдыхал, отсыпаясь за беспокойную ночь. Мальчику времени и без того не хватало. До сна ли...

Из сарая дров привезти, готовясь ко дню следующему, сложить их в сених. Проведать «детвору» — малых телят, которые до поры жили в «теплушке», невеликой мазаной хатке с печуркою — «грубкой». В холода «грубку» протапливали. Телят поили молоком, понемногу приучая и к сену, привязывая зеленые травяные венники. Душистый корм, едовый. Телята помаленьку хрумтели. Они были еще маленькие, тонконогие. Когда гладишь, то чувствуется непрочная детская плоть. Но росли быстро.

А еще нужно было покататься с горы. Сразу за гумном шел крутой подъем. Взобраться можно было высоко, а потом катиться. Не в санках. У них полозья проваливались. Катались в большом алюминевом тазу. Мальчик и Найда. Собака любила эту забаву и помогала взбираться вверх по склону, легко волоча своего спутника, который цеплялся за ошейник.

На первый раз поднимались невысоко: в четверть ли, в полгоры. Сиделись. Мальчик, а потом — Найда.

Летели по накатанному желобу вниз. Собака порывивала и, пугаясь ли, балуясь, выбрасывалась на ходу и мчалась вдогон с лаем. И снова лезли наверх. И наконец поднимались на самую вершину.

Внизу лежал дом, сараи, базы — все малое, все в снегу утонувшее. И насколько глаз хватало — все снег и снег. Если долго смотреть, то вдали начинало чудиться что-то не больно доброе. Темное пятно будто шевельнулось. Уж не волк ли?..

Сверху мальчик катил один. Глаза закрывались от снежного вихря. Гудело в ушах. А потом утишался бег, по ровному, все медленней, мимо гумна, до самой дороги. Найда глядела сверху, а потом мчалась к мальчику огромными прыжками. Она словно летела: прыжок — и лёт, прыжок — и снова лёт. И наконец догоняла.

Выходил после отдыха старый Пономарь. Снова начинали возить с гумна сено, солому для вечерней дачи. Кормили птицу, свиней. Поменьку подступал вечер.

В дни пасмурные сумерки приходили скоро. Зато в дни ясные алое солнце садилось в розовые снега. И луна поднималась, словно яйцо пасхальное.

Всякий вечер, прежде чем в дом уйти, мальчик с дедом обходили живность, крепко запирая все стояла на ночь.

— Лукашка, Никитка, марш спать! Василий, ты — главный сторож. Гляди не засни.

О-го-го... — гордясь немалым доверием, отвечал из тьмы птичника гусак.

У кобылы Дарьи мальчик задерживался дольше. Он гладил ее по теплomu бархатному боку, даже прикладывал к нему ухо, снимая шапку. Что-то урчало в просторном чреве кобылы.

— Ты поскорей, — говорил мальчик. — Я по нему соскучился. Да и ему там надоело. Тут лучше.

Во тьме конюшни мальчику виделся жеребенок, не настоящий, а зыбкий призрак. Чудо ли, сказка... Даже не верилось, что он будет настоящий, живой. А так хотелось.

Вечер собирал под одну крышу всех. Долгий вечер, неторопливый ужин, спокойные дела.

Не в пример скотным катухам, загонам и базам жильё хозяйское было невелико: горенка да кухня. В первой — просторная кровать, малый диванчик, шкаф с одеждою да стол с телевизором и видеомагнитофоном. На кухне теснее, там — печка, стол обеденный, горка с посудой, у порога — одежда, да обувь, да всякая снасть хозяйская, которая нужна под рукой: подойник, молочные фляги, сепаратор, маслобойка. В углу — выгородка, где обсыхают новорожденные телята, козлята, ягнята.

На кухне же — яркая лампочка у потолка и рядом, в подмогу, лампа керосиновая. Здесь — теплая печка, сытый дух теста, еды, пряных и горьких трав, что пучками висят под низким потолком. Здесь все дела вечерние, мужичьи, бабьи: крутится колесо самопряхи, сучится нить, вяжется пуховый платок ли, надвязываются пятки драных шерстяных носков мужа и внука, подшиваются валенки да чирики и вполглаза, через широкий дверной проем, глядятся по телевизору новости. «Тропиканку» — долгий фильм с продолжением — хозяйка идет смотреть ближе к телевизору.

Мужики на кухне сидят. Дед греется у теплого бока печки. Без теплой одежды, он будто усыхает: костлявые плечи торчат, острые коленки. Он греется и что-нибудь ладит да чинит: худые валенки или карбюратор мотороллера «Муравей».

Нынче разложены на полу железки. Жена ворчит, а ведь надо. Скоро уж лето.

Мальчик у деда в помощниках. Помогает и торг ведет:

— За это ты научишь меня на мотороллере ездить. Ладно?

— Научишься. Дело нехитрое.

— Чтобы перевернулся... — осуждает из горницы бабка их планы. — Потакай ему.

— А в моем возрасте уже ездят на мотороллере, — сообщает внук.

«В твоём возрасте...» — обычная бабкина погонялка: «в твоём возрасте пора соображать», «в твоём возрасте люди уже...». Вот и пригодилось при-сло-вье.

— Дед в моем возрасте уже ездил.

— На быках, — отвечает бабка. — Цоб да цобе.

— Быки, они тоже транспортное средство, — усмехается дед. — Не всякий сладит. У нас, бывало, сеструшка Ганя...

За стенами дома, рядом со входом его, залаяла Найда и смолкла.

— Не волки? — спрашивает внук.

Каждый вечер стали приходиться к дому, к усадьбе волки. Старый Пономарь отгоняет их выстрелом-другим из ружья. Но это еще не они.

— Лиса... — говорит дед. — Волкам рано. А вот раньше волчат прямо из нор брали. Я сам лазил. Как ты вот был. Степан с Осеем приметят нору с выводком. Приглядят, когда волчица уйдет, тогда идем туда. Меня за ноги привяжут, я лезу в нору.

— Прямо к волкам? Один?

— Братья большие, им не пролезть. А я — в самый раз. За ноги налыгачим — и полез. Длинная нора, да еще с отгорком. Ухватишь в обе руки и ногами дрыгаешь. Братья тянут. Отдашь и снова лезешь. Пока всех не заберешь. Надо лишь пораньше, пока они совсем малые. А побольше станут, черябают, кусают. Все руки погрызут.

— И ты не боялся? — спрашивает мальчик.

— Здоровые дураки, дитя засовывали, — из горницы осуждает бабка. — А если б волчица там? Враз бы голову откусила.

— Волчица за своих не кидается, — возражает ей дед. — Если видит, что берут, уходит и не подойдет. А за волчат хорошо платили. Либо по пятьдесят рублей, не упомню. Из России, из Тамбова, приезжал к нам человек каждую весну. Он по-волчьи умел подзывать.

Мальчик слушает дедовы сказки. Даже имена тогдашние, сестер, братьев деда, звучат таинственной музыкой: Ганя, Степан, Осей, Ефрем, Фотей, Федора.

— Малые волчата, лисята, их не отличишь. А подрастут — видно. А лисята людей не боятся. Матери нет, не прячутся, бегут, вроде игратьсь хотят.

— И ко мне бы подошли, близко? — не верит внук.

— Прямо к ногам. Весна будет, логово рядом есть. Там всегда лисята. И мы, бывало...

От времен давних к сегодняшним возвращает своих мужиков хозяйка. Отглядев очередную серию «Тропиканки», она приходит на кухню, говорит задумчиво:

— Что у них, что у нас... Одинаково. Кому бабка Мотя мешала? — вспоминает она убитую в соседнем хуторе старуху. — Она же его нянчила. А он ее за бутылку застрелил. И вроде мальчишка неплохой, всегда здоровался. А такая страсть. И бабку погубил, и себя. Расстреляют? — спросила она мужа.

— Вряд ли, — ответил он. — Несовершеннолетний. Он же школу не кончил.

— Значит, в тюрьме сгниет. Вот и нажился. Ничего не видал. Растут дикашами, — горько сказала она. — Без школы... Шалаются... — Она вздохнула, пристально поглядела на внука, будто почудилось ей что-то неладное и в его судьбе, что-то не больно доброе. А потом продолжила уверенно: — Городские дети, для них — все. Им ума вкладают.

— По мусорным ящикам лезят да по подъездам, сама говорила, — напомнил внук бабкины же слова.

— А это уж кто как. Это от родителей зависит. В детские садики. Там — воспитатели, они плохому не научат.

— Позакрывались твои детские садики.

— Есть и открытые.

— А в тех дорого. Чем платить? Папин завод не работает. Вот так! — победно заключил мальчик. Он уже понимал, куда бабка гнет.

— Найдем деньги для родного внука.

— Детские садики твои... — не сдавался мальчик. — «В лесу родилась елочка... Разбейтесь по парам», — передразнил он воспитательницу. — Вроде я — маленький.

— А то какой...

— Нет. Я — большой, — твердо ответил внук. — Я же не реву, когда ты меня по заднице хлыстанешь. Больно, но я терплю. Потому что я — казак.

Разговор становился серьезным. Недоброе крылось в бабкиных словах. Мальчик на деда поглядел, шагнул к нему.

— Казак, сынушка, казак... — успокоил его дед.

Мальчик сразу ободрился.

— В детсад... — повторил он немилые бабкины слова. — А кто будет сено на санках возить? А скотину гонять на речку? А за Никиткой, Лукашкой глядеть? Все — дед? Один дед, да? — гневно вопрошал он. — А дед уже старый. У него рука болит и спина. Я же тебе помогаю, деда? Ты же сам говорил, без меня как без рук?

— Помогаешь, сынушка, еще как помогаешь, — успокаивал мальчика дед и на жену поглядел выразительно: «Молчи».

И вдруг мальчику вспомнилось главное — его жеребенок, который вот-вот на свет появится. Расстаться и не увидеть... Это было так обидно и больно — выше сил. Мальчик побледнел.

— А жеребенок... — прошептал он. — А он... А я...

Дед понял, положил на плечо мальчику руку.

— Не бери всерьез, — сказал он. — Бабаня шуткует. — И чувствуя, как бьет тело мальчика нешуточная дрожь, стал говорить: — Нам без тебя — никак. А весной — тем более. Скотину приглядишь, сеять сможешь. Воду подвезть, семена. Лошадку запрежем, и пошло дело. А уж косить начнем, там и вовсе. Траву ворочать, сушить. Тюки возить, скидывать, — считал и считал он будущие труды. — А на бабкиной плантации кто помогать будет? А новый баз ставить?

Чем больше он находил дел, тем спокойнее становилось у мальчика на сердце. И бабушка уже глядела с улыбкой на своего помощника и дедовы слова подтверждала, сдаваясь: «Без тебя как без рук», но с горечью понимая, что жизнь все расставит. Скоро, скоро с внуком придет пора расставаться: в школу пойдет — и все. И быстро забудет хутор. А они опять останутся вдвоем, одиноко. Особенно по времени теплому, когда надо бороновать да сеять, сено косить, хлеб убирать, пахать, снова сеять. На заре муж поднимется — и нет его. Целый день одна. В стенах ли дома, на базах у скотины да птицы, на огородах. Одна и одна. Не с кем перекинуться словом. Муж подъехал в обед, поел и снова уехал. И опять — одна, теперь уж до ночи. На подворье еще можно собаке, курам что-то сказать. А в огородах уйдешь — там вовсе. Рыхлишь ли, пропалываешь... Разогнешься, глядишь — зеленая пустыня вокруг. Все молчит. И близко, и далеко. Ряды за рядами: белесая капуста, сизый лук, темная зелень картошки, помидорные гряды, по берегу речки — вербы, за ними — холмы, степь, а выше — небо. И все молчит. Лишь редких птиц голоса. Провисит иволга в вербах и смолкнет, прилетит горлица и будет стонать и стонать. Трактор мужа где-то гудит далеко. Порою такая находит тоска: работаешь — и слезы льются. Начинаешь вслух мужа корить, далеких детей: «Бессовестные... Хоть бы

приехали, поглядели... Подохнешь тут, и никто не узнает...» Кто бы послушал, сказал бы: с ума сошла.

Так что внук хоть и малый, а великая радость, душе подмога. Нет нужды с фотокарточками говорить. Но скоро заберут его. Была бы школа. Мальчику нравится тут. А в городе нынче радости мало. Работы нет, получают копейки. Привезли его — глядеть тошно. А здесь окреп, вырос. Была бы школа поближе. До станицы — далеко.

— Школу не надумали открывать? — спросила она у мужа.

Который уже год шли разговоры про начальную школу. Прежде колхоз возил ребятишек на центральную усадьбу всякий день. Нынче все кончилось: колхоз, его автобус. Кто ушел на квартиры, а кто и дома сидит.

— Не было про это разговору, — ответил ей муж. — Какие раньше были школы... Что у них, что у нас. Да наша еще лучше.

Он помнил. Как не помнить ее... Деревянной постройки, с большими окнами, на высоком фундаменте, школа стояла на въезде в хутор, с левой руки, под бугром. С высокого крыльца ее весь хутор видать. Два учителя, муж с женой: Иван Павлович, Мария Васильевна. Он — фронтовик, капитан, на аккордеоне хорошо играл. Аккордеон — трофейный немецкий красавец с перламутровыми клавишами. Сядет в коридоре, играет. Все слушают.

— Где-то фотокарточка есть, — сказал старый Пономарь. — Возле школы снимались.

— Покажи... Где? Давай я найду... Я знаю...

Мальчик кинулся в горницу, принес старый школьный портфель, в котором хранили фотографии. И вот они легли грудой и веером на кухонный стол: годы прошлые, давние и нынешняя пора, где дети и внуки, их жизнь. Милые карапузы, школьники, свадебные пары. Милые лица, цветные снимки. А вот это снял заезжий фотограф из райцентра: хуторская школа, крыльцо ее, Иван Павлович с аккордеоном, Мария Павловна, ребятишки.

— А где ты? Ты где, дед? А где бабушка?

Ребятишки. Крыльцо. Колодец с «журавцом». Деревья. А дальше — дома, крыши.

Надев очки и с трудом сыскав, он показал внуку себя, лупоглазого. А потом стал глядеть на снимок уже без очков, которые будто мешали. Он глядел, щурился, лица расплывались. Но виделось ему много больше, чем уместил снимок. Весь хутор. Дома и дома. Народ и народ родной. Люди, которые нынче уж нет: мать, крестные, дядя, тетки, соседи. Длинные хуторские «порядки» ли, улицы, колхозное правление, клуб с кино и танцами, председатель в тачанке, амбары, хлебные тока с бунтами и бунтами хлеба, быки с арбами, прицепные комбайны «Сталинец», тракторы «СТЗ-Нати», покосы на Змеином рыну, на Таловом, бахчи на Чиганаках, молочная ферма, конеферма, свинарник, птичник — везде люди и люди, народ и народ. С утра до ночи. Зимой и летом.

И куда все это делось, ушло?... Целый хутор словно уплыл вешней водой. Лишь одна хата за бугор зацепилась.

Фотографии посмотрели, вздыхая о старине и о нынешнем. В тесном домике, под низкою крышей стало как-то невесело. Жена сказала: «Сыграл бы, что ли...» Внук мигом принес из горницы гармошку.

Хозяин взял в руки свою облезлую трехрядку, усмехаясь, вздыхал: «Где наши годы...» А потом заиграл, клоня голову, слушая и будто сам удивляясь: как могли его большие, изломанные долгой работой руки, его пальцы — эти узловатые корявые корневища, как могли они... Они ведь и не гнулись почти. Лопату, топор еще держали, а что помельче — даже ложку и ту с трудом. Казалось, что меха растянуть — еще ладно, получится, а вот отыскать на планках малые кнопочки, нажать нужную, сделать «перебор», легонько пробегая снизу доверху, и не сбиться...

Но молодели пальцы ли, душа. Всякий раз, склонившись над мехами, старый Пономарь ничего не видел и ни о чем не думал: сможет, не смо-

жет. И свершалось чудо. Гармошка играла. Нежные певучие звуки ладно сходились и звучали порознь. Музыка, простая музыка, брала за душу, тревожа да радуя, — на то была гармониста воля.

«Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь...»

Фотокарточка тому виной, разговоры, память или музыка «Снова замерло все...». И он идет по уснувшему хутору во главе молодой гурьбы, из конца в конец. «Может, радость моя недалеко...» Гурьба редет. Проулки, левады, укромные места... Отстают и пропадают во тьме парочки. Глохнут шаги их. И вот уже остались вдвоем. Смолкла гармонь. Молчит летняя ночь. Не надо ни слов, ни музыки. Старый Пономарь смотрит на жену свою. Господи, как недавно все было и как памятно. Только плакать не надо. И, резко меняя напев, гармошка к иному кличет:

Не играй, милый, в гармошку,
Холодно твоим рукам.
Подойди к моему окошку,
Я перчаточки подам.

Не умеешь припевать,
Не берись подсказывать.
Твоим длинным языком
Трактора подмазывать.

На такой призыв обычно откликаются даже козлята за выгородкой, в углу. Заслышав музыку, они стучат по полу копытцами, словно каблукками.

Гармошка играла, пока на воле не залаяла Найда. Теперь это был именно тот лай, которого ждали. Оставив гармошку и взяв ружье, старый Пономарь вышел на волю. Собака стояла у порога и лаяла редко, со сдержанным рыком. Услышав подле себя хозяина, она посунулась вперед, словно показала в сторону огородной калитки и тьмы за ней. Хозяин шагнул туда, поднял ружье и стал вглядываться, пытаясь найти зеленые огни волчьих глаз. Их не было. Тогда он стрельнул во тьму и прислушался, слыся поймать шорох убежавшего зверя. Но такое было лишь в пору снежного наста да гололеда. А теперь — тишь. Он стрельнул еще раз в ту сторону, куда обычно уходили волки, — в пологий распадок.

Внук выскочил в коридор.

— Ты попал? Попал? Пошли поглядим, может, попал.

— Попал. Помирать побежали.

Он вошел в дом, оделся, зажег фонарь. Конечно, не убитого зверя шел он искать, а обойти последним дозором хозяйство, осмотреть запоры. Теперь уже до утра.

А пока он ходил, мальчик, как обычно, ложился спать. Он засыпал быстро, но старался дожидаться деда. Не волки ему были нужны, к ним привык. Если дожидался, то спрашивал в полусне:

— Нет еще?

— Нету. Спи.

— Может, завтра?

— Может, и завтра.

Мальчик ждал жеребенка.

Бабка сходила в горницу, поглядела на внука, вернувшись, сказала с улыбкой:

— Спит наша краса, ни о чем не горится. Дитё есть дитё... А учить все равно надо, — добавила она со вздохом. — Никуда не денешься.

— Может, откроют школу. Детей много.

— Это не учеба...

Замолчали. Старый Пономарь вспомнил о горьком:

— Мы своих разве не учили? Все кинули ради этой учебы. Учитесь, детки, набирайтесь ума. Либо забыла?..

Она не забыла, как уходили с этого хутора, еще живого и людного, в тот год, когда власти закрыли хуторскую школу. Тогда у них дом был — не

чета нынешнему: пятистенки, рубленый из пластин, под железной крышей, а какие скотьи постройки, базы... Какая усадьба была! Но школа закрылась, и потек народ с хутора. Ушли и они в райцентр, все бросили. Сами — темные, детям хотели судьбы.

— Либо не учили? — повторил старый Пономарь. — Все — на мыльный пузырь. Какой прок от ихней учебы, от институтов?

— Жизнь такая пошла, — ответила жена. — Разве не видишь! Везде так. Не нужны инженера, доктора...

— К ней надо применяться, к жизни, а не сидеть как врытый. Я бы тоже сел и сидел, не дюже пекло: квартира есть, дача есть. Работы у всех нет. Мы же рискнули. Кидали умом, кидали, а все же решились.

Тогда, пять лет назад, когда землю стали давать, а в райцентре, где жили они, с работой, с зарплатами стало худо, старый Пономарь не вдруг, но решился на перемену судьбы. Жену уговорил. Тем более братья обещали поддержать его. Три дома, три последних подворья стояли еще на родном хуторе. Как раз для трех братьев. Силы еще были у всех, и дело привычное: пахать, сеять, скотину водить. Конечно, надеялся на братьев. Одному — трудно. Потом уже отступать было поздно: кредит в банке взял, купил технику, скот на обзаведенье.

— Возле собеса лучше сидеть с протянутой рукой? — спросил он жену. — Власть ругать, последнюю копейку учить хорошо на старости лет? Нет, — ответил он сам себе. — Слава богу, сыты, одеты-обуты, никому не должны. Живем да еще и другим помогаем. А работа, чего ее считать, век работали. Так и померем.

— Работа, ладно. Живем как бирюки...

— Будут люди, — твердо ответил старый Пономарь. — Придут. Сколь нынче бездомных, сколь без работы. Все равно придут. Места у нас вольные. Жили век. Работали, жили... Есть что вспомнить. С малых лет так. И теперь уж до смерти. Слава богу, здесь, не в чужом краю помирать придется.

И, чужой край вспомянув, он снова гармошку взял, потихоньку, еле трогая кнопки, запел:

Проснется день красы моей,
Зарей раскрашен свет.
Я вижу горы, небеса,
А родины тут нет.

Песня была старинная. Покойница мать рассказывала, что отец эту песню пел, а может, сам и придумал, когда их раскулачили и увезли в края северные. Все забрали, все отняли, гнали пешком до станицы, оттуда до станции, потом повезли в вагонах. И оказались в краях чужих, далеких. И будто приладились там. Но тосковали. Мать вспоминала: отец эту песню пел и плакал.

Занает сердце, загрузит:
Не быть, не жить мне в том...
Не быть, не жить мне в том краю,
В котором я рожден.
А быть и жить мне в том краю,
В котором осужден.
Отцовский двор спокинул я...

Отец пел эту песню, плакал и однажды умер, не допев. Там его и схоронили, в холодной земле. И мать тогда же, в войну, никого не спрося, вернулась сюда, на хутор, с детьми. Ведь все равно погибать. Она вернулась, и ее не тронули. Хутор был еще людный. Колхоз Буденного. Старички, бабы, детишки. Война. Немцев только прогнали. Хатенку слепили. Никто не тронул. Тем более Степан, да Осей, да Ганя начали работать. Старый Пономарь хоть и маленький был, но помнит сладкую печеную тыкву, какой угощали его, да сладкие пышки из сухого паслена. Не дали помереть.

По-зимнему, по-ненастному быстро стемнело. В низкой хате весь день горел свет. По окнам шуршала метель. Последними уходили свои да родные, дочерей покойной успокаивая: «Не переживайте... Завтра, завтра уж...»

В доме — лишь дочери да Гулый. Он выпил и тоже говорил:

— Завтра... Завтра с утра лично сам пойду в Большой Колодезь прямо к утреннему наряду. Бульдозер на ходу. Дадут. Гарантия. Дело такое — похороны. Тем более — почетная колхозница. Лишь скажи — Дизелиха. Дадут, никаких разговоров. Наряд — в восемь. Председатель к сроку приходит, и я — как штык. Пригоню, схороним как положено. А вас никто не осудит. Стихей. Погода разорилась.

Пожилые, но еще крепкие дочери Дизелихи, похожие на покойную мать — приземистые, широкие в кости, — мыли посуду, слушали и вздыхали, не держали слез: «Да как же она одна... В степи...» Гулый возле них кружился, выходил на улицу курить и возвращался с известием:

— Метет. Но вы не горюйте. Вашей вины нет. Завтра в шесть часов. — Он добавлял поминальную чарку-другую, особо не пьянел, лишь говорил больше: — Схороним. Такого человека не схоронить... И не ревите, не горьтесь. Стихей. С Богом не будешь судиться.

Старая Дизелиха померла три дня назад, прожив на белом свете восемьдесят лет и три года. Умерла она легко, считай, в одночас, не боля. А вот с похоронами получилось неладно.

Нынче, как и положено, во второй половине дня повезли покойную на кладбище, но схоронить не сумели. Всю неделю сыпал и сыпал снег, мело. А кладбище лежало от хутора на отлете, да еще на бугре. Трактор «Беларусь» с тележкой, на которой гроб везли, лишь съехал с асфальтовой дороги — и застрял. Бился, бился и сполз в кювет, вовсе зарываясь в снег. Пригнали еще один трактор-колесник, но к кладбищу так и не пробились. А гусеничные тракторы да «Кировцы» — техника могучая нынче только на центральной усадьбе, в Большом Колодезе, за пятнадцать верст. Темнело. Поднимался буран. Назад же, к дому, покойника везти не положено: грех и примета дурная. Пришлось оставить гроб там, где застряли: на окраине хутора, в тракторной тележке, в придорожном сугробе.

Оставили. А поминальный обед прел на печи: борщ да мясо с картошкой, пышки с каймаком, сладкий взвар. Хочешь не хочешь, а надо поминать.

— Слезы не точите, — твердо говорил Гулый сестрам. — Утром пойду к наряду и трактор пригоню.

На воле мело, секло по окнам, гудело в трубе.

Ой да горькая наша мамушка,
Ой да как же ты там одна лежишь,
Посреди степи, посреди пурги... —

запричитала одна из сестер, а следом заревела в голос другая:

Ой да родная ты наша кровиночка...

Пожилые, седые, морщинистые, они сели на скамейку возле окна, глядели во тьму, в снежную невидь и голосили:

Ой да обрядили тебя в тонкую рубашечку,
Да одели тебя в легкую платьицу,
Да положили тебя в холодную кроватушку,
Думали, будешь в могилке ночь ночевать,
Там укроет тебя родная земелюшка,
Укроет земелюшка, да пуховый снежок укутает...
А получилось-то не по-нашему...
Не по-нашему, не по-доброму.
Ты лежишь одна, всем открытая,
И лихим людям, и диким зверям...

— Какие еще звери? — не выдержал Гулый.

- Да ныне люди хуже зверей. Пьяный какой дурак.
 - И волков много. Прыгнет в тележку.
 - Крышку хорошо прихватили, — успокоил Гулый. — Не скинет.
 - Не скинет, а будет сидеть. Грызть начнет. У них зубищи-то...
- Слезы полились в четыре ручья.

Ой ты горькая наша жалюшка...

- Не ревите... Ради Христа... — сказал Гулый. — Пойду и погляжу. Попроведаю. Ружье возьму и пойду.
- Ружье у него и вправду было. Зайцев стрелял.
- Заблудишься...
- Ну да... Либо лес густой?..

Одевшись по-зимнему — валенки, телогрейка да ватные штаны — и выйдя на волю, Гулый особого холода не почувял. Ветер мягко толкал в спину. Перед глазами — сплошная белая муть земли и неба. Шуршит и шуршит снег. Повернешься — сечет лицо. Дорога заметена в колено. Близкие хуторские дома еще видны серыми тенями. Ветер гудит в деревьях.

На хуторском магазине, над входом, тускло горит фонарь. Словно бабочки на огонь, на фонарь и мимо несется нескончаемый белый рой. С крыши метет, раз за разом обрушивая волны снега. За магазином два дома брезжат тусклыми, красноватыми зрачками. Дальше — степь. Дальше — белая муть. И ничего кроме.

Ветер мягко толкает в спину, словно гонит. Лишь ноги переставляй. Телеграфные столбы вдоль дороги еле видны. А холода нет, его не чувствуешь.

Тракторную тележку с гробом Гулый пропустил, не заметив ее. Загудел и завыл ветер в придорожной лесополосе. А значит, дорога к кладбищу мимо прошла. Пришлось повернуть назад.

И вот тут он почувял метель, а скорее — буран. Именно почувял, потому что видеть, глядеть было нельзя. Вихристый ветер резкими снеговыми порывами больно сек лицо, забивая глаза словно мокрой порошью. Лицо разом дубенело, ресницы смерзлись. Дышать было трудно и больно, летучий снег забивал дыхание. И, десяток шагов не пройдя, Гулый повернулся к ветру спиной, чтобы продышаться и отдохнуть. Лицо горело. Ресницы пришлось раздирать, снимая наледь.

Отдышавшись, он снова пошел, но теперь уже пробирался навстречу бурану задом да боком, прикрывая лицо рукавом, чтобы дышать и видеть.

На тележку с гробом Гулый наткнулся. С наветренной стороны ее уже занесло по самый борт мягким, сыпучим снегом. Немудрено, что не заметил ее.

Но все было на месте: закрытый гроб, деревянный крест.

Гулый забрался в тележку, присел под бортом, в затишке, не сразу, но прикинул.

И, дымнув, спросил со вздохом:

— Лежишь, Матвеевна?

Под ветром, в теплой одежде, сидеть было вовсе не холодно. Тем более с сигаркой, которая грела нутро, да еще с легким хмелем в голове и теле.

— Лежишь... Ничего тебе не надо.

Гулый глядел на занесенный снегом гроб, а видел покойную, которую знал всю жизнь. Она была обряжена в смертную одежду: темное, в мелкий цветочек платье, ненадеванный новый платок. И лежала руки сложив. А всю жизнь была на ногах, бегучая, могучая баба.

Прозвище свое Дизелиха получила давно, после войны. Как-то мазала она колхозный коровник. Подъехал на бричке председатель с проверкой. Поглядел, как работает. С маху могучими руками вбивала она в обрешетку стены куски мокрой глины, promешанной с навозом и соломой. Кусок за куском, шматок за шматком. И каждый — в полпуда.

Только слышалось глухое: бух-бух! бух-бух! Большие руки сновали, словно маховики. Бух-бух! Бух-бух!

— Не баба, а дизель! — восхитился председатель.

Кличка прилипла.

Она и впрямь была словно не человек, а машина. Добрые люди от работы устают, отдыхают, особенно жаркой летней порой. Кислый иррян пьют, пережидают в тени зной полднейный. Дизелиха никаких передышек да перекуров не ведала. Она сидела лишь зимой, за прялкой и вязаньем. А в теплую пору от утренней зари дотемна, да еще в потемках, знала лишь перемену работы: колхозная да своя, своя да колхозная. Копала ли землю, косила траву, скирдовала солому, доила коров, кормила их, чистила базы, мазала к зиме скотью постройки — во всякий час могучие руки да ноги ее были в непрестанном движении. Ни выходных, ни проходных, ни болезней. В колхозе выходной — на своем базу дел полно. Неможется — значит, надо «разойтись до сугреву». Одно слово — Дизелиха. Лишь душа у нее была бабья, жалостливая.

Еще одну сигарету запалив, Гулый сидел возле гроба и вспоминал давнее.

Дизелиха была ему не родней, лишь соседкой, но звала «сынушкой». Гулый рос сиротою, возле недужной матери, в бедности. Дизелиха увидит его за плетнем, зовет, ласково так: «Сынушка...» Время послевоенное, голод. У Дизелихи своих двое. «Иди, сынушка, с нами покушай». «Польское» ли хлебово, с пшеном и толченым салом, «рванцы»-галушки да «затируха», ржаная саламата с нардеком. Да еще сунет пышку, яичко, жареных семечек, морковку, яблочко.

В иных дворах, если дело к еде, мальчонку мягко, но выпроваживают: «Ступай, ступай домой...» Дизелиха кричит через плетень: «Сынушка, поди сюда, — и к столу ведет: — Похлебай с нами горяченького».

Теперь она лежала посреди степи, в белой метели. Сыпучий снег прикрывал ее гроб.

Гулый поднялся, чуя, что начинает зябнуть. И вдруг вошло в голову: на нем — теплое белье, рубаха, козьего пуха «вязанка», телогрейка, и все равно стынет. А Дизелиха — лишь в тонком платье, теперь она до самых костей заледенела. И жалко, так жалко стало старую соседку, хоть плачь.

Обратный путь к хутору, к дому покойной, был долг. Встречный ветер и снег забивали дых, глаз не открыть, сыпучий снег по колено. Но помаленьку добрался. И в теплом доме, раздевшись, он вытряхивал снег из валенок, из карманов, из пазухи.

— Какие там волки, какие люди... — говорил он дочерям покойной. — Там страсть божия, света не видать. Лежит... — вздохнул он. — Молчит. Не жалится. Но завтра мы ее схороним. Не я буду, схороним.

Назавтра, затемно, в Большой Колодезь отправились дочери покойной, вдвоем.

— Мы по-бабьему, — объяснили они Гулому. — Покричим, поплачем. Нам не откажут. А ты пригляди за гробом, за тележкой. Еще упрут. Ныне с живого и мертвого тянут, а тут — дорога.

Они ушли затемно, задолго до света. Дорога тяжелая. А к планерке надо успеть. Потом разбегутся — ищи-свищи.

Они ушли. Гулый проводил их. Кургузые, укутанные в платки да шали, сестры торопливо, вперевалку пробирались по снегу. И сразу пропали во тьме. Впереди была белая степь, сизая ночная мгла, пятнадцать километров пути, если по занесенному снегом, но асфальту. А напрямую, через Мышков ерик и Солдатов лог, — вдвое короче. Но что там теперь, в степных логах да ериках, после метели.

Гулый остался домовничать. Он затопил печь. А потом его разморило, уснул и проснулся, когда в окошки глядело позднее утро. Не столько позавтракав, сколько похмелившись, Гулый оделся и пошел выполнять наказ: сторожить покойную. Он сунул бутылку водки в карман, повесил ружье через плечо. С водкой было понятно. А вот ружье... Для серьезного вида ли, с похмелья. Белый день стоял, волков не сыскать.

Позднее зимнее утро понемногу переваливало в ненастный день. Но хутор словно бы спал еще в снежных заметах. В былую пору, в колхозную гудели бы теперь трактора, расчищая дороги к фермам, к гумну, амбарам. Но колхоз нынче еле дышал. Свиной да коров в Малом Колодезе не осталось. И некуда теперь тракторам да людям спешить. Да и где они, трактора?... Лишь на центральной усадьбе.

Поздним утром шел Гулый хуторской улицей, первые следы торя по глубокому снегу.

А тележка, гроб — все было на месте, снегом замечено с бортами вровень. Но тут уж Гулый потрудился: сначала наверху все выгреб и вымел. Стало чин чином: гроб на старенькой ковровой дорожке, на нем — венок из бумажных цветов, крест в головах. Словно вчера, когда вынесли из дома. А потом он долго разгребал и чистил снег вокруг тележки, освобождая колеса, тележное войе, чтобы подогнуть трактор: сунул чеку — и поехали. Тут и езды-то...

В белом поле, в снегах кладбища не было видать. И в той стороне, откуда прибудет подмога, тоже пустынно. Во все края лежал белый снег да низкое небо.

Все дела обделав, Гулый поднялся к гробу, сказал, обращаясь к покойной:

— Потерпи чуток. Должны вот-вот подъехать. По темному еще ушли твои дочушки. Схороним нынче, будешь ночевать по-хорошему. Потерпи.

А трактора не было. Пришлось на хутор сходить, поглядеть, как печка гопится, уголька подкинуть. Соседям Гулый сказал: «Не знаешь, чего и думать, ушли по темному. Может, где завалились. Кидай тут умом... Не накинешь. Был бы телефон, позвонить: дошли — не дошли».

Телефон прежде на хуторе был. Нынче вышел. Столбы, провода имелись, но аппарат молчал с осени. Говорили, вроде колхоз уже не в силах платить, а может, просто сломалось. Теперь никому не нужно, никому не пожалишься.

Он ждал и ждал, всякое в голове перебирая. С тележки глядел в сизую даль, разговаривал с покойной: «Приедут. Конечно, приедут. Схороним тебя, не горься. Будешь ныне в новой хатке своей ночевать. Там — теплочко и покойничко. Намерзлась? — вопрошал он, чувствуя, что сам зябнет. — Скоро уж, скоро... Потерпи чуток. Ты у нас терпеливая. — Самому ему согреться было нетрудно — лишь вынуть из-за пазухи бутылку. Что он и делал, оправдываясь перед покойной: — Тоже ведь не молоденький. Зябну. А греться не пойдешь. Велели быть при тебе. Дочушки твои приказали. Неотлучно, мол. Пригонят они трактор. Сама знаешь, ныне какой колхоз: на обе ножки хромает. Тракторов на ходу сколь осталось? Все стоят. Запчастей нет, горючего нет, — рассказывал он. — Но для тебя сыщут. Может, из последнего собирают, заслуженную колхозницу схоронить. А как же... Ты заслужила. Сколько проработала? Всю жизнь. Орден Трудового Знамени и две медали. Восемьдесят лет, а ты еще на ток ходила, зерно гребла. Бригадир призовет — ты идешь. Такого человека, да не схоронить. Самолучший трактор пошлют! — возвышал он голос. — Скажут, все кинь, езжай, Дизелиха ждет. И это правильно, потому что ты заслужила. Двух дочерей воспитала, обе — труженицы, тоже на колхоз жизнь поклали. Работницы из работниц. Всяк скажет».

Так он сидел да ходил возле гроба, говорил с покойной, порою глоток другой выпивал из бутылки, согреваясь.

Наконец показался трактор. Гул его он услышал издали. Потом увидел темное. Разглядел: трактор с бульдозерной навеской неторопоко шел, расчищая дорогу. Медленно, но приближался. Волочил впереди себя груды снега, отставлял ее на обочине, снова греб.

Он подъехал, с ходу развернувшись задом к тележке, чтобы зацепить ее дышло. Из тесной кабины выбрались дочери покойной, и непонятно, как они там умещались, непомерно толстые, в зимней одежде, в платках.

— Слава богу, добрались... Слава тебе господи... Уж не думали... — запричитали они. — Как тут мамушка наша, дождалась?

— Поехали, поехали... — заторопил тракторист. — Цепляйте, и поехали.

Дочери покойной неловко, через борт, по колесам, полезли к матери в тележку. Гулый нахваливал себя:

— Все я расчистил, все подготовил...

Подняв тележное дышло, он прицепил его к трактору со словами: «Трогаемся, с богом...» — и полез было в кабину. Но тракторист остановил его с досадою:

— Погоди... Кажется, председатель.

— Молодец, — похвалил его Гулый. — Уважительный. Все же приехал.

— Будет сейчас уважение... — пробурчал тракторист.

Председатель остановился рядом. Но, выйдя из кабины, из-за руля, он и головой не повел на тележку, на дочерей покойной.

— Кто велел сюда ехать? — спросил он тракториста. — Кто велел? Тебе что было сказано?!

— Да вроде... Да ведь... Ревут... — спотыкаясь на каждом слове, пытался оправдаться тракторист.

Гулый вторил ему так же сбивчиво:

— Дизелиха... Другой день уже лежит, не проедет.

— Ревут... А скотина ревет, ты ее не слышишь, — процедил председатель. — Лишь поллитры сшибаешь. Отцепляй! — приказал он.

Он стоял невысокий, тушистый, на бритом лице — отчужденье. Меховая шапка надвинута на лоб, глаз не видать.

— Да рядом тут кладбище... Управимся скоро... — объяснял Гулый. — Ничем не пробьемся.

— Пробьетесь. Чего я тебе сказал?! — возвысил голос председатель.

— Да горькая наша мамушка! — по-дикому закричала одна из дочерей.

Гулый от крика вздрогнул и сдернул с плеча ружье.

Бухнул выстрел. Шапку сдуло с головы председателя.

— Еще одна команда — и получишь в лоб, — твердо сказал Гулый.

— Ты... Ты... — сквозь трясущиеся губы пытался продавить слова председатель и шагнул было к своей машине.

— В трактор! — властно приказал Гулый. — Поехали хоронить. Шаг в сторону — побег. Ясно?!

В какие-то мгновения он вдруг изменился: холодно глядели глаза и слова были жесткими, ледяными. Никогда так не говорил.

Председатель поднял шапку и полез в трактор. Гулый, с ружьем наперевес, встал в тележке, у переднего борта.

Тронулись. Могучий «ДТ» с навескою шел не торопясь, сгребая и громоздя перед собой груды снега. Тележка катилась легко. Дочери покойной навзрыд плакали, припав к закрытому гробу. Гулый открыл его. Крышка была лишь прихвачена гвоздями. Открыл, поглядел на покойную и снова встал у переднего борта с ружьем наперевес.

Летел из-под гусениц снег, качало, но Гулый стоял возле борта, возле креста.

Добрались до заметенного кладбища. Торчали из снега зубцы забора, кресты, звездочки пирамидок. Могильных холмиков не было видать.

Дизелихина могильная яма была прикрыта горбылем и толем. Скинули снег. Снизу пахнуло не холодом, а земным теплом.

Странные получились похороны. Всё молчком и глаз не поднимая: расчищали, снимали гроб, ставили возле ямы. Дочери плакали. Но о чем?

— Речь держи, — сказал председателю Гулый. — Чтобы по-людски.

Председатель было вскинулся, произнес:

— Ты...

— Речь! — жестко приказал Гулый, шевельнув плечом.

И председатель, набычившись, начал говорить:

— Сегодня мы провожаем в последний путь одного из старейших работников нашего колхоза... Начав свой трудовой путь в далекие годы... — Председатель вначале говорил трудно, а потом слова покатались словно сами собой, по привычке: — В тяжелые годы войны она с честью трудилась на трудовом фронте, заменяя ушедших мужчин. В нелегкие годы послевоенной разрухи... и в последние годы... Таким образом, можно сказать, что вся ее жизнь была отдана колхозу и людям. И мы ее не забудем. Прощай...

— Траурный митинг закрываю, — объявил Гулый, — произведем салют, — и грохнул из ружья в сизое, озябшее небо.

Покойная Дизелиха ни слов его, ни выстрелов не слыхала. Она была глубоко под землей, в тишине, покое и наконец в тепле. Зима нынче словно в прежние времена: в декабре на мокрую землю лег снег. Потом сыпало и мело. Земля не промерзла. В ней достало тепла, чтобы согреть старую Дизелиху.

А люди живые остались наверху, в заснеженном холодном мире. Им долго ждать тепла: январь, февраль, март. И неизвестно еще, какой весна будет.



ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР



РАССКАЗ

1

В то странное время, снимаясь в кино,
не важно, какого названья, —
сегодня и это уже все равно, —
я женского жаждал вниманья.

Мне комнату в Ялте давали тогда
и много свободы лукавой;
и в щедрых лучах призового труда
известность мерещилась славой.

Всего было вдоволь — нахальства и сил,
и дешево стоили вина.
Я легкой любви у фортуны просил,
но жил почему-то невинно.

По сути, развод состоялся давно,
но не был оформлен на деле.
В советское время, снимаясь в кино,
я жил приближением к цели...

Над чеховской Ялтой куражилась ночь,
а небо казалось крапленным,
и, с целью порочному миру помочь,
мы пили «Токай» с Мартинсоном.

И я возвращался к себе ночевать
в мечтах о прекрасной блондинке
и вновь одиноко валился в кровать
под скрипочки и под сурдинки

морского прибоя и страстных цикад,
словцо подбирая «на случай»,
и пьян, и до срока во всем виноват,
и мечен звездою падучей...

2

За день до отъезда, устроив прием
знакомцу с женой молодою,
я, их проводив, возвращался вдвоем
с моей односпальной тоскою.

И женщине, шедшей по той стороне,
сказал, осмелев под парами,
что если она перешла бы ко мне,
то мы бы расстались друзьями.

Она без улыбки спросила: «А вы
случайно в кино не снимались?»
И я ей ответил с больной головы:
«Как вы при луне догадались?..»

Тут я почему-то свой пропуск достал,
привел под фонарь и взглядеться
заставил: мол, я — не бандит, не нахал,
и ей было некуда деться.

Прямая и светлая скобка волос,
широкие честные скулы...
Мое приглашенье, суровый вопрос:
«Зачем?» — и сердечные гулы...

И в свете двойном фонаря и луны
я понял, что это простое
лицо — непорочно и ноги стройны,
а оба мы — жертвы застоя...

Мы вместе пошли и ко мне поднялись, —
а там оставалось полпира, —
и так опрометчиво вдруг обнялись,
как первые грешники мира...

3

В то грешное время я был молодой,
и радость была молодая,
я так в ней нуждался, как в хлебе с водой,
не помня ни ада, ни рая.

Сегодня другие блестят зеркала,
восходят другие светила,
и мнится, что время не ведало зла,
которое с нами творило.

Но все беспощадней пронзительный свет,
а жребий, как прежде, измерен.
И нет Мартинсона и списка побед,
и Крым отделен и потерян.

С тех пор я уже не снимаюсь давно,
известность возьми да исчезни,
но я благодарен родному кино
за женщину, близкую бездне.

С тех пор я не помню объятий полней,
прохладней груди и насущней,
и нежности скрытней, и слова смелей,
и ласки вольней и послушней.

А утром мы с нею простились навек,
и, греясь в плацкартном вагоне,
вся радость уехала к мужу в Нурек,
детей обучать в гарнизоне.

А мне оставались всего на полдня
вся Ялта и горы за нею
и будущей жизни моей западня,
о чем я уже не жалею...

Комарово.
28 августа 1996.



ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ

*

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Рассказ

Э то как раз Вербное воскресенье было, шестая неделя поста. Возле церкви народу — полный двор, все с вербами. Из храма пение негромкое: «Из мертвых воздвиг еси Ла-за-ря...» А как пение кончилось, выходят на паперть две Божии старушки — Палаша и Прося. Им обеим уже за шестьдесят, а они всё — Палаша да Прося. Вот Палаша и рассказывает:

— Сон сегодня умильный был. Ангела видела. Идет ко мне и человека какого-то за руку ведет. Тот босой, в рубище, лицо незнакомое... Только я сразу признала — Алексей это, человек Божий. Он и говорит мне: «Завтра будет вам большая радость». Просыпаюсь я, а у меня в руке записка...

И показывает она смятый клочок бумаги. Все смотрят, удивляются. На бумажке печатными буквами коряво написано: «Агафон».

— Что еще за Агафон? — спрашивают. — Кто такой?

— Известно — кто, — отвечает Палаша. — Подвижник святой. Который возле вокзала жил...

— Точно — возле вокзала, — поддакивает Прося. — А потом имущество свое оставил и ушел из дома. Вроде Алексея, Божиего человека. Проходит путь своей жизни странником...

— Не может такого быть, — сомневается кто-то. — Откуда в нашем городе святому подвижнику взяться?

— Может, может, — говорит Палаша.

— Может, — вторит ей Прося.

На другой день, в понедельник, Палаша и Прося сразу после утренней службы прямо из церкви — на рынок. Народу в этот час на рынке еще мало, одни бродяги бездомные, которые всегда здесь. И опять только и разговору что о каком-то Агафоне.

— Вот ведь как подгадал, — говорит Палаша. — На самую Страстную является...

Вокруг все спрашивают друг у друга:

— Какой же это Агафон? Что за Агафон?

А тут на рынке Подкорытов оказался, Степан Панкратьевич, картошку подешевле ищет. Он и говорит:

— Знаю я его... Сосед мой бывший... Мы с ним на одном этаже раньше жили. Точно — Агафон...

— Что за человек? — спрашивают тогда у него.

— Чувствительный человек, — отвечает Подкорытов. — Все переживал, что они с женой не расписаны. Дочка у них уже, а они все никак оформиться не могли. Очень он это чувствовал и страдал. Я, говорил, может, большие дела мог бы делать... Может, говорил, мир мог бы перевернуть... А вот вина перед женой не дает подняться. Давит меня, говорил...

— Ну и что — расписались они потом? — спрашивают у Степана Панкратьевича.

— Не знаю, — говорит Подкорытов. — Я вскоре женился, переехал. Жену его как-то встретил... Говорит — мол, пропал Агафон неизвестно куда. А я так думаю: сделай он тогда какое-нибудь дело — богатым человеком теперь бы был.

Палаша перебивает его:

— Богатство мира — смерть для души. А он спасает себя для жизни будущей. Взял себе образ нищенства...

— Ну, точно Алексей, человек Божий, — вставляет Прося. — Дивен на земле явился, ангелам и людям на радость...

Тут один из бродяг, лохматый, обросший весь, говорит:

— Слышал я эту историю про Алексея... В тюрьме рассказывали... Я ведь сидел, еще когда телевизоров в тюрьмах не было. Сказители у нас были... Вот один и говорил, ученый человек...

— Давай, Полковник, рассказывай, — просят лохматого. — Пока машин нету.

Лохматый оглядел всех и начал:

— Дело давнее... Семья у Алексея богатая... Слуг до трех тысяч... Обручили его с девицей из царского рода. А он кольцо с пальца снял и девице обратно. Сам ушел... В другую землю... Тогда Грузии еще не было, одна Греция. Вот он в Грецию и ушел.

— Семнадцать лет там жил, — кивает головой Палаша. — В рубище, на паперти церковной... Подаянием питался... Лучше, говорил, Творцу повиноваться, чем родителям своим...

— Иссох весь, — поддерживает Прося. — Одни кости остались... Ослеп почти...

— Так вот, нищим, домой вернулся, — продолжал лохматый. — Отец не узнал его. Он и жил в сарае возле дома, как чужой...

— Слуги родительские глумились над ним, — опять вмешивается Палаша. — За волосы таскали... Помой на него лили... Он все терпел.

— Вот и наш Агафон так же, — заключает Прося.

В это время кто-то крикнул лохматому:

— Полковник, машины!

Оглянулись все — три грузовые машины на рынок въезжают.

— Эх, договорить не дали, — сказал Полковник и пошел к машинам.

Через минуту рукой машет:

— Давай сюда! Начинай разгрузку! Только осторожно — яйца не побейте...

— Сколько, Полковник? — спрашивают у него.

— Как обычно, — отвечает Полковник. — Машина — три бутылки.

Только бродяги начали машины разгружать, таскать коробки с яйцами на третий этаж, человек какой-то к ним подходит:

— Люди — о чем, а мы — о том же... Возьмете в компанию?

Палаша с Просей как увидели его, так к нему и кинулись:

— Агафон!

Тот поглядел на них и только поморщился:

— Слетелись, сороки... Боже да Боже, а на деле все то же! И откуда только про мой приезд узнали? Чисто сороки...

А Полковник глянул на подошедшего и говорит:

— Так ведь это же Гаша! Кто его не знает? Какой же это Агафон?

Пока остальные разгружали машины, Полковник с Гашей пошли по базару закуску искать. Полковник идет между рядами, улыбается:

— Нюсечка, пожертвуй старому солдату огурчик...

Скоро они возвращаются, полную сетку несут — яблоки, огурцы. Палаша с Просей все тут же стоят, на работающих смотрят.

— Трудящимся Бог посылает милость...

Как разгружать кончили, Полковник говорит Гаше:

— Теперь за встречу надо...

А тут Подкорытов подходит, Степан Панкратьевич.

— Ты странник? — спрашивает он у Гаши. — Что же ко мне не зайдешь, к соседу бывшему?

Гаша узнал его и говорит:

— Думай не думай, а быть тому так... Принимай гостя...

— Вот и хорошо, — обрадовался Подкорытов. — Я тебя с женой своей познакомлю. Она у меня весь мир объездила...

Привел Подкорытов Гашу к себе домой. А у него квартира, как склад — заставлена вся. Коробки какие-то, ящики. Посреди коридора на полу сумка большая, набитая доверху. Дорогу загораживает — не пройти. Подкорытов с порога кричит:

— Граня! У нас гость!

А из кухни голос:

— Какие еще гости? Я с ног валюсь... Еле живая... А ты — гости.

Гаша глаза опустил, смиренный такой:

— Странника убогого, недостойного примите?

Жена Подкорытова вышла из кухни и говорит:

— Я только что с поезда... Еле дотащилась... Чуть не сдохла...

— В Китае была, — вставляет Подкорытов.

Жена поглядела на сумку и сдвинула ее в сторону с прохода.

— Вот — одежда, обувь... Мотаюсь взад-вперед как проклятая. Измучилась — сил нету.

— Зато страны разные повидала, — говорит Подкорытов. — Япония, Корея, Турция...

— Какой там повидала! Как собака, язык высунув, ношусь с сумкой. Ты подними ее, попробуй...

Гаша тем временем прошелся по квартире, оглядел ее:

— Не так вы живете, не так...

— Вот скоро дочь придет, обедать будем, — говорит Подкорытов. — Она у нас в спецшколе... Гимназия теперь называется. Представь себе — Закон Божий у них изучают.

Он усадил Гашу на диван, на самое лучшее место. Как пришла дочь Подкорытовых Аля, стол перед диваном был уже накрыт. Подкорытов поднес рюмочку Гаше:

— Угостись, сосед... За встречу...

— А я выпью, — говорит Гаша. — Выпью. Ты думаешь — не выпью?

Жена Подкорытова ставит перед ним тарелку щей.

— Горячие, — обрадовался Гаша. — Давно я горячего не ел.

За обедом жена Подкорытова рассказывает:

— Что кругом творится? Вот у меня груз вроде небольшой, без пошлыны можно... А ведь все равно везде плати. Таможенникам за каждый килограмм, за место на рынке, за «крышу», чтоб охраняли... Вот на руках ничего и не остается. Сплошная обираловка. Грузчикам плати, на весах плати...

Гаша поел щи, на спинку дивана откинулся.

— Вот я и говорю... Не так вы живете. Вон у вас суета какая, заботы... По всему миру... А я свободен. У меня мир в душе. Мне и не надо ничего. Ни к чему не привязан. Тем добро, что все равно...

Тут дочь Подкорытовых его спрашивает:

— Неужели вам по-людски жить не хочется?

Гаша равнодушно так отвернулся, в окно смотрит.

— Служить этому миру? Нет уж, увольте! Благодарю покорно! Не желаю я участвовать в общем зле! Не хочу!

— Зла вокруг много, это точно, — вздыхает Подкорытов.

— Воровство и разбой! — продолжает Гаша. — Это же хищники! Глотку друг другу рвут! Ладно бы, еще честно наживаться. Куда ни шло... Так ведь нет же! Норовят исключительно обманом! Проще своровать, чем заработать. Одно только название что коммерсанты. А так — обычные жулики!

Как пришло время на ночь ложиться, стали со стола прибираться.

— Ты здесь на диванчике и ляжешь, — говорит Подкорытов. — Мы тебе здесь постелем...

— Нет-нет, — протестует Гаша. — Недостойн я, недостойн... Мне бы где-нибудь в коридоре, на коврике...

— Вы только помойтесь перед сном, — говорит жена Подкорытова. — Запах от вас...

Вот сидит Гаша в ванной, в теплой воде, слышит — на кухне Подкорытов с дочерью разговаривает. Аля как раз посуду мыла.

— Ну, как тебе мой сосед? — спрашивает Подкорытов.

— Бездельник он, вот и все, — отвечает Аля. — Бесплодная смоковница.

— Какая еще смоковница?

— Которую Христос проклял. В Евангелии написано... Засохла она и не дает плодов. Так и сосед твой. Не желает трудиться... Мог бы, кажется, делом заняться... Пользу приносить... Раб лукавый и ленивый!

— Это еще почему — раб лукавый?

— Зарыл в землю дар Господина своего... Вместо того, чтобы приумножить его трудом... Скрыл его. Сухая душа у него, не родит плода духовного...

Ночью Гаша спал плохо — отвык от чистого белья. Все крутился, ворочался. «Не надо было мясо за обедом есть», — думает он. И вот увидел он себя на пустынной дороге. Вокруг него, слева и справа за заборами, — виноградник. Гроздья сочные, спелые, а его жажда замучила. В воротах работники стоят. Гаша просит у них винограда, а виноградари гонят его: ступай отсюда, пока цел... Не видать тебе плодов наших. Потом вдруг кто-то из них крикнул: «Хозяин!» Смотрит Гаша — впереди на дороге пыль столбом, как облако мутное. А в середине облака ворочается что-то — не то баран здоровенный, не то теленок. И шум крыльев оттуда. Потом пыль наконец рассеялась, и видит Гаша — верзила какой-то перед ним. Обликом вроде как человек — руки, ноги. Только голова диковинная — вместо одного лица, как положено, у этого — четыре, на каждую сторону по лицу.

Виноградари пали перед верзилой на колени, руки к нему простирают. А верзила смотрит на Гашу и говорит ему:

— Открой рот и ешь, что я дам тебе...

Протягивает к Гаше руку, а в руке у него книга какая-то. На книге написано: «Плач, стон и горе...»

— Съешь эту книгу, — снова говорит верзила. — Она сладкая, как мед.

Пустился Гаша со всех ног бежать. Из квартиры Подкорытовых выскочил, еле одеться на ходу успел, — и на улицу. Народу на улице еще мало, час ранний; Гаша напрямиком на рынок. Вчерашние работяги уже там. Кто мусор вокруг палаток убирает, кто ящики пустые с места на место перекладывает. Зашли по дороге из церкви с утренней службы и Божии старушки — Палаша с Просей, глядят на работающих.

— Блаженны бедные, — шепчет Палаша. — Наследуют они Царствие Небесное.

— Блаженны голодные, — поддакивает Прося. — Ибо будут насыщены.

Гаша все ждал, когда же самосвал за мусором приедет — вон его сколько накопилось. Наконец самосвал прибыл, Гаша сразу к водителю:

— Ты на свалку едешь? Возьмешь с собой странника?

— Езжай, — сказал водитель.

Гаша в кабину забрался, рукой старушкам на прощание машет. Те смотрят вслед, крестное знамение вдогонку шлют:

— У Господа милость и многое — у Него избавление...

— Вот он, Святой и Великий Вторник...

Как выехали из города, водитель говорит Гаше:

— Сейчас многие на свалку ездят. Тем и живут... Кормятся...

— Я тоже там одно время жил, — отвечает Гаша. — Приятели там у меня...

Гаша поглядел в окно, помолчал, потом продолжает:

— А что? Вокруг сейчас и есть одна большая помойка! Ничуть не лучше свалки! Как в свином хлеву! В одном углу шелудивые поросята, в другом их хозяева — воры и жулики.

На тридцатом километре свернули они с шоссе. Из низины дымком тянет — там и есть городская свалка. Не успели к мусорным холмам вырваться — бросились к машине люди. Есть даже очень прилично одетые, но большинство — в лохмотьях. Какой-то длинный в телогрейке раньше всех к машине подбежал. А водитель уже мусор высыпал. Длинный схватил первое, что попало, — конфетную коробку. Тут же подскочил другой, в черном халате, и стал коробку у него из рук рвать.

— Не трожь! Это мое! — кричит в телогрейке.

Стоят они так и тянут друг у друга коробку. Гаша вылез из кабины и кричит:

— Паня! Отдай же ты коробку! Зачем она тебе?

— Как же — отдай! — огрызается в телогрейке. — В прошлом месяце точно такую же нашел, полную конфет...

Потом посмотрел на Гашу:

— Гаша! А я тебя не узнал.

Самосвал уже давно уехал, а люди сидят на корточках, в мусоре роются. Гаша смотрит на них — люди все незнакомые, не знает он никого.

— Где же приятели мои давние? — спрашивает он у Пани. — Где Вахрушкин Лактион?

Паня сидит на мусоре, головы не поднимает:

— Здесь сейчас мало кто живет. Все приходящие. Утром пришли, вечером ушли.

— Где же Вахрушкин Лактион? — спрашивает снова Гаша.

— Лактион-то? Этот в рубашке родился. Ничего не скажешь — повезло человеку. Телевизор нашел... Новенький, прямо в заводской упаковке... Три недели вино пил, угощал всех. Потом смотрим — не вылезает он из шалаша. Заходим, он лежит... Думали — спит... А он — мертвый...

— А Свинарёв Дёма? — интересуется Гаша.

— Свинарёв? Пропал... Никто не знает, где он. Тоже ведь счастье... Наволочку старую подобрал... Она ему и не нужна вовсе. Просто так взял. А в наволочке — деньги... Он с деньгами и пропал.

— Ну а Туся, любовь моя?

— Туся сгорела, — вздыхает Паня. — Какого-то мужика к себе в шалаш привела. Неделю, наверное, жили... Потом шалаш вдруг загорелся... Они и выскочить не успели...

Паня поднялся с земли и стал ходить по мусорной куче, ковыряясь в ней палкой.

— Нет, а так жить можно, — продолжает он. — К нам тут как-то на свалку работяги какие-то с завода приходили. Говорят, третий месяц зарплату не получаем. Так мы их кормили здесь. Как раз перед этим колбасу залежалую выкинули. А мы ее на костре жарим... Есть можно, ничего...

В это время видит Гаша, с холма машина легковая спускается, с дороги сворачивает — и напрямик на свалку. Выскакивает из нее женщина. Одето хорошо, только растрепанная очень. Бежит, лицо сморщенное.

— Голубчики, миленькие! Беда у меня! Украшения свои драгоценные в мусорное ведро выбросила... Кинулась — а мусор уже увезли... Не находили здесь, миленькие?

Говорит, сама рыдает в голос. Все сначала молчали, а потом сразу кинулись на мусорную кучу. Кто на коленях ползает, кто руками, кто палкой. Собаки тут же откуда-то взялись.

Гаша глядел на них, глядел и тоже на кучу полез. До вечера они так ковырялись, ничего, конечно, не нашли. А как стемнело, Гаша говорит Пане:

— Я у тебя сегодня ночевать буду. Не прогонишь, странника?

Привел Паня его в свое жилище. А это шалаш из досок, сверху ветошь всякая, тряпки, брезент. Поужинали они жареной колбасой и легли спать.

— Нет, жить можно, — бормотал Паня, засыпая. — Я тут пару раз часы сломанные нашел. Отремонтирую — и на рынок. Посуду сдаю. Одежда тоже часто попадает... Видел мое пальто? Нет, жить можно...

Утром, с первой мусорной машиной, Гаша уехал в город. Дорогой он все сон свой вспоминал. «К чему бы это?» — думает. Будто среди ночи в шалаш явились к нему какие-то женщины, все незнакомые. «Вот и среда пришла», — говорят они. Смотрит Гаша — в руках у них лампы керосиновые. У всех лампы горят, только у одной не горит. И тут Гаша узнал эту женщину — не кто иной, как его жена Феня. «А у тебя почему не горит?» — спрашивает он ее. «Керосин забыла налить», — отвечает Феня. Побежала она наружу за керосином. А женщины тем временем подняли Гашу и увели с собой куда-то. Вернулась Феня в шалаш — а там никого нет. И вот видит ясно Гаша, как бродит его Феня по свалке, мужа своего ищет. «К чему бы такое?» — опять думает он.

Между тем слух о нем, стараниями Палаши и Приси, все больше разносился по городу, пока и в самом деле не дошел до его невенчанной жены Фени. Когда Тетёркина Доня Мироновна, соседка, еще в понедельник встретила Феню во дворе, она первая сказала ей о Гаше. Феня сначала не поверила.

— Этого еще не хватало! — сказала она.

А тут через день, как раз в среду, звонит к ней в дверь Завертеева с третьего этажа:

— Твой-то, Феня... Ну точно Алексей, человек Божий! В родном доме не узнанный...

Феня только с ночного дежурства, из больницы, ее в сон так и клонит.

— Да ты говори толком. В чем дело-то?

— В церкви я была на заутрени... Сегодня Среда Великая... Возвращаюсь, а в подъезде твой на лестнице, у дверей. Так возле батареи и сидит...

— А мне какое дело! — ответила Феня и захлопнула дверь.

Вернулась она в комнату, хотела прилечь выспаться, но сон как рукой сняло. Будит она тогда дочь Леся и говорит:

— Ладно уж, сходи вниз, позови отца...

Сама платье новое надела, накрутилась, волосы взбила. Вот Леся возвращается.

— Ну что? — спрашивает Феня.

— Не идет, — отвечает Леся. — Говорит — недостойн...

Феня даже топнула ногой с досады.

— Иди скажи — я зову... Скажи, что прошу...

Леся еще раз сбегала вниз и опять одна возвращается.

— Оставьте, говорит, меня... Недостойн...

— Ну, как знает, — рассердилась Феня.

Только хотела дверь захлопнуть, а на лестнице Гаша. Глянула на него Феня, даже испугалась сначала: оборванный весь, грязный.

— Вот ты зовешь меня, Феня, а я ведь недостойн. Ты гнать меня должна, Феня, гнать. Кто я такой? Одно слово — червяк...

Впустила Феня его в квартиру, сама в дверях стоит, что делать — не знает.

— Мама вот моя умерла, — говорит.

Тут она сразу схватилась, побежала на кухню. Гаша тем временем по квартире ходит, обстановку разглядывает.

— Ты, я гляжу, как все живешь... Миру служишь... Все у тебя есть...

Пальцем по пианино провела:

— И пыль вон не вытираете...

Потом видит — Леся в дверях стоит, на него смотрит.

— Ни к чему привязываться не надо, — говорит он ей. — И вещей этих не надо...

— А у вас что же? — спрашивает Леся. — Нет ничего?

— У меня-то? — отвечает Гаша и подмигивает. — Как же? Есть! Чайник без дна, только ручка одна... Из чистого белья — два фунта тряпья: драное покрывало, подушек вовсе не бывало. Еще красного дерева диван, на котором околевал дядя Иван...

Леся засмеялась и убежала на улицу. Феня тем временем собрала на стол, вынула чистую скатерть. Сели они, Феня и говорит:

— Я тут, Агафон, замуж собираюсь. Сватается ко мне один... Вроде бы человек хороший...

— Смотри, чтоб непьющий... И чтобы Лесю не обижал...

— Выходит так, что я вроде как предаю тебя, Агафон, — говорит Феня. — Грех ведь это... Я как Иуда, ведь правда?

— Да что там! — махнул рукой Гаша. — Для шей люди женятся, для мяса замуж выходят. Все так... Я ведь кто? Мошка, комар... Меня раздавить, и то жирно будет. Ведь я знаешь кем был? «Половичком»!

— Как это — «половичком»?

— А так... Тоска меня все время одолевала. Меланхолия. И с чего — не знаю. Все вроде есть, а по мне, хоть ничего не надо. Поначалу-то я не пил, держался. А потом начал... Ну, деньги, понятно, кончились. А у нас там в соседнем доме — Дуська-процентщица, ты ее знаешь. Душевный человек. Всегда бутылку в долг даст. Иной раз по два-три раза в день выручит. Вот долг-то громадный и вырос. А как отдавать? Дуська мне и говорит: ты, говорит, квартиру свою заложи, а сам ко мне перебирайся, на полный, значит, пансион. Я так и сделал. Приехал как-то Дуськин знакомый на иностранной машине. Повел меня к нотариусу, я и отписал ему квартиру. Перебрался к Дуське. Она меня в коридорчике определила, на коврик возле двери. Там уже двое таких же, как я, жили, тоже на половичках. Дуська — душа человек. Утром встанешь — она уже рюмочку несет. Сама слушает тебя, сочувствует... Только потом и те деньги кончились, что я за квартиру получил. Вытурили меня на улицу. Я и пошел в странники...

— Что ж, пить-то хоть бросил? — спрашивает Феня.

— Бросил... Как-то ночью однажды проснулся, я тогда на свалке жил, в шалаше... Проснулся, а выпить нечего. Смотрю — передо мной негр черный, в руках бутылка. Взят я у него бутылку, только ко рту поднес, а там — крыса. С тех пор и бросил. Глядеть на нее не могу.

Когда Гаша уходил, в дверях он снова оглядел квартиру.

— Неправильно живешь, Феня. К миру привязана. А человеку ничего не надо. Вот бездомному хорошо. Бездомному жить просторно. Печей нет, труб не закрывает, никогда не угорает, и гарью не пахнет...

Вышел Гаша на улицу, а возле подъезда на лавочке Завертеева сидит, с третьего этажа. Идет Гаша мимо, слышит — бормочет она что-то себе под нос тоненьким голоском, будто поет. Остановился он, прислушался: точно — поет.

— Простерла блудница руки к Тебе, Владыко, простер и Иуда свои руки беззаконные...

— Совершенно справедливо, мамаша, — вежливо так говорит ей Гаша. — Ах да рукой мах — на том реки не переедешь...

Поплелся Гаша снова на рынок. Там его приятели бездомные уже веселые ходят после разгрузки. Иные спят прямо на земле, иные просто так на ящиках сидят. Поздоровался с ними Гаша и говорит:

— Ах да ах, а пособить нечем. Вот я и говорю: всякая вина виновата. Думал у жены переночевать, а она замуж выходит...

— Есть у меня для тебя место, — говорит Полковник.

Вечером, как рынок закрылся, повел он Гашу в какой-то двор, тут же, недалеко от рынка. Во дворе — дом высокий: этажей восемь, у всех подъездов машины. Гаша даже перепугался:

— Куда ты меня ведешь?

— Сейчас увидишь. Третий подъезд...

Вошли они в третий подъезд, там за лифтом лестница вниз, в подвал. Только стали они спускаться, вдруг кто-то окликает:

— Гаша! Это ты?

Оглянулся Гаша — человек какой-то сверху спускается. Костюм новенький, галстук. Гаша его, конечно, признал: Удавихин это, старый знакомый, из той еще, прежней жизни.

— Как живешь, Гаша? — спрашивает Удавихин.

— Как живу? — отвечает Гаша. — День в воде, день на дровах, а камень в головах. Странствую я...

— А я вот здесь, на пятом этаже... Только что квартиру купил. Ты вот что, Гаша... Приходи завтра... Завтра у меня именины. Все свои будут.

Назвал Удавихин номер квартиры — и бегом на улицу: спешит. А Гаша спустился вниз, в подвал, вслед за Полковником. В подвале людей битком набито. На вошедших никто и не взглянул, все сидят, места свои стерегут. Полковник согнал с места возле стены какого-то стриженного наголо, тот руками машет, знаки какие-то делает — немой. Полковник положил на пол картон, сверху тряпки.

— Вот устраивайся... Подушки только нет...

Лег Гаша, рядом немой пристроился, прямо на полу. Гаша говорит ему как бы между прочим:

— Меня тут на именины приглашают... Не знаю вот — идти или нет...

Немой рядом мычит, головой кивает — идти, значит. Лежит Гаша на своей подстилке, не успел глаза закрыть — вроде светает уже. И идет к нему жена Феня, через спящих перешагивает. «Откуда она узнала, что я здесь?» — думает Гаша. А Феня говорит:

— Что же ты? До сих пор не готов? Пора на именины, а у тебя одежды нет... Всю черви поели...

Повернулась она к стене и какую-то кепку на гвоздь вешает. А как совсем рассвело, стал Гаша подниматься, смотрит — на стене, прямо над его головой, чья-то кепка висит. «В чем же мне, на самом деле, идти?» — думает он. Только Полковник его успокоил:

— Нам бы только Гузницева найти... Он поможет...

Весь день ходили они по подвалам, искали Гузницева. Никто не знал, где он может быть. Наконец нашли его в другом конце города, в подвале какого-то клуба. Гузнищев сидел на ящике и курил. Лицо у него опухшее, мешки под глазами, на левой щеке — большое фиолетовое пятно от ожога. На стене рядом с ним висит морской офицерский китель с блестящими пуговицами. Гузнищев сразу сказал:

— Бутылка — и можете брать... Но только до утра... Утром чтобы китель на месте был.

Гаша и Полковник бегом на рынок. Там как раз машина с овощами стояла. Пока машину разгружали, то да се, бутылку Гузницева принесли — время уже позднее. Надел Гаша китель, Гузнищев поглядел на него и фуражку морскую достает:

— Бери и фуражку...

Только фуражка оказалась Гаше велика, на уши налезала — пришлось оставить.

Когда Гаша явился к Удавихину, гости уже все собрались, за столом сидели. Смотрит Гаша — там полно знакомых: Одолеев, Клешинов, другие еще — этих он хорошо знал. Покусаев и вовсе когда-то лучшим другом был. Все смотрят на Гашина китель, улыбаются.

А как за стол Гаша сел, все про него вроде забыли. Едят, пьют, друг с другом разговаривают. Одолеев напротив него — тот к соседке своей вернулся, что-то ей рассказывает. До Гаши слова долетают:

— Фирма... Акции... Дивиденды...

Соседка его, Наяда Платоновна, ему вторит:

— Прибыль... Доходы...

Тогда Га́ша встает и говорит:

— Есть что покушать, было бы что послушать... Вот я вам сейчас фокус покажу.

Берет он стакан и наливает в него вина до самого края. Потом оглядел всех и вдруг переворачивает стакан вверх дном. Все так и ахнули: сейчас скатерть зальет. Только смотрят — вино из стакана не выливается. А Га́ша еще раз оглядел всех и возвращает стакан в обычное положение. После этого стал он гостям из своего стакана вино разливать. Разливает, а вино в стакане не убывает. Как был полный стакан, так и остался. А как всем разлил, весь стакан выливает во внутренний карман своего кителя.

— Мало пито, да много лито, — приговаривает.

И вдруг швыряет пустой стакан на пол. Наяда Платоновна даже вскрикнула. А стакан не разбился, катится себе по полу. Удавихин вскочил, поднял стакан и обратно Га́ше возвращает. На дальнем конце стола кто-то захлопал. А у Гаши новый фокус. Кладет он стакан все в тот же карман своего кителя и принимается снаружи по карману бить. Все за столом явственно слышат, как хрустит в кармане стекло. Потом Га́ша лезет в карман, все думают — руку теперь порежет, а он достает из кармана горящую свечу.

— А где же стакан? — спрашивает Удавихин.

— Стакан? — удивляется Га́ша.

Он снова лезет в карман и вместо осколков достает оттуда куски белого хлеба. Гости во все глаза смотрят, не знают — смеяться или нет. А Га́ша вдоль стола ходит, перед каждым кусочек хлеба кладет:

— Ешьте и пейте, землячки, в свое удовольствие... Головы вы смекалистые, мимо рта не пронесете...

Тут уж все стали смеяться от всей души. Клешнёв рюмку с вином Га́ше протягивает:

— Угостись, Га́ша!

Га́ша взял рюмку, понюхал и говорит:

— Аромат — не зелье, пить — одно веселье...

Потом взял и выплеснул рюмку себе за спину, прямо на стену.

— Жара здесь у вас... Прямо пекло... Чертей только не хватает...

Все просто помирают со смеху. А Га́ша не унимается:

— Бывает, ты за пирог, а тут черт поперек... Так и у вас, друзья сердечные, тараканы запечные... Зубов нет, а пироги кусаете...

Болтает Га́ша, а самому кажется, что Одолев высокомерно так морщится в его сторону. Стал он тогда рюмку пустую обратно на стол ставить, да так неловко, что опрокинул соусник. Соус прямо на платье Наяде Платоновне. Все так и покатались со смеху. Одна Наяда Платоновна красная сидит, злая. А Га́ша вроде бы даже не заметил своей неловкости.

— До чего чудная женская нация, — веселится он. — Платья модные, никуда не годные. Одна в шляпке, другая в тряпке, третья вовсе без подкладки...

Гости еще пуще смехом заливаются. Покусаев, рядом с Га́шей, отдышаться никак не может, на глазах слезы.

— У нас тоже во дворе юродивый был, — наконец выдавливая он из себя. — Дал он как-то моей бабке два кусочка сахара. Та их в сахарницу кинула. А в сахарнице у нее деньги хранились. Так вот пока эти два кусочка в сахарнице лежали, деньги у нее не переводились. А потом вдруг сахар растаял... И деньги у моей бабки перевелись...

Га́ша слушает Покусаева, сам обертки с конфет снимает. Набрал полную тарелку фантиков. А как Покусаев кончил, взял и на голову ему все фантики высыпал.

— Ешь конфеты, завтра некогда будет... И палку с собой не забудь, пригодится... Чертей отгонять...

За столом все так и грохнули.

— Велик смех, не мал и грех, — продолжает Га́ша.

Хотел он было еще фокус показать, только видит — Удавихин знаки ему делает: мол, в коридор выйди.

— Извини, голова, — говорит Удавихин в коридоре. — Шел бы ты домой...

— Я еще живого кролика могу показать, — говорит Гаша.

— Нет, живого не надо... Ты лучше домой... Гости просят...

— Как — просят? — не понял даже Гаша.

Кинулся он обратно в комнату.

— Вы что же — гоните меня? — спрашивает.

Одолеев ему и говорит:

— Ерема, Ерема, сидел бы ты дома...

— Мил гость, что недолго гостит, — поддерживает его Клешнёв.

— И где ты его выкопал? — спрашивает Покусаев Удавихина.

Удавихин только плечами пожимает. Гаша поглядел на всех и глаза опустил:

— Вы правы, земляки. Мне здесь не место. Разве я ровня вам? Кто я такой? Мое место на лестнице.

В дверях Гаша говорит Удавихину:

— Доходы, доходы — вот что вас губит. Нажива любой ценой. Не так вы живете, не так...

Вышел Гаша на лестницу, а как стал спускаться, показалось ему, что на площадке этажом выше кто-то хихикает. Обернулся он — тень на стене. И то ли почудилось ему, то ли на самом деле — рога торчат. А тень кривляется, в ладоши прихлопывает. Выскочил Гаша на улицу и скорей подалыше от дома.

Идет он сам не зная куда, темно уже. Слышит — люди какие-то сзади бегут. Обогнали его — и дальше. Остановился Гаша, оглядывается. Тут парень еще мимо него топает. Гаша подумал, подумал — и за ним.

— Стой! — кричит. — Держи его!

Парень не оглядывается, только ходу наддает. Свернули они за угол, а там милиция. Фургон милицейский дорогу перегородил. Людей бегущих хватают и в фургон запикивают. Парня, за которым Гаша бежал, тоже забрали, а затем и самого Гашу в фургон засадили. Не успел опомниться — он уже в отделении милиции.

Народу в комнате много. Все стоят, чего-то ждут. Вдруг тот самый парень Гашин из толпы выходит, в руках пузырек с бесцветной жидкостью. Поднял он вверх руку с пузырьком и кричит:

— Прошу в моей смерти винить милицию!

Опрокинул склянку себе в рот, выпил ее залпом и тут же рухнул на пол. Милиционеры к нему кинулись, хотят поднять, а он хохочет:

— Здорово я вас, чертей, надул!

Повели Гашу куда-то во двор, потом в другое здание, там — по коридору. Открыли железную дверь, за ней — камера. Народу в камере как сельдей в бочке. Одни на нарах сидят или лежат, другие в проходе стоят друг за другом. Воздух такой тяжелый, что если сразу с улицы, то задохнуться можно.

Гаша нашел место возле двери, сел на пол, спиной к стенке. «Как же теперь с кителем быть? — думает он. — Его же утром вернуть надо...» Рядом с ним какой-то тощий, голову на грудь свесил, дремлет. В камере жара, а на нем — зимняя шапка. Вдруг сосед встрепенулся, прислушался и к Гаше обращается:

— Ты не слышал сейчас стук коляски?

— Какой еще коляски?

— Инвалидной... Не слышал?

Гаша посмотрел на соседа и говорит:

— Нет, не слышал...

— Значит, мне показалось... Я теперь всегда прислушиваюсь: не стучит ли?

Сосед в зимней шапке опять было задремал, а через минуту снова его голос:

— Вспыльчивый я очень... Как-то на жену ссерчал и выгнал ее из дома в чем была. А на дворе зима. Она ноги и отморозила... Потом ходить не могла... Коляску инвалидную купили. А она все равно умерла. И вот теперь, где кому помирать, она и является. Стук коляски явственно так слышен... Вот я теперь всегда и слушаю. Может, мне помирать пора...

Спать Гаша ночью так и не спал, лампочка в камере всю ночь над головой горела. Сосед в зимней шапке тоже не спал. Время от времени он бормотал:

— Разбойник я... Распять меня мало...

А как рассвело, он в дверь колотит:

— Стражники! Распните меня! На крест меня! Разбойник ведь!

Охранник вошел и сказал:

— В карцер захотел?

Гаша тогда подходит к охраннику:

— Мне в город надо... Китель вернуть... До утра брал...

— Вызовут, жди, — ответил охранник.

Днем в камеру еду принесли: макароны, черный хлеб, чай. Только после обеда уже, ближе к вечеру, вызывают наконец Гашу. Опять повели через двор в ту комнату, где он был накануне. Гаша как вошел, сразу увидел — сидят на лавочке возле двери Палаша и Прося.

— И здесь разыскали, сороки, — удивляется он.

А Палаша с Просей смотрят на Гашу, бормочут:

— Кротость и смирение... Смирение и кротость... Ты только не ропщи, Господь все устроит... А ты терпи...

Милиционер за перегородкой, не тот, что был вчера, а другой, знак им делает, чтобы молчали.

— Ты, стало быть, без определенного места жительства? — спрашивает он Гашу. — Так бы сразу и сказал. Мы думали, ты с теми, с бандитами... Банду мы вчера взяли...

А Палаша поднимается с лавки и к Агафону:

— Какой сегодня день, знаешь?

— Пятница вроде, — отвечает Гаша. — Вчера четверг был, именины...

А что?

— А то, что в эту ночь взят был под стражу Иисус Христос. Крестный путь на Голгофу... Вот где страдания и скорбь... Какую муку на себя принял...

Милиционер опять спрашивает:

— Ты что же, совсем один? Никого у тебя нет?

Гаша бормочет что-то непонятное:

— Захотел у собаки кулебяки... Ни в сито, ни в решето...

— Так есть или нет? — снова спрашивает милиционер.

Тут Палаша не выдержала:

— Да есть у него... Родители есть... Мать с отцом, старики уже...

— Что же он с ними не живет? — обращается милиционер к Палаше.

— Так ведь это же Алексей, человек Божий, — отвечает Палаша. — Неужели вы не видите?

— По документам он Агафон, — говорит милиционер. — Никакой не Алексей...

— Так то по документам. А по духу он — Алексей. Не узнанный возле родного дома...

— Ну, так вот и ступай к своим родителям, а не шлейся по подвалам. Ищи работу...

Палаша с Просей даже прослезились от радости. Вышли на улицу, Палаша и говорит:

— Мать с отцом тебе бы хорошо навестить...

— Хорошо бы, хорошо бы, — поддакивает Прося. — Кто не утешает земного отца, гневит и Небесного...

— Ладно, навещу, — обещает Гаша. — Завтра, в субботу, и навещу. Мне теперь китель вернуть надо...

Принес Гаша китель Гузнищеву, думал, тот сердиться будет. А Гузнищев — ничего, даже не поглядел в его сторону. Постелил на пол свое пальто и говорит:

— Куда же ты пойдешь? Оставайся уж здесь ночевать.

Вот лежат они вдвоем на одном пальто, Гузнищев и рассказывает:

— Моя квартира здесь, в этом доме, прямо над нами. Я раньше хорошо жил, работал. Потом новые времена пошли... С работы я уволился: денег все равно не платят. Пока искал другую, запасы все кончились. Тут фирма какая-то... Предложили обмен... Мою квартиру на комнату с доплатой. Я и клюнул. Теперь ни квартиры, ни комнаты, ни денег... Хожу, гляжу на свои окна...

— Что тут говорить? — зевает Гаша. — Нынче времена шатки, береги шапки.

— Однажды вот так вышел, — продолжает Гузнищев. — Стою под своими окнами, смотрю... А они там все поменяли... Свет другой, занавески. Вдруг окно распахивается — и из него образина... Скажу тебе, такую рожу я еще не видел. Свинячье рыло, все синее, и клыки торчат. «Что ты смотришь? — кричит. — Здесь теперь я хозяин! Все здесь мое». Потом как плюнет в меня... Прямо в левую щеку... Меня так и прожгло. Вот пятно осталось...

Уснул Гаша, а среди ночи оказался в какой-то комнате. Посреди комнаты стол, на столе младенец сидит, мокрый весь, будто только из воды. Сзади него человек стоит, на плече полотенце. Вгляделся Гаша и узнал своего отца. Гаша спрашивает:

— Кто этот младенец?

И чей-то голос отвечает:

— Это ты и есть...

А отец вытирает младенца и говорит:

— Мой это сын, мой... Только раньше он оставлен был мною, отцом своим. Отказался я от него... А теперь вот он снова со мной, снова мой...

Утром проснулся Гаша и говорит Гузнищеву:

— Мне родителей навестить надо.

— Конечно, надо, — соглашается Гузнищев.

А родители Гаши на другом конце города, полдня на трамвае трястись. Приехал Гаша на самую окраину, только во двор свой свернул — навстречу Колотыгина из тридцать первой квартиры.

— А мы думали, ты помер... — говорит Колотыгина.

Дверь Гаше открыла мать, глянула на него — и так испугалась, будто привидение перед ней. Палец к губам приложила, у самой руки трясутся.

— Ты потише... Отец дома...

А из комнаты голос знакомый:

— Кто там?

Мать смотрит в лицо Гаше, на глазах слезы.

— Это наш Фонечка. Проведать зашел... Навестил... Он на минуточку...

Сказала — и скорей Гашу на кухню. Там все по-старому, как раньше, ничего не изменилось. Стол в углу, клеенка протертая, вся в дырах. На стене шкафчик со сломанной дверцей. На подоконнике пустые банки, горшок с пыльным столетником — все хорошо знакомо. Мать сразу засуетилась, за что братья — не знает.

— А у меня и угостить нечем... Хоть бы предупредил...

— Чем же отец занимается? — спрашивает Гаша. — Что делает?

— А что ему делать? Коммерцией занялся на старости лет. Наших пенсий разве на что хватит? Только за квартиру да на хлеб. А он что придумал? Каждый вечер, как стемнеет, мусорные бачки в нашем районе обходит. Макулатуру отбирает. Домой принесет, всю комнату завалит. Потом сортирует, в пачки увязывает. Бумагу отдельно, коробки. В субботу тащит

в магазин. Есть тут у нас на улице такой, «Стимул» называется... Сдаст им макулатуру, а сам у них всякого товару набирает — лезвия для бритвы, бумагу туалетную. Они ему по дешевке дают. И в воскресенье — на рынок. Стоит там, торгует. Навар, конечно, небольшой... Но молоко или кефир купить можно...

Как чай пить сели, мать опять всплакнула, вспоминать стала:

— Ты когда маленький был, болел сильно... Совсем помирал... Мы так и думали с отцом — помрешь. Молилась я Божией Матери... И вот является она ко мне... Совсем как на образе «Споручница грешных». Я ей говорю: то не мой Фонечка лежит, то мое сердце болит. А Богородица спрашивает: а ты уверена, что он останется таким же чистым, как сейчас? Таким же безгрешным... Можешь поручиться? Я говорю: конечно, могу. Как же иначе? А потом, Фонечка, как стал ты жить не по-людски, испугалась я. Испугалась вечных мук, какие ждут грешников. Отец смеется надо мной. Проси, говорит, Божию Матерь обратно. Пусть забирает... А я и то думаю: не погиб бы ты для жизни будущей...

Вытерла она слезы и продолжала:

— Я уж все прошу отца — прости ты Фонечку, пожалей его...

— А чего меня жалеть? — говорит Гаша. — Меня жалеть не надо...

Гаша нарочно говорил громко, чтобы в комнате было слышно, даже встал со стула.

— Вы думаете, может, что мне живется сладко? Мол, ушел легкой жизни искать... Если б я вам рассказал, что мне испытать довелось...

— А ты Расскажи, — просит его мать и за руку тянет, чтобы на стул обратно сел.

Гаша долго отнекивался, потом стал рассказывать:

— Да разве все перескажешь? Вот в одной деревне, к примеру... Везд чуть не погиб... Выпили мы вина по случаю встречи... Я и пошел куда-то. А у них там мост недостроенный... Ну, провалился я между досками, повис вниз головой. Ноги застряли. Так до утра и висел. Хорошо, люди рано на станцию шли, вытащили. Только я после этого все равно повредился. Месяц лежал... Как мертвый был... Руки-ноги свело... Лежу колодой, от мух и клопов отбиться не могу.

Мать слушает Гашу, слезы по щекам в три ручья. Уж целует она его, нацеловаться не может. Как попили чаю, стала она его провожать.

— Мне и дать тебе с собой нечего...

В дверях она громко так говорит:

— Вот и уходит наш Фонечка... Погостил, проведаль...

Помолчала, потом опять:

— Уходит наш Фонечка...

Отец в комнате кряхтел, кашлял, но выйти так и не вышел. Гаша в дверях сделал так: приставил к носу большой палец левой руки, а другими пальцами помахал и язык высунул в сторону комнаты.

— Где ж ты ночевать будешь? — спрашивает мать.

— Не знаю, — отвечает Гаша.

Мать вышла с ним на лестницу и дверь за собой прикрыла.

— Ты зайди к Жанне на первом этаже. Она в ночлежке работает. Я ей о тебе рассказывала. Может, она пристроит тебя...

Гаша сначала не хотел ни с кем связываться, вышел уже на улицу. Потом передумал и вернулся. Жанна как раз была дома. Поглядела она на него и сказала:

— Вот вы какой...

Повела она его в ночлежку. Это недалеко, на той же улице, сразу за домом с иностранными вывесками, где ночной клуб и казино. Раньше в этом доме комбинат бытового обслуживания был, Гаша хорошо помнит. Дорогой Жанна говорила:

— Ночлежку у нас немцы открыли. Немецкое благотворительное общество. Там и одежду дают. И кормят. Надо только на учет встать.

Свернули они во двор, там в глубине дверь в подвал. Над дверью надпись: «Это не магазин». У входа на ступеньках люди сидят, многие с костылями.

Стали Гаша с Жанной вниз спускаться — конца-края лестнице нет. Один поворот, другой, третий, а они все идут, идут. «Прямо как в преисподнюю, — думает Гаша. — Уж не здесь ли моя могила будет?»

— Это бывшее бомбоубежище, — говорит Жанна.

Внизу, в подвале, точно как в склепе — сырость, низкие потолки, на стенах плесень. Сразу, какходишь, — стеллажи деревянные, на полках — одежда. Не новая, конечно, но годная еще, носить можно. Жанна записала Гашу в какую-то книгу, выдала пальто горохового цвета, очень даже приличное, подкладка разве что сильно изношена. Тут же получил Гаша чашку горячего бульона и кусок хлеба. Потом Жанна отвела его в комнатушку, совсем крошечную, где стояли шесть коек, одна к другой. Ночлежников днем никого нет, все койки пустые. На одной только белобрысый какой-то лежит, глаза в потолок уставил. Лег Гаша рядом с ним.

— Новенький? — спрашивает сосед, головы не поворачивает.

Гаша молчит, о своем думает; закрыл глаза, и тут вдруг послышался ему вроде бы стук какой-то и скрип колес, будто коляску везут. Он сразу вспомнил соседа по камере в зимней шапке. «Уж не за мной ли? — думает. — Коляска инвалидная... Да не инвалидная, а погребальная... Мне ведь и впрямь помирать надо. Мне и родиться было незачем... На что было родиться, когда никуда не годится. Точно — за мной...»

Гаша даже почему-то обрадовался. Перевернулся на спину, руки на груди сложил и ждет смерти. К вечеру другие ночлежники стали приходить, на ночь устраиваться. Гаша все лежал, ждал. А под утро пришла к нему та самая Дуська-процентщица, у которой он «половичком» был. Подошла к его койке и говорит:

— Эта беда еще не беда — другой бы не было... Зачем тебе помирать? Ты живи...

Да так ласково на него смотрит, будто мать родная. Гаша даже рукой до нее дотронулся. Нет, не мать, точно — Дуська-процентщица. И так ему стало хорошо, что пробуждаться не надо. Хотел он рассказать Дуське про свои мытарства, пожаловаться ей, только смотрит — а это уже не Дуська-процентщица, а другой кто-то, да не один человек, сразу — двое. Открыл глаза — рядом Палаша с Просей, в руках узелки белые. А сами светлые какие-то, необычные, будто изнутри светятся.

— Со светлым праздником, — говорит Палаша. — Мы тут тебе яичко принесли, куличик освященный...

— С Красной Пасхой, — крестится Прося. — Вот ведь — Христос воскрес из мертвых...

Перекрестила она Гашу, потом соседа. А сосед все так же на спине лежит, в потолок уставился. Пригляделся Гаша, а у него глаза вроде незрячие.

— Вот тебе раз! Никак слепой!

— По грехам моим, по грехам, — вздыхает сосед.

— Какие же у тебя грехи, землячок? — спрашивает Гаша.

— Много грехов, много... Шатался я без дома... Где только не ютился. Одно время в больнице жил, при морге. Там это и случилось. Ночью однажды привезли какого-то... Машина его сбила. Перстень на руке, костюм заграничный. Я и позарился, черт меня под руку толкнул. Как ушли все, я покойника и обчистил. Пошел уже было прочь — а мне будто дьявол на ухо: рубашка у него дорогая... Вернулся я, стал рубашку снимать с мертвого... А он вдруг поднимается и садится. Сел и руки к моему лицу тянет. Я от страха как околнел, шевельнуться не могу. Не успел опомниться, он глаза мне и выцарапал. Вот грешник я и вышел... Одно слово — разбойник...

Палаша перекрестила его:

— А сегодня Господь надежду нам дал. Ты имей только произволение благое, а уж Господь устроит твое спасение.

— Нет больше скорби, — радостно так вторит ей Прося. — Христос ведет нас... От смерти к жизни... От земли к небу...

Палаша перебивает ее:

— Слышите трубу Архангела? Это весть о новой жизни! Будущий век! Ветхий человек наш погребен, погибло тело греховное... Мертвые вы для греха, живые для будущего века!

— Прозрешь ты! — продолжает Прося. — Непременно прозрешь. Будешь видеть духовными очами...

— Ну, если только духовными, — бормочет сосед. — Тогда, конечно... Это я понимаю... Не телесное воскресение, а духовное... Вот в чем штука...

— А служба сегодня была — не передать, — говорит Палаша. — Благодарить-то какая... В церкви уж как хорошо... Везде розочки — на образах, на куличиках... Плащаница розанами увита. Лампадки пунцовые, пасхальные... Огоньки малиновые...

Слепой слушает, бормочет:

— Духовными очами... Это я понимаю...

— После заутрени — Крестный ход, — рассказывает Палаша. — Батюшка в светлом облачении, с крестом... Звон колокольный... Сладко-то как, Господи... Умилительно... Будто ангелы на небесах поют: «Воскресение Твое, Христе Спасе...» Потом опять в храме, — не может остановиться Палаша. — Все христосуются... Свечки в руках... А уж как запели: «Падшим подай воскресение...» Это же просто ангелы сошли на землю. Радости-то что, радости... Ликование...

Тут и Прося не выдерживает:

— А батюшка как хорошо говорил... Из Иоанна Златоустого... Владыко наш, говорит, и последнего принимает, как первого. Богатые и убогие — ликуйте друг возле друга. Возвеселитесь сегодня. Трапеза полна, всем хватит. Никто не выйдет голодным. Пусть никто не рыдает о своем убожестве. Ибо явилось общее царство...

Палаша головой кивает, поддакивает:

— Пусть никто, говорит, не оплакивает грехов своих, ибо воссияло прощение из гроба... Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасова... Низложен ад и сокрушен...

Палаша с Просей долго еще говорили, перебивая друг друга, потом ушли. Давно уж их нет, а Гаша все лежит и повторяет про себя:

— Пусть никто не рыдает о своем убожестве... Пусть никто не рыдает... Ибо явилось общее царство... Общее царство...

А рядом слепой трогает рукой Гашу:

— Это я понимаю... Если только духовное воскресение — не телесное... Это другое дело... А то как же мне прозреть? Вот в чем штука... Это я понимаю...



МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

*

ЗМЕЙКА В ТРАВЕ

* *
*

Ночь и небесное тело,
Заполонившее сад.
Так же внезапно темнело
Десятилетия назад.
Жгучие звезды в июле,
Лунный багрец октября,
Разве они обманули,
Над головою горя?
Сколько по свету ни ездим,
Все-таки движемся к ним, —
В полночь и в полдень к созвездьям
Неудержимо летим.

Трава

Лошади, пленумы и георгины
Выше моей головы.
Нежные розы Ферганской долины,
Женщина в море травы.

Матери руки и первое слово...
Как я хочу наяву
Снова увидеть отца молодого,
Лечь в молодую траву!

Пышная дикая эта порфира,
Полузадушенный пыл...
Двадцать четвертая драма Шекспира,
Сессия славной ВАСХНИЛ.

Есть кульминация в ней и развязка,
Темная сила измен...
Змейка в траве, золотистая сказка,
Звезды и времени плен.

Только туда из привычного бреда,
В дивное небытие!
Впрочем, была ли и чья здесь победа?
...Звездное небо Твое!

Блеск и сиянье небесного крина,
 Ночь и нагорный ручей,
 Азии пыль, бормотанье акына,
 Детство и дело врачей.

Новый Иерусалим

Лес да поле... Даль неутолима,
 Шелестят эдемские сады...
 Стены Нового Ерусалима
 Ставили смоленские жида.

К выкрестам благоволивший Никон
 Их сюда во множестве привлек.
 Облака в раздумии великом,
 И, как небо, замысел глубок.

Книгой Руфи шелестели нивы...
 Вот — страна! Зачем она несла
 Палестинской пальмы негативы,
 Сизый сон морозного стекла?

Времена года

Шевельнешься, пленками стянутый туго, —
 Петербурга пурга, выбегая на зной,
 Станет вдруг цветопадом ферганского юга.
 Солнце в лужах и свежесть зеленого луга,
 И подруга зовет, и зовется Весной.

Жар болезни, уколы. Горяч и шафранов
 Вечер в Азии. Ропот певучей воды,
 Лепет первых признаний, валы океанов.
 Лето ровно летит, воспарив и воспрянув,
 Ураганами яблоч топочут сады.

Голый северный лес, прорисованный тушью.
 Листопад. Он исчислен и отдан годам.
 Одиночество. Осень. Пронизанный гульшью,
 Постоишь и послушаешь дудку пастушью,
 И с Тифлисом сошлись Коктебель, Амстердам.

Мать выводит ребенка. И снег по колено.
 Дышим, глядя на звезды... Так сходишь с ума,
 Видишь горы Монголии. Веянье тлена
 В Храме Брата Последнего Богдогегена.
 Расстаешься с любимой. И пышет Зима.

Это — мерное сердцебиенье работы,
 Это — медленное прорастанье зерна,
 Это верной рукою сквозь морок дремоты
 Удивленный Вивальди ведет навороты,
 И, взмывая, сливаются все времена.

Лавка

Лавка по дороге в Агру. Девочка гранатным оком
Строго держит под присмотром серебро и бирюзу.
Кожа — ветошь. Но хозяин в изумлении высоко
Говорит: «Я шью из кожи, боги делают козу!»

Эти жилистые руки стали пеплом, вероятно.
Дочка дочери торгует. Боги едут на арбе...
Снова, наплывая, стонут Индии цветные пятна —
Жизнь, окинутая тканью мысли тайной о тебе.

Потому, что это чувство как-то с Индией совпало,
Пыль дорожную застлало, и — пылает впереди
Под глубокой красной аркой призрак белый Тадж-Махала,
Возносящегося в небо и стоящего в груди.

Мара

Всегда в этой речи искрится санскрит,
Сквозь годы и долгие беды
Вещуньи седой ведовство говорит,
Премного древнее, чем Веды.

Струятся, тревожа таежную глушь,
Незримые реки нирваны,
И в присказках бабьих и воплях кликуш
«Рамаяны» бьют барабаны.

Колеблется в битве словесных корней
Земли изумрудное чудо...
Устану однажды от жизни моей,
Усядусь под дубом, как Будда.

В густой, многозвонной застыв тишине,
Оденусь в мечты и пожары.
Как темные волны, примчатся ко мне
Туманные дочери Мары.

* *
*

Слов осиротелых шевеленье.
Это все. Я не люблю земли.
Рыжей, чьи пласты и поколенья
Мне на грудь при жизни налегли.

Лечь в степи. Трава нежнее меха.
Шелестит под ветром мурава.
В небесах волнами ходит эхо,
Шевеля усталые слова.



ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ

*

ПОСЛЕ ДОЖДЯ С ГРОЗОЙ

Поздним вечером

...Сумерки сгущались; стремительно носившиеся друг за другом стрижи, словно игравшие в ловички, вдруг разом исчезли; вышла тишина, четко проявившая звуки отходящего ко сну города: гроыхание одинокого трамвая, скорое шипение шин припозднившегося автомобиля, бречание подгулявшей гитары. А светлая даль, хоть и сузилась, все еще ярко сияла — казалось, в той стороне продолжали бодрствовать, радоваться, увеселяться.

Я стоял у окна, с ночного берега смотрел на солнечный и испытывал желания и страхи находящегося в бегах зека. Хотелось выскочить на улицу, остановить мотор. И махнуть в направлении лучезарного горизонта. Но удерживала боязнь: а что, как это освещенная прожекторами запретная полоса очередного лагеря?..

Просто наблюдение

На мостовой, распластавшись в лужице крови, лежит сбитый автомобилем голубь; из его раздавленного зоба высыпались на асфальт еще не переваренные зерна. Пернатые сородичи склевывают их и даже устроили бойцовский гомон вокруг дармового корма. Птицы резким постукиванием крыльев отгоняют друг друга от неожиданной поживы. Я вспомнил сложенные в благословении всего живаго Христовы пальцы. Но как можно благословить такую живность!..

Читая Евангелие

Читаю Евангелие от Матфея: родословная Иисуса,
Нагорная проповедь —
мудрость простая, как хлеб.
Долгое время живший впроголодь,
алкаю Святое Благовествование взалхлеб.
Строки мощные, как борозды глубоко поднятой пашни:
зерно брось — и оно взойдет сильным:
«Не собирайте сокровищ, ибо, где сокровище,
там будет и сердце ваше...

Не давайте святыни псам и не мечите жемчуг
перед свиньями...»

Ни плевел, ни ржи, ни порчи,
что ни слово — подлинные перлы.

И вдруг холодом потянуло:

«И последние станут первыми».

Я поежился, как одетый не по погоде;
вспомнились кухарки, пришедшие государить;
пролетарское дознание — с битьем, матюгами;
высылка классово чуждых

в отдаленные районы страны.

Что это — исполнение Священного писания?

Или игра Сатаны?

Фреска

В порушенном храме лишенный штукатурки кирпич
напоминает окровавленный ростбиф;
всюду груды хлама.

И лишь на потолке — случайно уцелевшая роспись:
«Суд над лжепророками».

Там ощущалась какая-то мстительная радость;
в тайне красок, в геенне огненной,
торжествовали добро, правда, долготерпение
над ложью, лицемерием и непомерной гордыней.

Там, перед лицом Бога,

у всех наших дел было подлинное имя...

Я стоял посреди храма, не замечая царящего кругом разора,
и чувствовал, как стыдливо освобождаюсь
от заносчивых затей, самодовольства, суетного интереса.

Ни тюрьмы, ни режимные зоны
не потрясли меня столь сильно, как эта
чудом сохранившаяся фреска.

После дождя

От тяжелого ночного ливня береза
под моим окном стоит вся вымокшая,
свесив ветки, словно мокрые волосы,
и обильно роняет грузные, как градины, капли.
Старая мостовая, еще булыжником вымощенная,
блестит в лучах солнца помолодевшим камнем.
В палисаднике крупные цветы на длинных стеблях,
измотанные проливным дождем,
гнутся, как удочки с добычей.

Я распахиваю окно: мир будто заново рожден,
и мне кажется — я слышу первозданный шелест.
Воздух чист; и тянет свежестью очищенного огурца —
соблазнительный, бодрящий запах.

Я дышу глубоко, жадно;

и бегу умываться к бочке под водосточной трубой.

Ополаскиваюсь по пояс — шумно, радостно.

Хорошо ранним утром у себя дома
после дождя с грозой!



ДАРЬЯ СИМОНОВА

*

СЛАДКИЙ ЗАПАХ ВТОРЫХ РУК

Рассказ

На остывшей осенней лестнице стояла Сильвия в резиновых шлепанцах и говорила что-то о хорошем: я будто бы буду жить у нее, печатать английские рукописи, места много, квартира скучает без новых лиц... Я думала, она врет, но Сильвия улыбалась, зная, что я не прочь осесть в ее маленькой комнате с книгами в каждом углу. Она попала в яблочко: неожиданно пришли в город смутные холода, все карты смешали...

Сильвия переписывалась с обоими полушариями, о ней знавали разные истории. Иностранные родители с капитальцем, но их никто не видел и кошельков их никто не щупал. Они существовали себе в неопределенной части света, а Сильвия жила здесь, в гулкой трехкамерной квартире с комодами, покрытыми морилкой, столетней кофемолкой с отломанной ручкой, с книгами, букетами из роз, елок и кипарисов и с окнами, выходящими на дно канала. Мне нравилось, что вещи здесь доступны, никакой дрожи в пальцах, все диковинки сами идут в руки, без ремарок о своей хрупкости. А Сильвия не стоит над душой, она режет на кухне тонкими кружочками картошку, вслушивается в трещание приемника, а пятилетний Марат играет сам с собой в карты и вечно теряет бубновую масть. Я, как пони по кругу, хожу по многоугольнику квартиры промеж причудливых гостей, остающихся за кадром; так уж выходит, друзья Сильвии совсем не мои друзья.

Ковалевская, с пылу, с жару после нервных экзаменов поозиравшись по сторонам в этом доме, зашипела мне на ухо: «Что они все — зашли пописать и прописались?» Ковалевская не любила, когда слишком шумно и накурено, ей нравился тихий бардак. К тому же она задавалась бессмысленным вопросом о недостающей третьей фигуре в интересере. Я советовала ей спросить об этом вслух, от неизвестного отца все равно не убудет, а Сильвия только посмеется. Ковалевская продолжала любопытствовать и ответов не получала, между собой мы давно не соблюдали условностей диалогов. Ковалевская, с бухты-баракты прибывшая в этот город, интересовалась... А нужно было искать золотой на дороге...

Осенью все хлипкое наконец ломается, и я три недели пролежала в больнице, где, оказывается, беспросветное счастье. Приходила мама на однокурсница с вареным мясом и куриными ножками, Сильвия с персиками и испуганная Ковалевская безо всего. Больше никто не знал о моем больничном отпуске, да и не нужно, Сильвию и вовсе не ждали, но она оказалась на редкость внимательной и дотошной. Я быстро ела, потом мы выходили к лужам и мокрым тополям, говоря о чужой жизни. Сильвия уверяла, что не любит сплетен. Она обо всех вспоминала шадяще, а как думала — одному Богу известно. Мне было плевать, как думала, главное, что она уступала мне маленькую комнатку с книгами, куда я смогу запи-

раться и впускать только кого захочу. Даже если верить этому на треть — чем не повод для праздничка. Вреда не будет, Сильвия — всего лишь добрая душа в воздушном халате, со знанием трех языков и еще одного, неосязаемого, на котором исполняются мелкие желания. Она знала, за какую веревочку дернуть, чтобы появился искомый персонаж, она умела одеться небрежно-легко и мерзнуть так, что ее хотелось согреть. Но ненадолго. Она, впрочем, этим не мучилась — любила менять местами фигуры, или фигуры любили ее дурачить.

Ковалевская не доверяла новеньким и улыбчивым, да и без нее было понятно, что Сильвия не из породы ягнят. Сильвия приходила в больницу в длинном зеленом пальто, как бы между прочим оставляла японские трехстишья, хотя поэзия навевала на меня дремоту, но из вежливости я пробегала глазами странички две. Она внезапно спрашивала, помню ли я такую строчку... Я горячо кивала, хотя ни бельмеса не помнила. Меня тогда не занимало чтение, я интересовалась только доктором Пинсоном.

Больничные романы опаснее служебных — они могут закончиться в морге. Если не повезет. Мне повезло. Пинсон вычитал нужную строчку в моей истории болезни и назвал нужное имя в нужный момент, когда я слонялась по больничным лабиринтам. Меня рассмешили наши общие знакомства. Пинсон шел по ночному коридору уже без дневной отрешенной злости на мир в окрестности его «я», уже немного скучая. Приятно удивляясь неспящим. Он был рад угостить не лучшим кофеюком, и, в сущности, все... Но выдалась на редкость спокойная ночь. Никто не плакал и не умирал в больнице под не важно каким номером, потому как она подразумевала вселенную... Выдаются же когда-нибудь такие спокойные ночи, когда никто не плачет. Выдаются хотя бы игрой воображения.

Ковалевская ухмыльнулась и заметила, что знакомиться с врачами и юристами — занятие полезное. Особенно если медленно дѳхнуть и судиться, хотелось добавить мне, но я молчала, представляя, как буду извлекать пользу из знакомства с Пинсоном. А он тем временем ходил. Мне казалось, что врачи только и делают, что ходят по коридорам, по г-образным клетчатым полам, исчезают за поворотом и выныривают снова. От них зависело все, но они делали вид, что не зависит ничего, а я от безделья глазела на них, мотала головой туда-сюда, сидя под гигиеническими плакатами... Только иногда они увозили кого-нибудь на операцию и привозили обратно, и тот долго не мог очнуться, обнять подушку и пощупать новую жизнь, пускай жить оставалось уже меньше трети отпущенного...

Даже когда Пинсон деловито исчезал из моего поля зрения, я знала, как он идет — серьезно, зло гремя ключами, готовый отправить на смерть самого черта, споров ему предстательную железу. И одновременно Пинсон шел с пунктуальным смирением, зная свой шесток, помня, что он еще не на первой ступеньке, а уже сорок лет и это уже не половина... «А, к черту» — так шел Пинсон и гремел ключами. По этим сердитым ключам я узнавала Пинсона, когда топталась в ожидании у его кабинета, наблюдая за медсестрами и санитарками, копошившимися в рентгеновской лаборатории напротив. А они наблюдали за мной. Пинсон еще не появился из-за поворота, но ключи, неповторимо пинсоновские, унимали беспокойство. Пинсон мог и не прийти: операция, срочный вызов, конец света — что угодно могло помешать. И я оставалась в дураках, теряя воспоминания о запахе пинсоновского кабинета — крови, уксуса и подмышек.

Окна без стыда показывали больничную изнанку внутреннего двора, где из мусорных бачков высовывались языки горелых простыней. Это были виды для больных, а в кабинетах висело глубокое раздетое небо, и поэтому был еще один смысл забираться в чужое кресло и аккуратно подглядывать в мудреные бумаги, пока Пинсон одевался и стягивал неуместную улыбку. Если Пинсон отлучался, получались более интересные находки: телефонные счета на имя жены, письма на немецком языке, карманные бутылки с резким парфюмом — по вещичкам можно было прочесть полжизни, но лучше дать волю фантазии и выдумать одинокого Пинсона,

пьющего чай с пожилой мамой. Выдумать можно было все, что заблагорассудится, Пинсон все равно не обмолвился ни единым вздохом о своей жизни без зеленой операционной распашонки.

...Только серебряная ложечка мертвого профессора — лучшего друга. Но это история с пылью, о ней тоже ни слова.

Пинсон не жаловал истории, он комментировал моменты. Больные любили его за грубые шутки, особенно ошарашенные женщины. Пинсон издевался над случившейся когда-то любовью немолодой особы к толстому доктору-грузину. Доктора давно уже и след простыл в отделении, он уже с успехом кормил лошадей на шведском ипподроме, а Пинсон все издевался... То ли завидовал. То ли поминал старое зло.

Заклучив, что все сложно, кроме мужчин, простых, как тринадцатикопеечные батоны, он бежал на операцию, чмокнув воздух в моем направлении. Кофе без сахара он не пил никогда. Утром в день моей выписки он чересчур старательно чистил зубы, в прошедшую ночь какая-то добрая душа уступила нам кабинет с узким диванчиком. В наступившую паузу я поспешила вставить телефончик Сильвии, больше от бездумной радости того, что мне теперь можно звонить, и пусть звонит кто угодно. Пинсон автоматически записал его на нужную букву, потом спохватился, зачеркал и записал уже на задворки записной книжки. Предназначалась ли пауза для телефона, или никакого сценария не было в помине — я понять не успела, и не суть. Лучше ничего не понимать, чтобы получалось вслепую. Сомнительный принцип Сильвии.

В сущности, все ее принципы были сомнительны и приятны. Мне нравилось, как болтает Сильвия, срываясь на английские идиомы. Она и сейчас ведет цветастые разговоры с кем-нибудь, занимающим маленькую комнату с книгами. Свято место пусто не бывает.

После выписки я сломя голову бежала к Сильвии, к празднику в полнолуние в честь моего выздоровления. Предчувствие нового часто обманывает, и тут вечная моя ошибка. Новым казалось только удивление от кислого пробуждения в кресле, в путаных складках вязаного пледа. Не сказать, что мы с Сильвией изнуряли себя работой. Часик постучим по клавишам, Сильвия поковыряется в словаре — и собираемся на кухне. Я ей сплетничаю о себе, она мне — примеры из литературы или из жизни неправдоподобной, неосязаемой, неестественно пахнущей яблочным освежителем, как директорский сортир. В Европе мода на Японию десятого века. Отличная эпоха. Дома без дверей, женщины гениальны, на улицу выходят строго по праздникам и передвигаются почти только на коленках... Сильвия — как кладезь новостей прошлых веков, как антикварная игрушка, вошедшая в моду...

Часа в четыре ночи мы поглощали яичницу с двумя сморщенными помидорами, сумевшими завалиться в холодильник. Гости старались баловать Маратика, а мы с Сильвией баловали гостинцами себя. Сильвия лениво оправдывалась, что от ребенка не убудет, завтра Бог опять порадует гостями. В домашнем хозяйстве Сильвия не усердствовала, гвозди забивали случайные люди. Она никогда ни о чем не просила, жила будто с присутствием невидимой прислуги. Я думала сначала — это то, что надо: изредка драить закопченный кафель, мурлыча ирландские баллады... Сильвия мне — баллады, я ей — про Пинсона. Она выслушивала почти молча, ее не слишком интересовал реализм даже в искусстве. Ее исповеди всегда убийственно на жизнь не походили, казалось, что длинноволосая Сильвия лет десять шаталась по саду эльфов и пугала их с людьми. Сумерки, запах лилий и прочая чешуя — все, что мне запомнилось про ее мужа. Сильвия, забывая о горящем луке, разглагольствовала о своем прошлом. Мне почему-то казалось, что она все выдумывает, как впечатлительный подросток, все время врет, не ясно зачем. Я ее умоляла: «Матушка, что-нибудь о видимом невооруженным глазом, а то ничего не понятно...» Сильвия хихикала, подозревая, что я злюсь из-за запаха лука. То, что она

не хотела слышать, она не слышала. А я вполне удовольствовалась возможностью солировать о Пинсоне, получая в ответ рассеянное молчание.

Когда он позвонил, мы с Ковалевской, конечно, бродили по улицам, заглатывая «бельгийские трубочки». Только Ковалевская могла выискать мороженое с таким названием. А в это время мне нервно названивал Пинсон и хамил Сильвии, которая все мои рассказы пропустила мимо ушей и не помнила — не думала — не понимала — не желала понимать, что по ее семи родным цифрам могут искать совсем не ее. Она терпеливо объясняла бесившейся трубке: «Это Сильвия... А вы, извините, кто?» Пинсон со свирепой вежливостью уверял, что это имя ему ни о чем не говорит, ему хотелось слышать меня. А Сильвия шутила: «А меня бы вам не хотелось... слышать?» А Пинсон не понимал шуток и бросал трубку.

Я вернулась глубокой ночью. Сильвия спокойно вязала свитерок для Марата, вязала уже целый год. Она нехотя отвлеклась и сообщила, что звонил какой-то пожилой нахал. Я завопила: так это тот самый доктор! Я же все уши про жужжала... Сильвия, не поднимая головы, усмехнулась и буркнула:

— Да?.. Уж больно голос похотливый...

И между нами быстро-быстро пробежала даже не кошка — черный котенок, тяжесть в локтях, наклевывавшееся тоскливое воскресенье. Я могла с точностью до тысячной звука представить их разговорчик, я все знала и без Сильвии, и без Пинсона, знала лучше Всеслышащего уха, но предпочла себе не поверить. Потому что добрая Сильвия оставалась доброй Сильвией.

...И наутро она сказала: не плачь, выбери себе, что хочешь, любую вещь в моем доме, только чтобы она была похожа на тебя, выбери Твою вещь. Я нехотя встрепетнулась, послала Пинсона к черту... Сначала я думала — развернусь! Я шарила по всем полкам, шкапулкам, ларцам, чихала от пыли забвения, в которую завернулись приятнейшие игрушки человечества. Я хотела перстень с цирконом. Часы. Джинсы из коричневой кожи. Духи «8-em jour». Старенькие сабо. Этажерку на колесиках. Вьетнамскую метелочку. «Книгу перемен». Настенный календарь с Армстронгом. Чулки со швом. Зеленый махровый халат... Я хотела все сразу. Увы, имела смысл только честная игра, и я нашла Свою вещь. Это была большая мутная фотография щенка чау-чау, слизывающего сладкие остатки из опрокинутой рюмки. Сильвия умилилась и попыталась всучить мне еще кое-что из ненужного барахла. Но мне вполне хватило. И тихой сапой мы снова пригрелись друг напротив друга, и я уже спрятала в карманчик опасные темы. Сильвия опять рассуждала о расплывчатом: мол, есть вещи, есть места, есть люди, есть города, есть несколько минут... И кроме перечисленного, нет ничего, космос слишком безграничен, чтобы существовать, а заканчивалось все любовью к мертвецам. Слабый огонек безуспешно лизал ее сигаретку, потом она делала две вялые затяжки и лениво тушила, так, что окурок оставался дымиться в пепельнице. Чтобы не нюхать влажный дым, приходилось тушить за нее. Но дым все равно лез в ноздри, а Сильвия опять про мертвых друзей, забывая, что трагедии редко бывают занимательны.

Ковалевская давно уже поставила Сильвии диагноз и бывала здесь редко. «Бедняжка, щебетала бы попроще, так и замуж бы вышла... А то не получается у нее... Отсюда и все шелка с туманами...» Я никогда не спорила с Ковалевской, мы с ней родились в одной рубашке, и заворачивали нас одной пеленкой, хоть ее лепили из другой глины. Слышать шум одних и тех же тополей в младенчестве, сидя на одной и той же земле, — это не так мало, как кажется. Я не видела необходимости переубеждать ее в чем бы то ни было, она была слишком настырна и коренаста, а особи вроде Сильвии всегда ее раздражали тщедушностью и признаками астении. «А, — махала пухлой ручонкой Ковалевская, — маленькие женщины все стервы».

Я ей советовала потерпеть: вот закончим с Сильвией все халтуры, и я вернусь с гостинцами и с денежками. У Ковалевской просто духу не хвата-

ло признаться, что ей всего лишь страшно по ночам. В нашей общажной комнате дверь не запиралась изнутри, а любовника себе среди преподавателей, как намечалось, Лиля еще не выбрала. Она застывала в тоске от одиноких часов, как от взгляда Медузы Горгоны, понимая, что ждать некого. Весьма временная осенняя ипохондрия...

Однако в мое предание верилось с трудом. Работы более не ожидалось, Марат приболел, а у Сильвии началась спячка. Она спала в обед, в завтрак и в ужин, а ночью рассеянно свешивалась с дивана, как плюшевая игрушка, и прихлебывала чай тоже как будто во сне. Она теперь больше молчала, варила Марату гречневую кашу, он отворачивался. Гости схлынули. Начался мертвый сезон. Приходила только Лиля Ковалевская с грустью в потайных швах, я изредка встречалась с Пинсоном, а Лилька зудела мне в ухо что-то о моем недоверии Сильвии: уж раз я не пригласаю сюда своего докторишку... Однажды я для хохмы поклялась Ковалевской, что специально для нее я это устрою — за чем дело стало? Ковалевская смутилась, но я в случае подтверждения ее зловещих предсказаний пообещала ей баночку меда.

Без Ковалевской мне и не приходило в голову зазывать Пинсона к себе. Такие дела — лучше на стороне, — золотое правило бездомной жизни. Условно моя комната с книжками защищена от всех, кроме хозяйки, и возможные казусы не понравятся Сильвии. Она ничего не скажет, но ее дом — не про «это». Как сказал один чудик, здесь только то, что выше четвертой чакры.

Когда я зарубила это себе на носу, мне стало спокойней. Сильвия никогда не оговаривает правил, но будь добр их не нарушать, а то не заметишь, как «сезам, откройся!» работать прекратит. Странное местечко, временами думалось мне: все можно, но ничего нельзя, я не гость и не хозяин, и все — не гости и не хозяева: чинят розетки, водят Марата к логопеду, оставляют деньги на трюмо... А Сильвия всем благодарна, но сразу забывает о них, медленно и скрипуче продирая волосы массажкой. Самое неприятное о любой персоне — это «странный». Интересно, Пинсон, по ее понятиям, — странный? Скорее — ремесленник. Это тоже из ее игр в слова. Жизнь ремесленника — скупые радости и щи по субботам, инструкции по подготовке к ...; аккуратно выструганный успех и никогда — бешеный взлет или слезы радости. Зато мне взлетов и слез хватает. Когда я иду к Пинсону, мир готовится к взрыву. Когда я его жду в пропахшем им же коридоре, в грудной клетке тикает бомба. Сдохнуть можно от смеха, но мне кажется — за мной следят ВСЕ. Особенно ненавистный доктор Исса, чей кабинет рядышком. Пинсон — шовинист, он ненавидит арабов. Арабы ходят в профессорах, арабы улыбаются, им идут белые халаты. Особенно хороши арабы летом, в предвкушении двухмесячного проветривания. Больница проветривается, но врачи — никогда. Они сохраняют свой запах и в могиле, они всегда пахнут спиртом, уксусом и кровью и наполняют этим ветром свежие осенние палаты. Чтобы вновь прибывшие, легкомысленные и не очень больные, не забывались — в смысле *memento mori*...

Уезжают ли врачи-арабы в отпуск на родину? Летят ли утки на зиму в Испанию? Берет ли Пинсон с собой в отпуск свою жену и валяются ли они на пляже поближе к пивному ларьку? Какая мне, собственно, разница; чтобы узнать, нужен пароль, которым и не пахнет. Город увлекся гадаaniem и расплетанием клубков кармы. Но что мне город, я-то еще с ума не сошла. Зачем мне этот неудобный Пинсон, какого черта Пинсон... Ужасно, что всегда знаешь ответ. И чудесно, что никогда не поздно притвориться незнающим.

Пинсон не удивился приглашению. Он не делил территорию на свою и чужую, раскачиваясь между двумя крайностями — либо все свое, либо все такое колючее, что держи ухо востро. В сказках первый звук обычно — «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве...». То есть не важно где, была бы суть. Пинсон пришел к Сильвии. Ко мне, но все-таки в тридевятом царстве. Мне враз стало неловко, и ни о каком кофе с пряничком

речи идти не могло. Но Сильвия соизволила сама накрыть на стол и переоделась в красное платье... С чего вдруг... Сразу стало неуютно от резкого цвета, кухня казалась слишком маленькой для такого одеяния. Но я устала задавать вопросы, в конце концов, Сильвия — хозяйка, и это ее вечный козырный туз, пользуется она им или нет.

И разговорчик завести пыталась... Мне-то смешно, Пинсон и Сильвия — словесные антиподы, масло и вода, полная несмачиваемость. Хотя я видела, как Сильвия наводит фокус, в ее квартире таких кадров еще не мелькало, и она как будто побаивалась атаки. Пинсон недолго дал себя разглядывать, чай, не в зоопарке. Потом уже со мной наедине выдохнул: «Вот это квартирка! Не люблю глазеть на чужую жизнь. Зачем ты меня сюда притащила?» Удивлялся, что я живу здесь за «так», за родство душ и за халтуру в «пополаме». Дела шли не ахти, но Пинсону сам Бог велел приврать о нашем тонком рабочем процессе, что совершенно бесполезно — он прочитает скрываемое между строк, даже если в гробу он видел мою призрачную жизнь. А на Сильвию он не мог напоследок не взглянуть: встала истуканом в коридоре, как на проводах любимого гостя, в красном своем балахоне, в пяти кольцах, со взлетающими от малейшего жеста длиннющими волосами. Не дала долепетать последние словечки, хотя и лепетать-то нечего, перед «до свидания» у меня всегда ком в горле. Мои слова для Пинсона — яичная скорлупа, а внутри слишком часто одна и та же мольба-крик: «Ну, пожалуйста, еще немного...» Кто другой бы кушал и не морщился, смаковал бы даже, но Пинсон и здесь оказывался самым вредным и несговорчивым.

А на следующий день пришел милый сюрприз. Сильвия из не приметного ящичка извлекла заветную записку — деньги на ремонт в ванной. И заявила: гуляем! Деньги нам скоро заплатят, но ждать их не нужно. Нужно транжирить. Пусть они легко уходят — тогда и придут легко. Новая философия, непривычное солнце для осеннего сна. Мы с Сильвией и Маратом скачем по магазинчикам. Непременный ванильно-вишневый пирог английской королевы на вечер — само собой.

Венцом нашей приятно нагруженной прогулки явился подвальчик старых шмоток. Сильвия давненько им бредила, но спячка последних дней парализовала все ее желания. А сейчас мы как с цепи сорвались, и щедрая рука Сильвии зарывалась в кучи тряпья, вынимая самое нужное. Она нашла мою давнюю мечту — замшевую куртку, а с ней — изобилие забавных вещей, и все за какие-то гроши, так что и виноватости никакой за большие подарки. Я не деликатничала, такие дни у ангелов-контролеров на счету, жадными лапчонками я ловила момент, а Сильвию разогревал мой восторг, и она не скупилась. Свою одежду мы сложили в сумки и торжественно вышли на бурые листья — новенькие, хотя и слегка поношенные, из вторых рук. Шли и нюхали рукава — они сладко пахли неведомой санобработкой, сквозь которую просвечивал запах чужих дорог и бродяжьей жизни.

Только на секунду меня прошиб стыд: роюсь в мелочах, в каких-то красных платках, а Сильвия на самом деле своя в доску, добрая тетка, свалившаяся с неба, печет пирог, и сладкий запах...

Даже Ковалевская растрогалась. А Сильвия и ей отрезала дольку нашего праздника, подарив огромную джинсовую рубашку, что оставил неизвестный постоялец и давно канул в Лету. Впрочем, Ковалевскую не занимали подробности. Она больше не сомневалась в Сильвии. А я будто бы в ней никогда не сомневалась и намывала старую люстру, чтобы свет в доме не тускнел больше, как старое серебро. Пинсон не вспоминал благословенную хозяйку, наша рукопись вскоре завершилась, в ладошки прилетели долгожданные монетки. Я тут же накупила сладостей для Марата и каких-то дурацких ароматических салфеток на радость хозяйке. Поехала утешать завядшую Ковалевскую. Мы провалялись двое суток на кроватях, обсуждая, кому лучше строить глазки — ассистенту или профессору по зарубеж-

ной литературе. Лилька склонялась к последнему. Хорошее начинание, думала я...

А вернувшись в дом Сильвии, я увидела запонки Пинсона. Они мокли, забытые в ванной, аккуратно погруженные в мыльную лужу. Слишком нарочито мокли, уверенные в своей неопознаваемости. Так, будто чужие. Они, конечно, могли оказаться чужими — но здешние гости обычно без широких манжет, такая беда.

...Вялость и ощущение уходящей зубной боли. Ничего, что запонки такие мокрые и холодные, — стоит только зажать их в кулаке, как они станут моей собственностью, совсем не желанной, но вполне законной... И далее по тексту, по великой интуиции Ковалевской, верить ей всегда, как прорицательнице Ванге, любить своих ближних, как Сильвия, и говорить обо всех хорошо...

Лень было собирать вещи. Я плюхнулась на диван, и пружинная мягкость сожрала меня с потрохами, а я надеялась, что сплю. Заходила Сильвия, укрывала меня прохладным пледом, исчезала, появлялась незаметно, как статистка на сцене, и приглашала на чай-с-лимоном-с-пирожками-с-курагой. Противным тихим голосом. Все бы хорошо, если б не эта милосердная нотка...

Голод, разумеется, взял свое. Я вышла на кухню и за один присест смела пять пирожков. Плевать на Марата, на завтрашний день, моя побывка здесь кончилась. Было даже приятно от спущенной с поводка жадности, живем один раз, но этот раз — многоразового использования. Сильвия ничего не ожидала либо не знала, чего ждать. Она не спрятала запонки, Сильвия, такая внимательная к деталям; ломать голову «почему» — разразишься лишней истерикой, внутренней или на все сто.

Наша пауза превращалась в мою взлетную полосу. Молчание становилось бессмысленным, молчание близко к нулю, ведь и в адюльтерных казусах как-то себя ведут, а наружу лезло идиотское любопытство, вуалирующее мелкую злость, — совсем не время было выяснять, все еще она на «вы» с Пинсоном или уже не миндальничает. Сильвия, видимо, тоже считала, что не время, на секунду она искренне изумилась, потом опомнилась и, уходя от опасности, усталилась в окно. Ее несложный язык жестов умолял «перестань...», а мой шипел «да не перестану!». Я разбила китайскую кружку... еще одну... — память о призрачной родне. Сильвия покорно смотрела, как я варварски мою посуду, но не противилась, а только услужливо подавала мне основательно засохшие сковородки.

— Матушка, у тебя посуду мыть страшно, что ни плошка — память о покойнике.

Тут кнопочку нажали. Сильвия размокла, поплыла и хриплыми безголосыми частотами прошептала: «Я думала, что доктор тебе как развлечение... Ты же всегда над ним смеешься... И Ковалевская твоя смеется, для тебя не важно...»

Меткое попадание, подумалось мне. Надо было плакать, трагедия — любимый жанр Сильвии. А я разложила Пинсона, как считалку: ключи, кабинет, свобода от зеленого стаканчика Сильвии, где мне позволено хранить зубную щетку, и от общажного светильника с облупившейся краской... А дальше душа — молчаливое животное, ее ответа не разобрать. Твоя правда, Сильвия, ни черта мне не важно. Но у этой мымры целых три комнаты свободны, бесись себе на здоровье, зачем ей еще и мой кусочек, раз уж у меня все просто и мелко.

Однако кружки бить уже расхотелось. Столько еще вещей хороших, жалко, я-то свою безделушку выбрала. А Сильвия — нет, у нее их слишком много, и все наследственные. И я что-то еще мямлила, а Сильвия опять — тихо-тихо:

— ...мы были у врача. Марат болеет. Серьезно. С ним надо ехать на юг, жить на юге... нужны деньги. Я думала, твой Пинсон поможет... Но он сразу сказал, что по детям не спец. Он позвонил тебе, а я...

— Понятно...

— Я уже всех обзвонила. А кто-то понять не может — квартира защищенная в центре, родители за бугром, а денег нет... Не получается японски смастерить тысячу птичек — тысячу раз рассказать одно и то же. Даже жалости не выходит...

— Ну что ты! — сразу поплыла я. — Какая жалость?! Найдем деньги, всех тряхнем...

Но у Сильвии явно не было настроения кого-то трясти. Она оседала, как неудачный пирог в духовке, наплевав на все паузы и сноски, на историю с Пинсоном и на весь мир. Слезинки наплывали на нижнее веко, но раздумывали катиться дальше, и в глазах расплывалось прозрачное половодье.

Минут пять длился мой столбняк, хотя я знала, что изобразить. Сильвия наверняка надеялась на это. Я села перед ней на корточки и, конечно, стала всемогущей и уже почти добывшей заветные бумажки, целую анекдотичную кучу денег. И разумеется, все поправится и образуется, и не дадут Маратику засохнуть, как такое, в самом деле, может случиться... И придет спаситель Пинсон, астрологический близнец Парацельса; и свечку поставим, и дары принесем в нужную фазу Луны...

Руки Сильвии медленно отпускало напряжение, и то ли они, то ли наши джинсовые коленки пахли тем самым «вторым» сладковатым запахом-дымком. Руки Сильвии стали совсем маленькими, одна дает, другая берет... по мелочи. Сливки уже сняли чьи-то первые руки.

На следующий день Ковалевская радовалась моему возвращению. Мы назвали гостей, назанимали каких-то денег... У Ковалевской на лбу пропечатались сомнения, но Маратика она жаловала, считая, что у ребенка трудное детство. Я нервно звонила Пинсону с вахты, а Ковалевская делала плов. Мы вернулись на круги своя. Последние кадры у Сильвии я помнила туманно, как через марлю.

Недели через две Лилька отправилась к ней с изрядно поредевшей суммой. Но мы решили, что и это в помощь. Потом Ковалевская хмуро отмахивалась от моих вопросов: «Ой, ну разумеется, все обычно, толпа народа, твоя келья разворошенная, там сопит чья-то туша... А на деньги Сильвия округлила глазки. Я ей — а Марат? А она — да спасибо, здоров. О тебе спрашивала... Но деньги взяла в конце концов. Отчего ж не взять, если деньги дают...»

Ну и с Богом. Холодная осень плавно переходила в сопливую зиму.



НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ЭНТОНИ БЁРДЖЕС

*

ДВА РАССКАЗА

ПОЖИЗНЕННЫЙ ПАССАЖИР

Я знал, что стоящего в очереди передо мной зовут Пакстон, поскольку девушка, занимавшаяся его билетом, так обратилась к нему. Пакстон, подтянутый, с копной белоснежных волос, явил изрезанное морщинами лицо восьмидесятилетнего человека, когда отошел от стойки, откатив две свои сумки. Мы оба летели в Нью-Йорк первым классом. В то время я много мотался по свету, служа бухгалтером в *Single Buoy Mooring*. Пакстон не поставил багаж на ленту транспортера, тогда как мой тяжелый чемодан с болтающейся биркой поплыл по конвейеру. Бронзовокудрая контролерша вслед за его паспортом проверила американскую визу в моем и с улыбкой вручила мне посадочный билет в салон для курящих. Я видел Пакстона перед собой во время процедуры досмотра и потом предъявляющего паспорт скучающим охранникам. Слышал, как он сказал: «Последний раз, друг мой», — видел ответную полуулыбку непонимания и безразличия, затем проследовал за ним в зал ожидания. Пакстон, обнаружив в усмешке сверкающие зубные протезы, сказал, обращаясь ко мне: «Посмотрите», — и засунул свой паспорт в одну из глубоких урн, похоронив его под кучей полиэтиленовых пакетов, шоколадных оберток и пустых сигаретных пачек. Я сказал: «Что вы делаете?»

«А что? Вот и делу конец».

«Конец? Вам он понадобится на том конце. Нельзя путешествовать без паспорта».

«Можно и нужно. Сыт по горло всей этой дребеденью. Свободен как птица».

«Как птица никто не свободен. В Кеннеди они потребуют паспорт. Не впустят вас без него. Знаете, начнется: ваша виза, не состоите ли в черных списках как нежелательный иностранец».

«Нежелательный? Я желательный для себя, только это и важно. Туда ему и дорога».

«Его всучат вам, будьте уверены. Обнаружат, сдадут в бюро находок, доставят вам заказной почтой».

«Интересно, куда? У меня нет адреса».

«Извините», — сказал я и пошел покупать беспощинную бутылку *Claymore* и двойной блок *Rothmans*. Немало чудачков повидал я в своих поездках, но впервые встретил субъекта, глумливо поставившего себя в положение перелетной птицы. Но границу-то ему не пересечь. Мир закрыт для путешественника, не имеющего при себе маленькой сплетницы, нашептывающей ему о том, что он знает и без нее: имя, цвет глаз, груз прожитых лет, гражданство. Но посадочный талон у него был: теперь он с бутылочкой *Cointreau* и блоком *Dunhill* стоял позади меня в очереди на посадку.

Энтони Бёрджес (1917 — 1993) — известный английский писатель, автор более шестидесяти книг, в том числе романа «Заводной апельсин». Публикуемые произведения взяты из его единственного сборника рассказов «The Devil's Mode» (1989).

«Путешествия открывают новые горизонты, — сказал он мне. — Так они говорят».

«Впервые в Америку?»

«Впервые куда-либо. То есть по воздуху. На пароходе-то я перевидал немало мест. Но пароходы, кажется, вышли из употребления. Теперь с удовольствием жду полета».

Я поспешил отделаться от него и направился в бар, где заказал двойной коньяк. Но он опять был тут как тут, взяв полпинты темного лондонского пива. Эти его сумки, подумал я, наверное, большая обуза. Не может же он вечно возить их на тележке. Я посмотрел на сумки, и он — тоже. Затем наклонился, чтобы открыть одну из них. «Посмотрите на это», — сказал он.

«Боже правый!» — вырвалось у меня. Большая желтая полиэтиленовая папка была набита авиабилетами. Копаясь в них, он сказал:

«Побываю везде. Рио-де-Жанейро, Вальпараисо, где бы это ни было, Мозамбик, Сидней, Крайстчерч, Гонолулу, Москва».

«Если есть место, где виза совершенно необходима, так это, конечно, Москва, — сказал я. — Но, черт возьми, как вы предполагаете *побывать везде* без паспорта?»

«Побывать — не всегда побывать, — сказал он. — Я прилечу — и меня сразу отправят дальше. Но в некоторых случаях — не сразу. Кое-где придется подождать. У них там есть транзитные залы. Можно помыться, привести себя в порядок. Принять ванну. Выбросить грязную рубашку и купить новую. То же — с носками и бельем. В сущности, никаких хлопот».

«Получается, — сказал я, озадаченный, — вы путешествуете, никуда не попадая».

«Можно сказать и так, — ответил он с ханслоуским¹ акцентом. — У меня никого не осталось. Дети женились и разъехались. Я получил четверть миллиона за дом, гроши, форменное надувательство, что ни говори, если учесть, сколько я заплатил за него в конце войны. Как я поступаю с этими деньгами? Иду в туристическое агентство, где они разрезают варезку и приводят всех поглазеть на меня. По большей части билеты с открытой датой, как они называются у них. Никакой спешки. Если пропускаю один самолет, жду другого. Еще я обзавелся этими, как их... дорожными чеками, очень удобно. Кое-что оставил в банке для Джейми, моего старшего, он по крайней мере с характером. Конечно, многое зависит от того, как долго продлится эта затея. Я ведь могу прожить дольше, чем рассчитываю, в этом случае мне придется снять с банковского остатка, не так ли? Впрочем, я уверен, что все это благополучно закончится в воздухе. Сами подумайте, как эти проклятые штуковины держатся в небе? Какая-то обязательно грохнетя однажды, и я, глядишь, окажусь в ней, если повезет. Надеюсь, можно не беспокоиться». Он отхлебнул пива и прислушался с вниманием, больше подходящим к внезапному музыкальному всплеску, чем к голосу, объявляющему рейс. Я сказал: «Это, кажется, наш».

Меня устраивало, что нас не посадили рядом. На этот раз в первом классе людей оказалось немного, и я мог на соседнем сиденье разложить свои бумаги. Пакетов находилась через проход от меня, без всякого дела, за вычетом радостей новичка-воздухоплователя, пользующегося удобствами роскошного рейса. Он называл стюардессу «дорогуша» и «лапушка моя», захмелел от трех порций джина, но протрезвел за ланчем. Прищелкивая языком, говорил: «Вот жизнь — и никакой промашки!» Он посмотрел фильм не слишком уместный, об авиакатастрофе, послушал с открытым ртом концерт для голоса с оркестром, получил удовольствие от горячего полотенца. Даже прошел в туалет с электробритвой ради необязательного бритья и вернулся, благоухая всеми ароматами «тысяча и одной ночи» или чем-то еще в том же роде.

¹ Ханслоу — лондонский пригород вблизи аэропорта Хитроу.

Наконец появилась стюардесса с иммиграционными анкетами и таможенными декларациями. Она спросила: «У мистера, конечно, британский паспорт?»

«У меня его больше нет. Выбросил в Хитроу». Она ахнула, даже присела рядом с ним.

«Простите, сэр?»

«Я не в Нью-Йорк. Я лечу — позвольте, я сейчас взгляну... да, вот, — (развернув маршрутный листок на бланке туристического бюро), — следующая остановка Тринидад. Вест-Индия, если не ошибаюсь».

«Но вы должны приземлиться в Нью-Йорке и пройти иммиграционный и таможенный контроль. Как все».

«Я не хочу в Нью-Йорк. Насмотрелся на него до тошноты по телевизору. Я хочу в этот, как его, в Тринидад. Оттуда в Майами, где пересаживаюсь на самолет — куда? — сейчас скажу... правильно, в Рио-де-Жанейро».

«Ни в один американский аэропорт вас не пустят без паспорта».

«А что они со мной сделают? Отошлют назад? Разве это проще, чем отправить меня дальше по маршруту? Не понимаю, зачем все усложнять». Она отошла от него обескураженная. Покорно заполняя декларацию, я почувствовал слабый укол, нанесенный моему самолюбию ощущением собственной несвободы. Пленник правил, невольник белой линии, сопутствующей иммиграционной очереди, игрушка таможенника, изучающего мои желудочные таблетки так, словно это наркотики.

«Сколько всякого вздора», — сказал мне Пакстон. Я был согласен с ним. Мне вспомнился старик Эрн Бевин, министр иностранных дел в послевоенном лейбористском правительстве, говоривший, что каждый должен иметь возможность прийти на вокзал «Виктория» и заказать билет в любую часть света. Мир принадлежит людям, не правда ли? Все мы были совладельцами этой планеты. Нацию стали тогда определять как совокупность людей, организованных для ведения войны, а поскольку утверждалось, что великие войны принадлежат прошлому, то и наций больше как бы не было. Возможно, нация превратилась в абстракцию, единственным опознавательным знаком которой остался таможенный и иммиграционный контроль.

В Кеннеди молодые негритянки в униформе велели Пакстону сделать то же, что все, — ему пришлось перенести свой тяжелый багаж к иммиграционной очереди, жалуясь на треклятую свободу, то бишь ее отсутствие. Уже подходя к стойке, я впустил его в очередь перед собой, став невольным свидетелем происходящего, не смея ослушаться белой линии, соблюдая, как положено, благоразумную дистанцию. Ему сказали, что без паспорта и визы он не может попасть в Соединенные Штаты: разве всё это ему не объяснили? Да, но он и не рвется в Соединенные Штаты, он на них вдоволь насмотрелся по телику, ему бы попасть прямо на Ямайку. «Это значит проследовать, — сказал чиновник, — к другому терминалу, то есть фактически все равно оказаться в Нью-Йорке». — «А! Здесь я вас поймал, — сказал Пакстон, — я прилетел на *British Airways* и сажусь тоже на рейс *British Airways*». Затем Пакстона с его сумками увела негритянка в тужурке. Не имея возможности помахать рукой, он отвесил мне залихватский поклон. Подошла моя очередь, и чиновник покачал головой по поводу человеческих безумств, имея в виду беспаспортного Пакстона. Я сказал, может быть, неблагоразумно: «Всех нас тошнит от виз и паспортов. А преступникам они не помеха. Слишком много бюрократии. Мир должен принадлежать его обитателям». Он не стал спорить, но посмотрел на меня неодобрительно. В сущности, я позволил себе намек на бессмыслицу его работы. Он поставил штампы и дал мне проследовать в хаос багажной карусели.

В следующий раз я встретил Пакстона спустя месяца четыре. Это произошло в аэропорту Карачи, безобразном сооружении, переполненном

бесполезными коричнево-шоколадными служащими, утруждавшими себя так мало, как только это возможно, поскольку был Рамадан и закатная пушка еще не выстрелила. Пакстон выглядел неплохо, но страдал от жары. «Отказали кондиционеры... или их вообще нет у этих итальяшек. Хотелось бы домой, в прохладу с ледяными напитками». Он вытер шею полотенцем.

«Домой?»

«Да, так я их называю. Все самолеты одинаковы, ведь так? Садясь в следующий, я как будто возвращаюсь в предыдущий. По сути, это и есть мой дом».

«Как вы устроились, ничего?»

«Да, только питаюсь нерегулярно, и несколько нарушился сон. Я подарил часы... арабскому мальчику... в Абу-Даби, мне ведь теперь безразлично, который час. Там совсем другое время, наверху. Желудок слегка подвел меня, но я принимаю вот эти. — Он проглотил таблетку. — Не могу пожаловаться: вижу мир, и это почти всегда — море. Суши так мало. Пересек линию смены дат, направляясь из Окленда на Гавайи, и потерял или выиграл день, уже не помню точно. Стюардессы очень симпатичные, и чем дальше на восток, тем милевидней. Даже почудилось, будто устраиваюсь с одной из этих японочек в кимоно. Еще будто прикорнул на земле».

«Это то, что вам нужно. Неделю передохнуть в гостинице. Есть очень приличная в Бангкоке».

«Знаю, слышал о ней, летел с группой янки, направлявшихся туда. Уж очень громко смеются. Когда захочу провести несколько дней, так сказать, на берегу, заворачиваю в Рим. Там, в аэропорту, есть маленькая гостиница вроде приюта, совсем крошечная, но по эту сторону барьера, — и нет паспортной бодяги. Отсыпаюсь, хотя мучают кошмары, принимаю ванну и даже стираю носки, чтобы не покупать новые, затем просто шляюсь по аэропорту, выпиваю чашечку этого кофе с пеной, иногда — небольшой перекус. Смотреть не на что — так я пристрастился покупать книги. В мягкой обложке, чтобы не жалко было выбросить. Теперь путешествую налегке. Только одна сумка, как видите. От второй избавился в Хитроу».

«Значит, снова там побывали?»

«Пришлось, иначе никак. На пути из Рио в Рим. — Затем он мрачно посмотрел на громадный боинг, распластавшийся на взлетной полосе. — А теперь Бомбей. Вы тоже?»

«Нет, я дальше на восток. Вы сказали что-то о кошмарах».

«Да, таких у меня не было с детских времен. Некоторые очень страшные. Моя старуха, вот уже семь лет покойница, царство ей небесное, закатила мне скандал в одном из них: почему я погасил на плите газовую конфорку? «Еще не готово», — заорала она — и вытащила здоровенную змею из кастрюли». Его передернуло.

«Нарушение суточных ритмов», — сказал я.

«Вот-вот, то самое выражение, что употребил этот доктор, летевший со мной рейсом Париж — Вашингтон. Симпатичный молодой человек, специалист по раку. Он объяснил, что тело гнет свою линию независимо от перемещения в пространстве. Бунтует на закате, когда настроено на полдень. И ваш сон, — сказал он, — летит ко всем чертям».

«Да, — поддержал я и продолжил со значением: — Не странно ли, что незывлемые константы на поверку оказываются относительными. Восход, полдень, ночь... Они подкрадываются к обитателям земли в разное время».

«И эти летающие девочки, стюардессы, у них уйма неприятностей с менструациями. Страшно подумать, какие кошмары их мучают. Все хочу спросить их об этом. — Он помолчал. — У птиц не бывает кошмаров, правда?»

«Коллективные кошмары, — сказал я. — Возьмите, например, этих воронов рядом с гостиницей *Mount Lavinia* в Коломбо. Они все вместе кричат по ночам».

«Хорошенькое местечко Коломбо, да? В какой это стране?»

«В той, что теперь Шри-Ланка, а прежде называлась Цейлоном. Гости-ница неплохая, за вычетом вороньих кошмаров».

Полтора месяца спустя я опять повстречал Пакстона в зале отпра-вления Хитроу. Полагаю, он неизбежно должен был приобрести некоторую известность на мировых авиалиниях, стать предметом обсуждения во время выпивок экипажей. Я нашел его сидящим за белым столиком с серьезного вида молодой особой, делавшей пометки в блокноте. Увидев меня, он расслабленно помахал рукой. «Не могу вспомнить эту напасть, — сказал он, — разрушение ритмических циклов?»

Я подсел и представился даме, назвавшейся Глорией Типпет, служащей отдела по связям с общественностью в *British Airways*. «Пройдемте со мной в офис, мистер Пакстон, вас там поджидает маленький сюрприз».

«Не хочу никаких сюрпризов, — возразил он сердито. — Хватит их с меня. Эти мои ритмичные циклы полностью расстроены».

«Суточные ритмы», — сказал я. Термин, мне показалось, был ей незнаком. Ее звали Глорией, что было досадно, поскольку славной я бы ее никак не назвал. Ей пошло бы имя Этель или Эдит, неприметной, как мышь, со ртом, набитым стертymi гласными уроженки южнобережных кварталов Лондона. Она сказала: «Я схожу и принесу его, если хотите. Это ваш паспорт. Его нам доставили несколько месяцев назад, и когда ваше имя всплыло в компьютере, осталось только связаться с иммиграционными властями».

Реакция Пакстона была абсолютно безумной. «Не желаю видеть эту чертову дрянь, — закричал он. — Возьмите ее себе». И стал панически отмахиваться, как будто ему ее уже принесли: «Я свободный человек, понятно? Свободный, как треклятые вóроны!» Наверное, он вспомнил Коломбо. На громадном черном табло появилось название «Стамбул», и замигала маленькая красная лампочка. «Вот куда я направляюсь, — сказал он. — Раньше назывался Константинополь, есть даже песня об этом». Можно было бы ожидать большей запущенности от столь затянувшихся и эксцент-рических странствий. На нем неплохо сидел костюм, мне показалось, гонконгского производства, а снежно-белые волосы были аккуратно подстрижены. Но походка выдавала некоторое нарушение координации, и одна-единственная сумка выглядела тяжеловатой для него.

«Что вы от него хотите?» — спросил я.

«Да, дикая история, не правда ли? В данном случае меня интересует его мнение о нашей авиакомпании в сравнении с другими. И возможно, что-нибудь для нашей многотиражки. Он, кажется, с приветом. Раньше торговал скобяными товарами».

Будто это что-то объясняло.

«Вам не следует так говорить об одном из лучших ваших клиентов. Я имею в виду «с приветом». Он проводит последние годы жизни, как ему нравится. Ошибка его лишь в том, что он считает себя свободным человеком. В наши дни никто не свободен. Он выпал из структуры — и теперь демоны хаоса набросились на него. Можете цитировать меня, если вам угодно». Но она не поняла и, скорее всего, подумала, что я тоже спятил. Убрала свой блокнот. Ее ноги, показалось мне, пока она удалялась, были (да позволено мне будет прибегнуть к этому слову в контексте ее имени) славными, по крайней мере ладными, не чета ее гласным и мышинной неприметности. Природа раздает дары по собственному произволу.

Месяца два спустя я обнаружил Пакстона в клубе для пассажиров первого класса в цюрихском аэропорту, простертого и храпящего на диване среди подтянутых бизнесменов, читающих *Züricher Zeitung*. Они, как принято говорить, держались от него подальше. Я смешал для себя джин с то-ником и сосредоточился на передовице *Corriere Ticinese*. Никаких новостей, кроме встречи в верхах и терроризма. Объявили посадку, кажется на Берн, и большая часть чопорных бизнесменов поднялась из кресел. Пак-

стон, чье подсознание, вероятно, отреагировало на объявление, резко пробудился. Верхний зубной протез у него отвалился, и он восстановил его двумя большими пальцами. Меня он увидел без всякого удивления. «Вы много путешествуете, — сказал он. — Впрочем, вы молоды».

«И еще имею жену и детей, чтобы стремиться домой».

«Знаете, куда я сейчас? В Тегеран».

«Ничего местечко, если там не оставаться. А оттуда куда?»

«Кажется... я должен взглянуть... так не помню...» Он полез открывать свою сумку, но был слишком утомлен для лишних усилий. «Во всяком случае, какое-то арабское название. Хочу, чтобы это скорей кончилось. Американцы сбивают гражданские самолеты над Персидским заливом. Надо держаться к ним поближе. И потом... все время пишут об этих угонщиках самолетов, но мне, черт возьми, не везет. Они бы стали угрожать мне самолетом, я бы оказал сопротивление, меня бы уколошили — и делу конец. Жить вечно нельзя, и не надо этого хотеть. Я отпраздновал свой восемьдесят первый день рождения по дороге в Токио. День рождения в полете. Сказал им — и они дали мне шампанского, но они и так дают его всем».

«Но вы совершили нечто, чем можно гордиться. Нечто совершенно необычное».

«В Риме — Колизей, в Париже — Эйфелева башня, но я не видел ни того, ни другого. А также Тадж-Махал где-то в Индии, о нем много разговоров. Только это не для меня. Для меня — распроклятое кресло и одна и та же штукавина, которую откидываешь, чтобы поставить поднос во время обеда, а время обеда хрен знает когда, в самое разное время. Завтрак в три часа ночи. Это противоестественно. Что-то в этом роде они, я думаю, раньше называли грехом. Сновать вокруг земли во всех направлениях и не давать солнцу делать свою сизифову работу — садиться и вставать в положенный час. Уж не знаю, чем это кончится».

«Вы сами это прекратите. Продолжать ни к чему. Вы доказали все, что хотели. Возьмите свой паспорт в Хитроу и валяйте в частную гостиницу. В Истборне или в Борнмуте, вам есть что рассказать».

«О внутренностях самолета, о городах, которые для меня пустой звук? Сделайте одолжение».

«Это была ваша идея».

«И довольно дурацкая, по правде говоря. Но все равно я к ней привык. Она стала, как говорится, образом жизни. Манерой жить, чем-то в этом роде. А вы теперь куда?»

«Дюссельдорф».

«В командировку?»

«Не в отпуск, это уж точно. Кажется, мне пора на посадку. Еще свидимся».

«Свидимся, даст бог. Еще как свидимся!»

Мы и в самом деле встретились в стокгольмском аэропорту. На этот раз Пакстон был не один. Он сидел с человеком приблизительно того же возраста, но покрепче здоровьем, примерно таким, каким был Пакстон в начале своей бессмысленной одиссеи. Плохо выглядевший Пакстон поздоровался со мной в баре. Слабым шведским пивом он запивал *Absolut*. «Старый кореш, — сказал он. — Вместе воевали. Восьмая армия. Чтобы повидать другие страны, паспорт был не нужен. Не знаю вашего имени, — обратился он ко мне, — а его имя все время забываю».

«Алфи, — сказал тот. — Алфи Мелдрам. Рад познакомиться, — и крепко пожал мне руку. — Он тут свалал дурака. Запер себя в летучей тюрьме. Выбросил паспорт, чтобы гарантировать себе, что останется внутри. Не понимает, что это отмычка, открывающая двери. Думает, что ею запирают, а не наоборот».

«Я вам объясню, — сказал Пакстон. — Все это началось в конце войны, когда появились продовольственные карточки, удостоверения личнос-

ти и прочая бюрократическая канитель. Они пропустили букву в моей фамилии. Записали меня как Пастон. Сначала я решил, что это забавно и превращает меня в какую-то пасту. Но когда я менял свои продовольственные карточки и указал на ошибку, гунявый клерк в Уолверхэмптоне, где я тогда работал, объяснил мне, что Пастон теперь мое настоящее имя — и следует подтвердить это в своем заявлении. Это бы означало превратить чью-то дурацкую паршивую ошибку в Божий замысел, так сказать. Когда-нибудь я проучу их, сказал я себе, за эту чертову путаницу с их паршивыми документами. — Его возбуждение мне показалось чрезмерным. Расстройство суточных ритмов довело-таки его до невроза. — Когда им надо, чтобы ты сражался на их паршивых войнах, они напрочь забывают о паспортах. Отстоим свободный мир — вот с чем тогда все носились, а теперь посмотрите на этот паршивый свободный мир с его крючкотворством. Уж я хлебнул горя, когда честно старался заработать на жизнь, с их подоходным налогом, налогом на добавленную стоимость и головными болями, которые у меня возникали при заполнении анкет. Так вот, всему этому конец. Больше никаких анкет. Свободный человек». Он был подавлен, этот свободный человек, словно пропустил удар на ринге.

«Такой свободный, — сказал Алфи Мелдрам, — что не может отправиться со мной в Осло, где моя дочь выходит замуж за одного из этих норвежцев. Теперь-то ты куда, Лемюэль?» Лемюэль, Лемюэль — имя, не слишком-то подходящее для документов.

«Копенгаген. Затем Берег паршивой Слоновой Кости, потом бог знает куда. У меня все это тут записано». И он показал дрожащим пальцем на единственный предмет своего багажа.

Тремя неделями позже, когда Пакстон и я оказались в одном самолете, мне стало ясно, что развязка приближается. Мы оба летели в Джакарту на аэробусе новой авиалинии «Австралийские восточные рейсы», очевидный парадокс которых состоял в том, что мы держали путь на северо-запад: таинственный восток никогда не окажется восточнее Австралии. Салон первого класса был заполнен, и Пакстон во всеуслышание жаловался ширококостной сиднейской стюардессе на то, что должен терпеть под боком японца: «Сражались с этими мартышками в последней войне, я-то нет, но многие сражались, включая, наверное, и твоего родителя, и вот он, нате вам, со своими компьютерами и транзисторами, и шмыгает тут своим заложенным носом; носового платка не придумали, несмотря на свою паршивую изобретательность». Японец улыбался, взирая на западное безумие и не понимая ни слова. Пакстона пересадили, но его, судя по всему, не устраивал и новый сосед — грузный австралийский животновод. Когда принесли обед, он заявил, что суп никуда не годится: прокис на треклятой жаре в своих судках во время стоянки самолета, но стюардесса объяснила ему, что особый вкус — это привкус капли шерри, добавленной в суп для аромата. Затем, когда крутили фильм, он сказал, что уже видел эту паршивую вещичку, и стюардесса привела второго пилота, чтобы сделать ему официальное предупреждение. «Выбросите меня за борт, в этом идея? Давай принимайся, не тяни, старина, или как там тебя зовут, кроликовод, хочешь — засунь меня в свой кенгуриный набрюшник». Я заслонился газетой *The Australian*, хотя представлялось весьма вероятным, что он не помнил, кто я, черт возьми, такой.

Грустная история имела завершение в Западном Берлине. Я направлялся в Вену, только что прилетев из Мюнхена, и уже пригласили на посадку. Он сидел в инвалидном кресле и был явно привязан к нему, сопровождаемый двумя санитарями в белых халатах и несколькими служащими «Люфтганзы» в униформе. До моего слуха долетали его вопли: он всегда знал, что этим кончится, проклятые нацисты добрались-таки до него, а ведь он — свободный британский подданный, паспорт мог бы доказать

это, если бы не ублюдки, его похитившие. Пакстона бережно катили к выходу, в обход всех иммиграционных формальностей. Там, в его предположительном месте назначения, паспорта вообще не требовалось.

УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ

Сэр Эдвин Этеридж, видный специалист по тропическим болезням, любезно пригласил меня принять участие в осмотре своего пациента в лондонском районе Мерилебон. Сэру Эдвину казалось, что этот пациент, молодой человек, никогда не выезжавший за пределы Англии, страдал от недуга, известного как *latah*, довольно распространенного на Малайском архипелаге, но до сей поры не встречавшегося, если верить клиническим записям, возможно не слишком надежным, в умеренном климате Северной Европы. Я смог подтвердить предположительный диагноз сэра Эдвина: молодой человек был подвержен болезненной внушаемости, имитируя всякое действие либо увиденное, либо поразившее его понаслышке, и когда я вошел к нему в спальню, он изнурял себя убеждением, что перевоплотился в велосипед. Болезнь неизлечима, однако носит перемежающийся характер: она скорее психического, чем нервного происхождения и отчасти снимется покоем, одиночеством, опиатами и теплыми сиропами. Возвращаясь с консультации по Мерилебон-роуд, я счел вполне естественным для себя свернуть на Бейкер-стрит, чтобы навестить моего старого друга, недавно вернувшегося, как сообщала «Таймс», из какой-то безымянной экспедиции в Марракеше. Как позднее выяснилось, поездка имела отношение к удивительному делу, связанному с марокканской ядовитой пальмирой, о котором мир еще не готов услышать.

Я застал Холмса слишком тепло одетым для июльского лондонского денька, в халате, шерстяном шарфе и тюрбане, усыпанном самоцветами, который, как он объяснил мне, был подарком муфтия из Феса в знак признательности за некую услугу, о которой мой друг не желал распространяться. Он загорел и явно привык к жаре большей, нежели наша, но, за вычетом тюрбана, ничего экзотического в его внешности не было, несмотря на долгое пребывание в стране магометан. Он попытался раскурить кальян, но подавился дымом и отказался от затеи. «Привкус розовой воды дьявольски тошнотворен, Ватсон, — заметил он, — а слабость табака еще усугубляется долгим прохождением дыма через эту искусную, но смехотворную систему». С очевидным облегчением он взял обычный свой табак из турецкой туфли, лежавшей рядом с пустым камином, набил свою английскую трубку, зажег ее восковой спичкой и дружелюбно посмотрел на меня. «Вы виделись с сэром Эдвином Этериджем, — сказал он, — думаю, что на улице Сейнт-Джон-вуд-роуд».

«Это поразительно, Холмс! — воскликнул я. — Как вы догадались?»

«Нет ничего проще, — попыхивая трубкой, сказал мой друг. — Сейнт-Джон-вуд-роуд — единственное место в Лондоне, где растут лиственные секвой, и листок этого дерева, преждевременно опавший, прилип к подошве вашего левого башмака. Что до остального, сэр Эдвин имеет обыкновение сосать балтиморские мятные леденцы в качестве легкого профилактического средства. А вы сосали именно такой. В Лондоне их не достать, и я не знаю никого другого, кто бы их специально выписывал из-за океана».

«Вы неподражаемы, Холмс», — сказал я.

«Пустяки, дорогой Ватсон. Я просматривал «Таймс», как вы могли заметить по смятой газете на ковре — дамская, полагаю, манера обращаться с периодикой, да благословит Господь слабый пол, — с целью ознакомиться с событиями национального значения, к которым, вполне естественно, замкнутый мир Марокко не питает интереса».

«А что, французских газет там не было?»

«Разумеется, были, но они не содержат информации о событиях в конкурирующей империи. Вижу, мы накануне государственного визита юного короля Испании».

«Его несовершеннолетнее величество Альфонс Тринадцатый, — пошутил я. — Думаю, его мать-регентша, обворожительная Мария Кристина, будет сопровождать короля».

«У молодого монарха много поклонников, — сказал Холмс, — особенно здесь, у нас. Но у него есть и враги, среди республиканцев и анархистов. Испания в состоянии большого политического брожения. Это проявляется даже в современной испанской музыке. — Он потянулся к скрипке, поджидавшей хозяина в открытом футляре, и любовно натер канифолью смычок. — Вычурные скрипичные мотивчики, докучавшие мне в Марокко днем и ночью, Ватсон, необходимо вытеснить из головы чем-то более сложным и цивилизованным. Только одна струна, и, как правило, лишь одна нота на ней. Ничто в сравнении с несравненным Сарасате». И стал наигрывать мелодию, которая, как он уверял меня, была испанской, хотя я расслышал в ней что-то от мавританского наследия Испании, рыдающее, покинутое и нездешнее. Затем, спохватившись, Холмс извлек свои карманные часы в виде луковицы — подарок герцога Нортумберлендского. «Боже мой, мы опоздаем. Сегодня вечером Сарасате дает концерт в Сейнт-Джеймс-холле». Сбросив тюрбан и халат, он поспешил в гардеробную, дабы облачиться в подобающий для Лондона наряд. Я не выдал своих чувств по поводу Сарасате и музыки вообще, если на то пошло. Во мне нет артистической жилки Холмса. Что до Сарасате, не стану отрицать, что он играет удивительно хорошо для иностранного скрипача, но в его облике во время исполнения есть некое самодовольство, которое представляется мне отталкивающим. Холмс не догадывался о моих чувствах и, расхаживая в синем бархатном пиджаке, брюках из легкой средиземноморской ткани, белой рубашке из тяжелого шелка и черном небрежно завязанном галстуке, предполагал во мне сходное предвкушение удовольствия. «Понимаете, Ватсон, — говорил он, — я пытался по-дилетантски разобраться в последнем сочинении Сарасате, в каком ключе оно исполняется. А теперь маэстро сам вручит мне ключ».

«Не оставить ли мне у вас саквояж?»

«Нет, Ватсон. Ведь я не сомневаюсь, что в нем найдется какой-нибудь легкий анальгетик, например коньяк, чтобы помочь вам вынести наиболее скучные части концерта». Сказав это, он улыбнулся, а я почувствовал смущение от этой пронизательной оценки моего отношения к скрипичному искусству.

Вечерней зной, как мне почудилось под гипнотическим воздействием Холмса, перетекал в средиземноморскую сонливость. Было трудно найти кеб, и когда мы добрались до Сейнт-Джеймс-холла, концерт уже начался. Нам была дарована исключительная привилегия занять в конце зала места во время исполнения, и очень скоро я был готов погрузиться в средиземноморскую сиесту. Великий Сарасате в зените своей славы выпививал математическую головоломку Баха под фортепьянный аккомпанемент молодого человека приятной наружности, того же иберийского происхождения, что и маэстро. Тот, казалось, нервничал, но не по поводу своего музыкального мастерства. Порывисто оглядывался на занавес, отделявший сцену от кулис и проходов в административные пещеры и гроты, но затем, успокоенный, возвращался всей душой к своей музыке. Тем временем Холмс с полуприкрытыми веками тихонько отстукивал по правому колену ритм нестерпимо длинного уравнения, завладевшего вниманием меломанов, среди которых я заметил бледного рыжебородого молодого ирландца, снискавшего себе репутацию капризного критика-полемиста. Я спал.

Спал поистине сладко. Разбудила меня не музыка, но аплодисменты, на которые Сарасате кланялся с латинской экстравагантностью. Я украдкой взглянул на часы и понял, что большая часть музыки пролетела мимо моего дремлющего мозга; должно быть, аплодировали и раньше, но мое

спящее серое вещество оказалось к этому невосприимчиво. Очевидно, Холмс не заметил моей спячки, а, возможно, заметив ее, был столь тактичен, что не стал будить меня, а тем более подтрунивать над моим безразличием к искусству, обожаемому им. «А сейчас, Ватсон, кое-что произойдет», — сказал он. И кое-что произошло. То был, ей-богу, разнузданный опус, на всем протяжении которого по крайней мере три из четырех струн были задействованы одновременно, напомнив мне те ритмы фламенко, что донимали меня во время краткого визита в Гранаду. Он закончился неистовыми аккордами и высокой одинокой нотой, оценить благозвучие которой могла только летучая мышь. «Браво», — закричал Холмс вместе с остальными, энергично аплодируя. Затем гром того, что представлялось мне чрезмерным одобрением, был расколот хлопком одиночного выстрела. Среди дыма, отдававшего пригоревшим завтраком, раздался крик молодого аккомпаниатора. Его голова рухнула на клавиатуру, произведя чудовищный какофонический звук, и затем с незрячими глазами и открытым ртом, из которого неудержимо хлынула кровь, приподнялась и, показалось, обвинила аудиторию в чудовищном преступлении против человечности. Потом, к общему ужасу, пальцы правой руки умирающего стали нажимать на один и тот же клавиш, продолжив эту ноту бредовой фразой из нескольких других, которые он повторял бы и повторял, если бы предсмертный клекот не остановил его. Он повалился на пол. Женщины в партере завизжали. Что касается маэстро Сарасате, он прижимал к груди свою драгоценную скрипку — страдивариус, как сказал мне позднее Холмс, — словно та была целью преступления.

Холмс, как всегда, действовал стремительно. «Очистите помещение!» — закричал он. Появился мертвенно-бледный, дрожащий администратор и повторил то же требование, только тише. Служители стали грубовато выпроваживать перепуганную публику. Рыжебородый ирландец, кивнув Холмсу на прощанье, сказал нечто в том смысле, что чуткие пальцы любителя должны опередить прикосновения неуклюжих лап профессионалов из Скотланд-Ярда, и добавил, что это скверная история: молодой испанский пианист многое обещал. «Проверьте, Ватсон, — сказал Холмс, направляясь к сцене, — он потерял много крови, но, может быть, еще жив?» Достаточно быстро я увидел, что бедняга уже не нуждается в помощи, которую могло ему обеспечить содержимое моего саквояжа. Задняя часть его черепа была полностью снесена.

Холмс обратился к Сарасате на, как мне показалось, безупречном кастильском диалекте со всей любезностью и почтением. Сарасате отвечал, что молодой человек по имени Гонзалес работал его аккомпаниатором как в Испании, так и на заграничных гастролях немногим более полугода, о круге его знакомств ничего не известно, только о некоторых его амбициях в качестве солиста и композитора; и насколько маэстро может судить, у него не было личных врагов. Хотя постойте: циркулировали по Барселоне какие-то сомнительные слухи о любовных похождениях юного Гонзалеса, но представляется маловероятным, чтобы разъяренный муж или мужа последовали за ним в Лондон с целью осуществить столь чудовищную и драматическую месть. Холмс рассеянно кивнул, расстегивая тем временем воротничок на покойник.

«Бессмысленная процедура», — заметил я. Холмс промолчал. Он лишь уставился на нижний шейный позвонок трупа, затем разогнулся, вытирая руку об руку, и поднялся с корточек. Он спросил покрытого испариной администратора, не видел ли тот или кто-нибудь из его подчиненных таинственного убийцу или какого-нибудь странного посетителя, по сведениям дирекции, проникшего за кулисы, предназначенные исключительно для служащих и музыкантов, охраняемые с заднего крыльца бывшим сержантом морской пехоты, ныне театральным вахтером. Ужасная догадка отразилась на лице администратора, и, сопровождаемый Холмсом и мной, он ринулся по коридору к наружной двери, выходящей в боковую аллею.

Дверь эта не охранялась по очень простой причине. Старый служака, в форменных брюках, без тужурки, снятой ввиду жары, лежал мертвый: его

седой затылок был прострелен пулей с дьявольской аккуратностью. Затем убийца, по-видимому, без помех проник за занавес, отделяющий сцену от кабинетов и гримерных.

«Очень жаль, — сказал потрясенный администратор, — что никого из персонала не было за кулисами. Хотя, если взглянуть на дело с прости-тельно-эгоистической стороны, об этом не следует жалеть. Очевидно, здесь орудовал хладнокровный убийца, который не остановился бы ни перед чем». Кивнув ему, Холмс сказал: «Бедный Симпсон. Я знал его, Ватсон. Бедняга провел жизнь, успешно избегнув смерти среди пушек и копий врагов ее королевского величества для того, чтобы встретить ее на заслуженном отдыхе, мирно просматривая свою газету «Охотничьи досуги». Может быть, — обратился он к администратору, — вы будете так добры, что объясните нам, почему убийца не встретил на пути никого, кроме Симпсона».

«Дело представляется мудре́ным, — сказал администратор, вытирая шею носовым платком. — Концерт уже начался, когда я получил депешу, как раз в то время, когда вы и ваш приятель изволили занять места в партере. Депеша извещала, что принц Уэльский и несколько его друзей придут на концерт, хотя и с опозданием. Не секрет, что его высочество — поклонник Сарасате. В задней части зала есть маленькая верхняя ложа, приберегаемая, как вам известно, для важных особ».

«Знаю, — сказал Холмс. — Магараджа из Джохора однажды любезно пригласил меня составить ему компанию в этом роскошном убежище. Но, пожалуйста, рассказывайте».

«Так вот, я и мой персонал, — продолжил администратор, — собрались у входа и оставались на страже в течение всего концерта, рассчитывая, что высокий гость появится только к концу программы». Он пояснил, что, хотя и озадаченные, они оставались в фойе до последней овации, рискнув предположить, что его высочество может в своей властной, но благодушной манере попросить испанского скрипача попотчевать его на бис в опустевшем зале, где не останется никого, кроме будущего императора. Итак, все прояснилось, кроме главного — самого преступления.

«Депешу, — потребовал Холмс у администратора. — Как я понимаю, она при вас, не так ли?»

Администратор извлек из внутреннего кармана листок бумаги, украшенный королевским вензелем и подписанный секретарем его высочества. Послание было любезным и ясным. Стояла дата — седьмое июля. Холмс кивнул и, когда прибыла полиция, незаметно сунул листок в боковой карман. Инспектор Стенли Хопкинс с похвальной расторопностью отреагировал на записку, доставленную ему в кебе одним из филармонических служащих.

«Скверное дело, инспектор, — сказал Холмс. — Два убийства, и мотив первого объясняется вторым, но мотив второго пока не поддается объяснению. Желаю успеха в вашем расследовании».

«Вы не намерены помочь нам в данном случае, мистер Холмс?» — спросил интеллигентный молодой инспектор. Холмс покачал головой.

«Я, — сказал он мне в кебе, отвозившем нас на Бейкер-стрит, — пускаю в ход привычное для меня лукавство. Этот случай меня очень заинтересовал». Затем он с чувством произнес: «Стенли Хопкинс, Стенли Хопкинс. Это имя напоминает мне давнего моего учителя, Ватсон. Оно возвращает меня в дни юности, проведенные в стенах Стоунхерст-колледжа, где я изучал древнегреческий у молодого священника, наделенного дивной утонченностью ума. Его звали Джерард Мэнли Хопкинс. — Он усмехнулся. — Мне доставалось по ручкам штучкой в бытность мою желторотым оборотом. Он был лучшей из этих черных ворон, норовивших выбить из птенца строптивость до конца. Не подкрадывался птичьей походкой, чтобы взбодрить деревянной щекоткой».

«Ваш жаргон, Холмс, для меня сушая тарабарщина», — сказал я.

«Самые счастливые дни в нашей жизни, Ватсон», — отвечал он мрачно.

За ранним ужином из холодного омара и куриного салата, запиваемых превосходным белым бургундским, Холмс не утратил интереса к делу об убийстве иностранного подданного на британской земле или по крайней мере в лондонском концертном зале. Он вручил мне эту якобы королевскую депешу и спросил, что я о ней думаю. Я довольно тщательно рассмотрел послание. «Выглядит вполне убедительно: обращение нормальное и формулировка, как я понимаю, обычная. Но поскольку администратор и его персонал были обмануты, тут возможно какое-то мошенничество, связанное с приобретением официального бланка».

«Превосходно, Ватсон. А теперь извольте обратить внимание на дату». «Сегодняшнее число».

«Верно, но начертание цифры семь не такое, как можно было ожидать».

«Да, — сказал я. — Понимаю, что вы имеете в виду. Мы, британцы, не ставим поперечного штриха. Это материковая семерка».

«Вот именно. Депеша написана французом, или итальянцем, или, что представляется более вероятным, испанцем, имеющим доступ к канцелярии его высочества. Английский и, как вы говорите, формулировка безупречны. Но подписавшийся не англичанин. Он допустил промашку. Что же до бланков, они доступны только человеку достаточно выдающемуся, чтобы быть вхожим в апартаменты его высочества, и достаточно беспринципному, чтобы похитить такой листок. В очертании буквы *e* есть нечто убеждающее меня в том, что подписавшийся — испанец. Я могу, конечно, ошибаться, но почти убежден, что убийца именно испанец».

«Супруг-испанец, с южным темпераментом, осуществляющий незамедлительное возмездие», — подхватил я.

«Думаю, что мотив убийства был вовсе не домашним. Вы наблюдали, как я ослаблял воротничок на убитом, и указали с профессиональной деловитостью на бесполезность моих действий. Но их смысла вы не поняли». Раскурив трубку, Холмс взял карандаш и начертил странный знак на скатерти. «Видели вы что-нибудь в этом роде, Ватсон? — Он выдохнул дым. Рисунок напоминал примитивное изображение птицы с распростертыми крыльями, расположившейся на пучке вертикальных штрихов, могущих быть истолкованными как гнездо. Я покачал головой. — Это, Ватсон, Феникс, восставший из пепла и пламени, поглотившего его. Символ каталонских сепаратистов. Они республиканцы и анархисты, ненавидящие кастильскую монархию. Символ был наколот в качестве татуировки на уровне нижних шейных позвонков убитого. Несомненно, он был активным членом группы заговорщиков».

«Что заставило вас искать это?» — спросил я.

«Я встретил, вполне случайно, одного испанца в Танжере, в сильных выражениях ругавшего свою монархию, изгнавшую его из страны; вытирая свой торс полотенцем по причине жары, он продемонстрировал точно такую же татуировку на груди».

«Вы хотите сказать, — удивился я, — что он был полураздет или, как говорят французы, в дезабилье?»

«То было в опиумном притоне в Касбахе, Ватсон, — спокойно объяснил Холмс. — В таких местах не заботятся о тонкостях туалета. Он упомянул, что затылок и шея — более привычное место для подобных деклараций и заявлений у них в Каталонской республике, но предпочел грудь, чтобы приглядывать, как он выразился, за символом и напоминать себе его значение. В связи с объявлением о лондонском визите испанского монарха я спрашивал себя, нет ли тут поблизости каталонских террористов. Мне показалось вполне резонным поискать на теле убитого свидетельство его политических пристрастий».

«Значит, — сказал я, — не исключено, что молодой испанец, преданный, как казалось, искусству, намеревался убить безвредного и невинного

Альфонса Тринадцатого. Спецслужбы испанской монархии действовали, насколько я понимаю, решительно, хотя и незаконно. Сторонники европейской стабильности должны быть признательны тем, кто убил возможного убийцу».

«А бедный старый служака, охранявший дверь? — возразил Холмс, при этом его пронизательные глаза уставились на меня сквозь облако табачного дыма. — Бросьте, Ватсон, убийство всегда преступление». И затем он стал напевать себе под нос отрывок мелодии, показавшейся мне знакомой. Эти бесконечные пассажи были прерваны известием о том, что прибыл инспектор Стенли Хопкинс. «Я поджидал его, Ватсон», — сказал Холмс и, когда молодой инспектор вошел в гостиную, неожиданно продекламировал:

Я б выбрал направлень
То, где царит не шторм, а тишина,
Где не мрачнеет заводь, зелена,
Где море пребывает вне волненья.

Стенли Хопкинс разинул от изумления рот, как разинул бы и я, не будь у меня привычки к эксцентричным выходкам Холмса. Прежде чем к Хопкинсу вернулся дар речи, Холмс сказал: «Да, инспектор, я понимаю, вас можно поздравить». Но поздравлять Хопкинса было не с чем. Он протянул Холмсу листок бумаги, исписанный от руки фиолетовыми чернилами:

«Это, мистер Холмс, было найдено в кармане убитого. Здесь по-испански, я думаю. Язык, с которым ни я, ни мои коллеги совершенно не знакомы. Но вы, конечно, знаете и его. Буду вам премного обязан, если вы нам поможете с переводом».

Холмс внимательно прочел листок с обеих сторон. «Ах, Ватсон, — сказал он наконец, — это либо упрощает, либо усложняет дело, одно из двух. Мне представляется, это письмо от отца молодого человека, в котором он умоляет сына порвать с республиканцами и анархистами и сосредоточиться на совершенствовании в своем искусстве. В избитых выражениях напоминает ему о своем завещании. Сын, чуждый идеи неделимой Испании на основе прочной монархии, не может рассчитывать на наследство. Отец, по-видимому, смертельно болен и угрожает проклятием своему несговорчивому отпрыску. Очень по-испански, я полагаю. Крайне драматично. Некоторые пассажи напоминают напевностью оперные арии. Не хватает француза Бизе, чтобы положить это на музыку».

«Итак, — сказал я, — не исключено, что молодой человек объявил о своем отступничестве, обладая информацией, которую собирался предать гласности или по крайней мере передать в инстанции, питающие к ней специальный интерес, почему и был жестоко убит, не успев выступить со своими разоблачениями».

«Неплохо, Ватсон», — сказал Холмс, и я, как школьник, покраснел от удовольствия. Не так часто я слышал от него похвалу, не приправленную сарказмом. «От человека, дважды убившего так беспощадно, можно ждать, что он на этом не остановится. Какие меры предосторожности, инспектор, — спросил он молодого Хопкинса, — приняли власти в интересах безопасности высоких испанских гостей?»

«Они прибывают сегодня вечером, как вы, конечно, знаете, на последнем пароме из Булони. В Фолькстоне они без задержки переседают на специальный поезд. В Лондоне будут жить в здании испанского посольства. Завтра посетят Виндзор. На следующий день назначен ланч у премьер-министра, затем в их честь дается представление «Гондольеры» господ Гилберта и Салливана».

«В котором высмеивается испанская знать? — спросил Холмс. — Впрочем, не важно. Вы снабдили меня программой визита, но ничего не сказали о мерах безопасности».

«Я как раз подходил к этому. Весь Скотланд-Ярд будет стоять на ушах, и вооруженные сотрудники в штатском займут посты на ключевых позициях. Не думаю, что здесь уместны опасения».

«Будем считать, что вы правы, инспектор».

«Спустя три дня на четвертый августейшая семья покинет страну на пароходе Дувр — Кале в час двадцать пять пополудни. Опять-таки силы безопасности будут начеку как в порту, так и на самом пароходе. Министр внутренних дел понимает крайнюю важность безопасности гостящего монарха, особенно после того досадного инцидента с русским царем, которому злодейски подставили подножку в Хрустальном дворце».

«Я придерживаюсь мнения, — сказал Холмс, раскуривая потухшую трубку, — что царь Всея Руси был навеселе. Но это *à propos*». Вошел полисмен. Он отдал честь Холмсу, а затем своему начальнику. «Дом открыт для лондонской полиции, — заметил Холмс с благодушным сарказмом. — Где один, там и все. Мы вам сердечно рады, сержант. Насколько я понимаю, у вас новости».

«Прышу прыстить, сэр, — сказал сержант. И дальше Хопкинсу: — Мы нышли смутьяна, сэр, кыроче гывыря».

«Не тяните, сержант, выкладывайте», — потребовал Хопкинс.

«Тык вот, сэр, есть некая испанская гыстиница, ты есть гыстиница, куда испанцы ходят, кыгда хотят побыть среди своих, в квырталлах Элефант-энд-Касл».

«Прелестно, — вставил Холмс. — В Элефант-энд-Касл есть, право, что-то от инфанты кастильской. Но прошу прощения. Продолжайте, сержант».

«Мы вырвались туда, и он понял, чем это грызит, пыскольку зыбрался на крышу сквозь слыховое окно и то ли пыскользнулся, то ли сам сиганул вниз и свырнул себе... шею, сэр. — Пуританские условности нашего королевства требуют использования многоочия для обозначения заборного словца, которое употребил сержант. — Прышу меня извинить, сэр».

«Вы уверены, что это убийца, сержант?» — спросил Холмс.

«Тык вот, сэр. У него нашли ыспанские деньги и кынжал, кыторый они называют стилетом, и рывольвер с двымя израсходованными пытронами, сэр».

«Остается, инспектор, сличить пули, извлеченные из обоих тел, с теми, что находятся в револьвере. Думаю, что вы не промахнулись, сержант. Примите мои поздравления. Судя по всему, государственный визит его несовершеннолетнего величества пройдет не слишком обременительно для Скотланд-Ярда. Вам, инспектор, следует лишь изложить это все в рапорте, на бумаге». То был любезный способ отделаться от обоих посетителей. «Вы, наверное, устали, Ватсон, — обратился он ко мне. — Может быть, сержант будет так добр, что высвистит вам кеб. Разумеется, на улице. Мы встретимся, я полагаю, в театре «Савой» десятого числа. Перед началом спектакля. У мистера Дойли-Карта всегда найдутся для меня два лишних билетика. Любопытно будет увидеть, как наши иберийские гости воспримут британский музыкальный фарс». Он сказал это без игривости, напротив, с некоторой мрачностью. Итак, от меня тоже отделались.

Холмс и я во фраках, при медалях пришли, как было условлено, на оперетту «Гондольеры». Мои награды были вполне традиционными побрякушками старого вояки, между тем как грудь Холмса украшали крайне необычные ордена: среди наименее экзотических я узнал тройную звезду Сиама и косой Боливийский крест. Нас провели на превосходные места вблизи сцены. Сэр Артур Салливан дирижировал своим сочинением. Маленький король, казалось, больше интересовался театральными софитами, нежели пением и сценическим действием, но его мать с должным вниманием реагировала на шутки, когда их переводил ей испанский посол. Это музыкальное представление больше пришлось мне по душе, чем концерт Сарасате. Я безудержно смеялся, подталкивал Холмса локтем в бок в наи-

более пикантных местах и подпевал мелодиям из арий и хоров так энергично, что сидевшая сзади леди Эстер Роскоммон — между прочим, одна из моих пациенток — потрепала меня по плечу и грациозно пожаловалась, что я пою не только слишком громко, но и невпопад. Но, как я сказал ей в антракте, я никогда не претендовал на тонкий слух. Что до Холмса, то он, вооружившись театральным биноклем, смотрел больше на публику, чем на сцену.

Королевская семья в перерыве очень демократично прошла в общий буфет, и юный монарх выпил бокал английского лимонада, на манер простого ребенка причмокивая языком. Я был удивлен, увидев великого Сарасате, в безупречном вечернем туалете, с орденами разных иностранных государств, пьющим шампанское не с кем иным, как с сэром Артуром Салливаном. Я обратил на них внимание Холмса, раскланявшегося издали с ними обоими, и выразил удивление, что такой рафинированный музыкант способен яхшаться с опереточной звездой, впрочем, удостоенной высокого титула по милости нашей королевы. «Музыка всегда остается музыкой, — объяснил Холмс, зажигая то, что показалось мне танжерской сигарой. — В доме музыки много обитателей. Сэр Артур опустился, Ватсон, до уровня, который представляется ему выгодным, и не только в смысле прибыли: он известен также сочинениями унылой набожности. Они говорят по-итальянски. — Слух Холмса был острее моего. — Насколько ярче звучит этот обмен впечатлениями о монаршей благосклонности на чужом языке, нежели на нашем. Но вот второй звонок. Такой драгоценный табак — и напрасно выброшен!» Последнее относилось к его сигаре, которую он с сожалением потушил в одной из медных урн, стоявших в фойе. Во время второго действия Холмс сладко спал. Я решил про себя, что нечего мне так уж стесняться своей неотесанности, когда я поддался дремоте на том возвышенном музыкальном радении. Как изволил, несколько кощунственно, сказал Холмс, в доме музыки много обитателей.

На следующее утро срочная телеграмма от сэра Эдвина Этериджа, доставленная во время завтрака, приглашала меня на еще одну консультацию в спальне его пациента на Сейнт-Джон-вуд-роуд. Молодой человек не проявлял больше симптомов *latah*; теперь он, казалось, страдал от редкого китайского недуга, с которым я сталкивался в Сингапуре и Гонконге, известного как *shook jong*. Это прискорбное заболевание неловко описывать вне страниц медицинского журнала, поскольку деликатная его особенность — панический страх пациента за свои детородные способности, которым угрожают злые силы, порожденные перевозбужденным воображением. Чтобы побороть эти силы, которые он считает ответственными за прогрессирующее сокращение его осязаемой детородной плоти, он пытается предотвратить съезживание оной посредством ее рассечения самым острым ножом, какой только может оказаться под рукой. Единственно возможное лечение — глубокий сон, а в периоды прояснения сознания — строгая диета.

После консультации я не преминул свернуть на Бейкер-стрит, залитую как будто средиземноморским ярким блеском. Лондонский муравейник, казалось, пребывал в безмятежном покое. Холмс в халате и восточном тюрбане натирал канифолью смычок, когда я вошел в гостиную. Он был весел, в отличие от меня. Я был несколько удручен лицезрением болезни, которая, как я полагал до сих пор, не выходит за пределы Китая, так же как неделей ранее был обескуражен менее злокачественной *latah* — привилегией истерических малайцев, — увы, оба несчастья настигли молодого человека несомненно англосаксонского происхождения. Поделившись своими печалью с Холмсом, я сказал рассудительно: «Возможно, так завоеванные народы расплачиваются с нами за наши имперские амбиции».

«Такова оборотная сторона прогресса, — сказал Холмс, а затем сменил тему: — Королевский визит, Ватсон, завершается, по-видимому, без неприятностей. Иберийский сепаратизм не посмел еще раз поднять голову

на нашей земле. И все-таки мой разум несколько встревожен. Возможно, я должен приписать это иррациональному воздействию музыки. Никак не могу забыть ужасное зрелище: несчастный молодой человек, сраженный насмерть за роялем, на котором он играл с таким блеском, а затем в смертельной агонии исполнивший короткую рапсодию прощания, имевшую так мало мелодического смысла. — Он провел смычком по струнам. — Вот эти ноты, Ватсон, я записал их. Записать что-нибудь — значит овладеть вещью и иногда отделаться от нее». Он играл по записи на клочке бумаги, лежавшем у него на правом колене. Внезапным порывом июльского ветра, проникшим в открытое окно, сдуло клочок на ковер. Я подобрал его и рассмотрел. Размашистый почерк Холмса был узнаваем в пяти линиях и нотах, которые мне ничего не говорили. Меня гораздо больше занимала мысль о *shook jong*. Я опять видел невыносимые страдания старика китайца, замученного ею в Гонконге. Я вылечил его с помощью гипноза, и в благодарность за это он подарил мне все, что у него было: бамбуковую флейту и маленький свиток китайских песен.

«Когда-то у меня был небольшой свиток китайских песен, — задумчиво сказал я Холмсу, — простых, но очаровательных. Так вот, их нотная запись показалась мне и впрямь бесхитростной. Вместо гроздьев черных клякс, которые, признаюсь, обладают для меня меньшим смыслом, чем магазинные вывески в Цзюлуэне, китайцы используют цифровую систему. Первая нота на шкале — единица, вторая — двойка, и так, если не ошибаюсь, до восьми».

Это необязательное наблюдение возымело поразительное действие на Холмса. «Нужно спешить, — закричал он, сбрасывая тюрбан и халат. — Возможно, мы уже опоздали». Он стал рыться в справочниках, стоявших на полке за креслом. Захлопнув один из них, сказал: «Правильно... в одиннадцать пятнадцать. Специальный вагон прицепляют к дуврскому экспрессу. Скорее, Ватсон, на улицу, пока я одеваюсь. Ловите кеб, как если бы ваша жизнь зависела от этого. Во всяком случае, другие жизни — точно».

Большие вокзальные часы уже показывали десять минут двенадцатого, когда наш кеб с грохотом остановился. Кучер медленно отсчитывал сдачу с моего кошелька. «Оставьте, оставьте себе», — закричал я, догоняя Холмса, который все еще не объяснил мне сути дела. На перроне было столпотворение. Нам повезло: мы сразу же наткнулись на инспектора Стенли Хопкинса, уже радовавшегося благополучному окончанию своего дежурства, стоя у начала двенадцатой платформы, откуда экспресс вот-вот собирался отойти по расписанию. Локомотив уже распустил над собой дымный султан. Королевское семейство находилось в поезде. Холмс закричал громко и требовательно: «Моментально покинуть вагон! Причина — потом!»

«Невозможно, — сказал Хопкинс в полном изумлении. — Я не могу отдать такой приказ».

«Тогда его придется отдать мне. Ватсон, оставайтесь здесь, рядом с инспектором. Не пропускайте никого». И он ринулся на платформу, зычно возвещая по-испански посольским чиновникам и самому послу чрезвычайную необходимость для юного короля немедленно вместе с матерью и свитой покинуть свое купе. Альфонс XIII с мальчишеской живостью отреагировал на единственно увлекательное событие, случившееся за все время визита, и охотно соскочил с подножки, предвкушая приключение, а не смертельную угрозу. В тот момент, когда вся королевская семья находилась уже благодаря решительным действиям Холмса на достаточном расстоянии от вагона, опасность, угрожавшая им, обнаружила себя в полной мере. Прогремел мощный взрыв, вызвавший град древесных щепок и разбитого стекла, затем — дым и гулкое эхо под сводами большого вокзала. Холмс бросился ко мне, послушно стоявшему с Хопкинсом у выхода на платформу.

«Ватсон, инспектор, вы никого не выпускали?»

«Никто не проходил, мистер Холмс, — отвечал Хопкинс, — за исключением...»

«За исключением, — закончил я за него, — вашего почтенного маэстро, я имею в виду великого Сарасате».

«Сарасате? — Холмс чуть не ахнул от изумления, а затем мрачно кивнул: — Сарасате, понимаю».

«Он был вместе с испанским посольством, — объяснил Хопкинс. — Был вместе со всеми, но довольно быстро ушел, как он сказал, на репетицию».

«Вы дурак, Ватсон! Вам следовало его задержать. — Строго говоря, это относилось к Хопкинсу, у которого он спросил: — Выходя, он нес скрипичный футляр?»

«Нет».

Я сказал в сердцах: «Холмс, меня нельзя называть дураком. По крайней мере в присутствии других».

«Вы дурак, Ватсон, говорю это снова и снова, вы дурак! Но, инспектор, насколько я понимаю, при нем был скрипичный футляр, когда он прибыл сюда вместе с отъезжающими?»

«Да, теперь, когда вы спрашиваете об этом, я припоминаю, что был».

«Появился с ним и удалился без него?»

«Так и было».

«Вы дурак, Ватсон! В скрипичном футляре была бомба с часовым механизмом, он пронес его в королевское купе и, я думаю, подложил под сиденье. А вы, вы позволили ему уйти».

«Ваш идол, Холмс, ваш пиликающий бог... И вдруг превратился в убийцу. Не смейте называть меня дураком».

«Куда он направился?» — обратился Холмс к Хопкинсу, проигнорировав мое возмущение.

«Действительно, сэр, куда он *направился*? Вряд ли это имеет значение. Сарасате найти не трудно».

«Для вас это будет трудно. У него нет больше репетиций. Его гастроль в Англии закончилась. Даю голову на отсечение: он сел на поезд в Харвич, Ливерпуль или какой-нибудь другой портовый город, чтобы оказаться там, где ему ваш закон уже неписан. Вы можете, конечно, телеграфировать во все полицейские участки прибрежной зоны, но, судя по вашему выражению лица, вы едва ли намерены это сделать».

«Совершенно верно, мистер Холмс. Будет трудно предъявить ему обвинение в попытке цареубийства. Из области лишь предположений».

«Думаю, вы правы, инспектор, — сказал Холмс после длинной паузы, в продолжение которой он хмуро разглядывал плакат, рекламирующий туалетное мыло. — Послушайте, Ватсон, я жалею, что назвал вас дураком».

Вернувшись на Бейкер-стрит, Холмс постарался задобрить меня, откупорив бутылку старого коньяка — прощальный дар еще одной царственной особы, а поскольку особа была магометанином, резонно предположить, что обладание этой роскошью шло вразрез с предписаниями его религии, и можно лишь подивиться тому, как он изловчился залучить для своего винного погреба часть наполеоновского сокровища — предмет законных притязаний британских властей после смерти их узника на острове Св. Елены. Ибо этот несравненный коньяк был, как свидетельствовала монограмма на этикетке, из той бочки, что, очевидно, давала некоторое утешение пленному императору.

«Должен сознаться, Ватсон, — сказал Холмс, любуясь золотой влагой в своем куполовидном бокале из набора, преподнесенного ему благодарным хедивом, — что я позволил себе слишком много гипотез, предполагая, что вы разделяете мои подозрения. Ничего не зная о них, все же именно вы, в своем неведении, дали мне ключ к разгадке тайны. Я имею в виду тайну предсмертной какофонии — лебединой песни застреленного бедняги. То было послание человека, захлебывающегося собственной кровью, Ватсон,

и потому неспособного к членораздельной речи. Он заговорил как музыкант, и более того, как музыкант, которому ведома экзотическая нотная грамота. Отец, грозивший лишить его наследства, увы, как оказалось, напрасно, был некогда на дипломатической службе в Гонконге. В письме, как я припоминаю, говорилось что-то об образовании, давшем сыну некоторое представление о незыблемости монархического порядка в Китае, России и боготворимой ими Испании».

«И что же бедняга сын сказал?» После трех бокалов несравненного эликсира я был уже достаточно задобрен и умиротворен.

«Сперва, Ватсон, он извлек ноту ре. Я не претендую на абсолютный слух и сумел угадать ее только потому, что заключительный опус программы Сарасате был в тональности ре мажор. Финальный аккорд еще звучал в моих ушах, когда клавиши приняли на себя предсмертный натиск юного аккомпаниатора. Так вот, Ватсон, то, что мы зовем ре, по-итальянски значит «король» и достаточно близко к кастильскому *rey*, имеющему то же значение. Какой же я был болван, что не понял предупреждения об угрозе, нависшей над гостящим монархом. Следующие ноты содержали сжатую информацию. Я терялся в догадках по поводу их истолкования, но ваше давешнее замечание о китайской системе нотных знаков, точнее, нотных чисел дало мне ответ, могу добавить, вовремя. Сыгранные в любой тональности ноты обнаруживают цифровую комбинацию один-один-один-пять, то есть до-до-до-соль или ре-ре-ре-ля, важен именно интервал. Целиком сообщение было таким: один-один-один-пять-один-один-семь. Оно образует мелодию, не представляющую музыкального интереса, нечто вроде воинской побудки, но смысл его понятен теперь, когда мы знаем шифр: королю грозит опасность в одиннадцать пятнадцать утра одиннадцатого июля. Это я был дураком, Ватсон, ибо не понял того, что могло показаться предсмертным бредом, но в действительности было жизненно важным посланием тому, у кого хватило бы ума его разгадать».

«Что заставило вас подозревать Сарасате?» — спросил я, подливая себе в бокал восхитительный напиток.

«Обратите, Ватсон, внимание на происхождение Сарасате. Его полное имя Пабло Мартин Мелитон Сарасате-и-Наваскуэс, и еще он уроженец Барселоны. Стало быть, каталонец и отпрыск непреклонного семейства с антимонархическим прошлым. Все это я выяснил, наведя справки в испанском посольстве. В то же время я обнаружил китайские связи молодого Гонзалеса, которые тогда мне еще ничего не говорили. Республиканские симпатии семьи Сарасате должны были бросить тень подозрения на него, но великого артиста невольно ставишь над гнусными интригами политиков. Как теперь представляется, было нечто дьявольски хладнокровное в том, что убийство аккомпаниатора произошло лишь по выполнении им своей художественной задачи — таков был холодный приказ, отданный Сарасате наемному убийце. Не сомневаюсь, что юный Гонзалес признался Сарасате, которому доверял как своему коллеге и великому музыканту. Он поделился с маэстро своим намерением выдать планы заговорщиков. Мы не можем знать мотивы его решения: внезапная человеческая слабость или душевное потрясение вследствие получения отцовского письма. Убийца выполнил приказ Сарасате с точностью оркестранта. Голова идет кругом при мысли о санкционировании такой убийственной концовки столь блестящего концерта».

«Для меня этот блеск подтверждался скорее аплодисментами других, чем собственным восхищением. Не сомневаюсь, что записка секретаря его высочества и необычное начертание семерки — тоже дело рук Сарасате, правда не такое блестящее».

«Очевидно, Ватсон. В театре «Савой» вы видели его дружелюбно болтающим с сэром Артуром Салливаном, приятелем принца. *Grazie a Dio*², сказал он между прочим, что череда его гастролей закончилась лондон-

² Слава богу (*итал.*).

ским концертом,— он поистине заслужил свой отдых. Всякий, кто достаточно беспринципен, чтобы сотрудничать с этим известным насмешником над условностями, либреттистом Уильямом Швенком Гилбертом, вполне способен также выкрасть бланк из канцелярии принца и передать его, не интересуясь целью, для которой он потребовался».

«Итак, Холмс, — сказал я, — вы не собираетесь, я вижу, преследовать Сарасате, добываясь его заслуженного наказания, пресекать его артистическую карьеру и брать под арест как преступника, которым он несомненно является».

«Где доказательства, Ватсон? Как пронизательно заметил наш интеллигентный молодой инспектор, все это лишь предположения».

«А если бы доказательства были?»

Холмс вздохнул, взяв скрипку и смычок. «Он превосходный музыкант, которого мир не может позволить себе потерять. Не передавайте, Ватсон, моих слов кому-нибудь из ваших посещающих церковь знакомых, но мне остается верить в то, что искусство выше морали. Если бы Сарасате в этой гостиной, Ватсон, на моих глазах задушил вас за вашу музыкальную бесчувственность, а его пособник с заряженным пистолетом препятствовал бы моему вмешательству, а затем тот же Сарасате составил бы детальный отчет о преступлении, подписался бы Пабло Мартин Мелитон Сарасате-и-Наваскуэс, мне пришлось бы закрыть глаза на содеянное, уничтожить заявление, сбросить ваше тело в желоб водостока на Бейкер-стрит и хранить молчание, пока полиция занималась бы своим расследованием. Настолько великий артист выше нравственных принципов, рассчитанных на обычных людей... А теперь, Ватсон, подлейте себе еще этого благородного коньяка и послушайте опус Сарасате в моей интерпретации. Не сомневаюсь, она окажется не столь мастерской — и все равно вы ощутите величие замысла». Он поднялся, установил пюпитр, прижал скрипку подбородком и принялся почтительно-благоговейно навёрчивать мелодию.

Перевел с английского Дмитрий Чекалов.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

МАРК КОСТРОВ

*

РЫБНЫЕ ДНИ НОВГОРОДЧИНЫ

... (О)днажды — в 1979 году это было — мне показалось, что я нашел землю обетованную. На острове Межник в Рдейских болотах при Русском озере. Два дня до него в апреле по донцам — нарастающим линзам льда подо мхом — добирался с Тайгой, собакой весьма интеллигентного вида, которую одолжили мне в деревне Ратча.

И там судьба послала мне испытание на живучесть. Пока копал огород, чтобы под пленки и банки посадить хотя бы семена капусты на рассаду, благороднейшая Тайга сумела расстегнуть носом молнию в палатке и увела у меня наволочку с сахаром, двумя ковригами хлеба, салом, крупой и бесценной неприкосновенной флягой спирта. Я даже сначала подумал, что это сделал какой-нибудь бродяга, но, когда увидел разгрызенные пачки супа и нетронутую банку кофе, догадался, чьих лап это дело. Мелькнула даже мысль — схватиться за ружье, чтобы ею, собакой, как мой дядя в блокаду, питаться далее. Но только оглянулся вокруг, как увидел воровку-телепатку вдалеке, скачущую с кочки на кочку в сторону деревни.

Долго потом по кустам искал собачью захоронку — ведь где-то же она спрятала еду, — но так и не найдя ее, стал срочно делать мережу из захваченных с собою картофельных сеток. И далее, поставив ее в протоке озер Межник — Русское, питался вперед только окунями, потом, после некоторых поисковых усилий, наткнулся на черемуховый куст со ста двадцатью тремя сморчками — до сих пор помню эту радостную цифру, — а потом уже, с первого июня, пошли сыроежки, позже, углубляясь в лето, полез вокруг палатки всякий гриб вплоть до боровиков молодых, а если повременить с их выкручиванием, и старых. Молодые я жарил, а старые сушил впрок, насаживая на рябиновые шампуры над тлеющим костром, и черви, как мелкий дождь, страдая и треща, сыпались и сыпались в огонь, не вызывая сочувствия.

Потом заработал огород: редиска, салат, укроп, огурцы, горох, сначала лопаточками в суп с молодой картошкой, затем лущенный, и уже осенью настоящие свекла и картошка. Капуста выросла только к октябрю.

А еще мне Тайга нанесла урон случайный, тут ее особой вины не было, — уволокла вместе с наволочкой не только флягу со спиртом, но и спички. И наступил день, когда я утром, как ни старался, не мог раздуть огонек от последнего, мигнувшего на прощание красной точкой, уголька. Но все же, испробовав разные способы, я его к полудню в конце концов добыл.

Стрелял ватным пыжом в небо — но он так и не заалел. Бил по капсулю — но он так и не пыхнул. Выглянуло солнце — но ни очки, ни осколок бутылки не давали нужной для добычи огня фокусировки. Получил драгоценное пламя путем трения сухой дубовой палочкой меж двух спиннинговых катушек, закрепленных на граненой палке друг против друга.

...Ушел я от Русского озера через год, не выдержав все-таки одиночества. Сначала-то хорошо: тишина, ни радио, ни газет; да и был красив остров — на одном конце сосны, на другом березы, черемуха, липы да с десятком яблонь по двум бывшим хуторам. Но я не отшельник какой, не столпник тем более. С семьей бы другое дело — но у семьи другие взгляды на жизнь.

Жить на необитаемом острове можно, ежели иметь *выживательную* аптечку. Пусть в ней будет несколько блесен, кремней-цилиндриков с огнивами, топоры-лопаты, семена и соль да метра четыре пленки в придачу. Все осталь-

ное приложится: ложку можно вырезать из мягкой липы или вставлять в расщепленный прутик раковину-перловицу. Впрочем, не будут лишними и десять — пятнадцать метров сетки-тридцатки. Ловля рыбы на крючок требует времени, которое вначале лучше б тратить на огород, обустройство жилья, сооружения столика и скамейки под ивой, да чтоб выход из шалаша смотрел на закат и травяные горизонты с блеском воды — по краям моей, районного масштаба, ойкумены.

Землянка же роется желательнее на песчаном бугре, размером два на два, но при этом оставляется недорытым место для лежанки, которое вы потом застелете сеном или еловым лапником, и место около головы — для печки, сделанной из ведра. Трубы же вяжутся из консервных банок.

...Первую свою щуку на два килограмма, которая даже тянула меня за мякоть ладошки, я поймал во втором классе. И когда началась война, в эвакуации на Миасе (Урал) уже серьезно добывал на переметы все лето плотву и окуней, а мать сушила их в русской печке на зиму. После войны увлекался копчением подлещиков и языков в бочке на Карельском перешейке. Мы тогда только что завоевали его, и рыбы в разных «ярви» было в первые победные годы пропасть. А потом торговал ею около пивных шалманов, опасаясь, правда, милиции.

На Чукотке, в армии, был зачинщиком ловли сайки — полуфунтовой тресочки — из-под двухметрового льда. В пулю впаивались самодельные крючки без насечек, а жилку приходилось вытягивать из шинельных отворотов (их ею портные на материке укрепляли); правда, потом отвороты при ходьбе хлопали, как слонови уши.

Да и на Дальнем Востоке, после северов, на Даубихе Арсеньева, питался касаткой-щелкуном; в бухте Посьет — красноперкой и камбалой с навагой; на реке Сейфун под Уссурийском ночные, с фонарем «летучая мышь», ловли сомов навсегда врезались в память. И карасей в протоках той же реки, червонного золота, в тарелку величиной, и серебристых трехкилограммовых сазанов я относил в нашу гарнизонную офицерскую столовую, тем самым разнообразя меню из пшеничных, всем надоевших, каш и почему-то, как на Чукотке, размоченных кругов сухого картофеля.

И вот наконец после демобилизации, работы на «Большевике» в Ленинграде нас, молодоженов — Марка и Тамару Егоровну, — ожидал Новгород. Давно это было, в 1958 году, когда конструкторская зарплата не превышала тысячи дореформенных рублей. Но помогли нам обзавестись диваном, телевизором «Рекорд» и некоторым тряпьем налимы Сиверского канала. Я их ловил на те же переметы и с той же «летучей мышью», как и на Дальнем Востоке перед ледоставом. Кооперативную квартиру добыли нам зимние щуки. Тогда еще инспекция не запрещала жерлиц и капканов, да и переметов не трогала. Позже она стала решительней: проедет с огромным якорем за кормую своего катера по всем уловистым местам и выдерет все подряд из воды — будь то сеть, другая снасть, вплоть до закидушек, если зазеваешься. Но почему-то с главной бедой — с загрязнением вод заводами, химкомбинатом — наши инспектора боялись бороться. Может, потому, что шла очередная индустриализация всей страны, очередное взятие «милостей у природы», а партия была наш рулевой: попробуй опечатай *неочистные* сооружения — сразу же вылетишь из нее с известными последствиями!

...Теперь охрана встает хоть и рано, но стала другая: лови рыбу капканами и сетями, сквозь пальцы — в переходный период — смотрит она на нас, а со стариков и билетов рыболовных не требует. Хочешь, жарь ее (рыбу), хочешь, копти, хочешь, тут же у речки, на трассе Москва — Новгород — Петербург, торгуй ею. Что я и делал два года назад: по пять кусков прутик. К тому же на Вишерке грибы лезли в корзинку сами, пару ведер черники набрал, клюквы попозже плетенку. И главное, из-за подорожания топлива, безо всяких запретов, само собою, перестали сновать туда-сюда моторки, отменили водомет «Зарю» из-за нерентабельности — он своими огромными волнами тысячами выбрасывал малька на берег; и рыбешка снова засновала стайками по принадлежащим ей песам.

Всего-то три года с небольшим прошло после «либерализации цен», в том числе и на топливо, а посмотрели бы вы, какой я рыбы в черте Новгорода,

около Антониева монастыря, наловил 25 марта 1996 года! А щуки какие хватают на живца! Тут же сфотографировал себя автоспуском, встал со льда и через пару часов в фотоателье «Новосад», на Петербургской, бывшей Ленинградской, улице, имел несколько снимков, которыми теперь хважусь перед новгородскими рыбаками. (И очень жаль, что в молодости был лишен таких сочных красок. Не дай Бог, если снова возникнет «железный занавес» и пленка «Кодак» будет заменена блеклой «Свемой»...) А все потому, что наметилось очищение вод от прошлой заразы.

Только не ленись, человече, не требуй у кого-то «дай-дай-дай», а сам борись за свою выживаемость. К примеру, у нас в семье в среднестатистическую корзинку одежда давно не входит. Мы, как охотники, бродим в конце месяца по залам гуманитарных помостей, их у нас развелось видимо-невидимо: ДК Попова, кинотеатр «Родина» — верхний зал, поликлинический барак № 2 и так далее. Цены на ненужные Западу вещи доходят до тысячи рублей за кило, а в некоторых конкурирующих местах (Центральный рынок, гимназия на улице Комсомольской) третий килограмм отдается бесплатно. Теперь у меня и у внуков есть надежные рыбацкие плащи из туманной Дании, у жены — кожаная длиннополая «голландия»; из трех пуховичков я сшил отличный спальный мешок; а как-то зашел на Славную, 60, где зал у Общества глухих уже более года арендован «гуманитариями», взвесил джинсы, с первого захода, правда, денег не хватило, так я приткнул их в укромное место за вешалкой — и через пару дней ходил-гордился по городу в полуновеньких брюках. Да и не только я — весь Новгород ходит в полуновеньком. А пенсионеры, безработные, да и работающие в выходные дни кутулями закупают это тряпье и везут его по деревням — всюду же свободный рынок в виде сообщающихся сосудов. Иные до ста тысяч рублей в день вытягивают из зажиточных сел вроде Белой Горы. Да еще семечки везут с собою обратно в освободившихся сумках — для продажи их уже здесь стаканами.

Конечно, я буду голосовать за реформы, за западников, потому что наконец понял, что рулевой своей жизни сегодня — *это я*. Ну да еще Тамара Егоровна, потому как покупает выловленную другими плотву — у нас повсюду открылись базары и базарчики — по 2500 рублей за килограмм (1996 год, март) и делает из этой мелочи с помощью мясорубки котлеты. А если к вечеру дожждаться прихода 110-го автобуса из Наволока на Ильмене, когда из него вываливаются с ящиками продрогшие рыболовы, то и того дешевле.

Прежде мы катались на лыжах по окраинам городским просто так, а теперь — со значением: однажды подобрали резиновые сапоги с одной дырочкой всего, в другой раз нашли выброшенную на берег дюралевую лодку «Прогресс», позвали сына с товарищами и перетащили ее в кусты, с тем, чтобы, как только наступит половодье, поставить на нее парус вместо мотора, длинная жердина с доскою на конце нам будет служить веслом, и релять себе (лавировать) против разных ветров на Ильмене. Тем более я только что купил в универмаге «Русь» дешевлее финское полотно длиной 60 метров за 78 тысяч рублей. Наделал «вечных лампочек», сдал их в магазинчик на проспекте Московском безо всяких проблем и на выручку купил сетку-тридцатку.

У нас в городе налицо пять лодочных станций, и старые, отслужившие свой срок лодки выбрасывают за ограды стоянок — выбирай из них что душе угодно, пльви на все четыре стороны на списанной посудине. Так я однажды, на закате «застоя», подговорив еще четырех приятелей, и сделал, чтоб сплавиться на шитике вниз по Волхову и далее выйти на Ладогу, а там видно будет. Правда, двое моих спутников через пару дней, переночевав на родине Рахманинова в Онего и постояв на развалинах державинской Званки, меня покинули. Со мною остался только сельский врач из Борков Рафик Кадыров, и мы с ним — когда даже в Ленинградской области не удалось обзавестись продуктами — спаслись от голодухи только рыбой на Орловском мысу на Ладоге. На дорожку попалась очень крупный окунь и щука, и что интересно, опять на мой приманки из эпоксидки — по сравнению с обычными блеснами, даже «байкалом» — хищник шел в отношении пять к одному.

И еще вспомнилась из тех «предстартовых» времен — может, это к делу и не относится — встреча с Сергеем Михалковым.

Когда я наконец добрался до Валаама и вплыл в Монастырскую бухту, то увидел его сначала рядом с заросшим бурьяном памятником Ленину, с сеткой в руках, из которой в разные стороны топорщились сиги, а потом встретил осеменяющим себя крестным знамением в Преображенском соборе, хотя на дворе стоял только 1984 год и это было еще опасно. Мелочь, врезавшаяся в память.

И еще, помню, покупал на Валааме вкуснейший, дышащий белый хлеб, внедренный в прошлом веке знаменитым настоятелем Преображенского монастыря игуменом Дамаскином. Рецептúra выпечки через все разоры 40 — 70-х сохранилась на Валааме и посегодняя — разве не чудо?

Думал я оплыть Ладогу и привязать в конце концов углый свой челн к цепи «Авроры» в городе на Неве. Вышло же по-иному: подарил свой верный шитик валаамскому леснику и на теплоходе отчалил с Валаама.

С тех пор я все искал и искал пристанище неподалеку от ставшего мне родным Новгорода. Наконец 1995 год оказался урожайным: обнаружил несколько подходящих для постоянного и временного поселения мест, приступаю к их описанию.

Ручей Мутницкий. Он впадает во Мшажку, а она начинается от шоссе Новгород — Москва в двадцати километрах от моего города. И вот на одном из рукавов ручья я увидел дамбу. Ее построили, когда «преобразовывали природу», а дорогу не подсыпали, и дамба была бесхозная, беззащитная, сдерживая эдак гектаров в пять окруженный дубами водный разлив. Первую ночь — накрапывал дождик — я провел в ее проходной трубе. Люблю спать в таких бетонных мавзолеях: с одной стороны, безопасность полная, с другой — не надо возиться с установкой палатки. Только требуется затянуть со стороны розы ветров дыру пленкой, чтобы в трубе не дуло, а в зависимости от настроения можно вообразить себя то вождем, то покойником, я же, покачиваясь в лодке, как в люльке, вспоминал детство.

Палатку я поставил на другой день прямо на дамбе, вставив в трубу решетку, сделанную из подобранной сетки. Вы же, если поселитесь в этих местах, создавайте ее из внякя. А чуть позже перешел жить в задамбовый разлив, в березняк, напичканный «КП» — красноголовиками и подберезовиками, так обозначил я их на карте. Напротив же — на той стороне — росли в дубах «СС» — сыроежки и свинушки. Последние я, вырыв ямку и отварив их, прямо горяченькими закапывал в пленке в сыру землю, чтобы через три дня есть готовое соленье. Жил бы с весны здесь — посадил бы на острове в пять соток, что возвышался посреди водоема, картошечки. А еще можно запрудить эту разливину и, выпуская понемножку воду, все лето иметь к столу свежую рыбу.

У меня в те августовские дни щурята то шли в ловушку, то не шли, и я, конечно, как и большинство моих земляков, в отличие от телевизионных болтунов, знал, в чем дело. В трубе, да и не только в ней, из-за почти безуклонной местности по всей Новгородчине («среди равнины полудикой я вижу Новгород Великий») вода течет в ручьях и реках весной, а иногда и летом, и осенью, то в одну, то в другую сторону. Ветер и непогода тоже меняют ее направление. То есть у нас можно не только дважды, но и трижды, а то и более вступить назло поговорке в одну и ту же воду.

Правда, в древности новгородцы воспринимали это явление как перст Божий. В XII веке решили изгнать из города погрязшего в грехах епископа Иоанна, посадили после крикливого вече его на плот: пльви, владыко, прочь, помни Новгородскую республику! И вдруг взволнованные бревна стали возвращаться обратно. Пришлось перед иерархом каяться, просить у него прощения.

Ну а рыба, как известно, откликаясь на те или иные завихрения в природе, двигается в большинстве своем навстречу течению, чтобы хватать побыстрее разных крошек-мошек с небесного или барского стола. Потому мне пришлось уже вторую ловушку поставить с другой стороны бетонного кольца и вытряхивать попеременно щучек то с северной стороны, то с южной.

...Тем же переселенцам, которым не по душе будут новгородские просторы, кто больше тянется к лесным массивам и лишен предрасудков, могу предложить на слиянии Мшажки и Черной речки некий таинственный мыс. Берег высокий, дубы вековые, задумчивые, на удочку и в сетку лезут беспре-

станно «НЛО» (налимы, лещи, окуни), но, увы, хотя за нашим становищем росли вкуснейшие «КГБ» (красноголовики, грузди, белые), а по Черной речке, где посрее, множились «ГКЧП», мы собирали из них только лишь половину аббревиатуры — козляков и подольшаников. Свойства же говорушек, «рыжебурых, перевернутых», неизвестны. А по поводу чесночников советую обратиться к «Третьей охоте» Владимира Солоухина. По справочникам они относятся к роду негниючников, и хотя прозаик пишет, что настригал их ножницами по полной корзине (бумага все стерпит), съедобные свойства их не определены¹.

Ко мне теми днями приехала наша Тамара Егоровна с внуком Мариком и собачкой Кузей. Но прожили мы на этом странном мысу совсем недолго. Во-первых, по вечерам «в лесу раздавался топор дровосека». С утра, зарядив пугач перцем и золою (от ружья я несколько лет назад отказался), двинулся в направлении, указываемом твякающим Кузей, и через десять минут увидел вырубленную площадку леса, покрытую яркими мухоморами, над которыми кружились, приземлялись, порхали крапивницы, капустницы и лимонницы. Самое удивительное, что поваленных стволов нигде не было видно, как и трелевочной дороги от свежей вырубки. Словно четверть гектара леса кто-то поднял и перебрал прочь отсюда по воздуху!

А во-вторых, на третий день раздалось тарахтение лодочного мотора марки «Л-12», все ближе, ближе, — в ручей осторожно входила расшива, причалила к нашему берегу, и два хмурых мужика, не обращая на нас внимания, не здороваясь, деловито установили между берегом и лодкой толстенную доску и начали ломаями скатывать на берег... огромный гранит. Я стал им помогать, и в конце концов, после того как мы его вкопали под деревом, они с нами разговорились. А уж с бутылочкой «Цитрона» из моей неприкосновенки, да и салат Тамара Егоровна сделала из настоящего чесночка и свежих огурчиков отменный, и вовсе стало чем помянуть Павленко Ивана Михайловича, 1918 года рождения, прошедшего две войны и теперь вот пропавшего без вести здесь, на этом мысу, — тестя одного из этих мужиков, электрика Жоры из Холыньи. Теперь он будет называться *Павленковским*, этот гранитный обтесанный и отполированный памятник.

Мой зять Вася тоже из таких парней. И если что... Пусть только не поставит — явлюсь ночью ему в Юкки под Петербург, где он с семьей проживает.

В конце концов оказалось, что здесь и до Павленко — чуть ли не со времен опричнины — часто пропадали приходившие сюда за грибами люди.

Позже в лесу я встретил несколько таких странных площадок-полян — не вывозят ли наш русский лес какие-нибудь летающие объекты на другие родственные планеты? А может, готовят посадочные аэродромы? Прощу уфологов — они ведь тоже хотят кушать — заинтересоваться этими проплешинами.

Парни посоветовали мыс побыстрее покинуть, что мы на другое утро, продрожав всю ночь от стукотни топоров, которые то приближались, то удалялись (спасибо Кузе, собачка не переставала твякать, видимо, отпугивала инопланетян), и сделали.

...Теперь приступаю к описанию месячного выживания на Банных речках, когда я практически остался с горсткой одной голой соли. В чем-то ситуация сходилась с межницкой историей, когда меня обворовала Тайга. Только случай здесь был посложнее — и возраст уже не тот (66 лет), да и кофе с сухими супами отсутствовали.

Но вперед о том, как я на эти благодатные речки попал. К ним, расположенным в Зааркажье, ведут две дороги. Одна, малая, — по речке Русской, которая за Малым Лучно будет называться Большой Гриб, а далее превратится в Малый Грибок, которым весною легко можно добраться до вышеозначенных речек.

Вторая водная дорога — более дальняя, но и более надежная — проходит через озеро Ильмень, через Мстинский нос — его сегодня в народе стали называть Коммунистическим, так как на нем без споров у чайного костерка с большевиками-пенсионерами не обходится.

¹ «Грибы СССР». М. «Мысль». 1980, стр. 180, табл. 39.

Едва я добрался через Ильмень, Аркадский залив и Рог до этих самых речек, начались северо-восточные ветры, которых озеро очень не любит — оно взяло и взбунтовалось, раскачалось от холодного сиверка, и мой окружной план выбраться из этого захолустья по различного размера Грибам и Русской речке сорвался, так как вся вода из них ушла и они обсохли.

По сусякам поскреб — осталось немного геркулеса, горсточка соли и один бульонный кубик. Пришлось выживать через удочку — мои суставы окончательно от постоянной дружбы с веслом лишились смазки, и я не мог кормиться даже от спиннинга. И Ревун, к которому и вели речки — километровая капля воды с редкими пучками осоки среди блестящих полулысых плесов, — сделался мне опорой. Малек от базарных чаек и внутреннего врага-окуня прятался в этих травах, там и кормился дафниями и планктоном, а окунь поджидал его снаружи пучков, и как только кто-то из малышей высовывался из убежища — не высовывайся, сосунок! — тут же оказывался в желудке у хищника.

Ну а я, естественно, тоже хотел жить и уже, как более технологичный охотник, подбрасывал окуням приманки, обмазанные для большего обмана эпоксидной смолой и обсыпанные боем елочных игрушек. В первые два дня поймал полпуда окуней от ста граммов и до фунта, а потом, когда руки совсем отказались держать удочку, стал ставить переметы. Из сетчатой майки сделал сачок, наловил сколько нужно этого самого малька и снова без больших усилий стал добывать не только окуней, но и щучек, а как-то попалась и пара язей. Мне для выживания нужно было в день два килограмма рыбы. Тем же, кто не любит разные переметы-перетоны, советую ловить ее на закидушки, на тех же мальков, так как червей на лугах, чистых от человеческих признаков и коровьих отходов, было очень мало. Не спеша заготавливаешь дрова на костер, переставляешь палатку (для тепла я ее вечером — в сентябре похолодало — переносил с одного кострища на другое) — и вдруг, всегда неожиданно, как телефонный звонок, заливается колокольчик. И еще одна рыбина заворачивается в твоём садке.

Главное — становище устройте около воды. Пусть нет рядом сосен, можно удовлетворяться пятиствольной огромной ивой, в ветвях которой, в зависимости от времени года, то будет распевать свои песни дрозд, то попискивать синицы; полуусохший кустарник вокруг — надежный поставщик топлива. Спалось на теплой земле как на печи, какие-то наглые мышки шуршали за брезентом, обложенным, как кочан капусты, многослойно кусками подобранной пленки. Однажды поутру выполз на свет Божий — а он весь серебрится от инея, только ярко-красные фонарики шиповника горят по берегам Большого Гриба — и вдруг вижу стоящего на Машковском озере рыболова. Он посмотрел на меня, удивился и сказал: «А я вчера видел ваш портрет в „Новгородских ведомостях“». Уезжая в поход, я сдал большую работу в газету о том, как выживал на границе с Эстонией через сапожничество, и теперь закон обратного действия обращался на меня. Иван Ильич из фарфорового поселка Пролетарий, пробравшийся сюда по заморозкам на мопеде, поделился со мною солью, без которой, конечно, мне сложно было бы жить. Ну а я, в свою очередь, передал с ним весточку домой, что жив-здоров, что печень больше не беспокоит (может, ради этого стоит циррозникам уходить в отшельники?).

Вы знаете, дорогие земляки, «голодающие» все-таки большей частью на словах во время митингов, что значит жить без хлеба? Рыбы вареной, жареной, запеченной и прокопченной было у меня достаточно, но хлеба... хлеба... Жизнь моя практически строилась только на рыбе. Одну за другой я привязывал к леске две блесны, чтоб вызвать среди щук и окуней конкуренцию, и брал за час-полтора так нужную мне дневную порцию рыбы в два килограмма. А когда им надоели, очевидно, пластмассовые приманки, стал насаживать настоящих плотвичек на самодельные снасточки — и снова был с добычей.

Соседнее Воскресенское озерко было перегорожено — кем-то когда-то — ржавой сеткой, обмелело до колена, так что элодеи² почти лежали на земле. И вдруг из них стали выскакивать одна за другой фунтовые щучки и примерно такие же окуни, буквально вешаясь на крючки.

² Элодея — род многолетних трав в стоячих или медленных водах. (Примеч. ред.)

Спросите — чего ж я, радетья природы, не ликвидировал проволочного заграждения? Отвечаю. Быть может, оно работало тут на деревенского жихаря чуть не со времен подсечного земледелия, и не мне, горожанину, соваться со своим уставом в чужой монастырь. Даже самые придиричivé инспектора это понимают: не от таких доморощенных уловов гибнет рыба, а от химии и дешевого топлива — не устану повторять это и впредь.

Однажды, оставив лодку в замелевшем ручье, я пошел по луговым, нехоженным, в рост человека, травам — и вышел на Бакланиху; неширокой, в два противотанковых рва, в золотой розге и отцветающих белых соцветьях таволги, от которых исходил печальный аромат, в солнечных паутинных бликах была эта никем не посещаемая речка.

И еще помню в могучих дубах остров на Ильмене. Я до него пока не добрался, но и издали чую, кажется, грибные, малость подпорченные временем — никто там, верно, боровиков не собирал — запахи.

И вот теперь зимой, в Новгороде, кого ни спрошу про этот остров, все недоуменно пожимают плечами, даже Валера Скобочкин, рыбак-поозер, знающий Ильмень как свои пять пальцев. А я мечтаю о нем всю зиму и, как только наступит половодье, обязательно, вооружившись десятиметровой сетчонкой, туда отправлюсь — присоединяйтесь, место в байдарке есть.

ВЛАДИМИР КОРОБОВ



КРЫМСКАЯ ПАМЯТКА

Не забыть ялтинского засушливого лета: липкий июль с приторно-сладким запахом цветущей бирючины, увядшая береза, усыпанные палой листвою дорожки чеховского сада, пересохшее горло ручья — засуха, зной. Волны колокольного звона покрывают дом и сад Чехова — это в открывшейся недавно церкви святого Феодора Тирона в Аутке началась панихида по рабу Божьему Антонию.

— Помяни, Господи, усопшего раба Твоего, — гудит голос священника, — и прости ему вольная и невольная прегрешения.

Ослепительная белизна сводов храма, покой, умиротворение. А я еще слышу удары мячей и яростные крики подростков — до недавнего времени в церкви помещался школьный спортзал. Но все течет, все меняется. Бывшие партийные функционеры, представители культурной элиты города стоят, слушают, крестятся. До меня доносится шепоток: «Знаете? Музей Чехова на днях обворовали! Украли семейную реликвию — икону Николая Угодника в серебряном окладе, японскую вазу, раскрашенную фотографию Венеции».

— ...идеже несть болезни, печалей и воздыхания... — заглушает шепоток бас священника... — Аминь!

Шепоток за спиной смолкает. В церкви наступает оглушительная тишина.

Толпа уныло бредет под раскаленным солнцем в дом Чехова. Панихиду служат теперь в гостиной, где нет уже ни японской вазы, ни фотографии с видом Венеции, ни иконы — не на что перекреститься.

В саду курится синеватым дымком марево зноя. Прости, Господи, но при виде толпы и священника на пороге чеховского дома на ум приходят грустно-иронические стихи Бунина о Чехове:

...Он, улыбаясь, думает о том,
Как будут выносить его — как сизы
На жарком солнце траурные ризы,
Как желт огонь, как бел на синем дом.

«С крыльца с кадилом сходит толстый поп,
Выводит хор... Журавль, пугаясь хора,
Зашелкает, взвывает от забора —
И ну плясать и стучать клювом в гроб!»

В груди першит. С шоссе несется пыль,
Горячая, особенно сухая.
Он снял пенсне и думает, перхая:
«Да-с, водевиль... всё прочее есть гиль».

О том же подумалось и мне, глядя на окружающих и на себя среди них. Было здесь все: и поп, и кадило, и певчие, и напыщенные чиновники — конъюнктурщики со свечками в руках, и заискивающие перед ними журналисты, и трусливо оберегаемая от общественности дирекцией музея информация о краже — и все та же горячая сухая пыль, несущаяся в чеховский сад с ауткинско-го шоссе.

Коробов Владимир Борисович — поэт, член Союза писателей. Детство и юность прошли в Крыму. Публиковался в журналах «Москва», «Юность», «Новый мир», «Континент».

Ялтинская набережная — пожалуй, столь же знаменитая, как Арбат и Невский. Богатый променад, вызывающий легкое головокружение у приезжих. У крымчан же голова идет кругом от недоедания, а у некоторых — и от того, что зарплату они получают не в жалких карбованцах даже, а в виде ликеро-водочных изделий местного производства (благо не все виноградники пустили под нож за время перестройки). Ничего, купите себе солнцезащитные очки стоимостью, скажем, в одну месячную пенсию ветерана труда, живущего в Крыму, и шагайте дальше, смакуя курортную жизнь: «Ластится к небу ЯЛТА: нежным йотом соскальзывает в ленивое протяжное А, приподнимается язык в полугласном ЭЛ и мягко, вкрадчиво, как дверца БМВ, прикрывается Т с кратким А. Й-а-л-та»¹. Да, солнце и кипарисы — на месте; и синее море, и белый пароход, и пальмы, и крымские сосны, и портвейн «Массандра», и ресторан «Эспаньола», и чайки, и золотистые купальщицы на пляже, и относительно дешевые (для отдыхающих с рублями и долларами) фрукты и овощи на базаре. Приметы времени: собачий вой на набережной — это новоявленная Каштанка зарабатывает на жизнь себе и своей хозяйке, изображая пение на потеху толпе под вызывы старенького аккордеона; да еще — мальчишки, выпрашивающие пустые бутылки у отдыхающих; да безногий нищий побирается под роскошной пальмой. Кобзарь с запорожскими усами, в шароварах и вышитой сорочке «спивает» что-то народное, подыгрывая себе на бандуре. И это не экзотика: не забывайте, что вы находитесь в другом государстве, господ!

Так потихонечку, любуясь крымско-украинскими реалиями, добредете вы от памятника Владимиру Ильичу до памятника Алексею Максимовичу. Задержитесь и... поперхнувшись, прочтите высеченные на граните сверкающие на солнце слова: «Моя радость и гордость — новый русский...» Уж не это ли изречение вдохновило «новых» на бешеное строительство в Ялте и ее окрестностях вилл, кафе, ресторанов, банков, магазинов и гаражей? До недавнего времени на Южном берегу было около двадцати ландшафтных парков с редчайшими экзотами — можжевельником, земляничником, фишашкой. Сейчас парки изуродованы до неузнаваемости, некоторые погублены вовсе. Роскошными особняками обрастают Массандра, Дарсан, Васильевка, Сосняк, Джемиет. «Прощай, старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь!» — право, есть в этих восклицаниях Ани и Пети Трофимова из «Вишневого сада» что-то разом и горьковское, и актуальное.

Антон Павлович встречает приезжих сидя. Присядем и мы рядом с памятником на скамеечку под старой павлонией, достанем свежие номера «Крымской газеты» и, чтобы не быть голословными, изучим факты.

«За десять последних лет рождаемость в Крыму снизилась на 45 процентов, а смертность возросла на 38».

«В прошлом, 1995 году сброс промышленных неочищенных стоков в крымские реки достиг 134 миллионов кубометров. Из них добрая половина приходится на Салгир».

«В 1994 году в Крыму было зарегистрировано 2468 случаев сифилиса, в 1995-м — 3678. Судя по первым месяцам года, рост числа заболеваний продолжается».

«За первый квартал 1996 года в республике зарегистрировано 9332 преступления, из них 100 убийств, 91 тяжкое телесное повреждение, 480 грабежей и разбоев».

«Ракетный катер, недавно переданный ВМС Украины и дислоцирующийся в Евпатории, получил название «Прилуки» — в честь райцентра Черниговской области. В гостях у моряков побывала делегация из Прилук, которая привезла в подарок муку, сахар, телевизоры, утюги и другое».

«В прошлом году на полуострове зарегистрировано 2180 экономических преступлений, потери денежных средств и имущества составили 300 миллиардов карбованцев».

«Состояние здоровья детей и подростков Крыма угрожающее, констатировали на конференции специалистов, которая прошла в Симферополе. За

¹ См.: Костырко Сергей. Дом сталинского лауреата. — «Новый мир», 1996, № 1, стр. 145.

10 лет произошло качественное ухудшение: дистония, уменьшение объема легких, пониженная сила, слабое физическое развитие».

«В Крыму прошел Пятый республиканский фестиваль кобзарского искусства „Дзвени, бандуро!“».

«В 1995 году в Крыму произошло 490 пожаров, в первом квартале 1996 года — 87. Особенно сильно бушевал огонь в лесах под Ялтой, Белогорском, Бахчисараем».

«„Да, есть коррупция, есть организованная преступность в Крыму. Но ее представители есть и в Верховном Совете Крыма, и в органах прокуратуры, и в наших рядах“, — заявил начальник Главного управления МВД Украины в Крыму Михаил Корниенко».

«Объем незавершенного строительства в непроизводственной сфере Крыма достиг 16 триллионов карбованцев. Некоторые объекты начали сооружаться еще в 1980 году».

«В 1995 году по сравнению с 1994 годом заболеваемость наркоманией на полуострове возросла более чем в два раза».

«Убийствами и крупными разборками севастопольцев не удивишь. И все же эта новость всполошила весь город. Была совершена серия убийств с признаками каннибализма. Жертвами маньяка стали пять человек. Первой — женщина, у которой была отрезана грудь и употреблена в пищу».

«Если в 1983 году виноградники занимали в Крыму 88,5 тыс. га, то в нынешнем под виноградниками только 52,8 тыс. га. К тому же резко упала урожайность лозы: пять лет назад собирали с гектара 57,7 центнера, а в прошлом году только 22,6 центнера. В 1960 году крымчане вырастили и собрали 660 тыс. тонн винограда, а в минувшем почти в шесть раз меньше — 112,4 тыс. тонн».

«В сложном положении продолжает оставаться гидрографическая служба Черного моря. После развала Союза она оказалась в подвешенном состоянии между Москвой и Киевом. Итог закономерен: из 1118 знаков и маяков на черноморском побережье действует чуть больше половины».

«Среднегодовой выброс в атмосферу вредных веществ в Крыму составляет 200 тыс. тонн, в основном это окись углерода и серный ангидрид».

«8 работников милиции убиты, 25 ранены за прошлый год в Крыму».

«С осени прошлого года посетители читального зала Ялтинской городской библиотеки им. А. П. Чехова почувствовали неудобства: прохудилась крыша, с потолка во время дождя капает на голову сидящим за столами».

Приведенные выше факты взяты из одного периодического издания («Крымская газета»). В Крыму же сегодня — 194 газеты, 27 журналов и 1 альманах. «Что получится по сложению сих чисел?» — спросил бы недоуменно чеховский герой из юморески «Задачи сумасшедшего математика». Убежден, что вразумительный ответ на этот вопрос не смогут дать и многочисленные общественные движения и политические партии Крыма. А их на полуострове хватает: Демократическая партия Крыма, КПК, Крымская партия социальных гарантий, Народная партия Крыма, Национальное движение крымских татар, Организация крымско-татарского национального движения, Партия экономического возрождения Крыма, Русская партия Крыма, Рух, Союз в поддержку Республики Крым, Украинский гражданский конгресс Крыма, Союз самаритян Крыма, Федерация греков Крыма, Крымское отделение Союза дизайнеров Украины, Крымско-татарский молодежный центр... Призывы, программы, декларации сыплются как из рога изобилия. Но обещаниями, как известно, сыт не будешь. Народ предпочитает думать о жизни не в будущем, а в настоящем времени. На фоне политической, социальной, экономической вахханалии сами собой рождаются на свет предложения одно рискованнее другого: кто рекомендует вспахать плато Яйлы под картошку, чтобы накормить всех страждущих одним махом; кто призывает использовать Ай-Петри для горных видов спорта и зимнего отдыха.

Видимость деловитости и порядка сохраняют лишь в правительстве Крыма. Сводки пресс-центра пестрят словами, хорошо знакомыми по застойным временам: «упразднить», «постановить», «учредить», «заключить», «объявить» и т. д. Одно распоряжение сменяет другое. Вся мудрость депутатов Верховно-

го Совета республики сводится к простейшим арифметическим действиям — к кадровым перестановкам, новым назначениям, взаимным упрекам.

Вот красноречивое и одновременно обескураживающее обывателя «Обращение к крымчанам участников конференции Демократической партии Крыма, Ассоциации фермеров Крыма, Крымского института бизнеса», название говорит само за себя — «Угроза голода и как ей противостоять» («Крымская газета», 1996, № 77):

«Анализируя сложившуюся ситуацию в Крыму, мы отмечаем, что основным источником социально-политической напряженности и экономического кризиса является отсутствие четкого механизма функционирования государственной власти.

Решить проблему баланса ветвей власти может только Конституция, принятая Учредительным собранием или всенародным референдумом. Только такая конституция может добиться соответствия действий судебной, законодательной и исполнительной ветвей власти Основному Закону.

Но уже сегодня большая часть пенсионеров, рабочих, тружеников села, медицинских работников и работников образования, других слоев населения нашего общества подошла к опасной черте *физиологического выживания* (курсив мой. — В. К.).»

Далее следуют призывы к созданию неправительственного гуманитарного фонда помощи нуждающимся крымчанам с указанием координат «для тех, кто не останется безучастным».

Нагнетание страстей? Приобретение политического капитала? Только веет от этого обращения смутным временем Гражданской войны в Крыму. То же и в жизни Крыма — смятение, растерянность, разброд, непримиримость, избыточность политических группировок, разруха, безработица и тотальная незащищенность человека перед грядущими бедами.

Все это уже было:

Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле — такой же виноватый.

(О. Мандельштам)

...В засуху 1994 года горела ялтинская гостиница «Таврида» (в прошлом — прославленная «Россия»). Горела как-то буднично среди бела дня, обычного, ялтинского, «сезонного». Огонь уничтожил бы здание в одночасье, если бы не близость моря. Тушили пламя морской водой — пресную в городе давали редко. Удавы пожарных шлангов извивались и шипели на раскаленном асфальте. Море и расторопность пожарников спасли гостиницу от полной гибели. Нагрел ли кто-то на этом пожаре руки, или была то случайность — остается только гадать. По сей день, два года спустя, стоит обгоревшая «Россия», невольно превращаясь в символ нашего времени.

Когда-то это была самая respectable гостиница в городе. Построенная в 1875 году, она пользовалась успехом у приезжих деятелей культуры. Управляла ею Софья Владимировна Фортуна — дочь В. В. Стасова. Один перечень имен гостевавших тут знаменитостей приводит в трепет: Некрасов, Мусоргский, Ермолова, Римский-Корсаков, Бунин, Рахманинов, Станиславский, Качалов... Здесь весной 1894 года (за сто лет до пожара) в номере 39 Чехов работал над рассказом «Студент». В этом маленьком шедевре автор подводит своего героя Ивана Великопольского, студента Духовной академии, к важной мысли: «И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывно цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Из какого грозного прошлого вытекает наше жалкое настоящее? Из революционного беснования и зверств Гражданской войны. Дотронулся до одного конца, где кровь, голод, человеческие страдания, — дрогнул другой, где человеческие страдания, голод, кровь. И не радость заволнуется в груди, а закипят слезы.

И сегодня в Крыму аукается с настоящим его «славное» прошлое: бессудные расстрелы и пытки священнослужителей, владельцев имений, героев добровольческого движения, когда разрывывались дворцы и поместья, осквернялись храмы, каленым железом выжигалась культура; вырубались сады; осмеивались основы христианской морали.

По Маяковскому:

Слава тебе, красноезвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу Коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.

Но вместо трескотни футуриста-революционера вспомним лучше вот это:

Над Черным морем, над белым Крымом
Летела слава России дымом.

Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с севера.

Летели русские пули градом,
Убили друга со мною рядом,

И Ангел плакал над мертвым ангелом...
— Мы уходили за море с Врангелем².

Историческое возмездие настаивает на нас и сегодня; отнятый у России налававшимся, как утверждает молва, горилки на приеме самодуром Хрущевым, Крым платит по своим и чужим долгам, превратившись во взрывоопасную социальную и национальную смесь. Общество становится здесь заложником закулисных (да и почти открытых) интриг и разборок. Многострадальная, кровью пропитанная земля Крыма — добычей уголовников и воря, воря «в особо крупных размерах».

И вот почти расхищен скульптурно-декоративный ансамбль и памятник садово-паркового искусства в Кучук-Кое (Парковое), ветшают виллы и особняки Феодосии, Симеиза, носившие некогда дивные названия: «Нюкта», «Каменя», «Дельфин», «Миро-Маре», «Ай-Панда», а потом переименованные в дома отдыха имени Семашко, Розы Люксембург, Фрунзе; гибнут редчайшие фрески храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Нижняя Ореанда, построенного великим князем К. Н. Романовым в 1885 году (мозаичные иконы выполнены итальянским мастером Сальвиати).

Старинных кладбищ на южном берегу Крыма — раз-два и обчелся. На месте одного — парк, на месте другого — танцплощадка. В буквальном смысле на костях выдающегося мыслителя и ученого Николая Яковлевича Данилевского бесновалась молодежная дискотека в Мшатке (оздоровительный лагерь имени Кирова). И лишь недавно, благодаря энергичным усилиям общественности, на месте захоронения установлен памятный знак, перенесена дискотека.

Разве говорят обывателям хоть что-то фамилии благородных крымчан: Краснов, Ганский, Бертье-Делагард, Мальцов, Эшлиман? Они выросли на приморских улицах, названных в честь террористов и палачей — Войкова, Желябова, Свердлова, Дзержинского, в лучшем случае — на безымянных: Коммунар, Пионерская... Если и оставляли их отцы и деды от той жизни хоть что-то, так это Дворянский тупик. В насмешку и назидание.

Зато как по-барски ведут себя эти «калифы на час» на бесконечных презентациях, акциях, конференциях! Как по-хозяйски ощупывают ручищами музейные ценности и экспонаты! Как бесцеремонно примеряются к царственной жизни! Как вольготно чувствуют себя в старинных мемориальных креслах! Одинаково стриженные, крепкие, как молодые дубки, с неременной «золотой цепью» на шее — на «дубе том».

² Стихотворение поэта-эмигранта Владимира Смоленского (1901 — 1961).

А приживальщики при дворцах-музеях — нищие научные сотрудники, экскурсоводы, смотрители, искусствоведы — вынуждены лебезить перед «благодетелями» и сдавать в аренду служебные помещения, чтобы хоть как-то выжить и самим, и архитектурным памятникам.

Пышно отмечалось семидесятипятилетие чеховского музея в Ялте в апреле прошлого года. Всеу все позабыли, что «краткость — сестра таланта», и говорили долго, скучно, длинно: хвалили друг друга, вручали грамоты, зачитывали приветственные адреса, давали интервью, читали стихи собственного сочинения, аплодировали и снова — говорили, говорили, говорили... Празднование было поставлено на широкую ногу — нужно отдать должное директору музея, в этом он преуспел. И деньги на это грандиозное мероприятие нашлись у Министерства культуры Крыма — это вам не дырявая крыша ялтинской библиотеки имени А. П. Чехова.

Затем был Гурзуф — пикник под открытым небом.

Толпа чеховедов, честно отработав свое на семинарах научной конференции, с восторгом ринулась погудеть на воздухе у синего моря. И здесь много говорили, приветствовали друг друга, купались в море, философствовали. Недоставало малости — правды отношений. И вдруг — маленькая накладка (в чеховском, впрочем, стиле): один из ящиков с вином оказался случайно запертым в комнате, а ключ потерян. Дружно навалились — не поддается. И тогда среди тишины раздался «глухой стук топора по дереву, звучащий одиноко и грустно» (четвертый акт «Вишневого сада»). Злополучная дверь не поддавалась. Топор застучал сильнее. Раззадоренные чеховеды наперебой демонстрировали знание творчества любимого писателя:

— «Мама вас просит: пока она не уехала, чтоб не рубили сада».

— «В самом деле, неужели не хватает такта...»

— «Сейчас, сейчас... Экие, право».

Наконец-то дверь распахнулась, ящик портвейна извлекли на свет Божий. Пикник на гурзуфской даче Чехова продолжался.

И я там был, мед-пиво пил... Стыдно стало потом, когда, решив поклониться могилам Чеховых на ялтинском кладбище, наткнулся на запыленные, запущенные надгробия матери писателя, сестры и младшего брата. Никому не пришло в голову возложить венок на могилу Марии Павловны Чеховой, основательницы того самого музея, юбилей которого столь бурно мы отмечали. Да и о памятнике Чехову в Приморском парке не мешало бы позаботиться, а то вон он какой — засиженный птицами, с подтеками на лице, неухоженный. Да и сотрудники чеховского музея, сидящие на нищенском жалованье, может, не бумажные грамоты заслужили, а денежные премии — из пропитых нами, хлебниками Чехова, карбованцев?

Непосильная ноша он для нас всех, а не радость и гордость — Антон Павлович Чехов.

Прошлая весна выдалась в Крыму поздней, с внезапными заморозками, робким цветением, густыми туманами. Жители полуострова ожидали лето с боязливой надеждой, чистили, убрали, красили, белили — готовились к курортному сезону. Хозяйки поджидали на вокзалах первых курортников, как близких родственников. И в мае — как прорвало: заворчал добродушно гром, грянули живительные ливни, запенилась акация и садовая спирея, облака изумрудной пыли вставали в горах до неба при малейшем порыве ветра — цвела всю крымская сосна. А на оживившихся приморских бульварах только и разговоров что о России. Хотя, казалось бы, что Крыму Россия? Что Крым России? Есть теперь на Украине своя Конституция, свой президент, своя валюта, больше похожая, правда, на конфетные фантики. Но все смотрят крымчане — поверх Киева — в сторону Москвы, смотрят с безответной надеждой.

Сегодня недалекие и корыстные политики разыгрывают Крым словно козырную карту, подтасовывая исторические факты, разрывая кровные узы людей, ссоря народы. Но Крым — не арена для политических интриг и амбиций, а колыбель культуры, где поэты, живописцы, музыканты, архитекторы разных национальностей, вероисповеданий, цивилизаций творили, пораженные природною красою...

Я открыл калитку и вошел в цветущий чеховский сад. Чудны дела твои, Господи! На одной куртине — такие всё разные деревья: крымская акация, пальма, мушмула, шелковица, кизил, березка... Переплелись корнями и стоят так из года в год вместе, переменяя непогоду, жару и холод, и ничего, как-то сосуществуют, не оспаривают друг у дружки «незалежность».

— «В Крыму уютнее и ближе к России», — раздается в тени деревьев бодрый голос экскурсовода, цитирующего одно из ялтинских писем Чехова.

Часть экскурсантов воспринимает эти слова с одобрением, другие — хмурятся, ищут в них какой-то подвох. А экскурсовод все не унимается, вновь и вновь прибегая к помощи хозяина дома и сада:

— «...как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве».

На минуту группа экскурсантов разбредается по дорожкам. Случайно узнаю в одном из них московского знакомого. Обмениваемся приветствиями.

— А у вас тут рай, — воодушевленно говорит он. — Тишина, спокойствие, благодать! Фруктов и овощей на базаре — навалом. Море теплое, чистое. Чибуреки — сто пятьдесят тысяч карбованцев за порцию. Это же копейки в пересчете на рубли! И этот... как его... знаменитый портвейн?

— «Массандра», — подсказываю.

— Он самый! А мы поначалу и ехать-то с женой не хотели — газет московских поначитались: и разбой тут, и холера, и татары с портретами Дудаева... В Крыму получше будет, чем на Средиземноморье! Как там поется: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна...» Ну ладно, мне пора...

Мой собеседник спешит присоединиться к экскурсии.

Переполненный курортниками автобус медленно поднимался в гору, направляясь из Симеиза в Форос. Вот промелькнула за окном знаменитая гора Кошка, скалы — Крыло Лебедя, Панеа, Дива. Где-то на вершине горы, в густых зарослях фисташковых деревьев, затерялись захоронения древних тавров, обитавших в этих местах свыше двух тысяч лет назад. Внизу равнодушно и глухо шумело море. Штормило. И этот «глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас», — душа настраивалась на высокий лад. Действительно, сколько воды утекло с тех пор! Чьим только Крым не был за это время! И таврским, и скифским, и греческим, и татарским, и русским, теперь — украинским стал... Но пассажиры автобуса, замороженные словом Форос, жадно искали глазами не древние захоронения, не развалины крепостных стен, а злополучную горбачевскую дачу. «Где она?» — нетерпеливо спрашивали одни. «Да вот же она, у моря!» — тыкали пальцами в окно другие. «Нет, это не она. Ее отсюда не видно», — авторитетно утверждали третьи, по виду местные жители. В понимании большинства Форос стал точкой опоры для неких сил, которые в буквальном, а не в переносном смысле перевернули «союз нерушимый», поломав жизненный уклад миллионов. Именно здесь, в Форосе, на древней земле Крыма, развернулось невиданное доселе трагикомическое действо, по сравнению с которым античные драмы — детская забава. Крым помог сплочению славян, утверждению христианства в Киевской Руси, и он же положил начало распаду империи.

Политическая пристрастность пассажиров возрастала по мере того, как автобус поднимался над уровнем моря. Досталось всем под завязку: и Горбачеву, и Кравчуку, и Ельцину, и Кучме. В ход пошли затертые анекдоты про «хохлов» и «москалей». Дело дошло бы до скандала, когда б не повергшая спорщиков в шок картина, развернувшаяся внезапно за окнами автобуса. Из лучезарного летнего полдня «Икарус» въехал на пепелище: с обеих сторон южнобережного шоссе траурно чернели выгоревшие участки леса. Пожар, бушевавший здесь пару дней назад, уничтожил все живое. Обугленные сосны воздевали к небу ветки, словно молили кого-то о пощаде. Вокруг царил мертвая тишина. Ошеломленные пассажиры притихли. Никто не проронил больше ни слова...

Утром я прочел любопытную заметку в местной газете. Оказывалось: для тушения пожара была поднята по тревоге команда матросов и офицеров Российского флота из Севастополя. Факт этот настолько, видимо, возмутил «на-

циональную гордость» одного из офицеров украинской армии, что он попытался воспрепятствовать тушению пожара русскими моряками, утверждая, что горит территория Украины, а не России. «Патриот» оказался к тому же пьян, порывался применить табельное оружие, но был вовремя остановлен сослуживцами. В итоге пожар был потушен совместными усилиями. Но чести России это едва ли прибавило. «Пощечины» русским в Крыму — дело теперь будничное, повседневное. Как тут не вспомнить пророческие слова генерала Деникина, сказанные им еще в 1921 году: «Мы проглядели внутренний органический недостаток русского народа: недостаток патриотизма». Да и где ему, патриотизму, взяться сегодня в Крыму? Русский язык — в загоне, русская литература в школах — скудный довесок к мировой, катастрофически не хватает учебников, книг, пособий. Русофобы из Львова и Киева, должно быть, забыли, что «Кобзарь» и «Гайдамаки» Тараса Шевченко впервые увидели свет на украинском языке в Петербурге! Что книги Котляревского и Гребенки печатали на «рідной мове» в Москве! Да что тут говорить, какое русское застолье обходилось раньше без украинской песни? А украинское без русской? «Повій, вітре, на Україну...» Увы, направление ветра резко изменилось под натиском политических бурь и непогод. Теперь пан Черновил, посетив в Крыму Масандровский дворец, изъявляет недовольство тем, что экскурсовод говорит на русском, а не на государственном языке — украинском...

Лет пять тому назад довелось мне наблюдать в Ялте митинг крымских татар на центральной площади города. Для ялтинцев это событие было в диковинку: палаточный городок у здания горисполкома, чумазые татарчата, плакаты, фотографии депортированных родственников, загадочные слова «Курултай», «Меджлис». И вокруг этого улья — любопытствующая толпа местных жителей. Среди татар было много молодежи, которая и в глаза-то Крым не видела, не знала его, не чувствовала, не понимала. Слова татарского происхождения — Аю-Даг, Ай-Даниль, Демерджи, Учан-Су, Аутка — для них пустой звук. Старожилы терпеливо объясняли, где находятся эти места, хотя сами по большей части были пришлыми, оказавшимися в Крыму по воле случая. Гвалт стоял невероятный. А поодаль от бурливой толпы сидел на земле старик татарин, сидел молча в тени чинары, весь белый как лунь и отрешенно смотрел куда-то вдаль — сквозь время. И, очевидно, виделось ему немало такого, что было недоступно зрению озлобившихся людей как с той, так и с другой стороны.

Потом исчез палаточный городок. Ялтинцы по привычке к татарским лицам, к татарскому говоруку на базарах. В память о депортированном народе установили мраморную плиту. Запестрели красными черепичными крышами домики татарских семей по склонам холмов. Наметился перелом и в политике Меджлиса. От безоговорочно украинской линии поведения этот представительный орган крымских татар перешел к отстаиванию идеи восстановления государственности своего народа. Но ситуация качественно изменилась. Оппоненты Меджлиса в лице Национального движения крымских татар (НДКТ) провозгласили себя сторонниками славяно-тюркского единства. Крымская государственность, считают они, должна формироваться исходя из интересов всех граждан, независимо от их национальности. Лидер НДКТ Васви Абдураимов однозначно заявил: «Я считаю, что тот, кто ощущает себя крымским турком, может соединиться со своими братьями по ту сторону Черного моря. В Крыму должны жить крымские татары, русские, украинцы и другие народы».

* * *

В этой связи вспоминается мне и другой мудрый человек, кровно связавший свою судьбу с Крымом, — литературовед Николай Борисович Томашевский. Ему тоже удавалось предвидеть то, чего даже представить себе не могли окружавшие его люди — знакомые, друзья, соседи. Он часто называл себя крымско-московским жителем. В Крыму у него была дача, а в Москве — работа в Литературном институте, сотрудничество в журнале «Новый мир», в «Библиотеке всемирной литературы». Отец Николая Борисовича, знаменитый ученый-филолог Борис Викторович Томашевский, и мать Ирина Николаевна, литературовед, хорошо знали и любили Крым. До войны у них была дача в

Кокозах, а после войны — в Гурзуфе, рядом с домиком Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой. К концу 40-х семье пришлось сменить дачу. Ею оказался старый двухэтажный татарский дом по улице Крымской, 19. Даче этой суждено было стать местом замечательных встреч. Ахматова, Заболоцкий, Паустовский, Каверин побывали здесь в разные годы. На даче жили и работали лауреаты Нобелевской премии Александр Солженицын, Иосиф Бродский.

В последние годы своей жизни Николай Борисович часто задумывался о будущем унаследованной им дачи. Он хотел видеть ее в числе музеев Крыма, волновался о судьбе родительских могил на гурзуфском кладбище.

Когда-то вместе с женой Екатериной Брониславовной они поклялись подарить татарской семье часть своего дачного участка. За год до смерти Николаю Борисовичу удалось осуществить задуманное. Семье Меметовых просто не верилось в случившееся: получить в подарок землю, да еще рядом с тем самым местом, откуда были высланы весной 1944 года их близкие родственники в Гурзуфе! Так, благодаря воле одного человека, была восстановлена прервавшаяся связь поколений целого рода крымских татар.

До своего отъезда в Москву зимой 1992 года профессор Николай Томашевский прописал Меметовых у себя, дал им возможность обосноваться на даче и приступить к строительству собственного дома. Когда фундамент был заложен, Николаю Борисовича не стало...

Он любил приезжать в Крым ранней весной. Старые улочки Гурзуфа утопали в тумане и горьковатом цветении миндаля. Знакомой тропой спускался к морю, часто останавливаясь из-за боли в ноге. Прежних друзей оставалось все меньше. Но те, кто еще помнили довоенный Гурзуф, любили посидеть с ним в «шалмане» за рюмкой водки, вспоминая иные времена, иные нравы, богатые уловы рыбы, обильные урожаи в садах... Мало кто так чувствовал Крым, как он, подмечая тончайшие цвета и оттенки дивных окрестных пейзажей, ощущая историю этой земли не просто умом, но и сердцем.

«Сколько будем жить — столько будем говорить о Николае Борисовиче своим детям. Сколько будут жить наши дети — столько же они будут говорить о Николае Борисовиче своим детям. И так далее», — говорит хозяйка нового дома. И в этих простых словах добродушной татарки таится высокий смысл, не уступающий в своей величавой красоте прибрежным скалам, морю, небу.

Ялта.



ПУБЛИЦИСТИКА

Публицистика этого номера — о тех, кто противостоял тоталитаризму, противостоял мировоззренчески и — личным бесстрашием.

Обнаруженные ныне оперативные материалы «дела» Дмитрия Панина свидетельствуют, что стойкость духа могла быть сберегаема и в самые свинцовые годы гулаговского беспредела.

ЛЕОНИД АФОНСКИЙ

*

О БУДУЩЕЙ РОССИИ — В ТОТАЛИТАРНЫЕ ВРЕМЕНА

В наши дни, когда российское постсоветское общество напряженно ищет выход из тупика, в который загнала его партийная деспотия, бесполезно вслушаться в голоса тех, кто противостоял коммунистическому режиму на закате его существования.

Многое из того, как утопического, так и позитивного, что в них содержалось, получило развитие в «перестройку» и позже — после Августа-91.

Во взглядах мыслителей 60 — 80-х годов, в их социологических анализах и прогнозах было много общего, так сказать, «родовых» черт, естественно, затруднявших проникновение в живую ткань позднесоветского бытия и послевоенной мировой цивилизации в целом. Утопизм, схематизм, технократизм мышления — только некоторые из них.

Просвещенческо-прогрессистская утопия в духе Жюль Верна, когда поезд «на магнитной подушке» или «хозяйственное освоение Луны к 2020 году» кажутся вершинными проявлениями человеческого интеллекта и духа, наивное убеждение во всесии и возможностях технического прогресса логично влекут за собой оптимистичное убеждение в возможности всеобщей интеграции на основе цивилизации и правового материализма — вне исторических и религиозно-национальных традиций. При этом подсоветский человек в своих представлениях о западном обществе исходил нередко, так сказать, «от обратного»: ложь коммунистической пропаганды провоцировала видеть правду западных демократий в чересчур уж розовых красках.

Таким образом, потребительская цивилизация, неспособная на идеологическую переориентацию от гедонизма к самоограничению во имя сбережения биосферы, цивилизация, молодежь которой все глубже увязает на деле в компьютерном и телевизионном идиотизме, где масскультура размывает духовные ценности, нередко, даже вопреки желанию того или иного автора, представлялась как образец для подражания и идеал, в сторону которого и должен трансформироваться Советский Союз. Действительно ценные политические и демократические свободы и права человека оказывались, таким образом, вырванными, так сказать, из нравственно-культурного контекста цивилизации, который намного неоднозначнее, чем это казалось нашим свободолюбцам.

Парадокс в том, что идеал преизбыточного материального благополучия, на котором зиждутся общества потребления, не был, разумеется, идеалом тех, кто ставил это общество в пример коммунистическому режиму. Для себя-то они, безусловно, выбирали жертвенность и самоограничение, подвиг предпочитали конформистскому гедонизму.

Академик Сахаров, например, сам, своей личностью — в беспримерном противостоянии маразмизирующей системе — явил столь высокий образец под-

линной духовности и невероятного, «материалистически» необъяснимого мужества, что оказался выше «теории», намного значительнее, нежели социальные воззрения, отстаивавшиеся ученым в разное время, будь то «демократический социализм» в начале его правозащитной деятельности или «среднеарифметический» либерализм в конце ее. Мироззренчески академик остался чужд тем духовным тенденциям, которые со времен «Вех» стали проникать и в социальное мышление, — процесс, к сожалению, оборванный революцией и переместившийся в эмигрантские социально-политические наработки.

...Другой оригинальный мыслитель, инженер-физик Дмитрий Панин (прообраз Сологодина из солженицынского романа «В круге первом»), чьи мировоззренческие представления¹ — в силу их религиозности — на первый взгляд кажутся противоположными сахаровским, был в позитивной части своей социально-политической и экономической программы вполне ярко выраженным технократом с иллюзиями социального конструирования.

Может быть, благодаря гулаговскому опыту, несколько острее других вида духовные тупики нашего века и всего нового времени в целом, Панин тем не менее и еще в СССР и в эмиграции (с 1972 года) ищет выход в достаточно утопическом социально-политическом конструировании. Наиболее ярко технократизм Панина просматривается в смешении гуманитарных, даже религиозных или, во всяком случае, религиозно-философских понятий и понятий чисто инженерно-математических и физических. Все это в наибольшей степени проявилось в так называемом «спасительном принципе», формулируемом Дмитрием Паниным.

«Церковь, люди доброй воли, в том числе элита людей умственного труда, — пишет Панин, — образуют положительное силовое поле; антицерковь, интеллигенция и преступный мир — отрицательное поле. Остальные люди занимают промежуточное положение, но их микрополя, не выходящие за пределы семьи или друзей и знакомых, находятся под воздействием этих двух полярных полей. Когда преобладает положительное силовое поле, общество развивается нормально, без катаклизмов. Преобладание отрицательного поля подтачивает основы общества, разлагает население, вызывает гниение ведущих слоев, распад традиционной формы жизни».

То есть Панин воспринимает интеллигенцию как явление и силу сугубо отрицательные, ставя ей в вину беспочвенность и безбожие и идя в радикальности своих на этот предмет суждений намного дальше «Вех» и Г. П. Федотова. При этом технократическая форма, в которую он облекает свои суждения (смещение физических и гуманитарных понятий), приводит мыслителя на по-своему утопический путь, им же самим столь яростно обличаемый.

Правда, эклектика многих суждений интеллигентов послереволюционного поколения, буквально с кожей подчас отдиравших марксистскую шелуху, естественно, объяснима доморощенностью их мировоззрения, формировавшегося без нужных философских и культурных источников. Глубина и добросовестность исканий редко вовремя получали нужную подпитку, «лагерная пайка» существовала и в духовной области тоже.

И вот — уже в более позднее и внешне благополучное время — упрощенно смешивая символы православной веры (в частности, Троицу) с физико-математическими выкладками и обоснованиями Творца, Панин создает схоластическую теоретическую схему развития общества, последовательная реализация которой означала бы попытку внедрения в жизнь новой утопии — со всеми вытекающими отсюда последствиями: «Система управления положительным полем не допускает отрицательных полей. Соответственно в Державе созидателей должен быть наложен запрет на антиправительственную и антинародную борьбу, а также на любые стремления исказить русло традиционного развития общества». Здесь у Панина — как и у позднего Ильина в «Наших задачах» — просматривается возможность репрессивных принципов внутренней политики, база для внедрения принципов «великого инквизитора», для «благонамеренной» деспотии.

Ближе всего (из дореволюционных практиков и теоретиков реформ) идеи Панина стоят к идеалам раннего Витте в эпоху его увлечения «технократиче-

¹ Панин Д. Держава созидателей. М. «Радуга». 1993.

ским самодержавием». Однако последний наверняка пришел бы в смятение от подобной панинской разработки своих взглядов.

Механическое деление людей на «созидателей» и «разрушителей», чуждое истинному христианскому пониманию человеческой души как арены постоянной и напряженной борьбы между добром и злом, создает представление об обществе и человеке, весьма близкое марксистским идеям об избранном классе созидателей — авангарде общества. Однако роль пролетариата и связанной с ним тоталитарной партии (в качестве оплота диктатуры его как класса) здесь играет научно-техническая, и в первую очередь инженерная, интеллигенция.

«Для нас, тружеников и строителей жизни, главным признаком был и остается созидательный вклад человека. Система отбора прекрасно действует в инженерном деле. Когда нужно строить мостовикам большой мост, выбор обычно падает на наиболее достойного строителя, а не на неудачника. Мы выбрали пример из области наибольшего сосредоточения созидательной мысли в крайне ответственном деле, и неудивителен поэтому выбор, который должен быть сделан. В других областях сосредоточение созидательной мысли может быть меньшим, но у созидателей оно всегда на достаточно высоком уровне, и при необходимости можно достичь этого уровня среди офицеров, юристов, врачей и других специалистов различных отраслей».

Утопически-технократическая основа такого рода идей порой обесценивает даже те положения, которые носят вполне разумный и конструктивный характер. Это касается, например, роли местного самоуправления, развития различного рода профессиональных корпораций, что могли бы участвовать в отборе чиновников на государственные должности, в экспертной оценке различного рода законопроектов и уже существующих законов, рабочей собственности в некоторых отраслях промышленности.

Понимание Паниным ценности национальной самобытности и борьбы с леволиберальным мировоззрением, характерным для нашей общественности, нивелируется упрощенно-инженерным «виттевским» подходом к решению насущных сложных проблем в будущей российской постсоветской действительности. Потому даже жесткая критика, которой подвергает Панин крайности рыночной экономики западного типа, не несет в себе позитивной альтернативы.

Предложение создания «службы защиты и этического контроля», которую осуществляют коллегии («думы») ученых, долженствующие решать вопросы идейного и другого несогласия, а также давать этическую оценку правительственным законопроектам, кажется вполне утопичным, смешивающим этику и профессионализм, как будто второй и впрямь обеспечивает и государственную мудрость, и бескорыстие.

Прожекты такого рода — будь то безудержное развитие научно-технического прогресса, по ходу дела решающее самые наисложнейшие проблемы (даже выходящее за пределы планеты), или авторитарно-технократическое общество под надзором элиты — идентичны в главном: личность в них — атом утопии.

Идеалист А. Д. Сахаров до конца жизни гуманистически верил в преимущественно доброе начало в человеке, искажаемое лишь социальными условиями и дурными правителями, в чем был наследником просветителей, а также великих гуманистов прошлого века.

Д. М. Панин, пройдя сталинскую неволю, видел в человеке несравненно меньше природного добра и, кажется, сам того не желая, рекомендовал выйти из тоталитаризма во многом тоталитарными же методами, в основе которых лежало неверие в возрождение человеческой души без целенаправленных усилий и строгого контроля со стороны новой, просвещенной элиты. Будучи одновременно православным христианином и, психологически, частью советской инженерной машины, он искал в своем жизненном и техническом опыте обоснование возрождения России. Таким образом, можно считать, что зародившаяся в эпоху Витте технократическая сторона традиционного русского утопизма, лишь внешне противопоставив себя укоренившимся издавна в России революционным социалистическим утопиям, нашла свое новое выражение в сумерках коммунистической эры.

...Иного рода утопизм видим мы у В. Е. Максимова в проекте политического устройства России «Размышления о гармонической демократии» (1979)², где писатель попытался переложить герценовско-бакунинские идеи крестьянской общины как ячейки самоуправляющегося рыночно-социалистического общества на язык политических реалий XX века:

«Со времен отмены крепостного права крестьянская община становится фундаментальной единицей нашего бытия. На ней — этой общине, — словно опрокинутая острием вниз пирамида, держалась послереформенная Россия вместе с ее институтами, экономикой, традициями и верованиями. Именно в ней — в этой общине — исподволь, из года в год, и вырабатывался прообраз подлинной русской демократии».

Максимов не замечает исторически негативной роли общинного крестьянского землевладения в конце XIX — начале XX века, «маринованного», по выражению И. А. Ильина, русское крестьянство в уравнивательной нищете, и, к сожалению, повторяет заезженные еще народниками прошлого века — от Лаврова до Михайловского (не говоря уж о вышеупомянутых Герцене и Бакунине) идеи о русской общине как оплоте и ячейке развития прямой демократии в России. При этом писатель забывает о той роли, которую играла община отнюдь не только в России, но и во многих, в первую очередь восточных и азиатских, странах — например, Японии, Китае, Индии, Иране — в качестве основы специфической азиатской деспотии. Роль общины в российской истории, начиная со времен Ивана Грозного и кончая правлением Александра III, сходная; хотя, конечно, не будем забывать, что наша община имела определенное, пусть и ограниченное, позитивное значение, защищая крестьян от самодурства помещиков и их управляющих. Участвуя в раскладке повинностей, она поддерживала социально слабые слои крестьянства. Однако после 1861 года община стала не просто тормозом на пути развития новых производительных отношений в деревне, удушая самостоятельность именно среднего слоя крестьянства. Зачастую она становилась орудием ограбления крестьян в руках как правительственных налоговых служб (особенно при С. Ю. Витте), так и богатей «мироедов» из числа ростовщиков внутри общины и некоторых наиболее алчных представителей купечества — вне ее. Юридически освободившая крестьян от общины столыпинская реформа, исторических результатов которой почему-то не замечает Максимов, радикально переменяла положение в деревне, покончив с голодом, который почти циклически претерпевала сельская Россия — последний раз в 1911 году. Начиная с 1912-го и вплоть до 1921 года, несмотря на все общественные, социальные и политические потрясения и катастрофы, происходившие в стране, голод больше не угрожал российскому крестьянству. Лишь большевистская продразверстка, лишившая его семенного зерна, привела к голоду 1921 года. Появление зажиточного крестьянства, свободного от общины, благотворно повлияло и на значительную часть оставшихся в ней крестьян, способствуя возникновению новых социальных связей — через развитие крестьянской кооперации, в которую входили как хуторяне, так и общинники.

Таким образом, общинный социальный идеал умер еще до Первой мировой войны; отнюдь не разложение общины, а именно общинные пережитки тормозили развитие и стали причиной исторической катастрофы. А об исторической живучести столыпинских хозяйственных форм свидетельствует сохранение хуторской системы хозяйствования в северо-западных и западных областях России (Новгородской, Псковской, Петроградской, Смоленской, Брянской, Тамбовской губерниях, а также в значительной части Западной и Восточной Сибири), где она вплоть до начала коллективизации составляла от 25 до 35 процентов всех хозяйств.

Экономические взгляды Максимова проистекают из его представлений о русской истории. Подобно раннему Герцену видя ее развивавшейся исключительно на артельных основах, Максимов дает соответствующие рекомендации на будущее: «Экономическая система будущей федерации также, на мой взгляд, может отталкиваться от интересов и потребностей общины, группы об-

² «Континент», № 21.

щин, объединения общин и так, по восходящей, определить экономическую структуру государства в целом».

Фактически Максимов, сам, видимо, того не желая, копирует так называемую модель рыночного социализма Югославии, только лишь без партийной структуры «Союза коммунистов». Чем подобная структура обернулась для Югославии в условиях краха коммунистического политического стержня — «войной всех против всех» по региональному и религиозному признаку, — сейчас хорошо известно.

...Если сравнить положение в современной Югославии с тем, что случилось с Россией и другими бывшими советскими республиками после краха власти КПСС и распада СССР (а одно вытекало из другого), то, как ни странно на первый взгляд, взаимная озверелость в «экс-либерально-коммунистическо-рыночной» СФРЮ намного превзошла конфликтную ситуацию в СНГ. С чем же это связано? Очевидно, что рыночно-общинный социализм, породивший столько иллюзий, является тупиком не меньшим, нежели «классическая» тоталитарно-коммунистическая структура, которая, лишая человека собственности, подчиняя его полностью системе тотального контроля, выжигая его душу, тем не менее существует как некая суперложная, но целостная идеология с вытекающей из нее экономикой. Ее можно принять или отвергнуть, с ней можно бороться — иногда ценой собственной жизни.

Рыночно же общинный социализм создает фикцию человеческой самостоятельности; и поскольку в отличие от рыночного классического капитализма он не порождает крупных собственников, несущих ответственность за те или иные сектора экономики, конкурентная борьба общин и групп общин между собой приводит к резким столкновениям неравномерно развивающихся отдельных частей общества и государства, построенных по этому принципу. Безусловно, югославская война среди прочих причин — религиозных, национальных, исторических — имеет еще и эту. История поставила невольный эксперимент, реализовав «под занавес» идеи рыночно-общинного социализма «в одной отдельно взятой стране». Это привело к не менее трагическому развороту событий, нежели при становлении коммунистической модели в России. Можно сказать, что сама жизнь отвергла умозрительные построения Максимова относительно общинного будущего нашей родины.

Что действительно резко отделяет Максимова от его единомышленников по общинным иллюзиям — так это понимание необходимости духовного возрождения, исторической роли православия, всего того, к чему социалисты обыкновенно глухи.

При этом Максимов убежденный сторонник свободы культуры, печати, искусства — разумеется, при условии твердого запрета пропаганды национальной ненависти и порнографии.

Владимир Максимов уже тогда предвидел опасности, подстерегающие освобождающуюся от коммунизма Россию. И если националистические листки носят все-таки у нас теперь совершенно маргинальный характер и интеллигенция неусыпно обличает проявления шовинизма, то порнография и бульварщина беспрепятственно затопили культурный рынок и, по существу, сделались непременной составной новой «идеологии».

Глубокий и драматичный конфликт Максимова с российской посттоталитарной реальностью, когда «четвертая власть» закрыла для него двери своих редакций, обрекая на сотрудничество с коммунистической «Правдой», обусловлен в значительной степени именно его взглядами: неприятием «капитализма без берегов» и беспредела в культуре. Имея долгий опыт эмигрантской жизни, Максимов лучше и глубже наших неофитов от демократии знал беды и язвы западной цивилизации. И хотя публицистический темперамент, переходящий порою в ярость, заносил его иногда чересчур далеко, основной порыв, пафос позднего Максимова, лишенный конформистской оглядки, заслуживает всяческого уважения. Будучи демократом по сути, он не терпел той «двойной бухгалтерии», которую гуманистический либерализм применяет порою в своих оценках политической и культурной реальности: Максимов любил нарушать и темпераментно нарушал многие лицемерно, под сурдинку, существующие демократические табу и схемы. Его традиционный для русского интеллигента пафос общественной справедливости, который всегда двигал пером писателя,

его «не могу молчать» логично поставили Максимова в резкую оппозицию новому олигархическому режиму и всей сервильной — под соусом демократических убеждений — части столичной интеллигенции. В мирочувствовании Максимова сложно уживались «веховское» и «короленковское»³...

...Несколько особняком от вышеупомянутых проектов и идей российского обустройства стоит проект А. И. Солженицына в «Письме вождям Советского Союза», которое он 5 сентября 1973 года — «через окошко приемной ЦК» — передал членам Политбюро⁴.

Сама необычность жанра: развернутый совет высшей номенклатуре, как ей переориентировать свою деятельность — на пользу отечеству и народу, — тут многое, конечно, определяла. Об этом не раз говорил и сам Солженицын, подчеркивая, что ему невольно приходилось многое упрощать из желания быть понятым теми, чей мыслительный и культурный уровень рознился с солженицынским прямо-таки антропологически (на ближайшем заседании Политбюро Брежнев проинформировал: «На мое имя поступило заявление в ЦК КПСС от Солженицына. Он пишет, в отличие от всех предыдущих писем, несколько иначе, но тоже бред»).

В своем — по определению Брежнева — «заявлении» Солженицын не предлагает, разумеется, пожарным порядком вводить демократию: нельзя допустить ослабления властных рычагов управления. «Тысячу лет жила Россия с авторитарным строем — и к началу XX века еще весьма сохраняла физическое и духовное здоровье народа. ...Россия — авторитарна, и пусть остается такой, и не будем бороться с этим». Провести в жизнь демократию может только сильная власть, слабая — приведет к олигархическому беспределу, как уже привела однажды к победе большевиков. Необходим отказ от общеобязательной идеологии и экспансионистской политики под маркой победного шествия по земле марксизма — в пользу национального духовного возрождения, создания живительных условий для нравственного и профессионального отбора, местного самоуправления вне вакханалии партийных игр.

Взгляд Солженицына ясный, простой и трезвый, лишенный обычных интеллигентских предрассудков и комплексов. Коммунистическую систему Солженицын видит не как наследницу «русско-азиатских традиций» (так считала тогда почти вся наша диссидентура), но как самую большую часть единой, забывающей Бога цивилизации. После «Письма...» писателя упрекали в изоляционизме и даже национализме, тогда как на деле Солженицын предлагал лишь искусное врачевание ран, нанесенных коммунизмом России. Элемент утопии у Солженицына периферийен и прямо не затрагивает духовную сердцевину его «проекта»: это предложение начать широкое обустройство российского северо-востока на принципиально новых основаниях — подобно тому, как есть свободные экономические зоны в Китае. Вряд ли такое было возможно. К тому же, похоронив «косыгинские реформы», наша номенклатура закрыла для себя эволюционный путь Ден Сяопина или Кадара.

«Построение более чем половины государства на новом свежем месте позволяет не повторить губительных ошибок XX века — с промышленностью, с дорогами, с городами» — в утопии такого соображения не приходится сомневаться: государство — не доска с шахматными фигурами, которые можно перемещать в нужном игроку направлении. Впрочем, интерес Солженицына к Сибири и северным районам России глубоко обусловлен его опорной исторической концепцией, построенной на идее признания Московской Руси основной преемницей древнерусской традиции, пришедшей к нам через Киев и Владимир, Новгород и Псков, через Сергия Радонежского и Нила Сорского. Как известно, после Смутного времени политика первых Романовых заключалась в стремлении не столько к натиску на Запад, сколько к освоению огромных пространств Сибири и других восточных районов и включению их в состав Российского государства. Объединение с Украиной и неизбежная из-за

³ Поздняя публицистика писателя собрана в кн.: Максимов В. Самоистребление. М. «Голос». 1995. (Примеч. ред.)

⁴ См.: Кублановский Ю. «Используя известную классификацию Данте...». — «Новый мир», 1995, № 9.

этого война с Польшей не изменили данного направления российской политики XVII века. Лишь резкий поворот Петра, и в еще большей степени его наследников (не ограничивавшихся удержанием отвоеванного ими у Швеции Балтийского побережья, а начавших глубокое вмешательство в европейские дела), сделал российскую политику менее национальной, более имперско-западнической. Окончательный перелом, происшедший в эпоху Екатерины и разделов Польши, а позднее — Александра I и наполеоновских войн, полностью увел Россию на опасный имперский путь.

Солженицын пытался и пытается возродить национальное сознание, отделив его не только от коммунистических догм, но и от ложных идолов имперского величия. Он ищет опору для возрождения страны в тех исторических эпохах, когда русское общество находило общий язык с властью не подрывая ее, но и не превращая себя в ее послушное безгласное орудие.

В этой связи писателя волнуют также вопросы социальной дисциплины в условиях перехода от всевластия тоталитарной идеологии к свободному развитию страны на возрожденных национальных основаниях. «Да, конечно, свобода нравственна, — пишет он, — но только до известного предела, пока она не переходит в самодовольство и разнузданность. Так ведь и *порядок* — не безнравственен, устойчивый и покойный строй. Тоже — до своего предела, пока он не переходит в произвол и тиранию».

«Письмо к вождям» советскими вождями услышано не было. Так же как власти уже посттоталитарной России не вняли солженицынскому «Как нам обустроить Россию», Горбачев укорял Солженицына в монархизме. Для деятеля с коммунистической закваской, на дрожжах которой всходила опара наших доморощенных «общечеловеческих ценностей», очевидно, любое здоровое почвенничество суть «монархизм».

Что сказать в заключение?

После катастрофы 1917 года лучшие умы России думали о возможностях ее исцеления, а шире — о принципах, на которых должно основываться общество будущего. Дети своего времени, они не были, разумеется, свободны от утопических aberrаций и заблуждений. Но магистральная линия от «Духовных основ общества» С. Л. Франка до последних работ Солженицына прослеживается четко: это принципиально новый демократизм, укорененный в морали и праве, жидущийся на сознательном самоограничении человека — не хищника, но мировоззренчески духовного существа.

Необходима, писал И. А. Ильин, «некая исторически-национальная и государственная ткань солидарности. Люди должны быть вращены в нее трудом, семейственностью, правосознанием, религиозным чувством и патриотизмом. Ею держится всякое государство, особливо же демократическое».

Только сочетание демократии и агиократии — «власти святынь» (выражение П. И. Новгородцева), исторического и естественного права может объединить традиционные и реформаторские начала русской жизни в единое русло российского возрождения.

ВИКТОР БЕРДИНСКИХ



ВОССТАНИЕ ДМИТРИЯ ПАНИНА

Дмитрий Михайлович Панин (1911 — 1987) был продолжателем той достойной русской традиции одиноких и самостоятельных мыслителей, что были во все времена: в Новгороде и Тобольске, Пскове и Москве, Перми и Нижнем... Порой их называли дилетантами, порой самоучками, иногда превозносили, чаще над ними иронизировали. Но и в XVII, и в XIX, да и в нашем свирепом XX веке они обогащали культурную картину уезда, губернии, России в целом: «В провинции любых времен есть свой уездный Сен-Симон» (Д. Самойлов). Умы, самостоятельно ищущие свой путь в этом мире, конструирующие его «модель» по своей, выстраданной, логике, достойны уважения и осмысления. И уж тем более — при тоталитарном режиме, когда воистину люди в России жили, «под ногами не чуя страны». Но мысль, пригнетенная к земле, перемолотая, казалось бы, в лагерную пыль, — жила.

Как ни странно, именно в зоне многие политзаключенные 20 — 50-х годов могли получить более широкое представление о мире, а самое главное, в жарких спорах, дискуссиях, обмене личным опытом — попытаться переосмыслить судьбу человека в мире, судьбу России, перетряхнуть розово-оптимистические идиллии дореволюционной интеллигенции о народе-богоносце. Философы и писатели, сформированные, *переогромленные* лагерем... Увы, большинство их там и погибло, их творчество так и не состоялось. Вернуться на волю, высказаться честно, широко и свободно довелось очень немногим: В. Шаламов, А. Солженицын, О. Волков... — эти и другие немногие имена у всех на слуху.

Менее известен, хотя по-своему высоко значителен, духовный опыт Дмитрия Панина — оригинального инженера, самобытного философа и мыслителя, глубоко и искренне верующего христианина. Большинство его трудов опубликованы во Франции (где он жил и работал в эмиграции с 1972 года) и нам практически пока неизвестны. А жаль: это плоды зрелого и оригинального ума, чистое вино мысли. В опубликованных в России лагерных записках Панина «Лубянка — Экибастуз» (М., 1990) — в отличие от множества других мемуаров гулаговцев — автор философски осмыслил лагерную жизнь как некий специфический микрокосм со своими законами и основами бытия, которыми, кстати, Панин, как прирожденный лидер, овладел весьма неплохо.

Потомок старинного русского дворянского рода, Дмитрий Михайлович даже в лагере сохранял облик, выдающий породу; близко знавший его А. Солженицын, выведший его под фамилией Сологодина в романе «В круге первом», писал: «Лицо Сологодина, собранное, худощавое, со светлой курчавящейся бородкой и короткими светлыми усами, чем-то напоминало лик Александра Невского... С белокурой бородкой, с ясными глазами, высоким лбом, прямыми чертами древнерусского витязя, Сологдин был неестественно, до неприличия хорош собой». Лагерная фотография Панина (в следственном деле 1943 года — анфас и в профиль), которую мне удалось увидеть, подтверждает это. Благодордством и духовностью веет от облика этого человека.

В романе Солженицына отчетливо видно изумление и удивление автора, его любование (с оттенком, впрочем, в иных местах некоторого сарказма) яркой и оригинальной личностью Сологодина — Панина: «Он был ничтожный бесправный раб. Он сидел уже двенадцать лет, но из-за второго лагерного срока конца тюрьме для него не предвиделось... Сологдин прошел чердынские (неточность — вятские. — В. Б.) леса, воркутинские шахты, два следствия —

полгода и год, с бессонницей, изматыванием сил и соков тела. Давно уже было затоптано в грязь его имя и его будущность. Имущество его было — подержанные ватные брюки и брезентовая рабочая куртка... Дышать свежим воздухом он мог только в определенные часы, разрешаемые тюремным начальством.

И был нерушимый покой в его душе. Глаза сверкали как у юноши. Распахнутая на морозце грудь вздымалась от полноты бытия».

Впрочем, в своих записках Панин также с большой симпатией и несколько «по-опекунски» описал Солженицына времен «шарашки» и Особлага.

...Значительная часть мемуаров Панина (более трети объема книги) посвящена пребыванию автора в Вятлаге — крупном лагерном комплексе севера европейской России, одном из десяти лесных (то есть лесодобывающих) лагерей гулаговской империи. Там Панин провел годы Великой Отечественной войны: работал инженером в механических мастерских 5-го ОЛПа (отдельного лагпункта) Вятлага НКВД СССР (так официально именовался лагерь).

Именно в Вятлаге в 1943 — 1944 годах было сфабриковано второе следственное дело Панина — а это одиннадцатимесячная тюрьма, допросы, новый срок и полная дистрофия, выжил после которой Дмитрий Михайлович только чудом. Панин и двадцать семь его подельщиков обвинялись в подготовке к вооруженному восстанию и побегу из лагеря (статья 58-2 — расстрел или десять лет лагерей).

Очевидно, что следователям очень хотелось громкого дела и соответственного вознаграждения за усердие. Пока их сверстники гибли на фронтах Отечественной войны, они выслуживались подобным образом. Трехтомное следственное дело сохранилось. И можно сравнить воспоминания Панина на склоне дней в мемуарах — с кровавой вязью допросов, очных ставок и признаний подследственных.

«На следствии, — писал Панин, — я не скрывал свои взгляды. Я знал, что если расстрел наш состоится, то я умру с сознанием, что... возможно, будущий историк скажет спасибо, когда в ворохе лжи и глупых выдумок наткнется на искреннее мнение человека той эпохи». Час пробил — следственное дело Панина в руках историков.

19 марта 1943 года в одну ночь, в лучших чекистских традициях, как иронизировал Панин, чекисты Вятлага (а так они, кстати, назывались на вполне законных основаниях, так как были сотрудниками оперчекистского отдела) произвели на нескольких лагпунктах аресты двадцати восьми заключенных. Поводом для ареста, по мнению Панина, послужила неразумная болтовня одного из участников подготовки к побегу — Павла Александровича Салмина. «Несомненно, Салмин трепал языком сверх меры, — писал впоследствии Дмитрий Михайлович, — хотя я не обвиняю его в провокации. Иногда мне даже казалось, что он «травит баланду» с целью сшибить себе лишнюю пайку и талон на обед. Ужасно то, что он своей болтовней запутал многих людей и потом всех назвал на следствии».

Трехтомное дело действительно открывается обильными и пространными материалами допросов Салмина. Нам сложно представить себе живую атмосферу этих допросов. Но очевидно, что Салмин просто раскололся и начал говорить много лишнего — того, о чем его и не спрашивали. Очевидно, что с явной подачи следователя звучат такие слова его признания: «Мне хочется предотвратить еще большие подозрения и излишние аресты. Поэтому из соображений практической целесообразности (ох, сколько людей эта чеканная формула подвела под монастырь. — В. Б.) я решил дать исчерпывающие показания по делу и назвать всех людей, причастных к антисоветской повстанческой деятельности, но до сего времени скрывавшихся мною»¹.

Показания Салмина — это, как всегда и бывало, труд двух человек: заключенного и следователя. Следователь подсказет, намекнет, проведет нужную мысль и необходимую формулировку, сломленный подследственный согласится. Отчетливо видно, что Салмин сотрудничает со следователем. Первым в

¹ Архив Управления ФСБ по Кировской области. Следственное дело Салмина П. А., Панина Д. М., Бажина А. М. и других. В дальнейшем все материалы, относящиеся к следствию, цитируются по этому делу.

списке четырех человек, выданных Салминым на этом допросе, стоит «Панин Дмитрий Михайлович — инженер-механик, осужденный по ст. 58-10 УК к 5 годам лишения свободы, работавший в механических мастерских в качестве начальника отдела технического контроля. Из общения с Паниным я знал, что он враждебно настроен к советскому строю и к мероприятиям Советской власти». В последующих показаниях Салмин рассказал, что в сентябре 1942 года, общаясь с Паниным, он узнал о подготовке им группового побега из лагеря (в составе группы из пяти человек — заключенных 5-го ОЛПа). Во время другого своего приезда в мехмастерские Салмин, по его словам, устроил настоящее совещание этой группы в инструментальном цехе, где изложил свой план восстания заключенных всего лагеря. Участники вполне справедливо посомневались в реальности этого прожекта и настаивали на своем варианте группового невооруженного побега. Материалов Салмин дал очень много, недаром впоследствии Панин назвал его «романистом» и бойкотировал при встрече уже после приговора.

С этими показаниями следствие и обрушилось на Панина. Поставив дело Панина вторым — после Салмина — в томе, чекисты ясно показали этим, что считают его важным и опасным лидером заговора. Но если в деле Салмина более ста шестидесяти страниц текста и документов, то в деле Панина чуть более двадцати.

Его поведение на следствии кардинально отличалось от поведения Салмина: это была глубоко продуманная и достойная линия поведения уверенного в себе человека. В деле, кстати, хранится и выписка Особого совещания от 15 марта 1941 года, по которой Панин получил пять лет лишения свободы (считая срок с 18 июля 1940 года — с момента ареста). Показательно, что допросы Панина ведет капитан госбезопасности Романенков — зам. начальника оперчекистского отдела Вятлага: система званий в НКВД была иной, чем в армии, и звание капитана госбезопасности примерно соответствовало армейскому полковнику.

Оставив в покое несговорчивого Панина (чекисты прекрасно разобрались, что с ним каши, то бишь дела, не сварить), следователи сосредоточились на более податливых. Как писал впоследствии Дмитрий Михайлович, анализируя опыт следствия: «Чекисты, создавая абсолютно вымышленные дела, запутывали людей, которые под давлением „неопровержимых улик“ из арсенала Вышинского — Берия давали „искренние и чистосердечные показания“».

Более месяца (с марта по май) Панина вообще не допрашивали, накапливая против него материал. В протоколе допроса от 5 мая 1943 года читаем: «В о п р о с: Следствием установлено, что вы проводили активную антисоветскую повстанческую деятельность в лагере. Намерены ли вы дать правдивые показания по этому вопросу? О т в е т: Я все время даю следствию совершенно правдивые показания о том, что никакой антисоветской деятельностью в лагере не занимался. В данное время могу повторить лишь то же самое. В о п р о с: В антисоветской повстанческой деятельности вы уличаетесь показаниями ряда лиц, проходящих по этому делу в качестве обвиняемых, в том числе показаниями Салмина и Сучкова, которые вам зачитываются. Намерены ли вы и дальше скрывать свою преступную деятельность? О т в е т: Зачитанные мне показания Салмина и Сучкова являются сплошной выдумкой, и я не верю, чтобы они могли давать подобные показания».

Заключенных во время следствия просто ломали, у палачей для этого были неограниченные возможности. Панин вспоминал про начальника следственного отдела Вятлага Курбатова: «Это он, якобы чужими руками, подводил нас к расстрелу, держал меня все одиннадцать месяцев с уркаганами, настоял на продлении следствия после первого приговора и по этапу отправил на смерть наиболее ему неугодных».

Обложенный показаниями своих подельщиков, как волк в загоне, Панин принял продуманное решение — отмести обвинения в организации восстания и признать участие в подготовке побега. «В июле 1942 года, — показал он наконец на следствии, — в связи с переводом механических мастерских на 5-й лагпункт я тоже был переведен вместе с ними туда же. Здесь на 5-м лагпункте я снова встретил Сучкова (своего однодельца 1940 года. — В. Б.), и наше общение с ним стало регулярным. В процессе обмена мнениями мы установили,

что ввиду продолжавшейся войны продовольственное положение в стране с каждым днем будет ухудшаться, а положение заключенных в связи с этим к зиме 1942/43 года станет критическим. Оба мы пришли к выводу, что если на зиму мы останемся в лагере, то неизбежно от недостатка продуктов питания умрем. Единственным выходом для спасения своей жизни мы считали побег из лагеря».

Решение вполне здравое, учитывая, что предыдущей зимой 1941/42 года от голода и непосильного труда на лесоповале вымерло значительно более половины заключенных Вятлага.

Затушевывая расстрельный для себя прожект вооруженного восстания, Панин рассказал о проделанной практической подготовке к побегу. При этом он не выходил за рамки информации, уже выданной следователю Салминым и Сучковым — двумя «романистами» этого следствия. С показаниями именно Салмина и Сучкова, данными против него, следователь предварительно ознакомил Панина. Опираясь на уже известные следствию факты, Панин и сообщил: «Для совершения побега нами было сделано следующее: Сучков заготовил до 15 килограмм муки, по несколько килограмм гороха и сухарей. Он же достал административную карту Кировской области. Лично я достал котелок, один или два мешка и изготовил компас. В части подбора людей для побега мною было проделано следующее: в конце августа 1942 года я склонил на побег из лагеря мастера механических мастерских з/к Заморуева Василия Александровича, осужденного по ст. 58 УК РСФСР. Я долго убеждал Заморуева в безвыходности его положения и в необходимости совершения побега из лагеря, и наконец после нескольких бесед мне удалось его уговорить. Заморуев согласился с нами бежать. Совершение побега мы наметили на 6 сентября 1942 года, причем условились встретиться втроем на ж. д. линии между станцией Лесной и совхозом 5-го лагпункта, откуда направиться в лес и держать маршрут на город Киров.

В назначенный день мы с Заморуевым явились в условленное место, но Сучков почему-то задержался и в условленное время не явился, поэтому мы с Заморуевым возвратились в мастерские, и побег был отложен до 20 сентября. 20 сентября 1942 г. Сучков сообщил, что заготовленные им для побега продукты питания исчезли, поэтому побег из лагеря нам снова пришлось отложить.

После этого я стал обрабатывать на побег из лагеря местного жителя з/к Бажина Александра, работавшего в механических мастерских в качестве слесаря-лекальщика. Бажин изъявил согласие бежать с нами из лагеря и в свою очередь предложил привлечь к побегу его приятеля фрезеровщика Михуткина Михаила. Я возражал против привлечения к побегу Михуткина, мотивируя это отсутствием у последнего пропуска, что приведет к быстрому обнаружению его побега военизированной охраной (заключенные, не имеющие пропусков, часто проверялись охраной. — В. Б.), а следовательно, и к провалу организуемого побега. Бажин не соглашался с моими доводами, а впоследствии он поставил неременным условием своего побега обязательное участие в нем Михуткина».

...В общем, насколько можно судить, дальше разговоров и неудачных практических приготовлений дело не пошло. Вся затея скоро б стерлась из памяти причастных к ней заключенных, отчетливо осознававших, что болтать об этом в лагере, наводненном доносчиками, смертельно опасно, если б не Салмин. Панин был знаком с ним с конца 1941 года, вел довольно откровенные беседы о многом. «Поэтому, когда осенью 1942 г. он приехал в командировку на 5-й л/пункт, я при встрече с ним сразу же информировал его о подготовляемом мною групповом побеге из лагеря и предложил ему бежать вместе с нами. Салмин в беседе со мной наедине выразил свое согласие бежать из лагеря, однако вечером этого же дня, когда в помещении инструменталки мехмастерских собрались участники подготовлявшегося побега Заморуев, Бажин, Михуткин и я, Салмин стал возражать против простого побега, доказывая невозможность побега без оружия. Салмин заявил, что невооруженных беглецов может задержать всякий случайный стрелок охраны или любой активист населенного пункта. Поэтому Салмин предлагал совершить вооруженный побег, а оружие отобрать у стрелка охраны, несшего службу по охране механических мастерских, а также у стрелков, конвоировавших бригады заключенных мимо механических мастерских. На этом же совещании, развивая свою мысль

далее, Салмин выдвинул идею вооруженного восстания заключенных всего лагеря. При этом Салмин изложил следующий план восстания заключенных:

На 1-м лагпункте подготовленные Салминым решительные люди из числа заключенных захватывают оружие в воензированной охране, ими освобождаются все заключенные этого лагпункта, прерывается телефонная связь с другими подразделениями лагеря, захватывается ж. д. транспорт, на ж. д. поездах повстанцы следуют на другие лагпункты, где, по мнению Салмина, к восстанию присоединяются все заключенные, восстание охватывает весь лагерь, на месте создается власть из восставших заключенных, а для борьбы против частей НКВД создаются соответствующие войсковые соединения из повстанцев. Излагая этот план, Салмин убеждал присутствовавших в том, что на 1-м лагпункте им уже все подготовлено к восстанию. Я и Заморуев доказывали невозможность организации восстания в лагере, но Салмин настаивал на своем. В связи с такими разногласиями на совещании к определенному решению мы не пришли.

После этого Салмин, приезжая в командировки на 5-й лагпункт, в беседах со мной наедине пытался склонить меня на участие в восстании, и в одной из бесед по этому вопросу я высказал ему свое недовольство в том, что вместо действия мы много занимаемся разговорами, и заявил ему, что время кончать с разговорами и начинать действовать, а когда они начнут на 1-м лагпункте и придут на 5-й лагпункт, то мы к ним присоединимся.

В о п р о с: Склоняя Салмина на активные действия, вы имели в виду восстание?

О т в е т: Я имел в виду получить от Салмина определенный ответ, будет у них восстание или нет, а если оно будет, то когда именно, чтобы в день восстания воспользоваться замешательством администрации лагеря, совершить побег из лагеря в составе подготовленной мной группы.

В о п р о с: Вы дали Салмину согласие присоединиться к подготовлявшемуся им восстанию в момент, когда повстанцы придут на 5-й лагпункт. Почему же вы сейчас скрываете свои повстанческие намерения?

О т в е т: Я говорил Салмину, чтобы он перестал заниматься разговорами и начинал действовать, но присоединяться к восстанию не обещал.

Следователям очень хотелось раздуть болтовню Салмина о восстании как серьезный практический план большой тайной организации заключенных, где «серым кардиналом» — мозгом восстания — им виделся именно Панин. С целью «дожать» Панина с ним было проведено несколько очных ставок во всем сознавшихся и расписавших все как надо однодельцев. Механика и техника чекистской работы тех лет отчетливо проявилась на этом следствии. Панин писал на склоне дней в мемуарах: «Мои отказы отвечать на допросах привели к серии очных ставок, на которых подобия людей, доведенные почти до состояния невменяемости, изобличали меня в выдуманных чекистами преступлениях. Я чувствовал себя на спектакле китайских силуэтов: тени людей, тени преступлений. Но так или иначе, на бумаге обвиняемый оказывался опутанным какой-то паутиной, невзирая на несогласие. Стряпня выглядела неубедительной и жалкой, но в тридцать седьмом такого материала хватило бы для расстрела целого лагпункта...»

В 1943 году расстреливали уже с оглядкой. Не потому, что режим стал человечнее, просто приток свежей *рабсилы* в лагеря сильно поубавился по сравнению с мирным временем. А лагнаселение (официальный термин тех лет) сильно сокращалось из-за огромной смертности и отправки на фронт части неполитических заключенных. Производственный же план с лагерного начальства требовали по-прежнему жестко, система была жестока и к своим и к чужим, угроза оказаться на фронте, потерять такую синектуру заставляла чекистов беречь рабочую силу, видеть в зеке прежде всего работника.

10 июля 1943 года была проведена очная ставка Панина с Салминым. В начале текста протокола идет трафаретная, но обязательная фраза, что оба подследственных «друг друга хорошо знают и в ссоре между собой не состояли». В первом же вопросе Салмину капитан Романенков четко дал ему главную установку этой очной ставки: «На допросе 19 мая сего года вы показали об антисоветской деятельности сидящего здесь Панина Дмитрия Михайловича и о ваших поручениях ему по антисоветской повстанческой деятельности. По-

вторите свои показания в этой части. Ответ: Мои показания от 19 мая с/г в отношении Панина Дмитрия Михайловича я полностью подтверждаю и в его присутствии заявляю, что в конце 1941 и в начале 1942 г. он в беседах со мной неоднократно высказывал свое враждебное отношение к Советской власти. Панин считал, что постоянными спутниками Советской власти будут: недостаток продовольствия и недоедание населения, низкая производительность труда, отсталость в области науки и искусства. С Паниным мы весьма часто вели беседы на разные темы антисоветского характера, он неоднократно высказывал свои намерения о совершении побега из лагеря, склоняя меня совершить побег вместе с ним. Я же, создавая антисоветскую повстанческую организацию в лагере, хотел во что бы то ни стало привлечь Панина для участия в восстании, изложил ему свои повстанческие взгляды на одном совещании повстанческой группы 5-го лагпункта осенью 1942 года в присутствии Бажина, Заморуева и Михуткина. Я изложил подробный план организации восстания в лагере. Панин, в принципе, был согласен принять участие в восстании, но считал это дело более трудным и был за групповой побег из лагеря.

В октябре 1942 года я находился в командировке на лагпункте, и перед своим отъездом по окончании командировки я встретился с Паниным около центральных механических мастерских. И в беседе с ним заявил, что руководство восстанием он должен взять на себя. Одновременно я дал ему указания, как практически организовать восстание, как расставить своих людей, чтобы обеспечить успех восстания. Я же обещал Панину после успешного восстания на 1-м лагпункте захватить ж-д состав и вместе с повстанцами приехать к нему на помощь. Панин не возражал против моего предложения, но поставил передо мною условие, чтобы я как можно больше набрал повстанцев на 1-м лагпункте, чтобы можно было оказать ему (Панину) более эффективную помощь в случае организованного сопротивления на 5-м лагпункте со стороны охраны и вольнонаемного состава лагеря. Здесь же Панин спросил у меня, кто будет возглавлять восстание в масштабе лагеря, причем он высказал отрицательное мнение о названном мной одним из руководителей восстания — Леймере Георгии Людвиговиче — как о человеке нерешительном и трусливом».

Панин подтвердил показания Салмина лишь в той части, «что в беседах со мной он действительно излагал свой план организации восстания в лагере и на 5-м лагпункте. Бесед по этому вопросу у нас с ним было много, и я допускаю, что он делал мне предложение возглавить восстание на 5-м лагпункте, но оно мною принято не было, так как я настаивал на групповом побеге из лагеря и склонял на это Салмина».

Твердая, хорошо продуманная линия поведения Панина дала свои плоды, и Салмин вынужден был снять некоторые свои очень опасные утверждения. Это нашло отражение в протоколе очной ставки. Салмин вынужден был уточнить, что «совещание в механической мастерской происходило всего один раз, поэтому правильнее будет записать не „на одном из совещаний“, а просто „на совещании“ и, поскольку присутствовавшие на совещании лица повстанческой группы собой тогда еще не представляли, правильнее будет записать не „повстанческой группы“, а просто „группы“».

Панин, как природный лидер, мог своим авторитетом повести за собой многих. На очной ставке Панина с А. М. Бажиным 11 июля 1943 года последний дал против него такие показания: «Сидящий здесь Панин Д. М. принадлежал к числу руководящего состава контрреволюционной повстанческой организации. Данный вывод я делаю потому, что он (Панин) проводил вербовку новых лиц в повстанческую организацию и неоднократно пытался вовлечь в нее лично меня. В начале октября 1942 года Панин вызвал меня к себе в кабинет по служебному делу (для проверки измерительных калибров)... Я ему ответил, что Салмин говорил со мною о повстанческой организации и о восстании в лагере... Панин говорил, что участники этой организации на всех лагерных пунктах, уговаривал меня примкнуть. Говорил, что намечено поднять вооруженное восстание одновременно на 1-м и 5-м лагерных пунктах, где повстанцы в первую очередь нападут на военизированную охрану, личный состав которой будет уничтожен. После захвата оружия повстанцы лагпункта возьмут в свои руки ж. д. транспорт и на паровозах двинутся на 5-й лагпункт. По словам Панина, захватив телеграф, штаб охраны, оперчеккистский отдел, —

далее действуют сообразно обстоятельствам... На второй или третий день после этого он говорил, что если вооруженное восстание не удастся, то придется бежать отсюда небольшой группой и я, как местный житель, принесу большую пользу в качестве проводника. Во время этой беседы Панин еще раз предупредил меня, что если эта тайна мною будет разглашена, то я буду убит». Панин в ответ подтвердил лишь то, что «изложил ему план восстания в лагере, но сам отрицательно относился к восстанию». А «угроз с моей стороны не было. Бажина я неоднократно склонял на побег из лагеря и в этом принимаю на себя ответственность в полной мере».

И эта очная ставка была несомненно выиграна Паниным. Во многом благодаря его твердости даже в отстаивании нюансов и смысловых оттенков слов этот пухлый следственный трехтомник представляется дутым, шитым белыми нитками, грубой и откровенной фальсификацией усердствующих лагерных чекистов, тоскующих по довоенным временам больших «вредительских» организаций и массовых расправ. Особое совещание дало на основании этой «стряпни» всем участникам заговора только по пять лет. Следователи восприняли такой маленький срок как личное оскорбление и добились пересмотра дела, получив для этого дополнительные показания Салмина и Сучкова (основных «романистов» следствия). В результате большинство из двадцати восьми подследственных (в том числе и Панин) получили новые десять лет. Лишь пятеро из группы, даже и не слышавшие о побеге, получили пятилетние сроки. Только один из двадцати восьми умер в тюрьме. Это было даже странно, поскольку одиннадцать месяцев следствия (с 19 марта 1943 года по 19 февраля 1944 года) все они провели в лагерных тюрьмах и изоляторах, особенно голодных в военное время.

На допросах Панин действительно вел себя, судя по документам, очень спокойно и с большим достоинством, не раз переходя в наступление и не скрывая своего неприятия существующего режима. Так на допросе 21 мая 1943 года ему был задан вопрос: «Следствию известно, что по своим политическим убеждениям вы являетесь монархистом. Подтверждаете ли вы это? Ответ: Каких-либо законченных убеждений в этой части у меня не имеется, но иногда в своих рассуждениях я склонялся к монархизму, ибо считал, что Русское государство было бы наиболее устроенным, жизнь людей наиболее стабильной именно при монархическом строе. Я отрицательно относился к Советскому строю и в антисоветском духе высказывался об отдельных мероприятиях Советской власти. Мои конкретные высказывания в этой части я припомнить не могу. Вопрос: До вашего заключения в лагерь вы проживали в гор. Москве. К какой монархической организации вы принадлежали там? Ответ: В Москве я ни к какой монархической организации не принадлежал».

Даже по неполным, частичным, записям протоколов мы отчетливо видим, что вятлаговские чекисты схватку с Паниным проиграли.

В тяжелейших испытаниях тюрьмы и следствия, дистрофии и голода он проявил себя настоящим лагерным зубром и вожаком, спасшим своих товарищей от расстрельной статьи. Духовных сил, мужества, чтобы продержаться, надо было очень много. Например, протокол допроса Панина 21 мая 1943 года состоит из двух неполных машинописных страничек. Но в начале протокола мы читаем: «Допрос начат в 9 часов. Закончен в 18 часов». Таким образом, здесь лишь ничтожная часть говоренного, на что же ушло столько времени? Какую бы паутину хитросплетений и лжи ни громоздили чекисты, Панин отстоял свою линию поведения. И именно это было настоящим восстанием Дмитрия Панина против гулаговской системы и коммунистического режима. Восстанием — в отличие от мифического проекта, инкриминируемого ему в вину, — в котором он победил.

...Внутренняя свобода, поразившая Солженицына в Сологдине, была приобретена тяжким и мучительным духовным осмыслением лагерного опыта, обретением той внутренней высшей свободы, которую дают только бесстрашие и внутреннее достоинство. Дух может одолеть даже сверхмощную систему насилия и террора. Вся последующая деятельность христианского мыслителя Дмитрия Михайловича Панина опиралась на эту самостоятельно обретенную им духовную крепость.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

*

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ

1

Поздней осенью 1974 года я получил «на ночь» (тогда самиздат непременно давали «на ночь», что как бы подчеркивало значимость даваемого и всего с нами происходящего, хотя потом срок, само собой, растягивался на дни и недели) толстенную канцелярскую папку с расплзающейся кипой бледной машинописи — «ИЗ-ПОД ГЛЫБ».

Листочек с «содержанием» заинтриговал еще пуще: три статьи Солженицына, и у других — какие названия: «Есть ли у России будущее?», «Русские судьбы», «Направление перемен»... Читал, читал — до кома в горле, до настоящего ликования: вот оно — чаемое, вот они... наши «Вехи»! После поднадоевших уже двумерных диссидентских текстов с их обычно дилетантским апломбом, после больно дергавшей нервы правозащитной документалистики — вот наконец свод идей и мироощущений, саккумулировавший христианство, патриотизм и свободу. Вот публицистика, в энергиях которой просматривалась долгожданная духовная красота.

Середина 70-х — зенит упований на религиозное, а уже через него — и социальное возрождение общества. Политическая диссидентура, интеллектуальные маргиналы, художники, литераторы, не увязшие в советчине окончательно, ступили на церковный порог. И сразу стали интереснее и духом богаче.

С приятелем студенческих лет, а теперь вот изподглыбовским автором, В. Борисовым, мы навестили отца Дмитрия Дудко, находившегося тогда в апогее проповеднической известности. Батюшка полулежал в кресле после недавней автомобильной катастрофы, по слухам, подстроенной КГБ. Ноги в гипсе, новая голубая, ниже колен, сатиновая рубаша в белый горох, борода и волосы подсвечены золотисто солнцем. Сама простота, сама благость, но — с подпиткой широкой подпольной славы¹.

Теми же неделями познакомился я и с отцом Александром Менем. Его известность была шире, глубже, но и приглушенной дудковской. Это теперь — благодаря чудовищной мученической кончине, обширной энергичной деятельности его духовных детей, многочисленным изданиям творческого наследия — образ отца Александра приобретает легендарные, даже мифические оттенки. Тогда же он был просто, что называется, широко известен в узком кругу, в свободное от церковной и писательской деятельности время балансируя со своими прихожанами, чадами, собеседниками и паломниками на грани духовного окормления, пастырского вразумления и светского разговора. Найти ключ к сердцу обезбоженной подсоветской интеллигенции было непросто, надо, чтоб она признала тебя хоть отчасти своим; тут проповедничество сопоставимо с деятельностью древних миссионеров среди язычников, хотя язычники были, очевидно, готовнее к восприятию потустороннего.

Порою интеллигент заглядывал к отцу Александру скорее на огонек, чем в храм, покалякать о трансцендентном, видел в рясе больше маскарад, чем суть, — советский папуас, мнящий себя мыслителем. Но чувство юмора и об-

¹ Кто бы мог подумать, что через двадцать лет отец Дмитрий примкнет к мнящим себя патриотами сталинистам? Мне уже пришлось написать об этом («Мертвым не больно?» — «Новый мир», 1996, № 1).

шее уважение к интеллигенции в целом не позволяли пастырю раздражаться. Впрочем, не этот род окормления был для пастыря главным, хотя и ширил о нем заинтриговывающую молву; простые русские люди, сельские прихожане, собственн, и составляли его приход. Его проповеди ни в коем случае не были «высоколобыми» и рассчитанными на «избранных», приехавших из столицы; деревенскую старушку он исповедовал порою дольше, сосредоточенно вникая в нехитрые ее прегрешения, чем рефлексирующую московскую знаменитость.

Что и говорить, паства у него была чрезвычайно раскидистая. Выхожу однажды после причастия на крыльцо. Сбившись в кучу, возмущенно галдят старухи. Заглядываю поверх голов и вижу Надежду Яковлевну Мандельштам, съезжившуюся, утонувшую в просторном, словно с чужого плеча, манто. Впечатление, что еще секунда — и самосуд. Скорей протискаиваюсь и вывожу ее из толпы. Оказывается, вот в чем дело: сразу после причастия вышла на крыльцо и закурила свою привычную «беломорину»... «А что, нельзя? Разве нельзя?» — бормочет она. Топлю папирску ее в сугробе, спешу перевести разговор: «А вот отец Сергей Желудков считает Мандельштама католиком в нашей поэзии». — «Да что он в ней понимает!»

...В вечер знакомства — при неяркой настольной лампе — наш первый разговор «галопом по Европам», как всегда у русских, о самом главном. Внешность отца Александра теперь растиражирована на бесчисленных фото, но, в основном, поздних, уже перестроечных, когда стало «можно». Тогда же — еще без седины, с блестящими маслинами глаз, порывистый, напористый, но не авторитарный — он был со мной одновременно и прост, и безусловно хотел завоевать и понравиться. Да и куда было от него деться, к кому идти? Сразу почувствовал: это мой духовник (первый и последний пока, как оказалось). Имея дело, в частности, с литературной и художественной богемой, отец Александр сводил до минимума духовное утеснение, пас отнюдь не жезлом железным, меру подчинения нередко определял сам «пасомый». Но при этом подобающая дистанция между твердой праведностью отца (как мы его называли) и греховой расслабленностью — не размывалась.

Как и большинство людей выдающихся, отец Александр умел сразу задать разговору высокий тонус, из Новой Деревни каждый уезжал с частичкой его энергии, которая потом еще не один день сберегалась. Сохранялась и приходившая при общении с пастырем кристаллизация мысли и настроения.

До того в вопросе веры я был типичный тогдашний середнячок: что-то такое есть. Бог есть, но при чем тут наша церковь, где стукач на стукаче сидит и стукачом погоняет? Вело споспешествующее творческому возбуждению своеволие; дисциплина — только в ущерб поэзии. Детские — благодаря бабушке — литургические впечатления совсем расфокусировались, даже паломничества в Печоры, которыми в студенчестве пробавлялись, — только экзотика. Личная экзальтация на момент выводила порою к Богу — но потом опять в круговерть. Лишь постепенно, с мировоззренческим повзрослением, приходила большая глубина понимания необходимости Церкви как части жизни — и своей, и российской в целом. Отец Александр тут оказался незаменим.

...Не секрет, что религия часто берет культуру на подозрение, да новообращенный и сам сплошь и рядом теряет интерес к искусству, чтению, культурным занятиям вообще. Если уж Паскаль ради веры забросил математику, а Гоголь — литературу, то что говорить о простых смертных. Тем объяснимей отстранение от социальной деятельности, политики, вообще мирского. ...При коммунистах ввали; теперь передергивают, утаивают и лицемерят, иронией и напускным прямотушием, а то и фальшивым пафосом прикрывая невежество, цинизм и корысть. Потому многие православные испытывают объяснимое отвращение к СМИ, которыми под соусом информации внедряется в общество антагонистичная христианству идеология, оскорбляющая религиозное и унижающая живое национальное чувство. Порой невольно спрашиваешь себя: в чьей стране мы живем? почему нам плюют в лицо ежедневно?

Но отрезаемая из брезгливости от информации вообще — вера может вырождаться в сектантство. Таков фундаментализм, и в этом его абсурдность: с одной стороны, он отнюдь не прочь подчинить мир, он воинственен по отношению к падшему миру, ищет взять его под крыло своего спасения, а с другой — брезгуя, отворачивается от мира. В отце же Александре была органиче-

ская спайка религии, культуры, социального интереса; не было ни грана выморочности, внушительного декларирования позиции.

Целокупно понимал он и христианство: конфессии и исповедания были для него частью целого, объединенного единым Источником. В разнообразии конфессиональных форм он видел жизненность христианства. Без этого, предполагал отец Александр, «может быть, было бы что-нибудь однородное, однообразное, принудительное. Как будто, зная склонность людей к нетерпимости, Бог разделил их, чтоб каждый в своем саду выращивал свои плоды» — во имя грядущего соединения всего лучшего, «что есть в духовной культуре человечества и вообще во всем, что есть человек — образ и подобие Божие»².

Отец Александр не притеснял своих чад не только в культурной жизнедеятельности. Среди его духовных детей было много евреев, приходивших которым в православную веру, по понятным причинам, вдвойне трудно: тут надо было преодолеть не только атеизм, но и множество родовых, семейных, психологических традиций и комплексов. Отец Александр мастерски примирял, казалось, непримиримое. Но, как правило, не возражал, ежели кто-то принимал решение эмигрировать. И любил получать (с оказией, разумеется) многостраничные письма из библейских мест, где ему вряд ли было суждено побывать, но которые он освоил в своем воображении культурно.

Страшноватые, беспросветные 70-е годы вспоминаются сейчас как нечто духовно яркое — во многом именно благодаря Новой Деревне и отцу Александру. Коммунистический режим ощущался внешним намордником, Россия — подневольной, а потому внушающей особенно острую жалость. Это теперь каждый стбит столько, сколько он стбит, а тогда — мнились светлые, не задействованные из-за внешних обстоятельств силы, наливающиеся соками приобщения к Высшей Истине.

Вот приезжаешь в Новую Деревню (в самом названии символический какой-то оттенок) в сочельник — после электрички и трех километров сюда от станции изрядно прозябшим, — в церкви тепло, цветные лампы, словно огоньки на реке; икона Рождества перед солеей под кисейным пологом; отец Александр служит на этот раз смиренно, почти келейно. И вся суетня московская, страх новой повестки из КГБ, вечная запутанность житейских отношений, наконец, душу вытягивающая нищета, неустройство — все это почти улетучивается. Мнится, что отец Александр в этом храме — всегда, что здесь ты дома, что служение его непрерывно. И что он бережен и для властей предрешающих недосыгаем. В течение многих лет — вплоть до эмиграции — я только и чувствовал себя в безопасности почему-то: в дороге, в тряском вагоне, никогда внутренне не спеша добраться до цели, и вот — в Сретенском храме у отца Александра. Зимой — всегда хорошо, и чем морознее, чем больше снега — тем лучше; но хорошо — и на Пасху. Приехать часа за полтора до полуночи, когда читают Часы, с крестным ходом следовать за отцом Александром; к трем ночи в духоте испытывать малодушно тяжесть; но когда уже совсем под утро наконец подходишь к кресту, когда энергичный, праздничный, вовсе не утомленный отец Александр прохладную медь его придавливает к твоим губам — усталость словно рукой снимает. Или на Троицу: в храме по щиколотку свежего зеленого сена; чуть подвяленные березки; пурпурные ризы с парчовыми стихарями.

Отец Александр непринужденно умел соблюсти пропорцию между дорогой православному сердцу традиционной обрядностью и высокой духовностью, не дающей обрядности вырождаться в обскурантизм и букву.

С годами религиозный подъем середины 70-х не то что замедлился, а стал терять общественное звучание, таяли надежды на неконформистское, почвенное преобразование общества; ощущение *приобщенности* перестало быть в новинку. Состав паствы отца Александра сильно менялся: кто уехал, кому воцерковленность стала в бремя; приходили новые люди, в основном — технократы. Протоиерей стал и сам осторожнее: и впрямь, в его келейке наверняка стояла прослушка, о «мирском» безопасней было поговорить на улице.

² Так формулировал он в одной из своих лекций 1989 года.

...Я решил передавать стихи на Запад, сделался вдруг обильно печатающимся там подсоветским поэтом; не отцу Александру было меня отговаривать: его книги одна за другой (правда, под псевдонимом) выходили в Брюсселе. Секрет полишинеля, конечно, госбезопасность знала, кто автор, но ведь там не было никакой политики — это был религиозный «ликбез» высокого уровня, приноравливающийся к сознанию человека второй половины XX века. Отец Александр восполнял колоссальную лауну, образовавшуюся за советские годы, когда вовсе не было и не писалось широкой религиозной литературы, а богословие, в значительной степени схоластичное, было загнано в одно-два казенных, нагонявших скуку издания. Богато образованному протоиерею был доступен обширный мир зарубежного богословия, он приоткрывал его соотечественникам, создавая свою, пусть и несколько компилятивную, религиозную историософию. Но он-то публиковался в издательстве, в политическом отношении нейтральном, тогда как я — в крепко антисоветских журналах. И если в начале нашего знакомства я был безызвестным и глухим самиздатчиком, то к концу 70-х весьма опередил его крайностью своего диссидентского положения.

У подъезда «хрущобы» в Апрелевке, где в двухкомнатной клетушке ютился я с женой, грудным сыном, ее родителями и братом, дежурила постоянно мигалка — очевидно, для возвращения. Впрочем, однажды из нее вылез курировавший меня гэбист (я возвращался за полночь с электрички) и, не дав даже подняться предупредить семью, повез меня обратно в Москву. На Лубянке, честное слово, разочаровали: «Ю. М., это еще не арест». А если не арест, то какого ж черта... «Сергей Владимирович» повадился и ко мне на службу — я тогда дворничал на Антиохийском подворье возле Чистых прудов. С четырех утра порой разгребашь снег — к восьми, к концу смены, он входит в ворота; на бульварной скамье открывает свой дипломат: «Вас опять напечатали, что же это?» — показывает новый «Континент» или христианский «Вестник». Я «изумляюсь». Каждого, кто у них на крючке, они рассматривают как возможного осведомителя, это ясно. Но эти утренние «по душам» разговоры — вне лубянского кабинета... Вот ведь работали, времени не жалели. Однажды мне надоела эта *благожелательность*, благожелательность *следователя*, и я «вспыллил»: «Что вы строите из себя Порфирия Петровича? Я старушки не убивал». (А между тем и впрямь омерзение мое к «софье власьевне» стало уже зашкаливать: скосишься в метро в газету соседа, выхватишь фразу — и темнеет в глазах от ярости.)

Той же зимой в Переделкине я приглядел строящуюся виллу. Разузнал: «строится» Надежда Леже, вдова знаменитого (и пустого, на мой вкус) французского мэтра. Осенило: вот бы к ней в сторожа! Подсказали, что она дружна с Евтушенко. На мою просьбу замолвить за меня словечко шестидесятичелюстной трибуны отрубил: «Надя возьмет только члена партии». Ладно.

Отец Александр знал про мои мытарства и передряги, даже совал мне несколько раз какие-то деньги; но и его все плотней опекали, лишний раз к нему ехать в моем положении — значило его подводить. Подвизаясь в ту пору на работах в храмах Москвы или ближнего Подмосковья, я лишний раз мог убедиться, сколь уникален приход меневский — и духовным уровнем, и отсутствием страха; очень необычная клетка в тоталитарном зверинце.

В Елоховском сторожам вменялось в обязанность: при виде нищего немедленно сообщать в милицию. А вот в Никольское, за город, по весне к Пасхе стягивались нищие, калеки, юроды со всей страны, и аж до Покрова, до снега, — на весь сезон: здесь побираться они могли безбоязненно. Приезжали с одеялами, тряпьем, а то и спальниками, ночевали на местном кладбище. И хотя было строго запрещено, я их пускал, если непогода, в сторожку.

Слепцы — старик со старухой — высыпают из мешочка мелочь, за день собранную, в день воскресный обильную. Моя задача — рассортировать ее на две кучки: серебро в одну сторону, медь — в другую. Они сдадут ее утром в пристанционный продмаг — примерную сумму сами определяют по весу, — получают купюры. Или вот — Коля, инвалид в болонье, уж ежели у меня ночует, обязательно достает бутылку «Стрелецкой». Однажды, едва разлеглись в темноте при тусклом ночнике лампы по лавкам, Коля, заикаясь, и говорит:

— Г-гинзбург уже в В-вермонте.

Я обомлел. А у него, оказывается, в кирзовой суме «Спидола»: слушает голоса и в курсе большой политики.

...В 1982 году, 19 января, ко мне нагрянули с обыском. Восемь часов копались, простукивали стены, протыкали иглой подушки; как раз в то утро застрелился Цвигун, брежневская олигархия тонула в коррупции, а обыскивали меня — с всегда последней трешкой в кармане. Опять допросы, уже не на Лубянке — в прокуратуре, потом в Лефортове. И вот дилемма: «Уезжайте — или наматываем на всю катушку, семь лет лагерей обеспечим, будьте уверены».

По дороге в Новую Деревню невольно присматривался, нет ли за мной «хвоста». О патовой моей ситуации отец Александр знал от западных «голосов» и общих знакомых. Успокаивал: эмиграция — не трагедия, чужбинный опыт может быть на благо, а не во вред, приводил много примеров, вдруг упомянул покойного Галича и запнулся, глянул искоса, словно попросил прощения за неловкий пример. Напоследок перекрестил: «С Богом!» Я поцеловал благоговящую знакомую руку.

Той же осенью ход истории колоссально убыстрился — к неизвестной и посегодняя развязке. Помню, в Вене я спустился в лавку за сигаретами и — увидел портрет бровастого в черной рамке.

В Париже однажды приснился сон: вхожу в кабинет Андропова, смотрю на его вцепившиеся в подлокотники кресла пальцы, тут же превращающиеся в когтистые куриные лапки, сдирающие лоскутьями кожаную обивку. Вдруг стоящие рядом на столике бутылки боржомы начинают, сбрасывая металлические рифленые крышечки, фонтанировать маленькими хрустальными гейзерами... Прихожу тем же утром в «Русскую мысль» и прямо на пороге узнаю, что умер Андропов.

Перестройке эмиграция не хотела верить. «Горбачев — это Сталин сегодня», — сформулировал парижский историк Михаил Геллер (после звонка Горбачева актеру Ефремову; дескать, так же Сталин звонил Булгакову и Пастернаку). И все подхватили охотно, в каждом новом либеральном шаге подозревая новую коммунистическую провокацию. Такое было впечатление, что всерьез освобождения России никто не хочет: во-первых, это грозило материальному выживанию — утерей американских субсидий на антисоветскую деятельность, во-вторых, лишало статуса политэмигранта, низводя положение на обывательский уровень. Это теперь объясняют прямо, что «в Париже жить лучше», а сначала такого простого объяснения политические эмигранты как-то стеснялись, всеми правдами и неправдами оттягивая его. Когда «Новый мир» объявил, например, что будет публиковать «ГУЛАГ», в «Русской мысли» появилась статья, что вот, мол, изошрились до чего коммунисты — и «ГУЛАГ» обращают себе на пользу.

Со столь же деланным возмущением в офисе «Радио Свобода» один журналист протянул мне газету: интервью с отцом Александром Менем! Трудно определить, что я почувствовал, влага на глаза навернулась. И вот стали приходить с родины вести о его энергичной и больше не встречающей препятствий миссионерской деятельности: лекциях, публичных дискуссиях, беседах. Было рассекречено авторство его книг.

Вскоре на Запад завояжировали смелеющие «прорабы перестройки», и чем хлестче скажут, тем крупней гонорар и вероятней новое приглашение. Постоянные гастролы советских либералов — характерное явление европейской социальной жизни конца 80-х годов. Потом потянулись следом и другие невыездные, но только не отец Александр. Вот уж кого бы носили на Западе на руках, для кого б Ватикан, ищущий объединения и возглававший в этом смысле на отца Александра решительные надежды, не пожалел ничего. Но прославленный протоиерей, свободно знающий языки, охотно переписывающийся со многими зарубежными богословами и культурологами, наконец, выпустивший в Европе столько книг, отнюдь на Запад не устремился. Съездил в Варшаву и даже раньше срока поспешил вернуться домой. Видя своих соотечественников на все готовые ради нескольких лишних недель в Европе, я снова отметил про себя масштаб и значительность личности отца Александра,

в решительный момент предпочитающего миссионерство в отечестве. А ведь как был, наверное, велик соблазн воочию увидеть все те сокровища культуры, в которых — деля жизнь меж приходом в Новой Деревне и домом через несколько от нее станций на электричке — протоиерей знал толк, как редкий теперь интеллеktуал-европеец.

...Но вот в мае 1989 года мы повстречались — на какой-то экуменической «сходке», куда я забрел случайно (и где, кстати, усердно молились и многие нынешние фундаменталисты, строго запрещающие теперь продавать в своих приходах книги отца Александра), — под Мюнхеном. Обнялись, в сумерки вышли на берег Штарнбергерзее: розовато-серая гладь воды, голубичных оттенков альпийской гряды на горизонте. Отец Александр рассказывал, что происходит в Москве, в приходе, а я искоса любовался: обильная седина в шевелюре и бороде, как всегда начинающейся не от висков, а со скул, придавала облику пастыря какое-то высокое и новое качество, умягчающее прежнюю «ассирийскую» резкость. «Да, совсем, совсем поседел», — вслух прочитал он промелькнувшую мысль. Первым о возвращении моем в Россию деликатно не начинал разговора, но стоило мне лишь заикнуться, что собираюсь обратно, как он с горячностью меня в моем намерении поддержал: да, теперь бессмысленно сидеть на чужбине.

Осенью 1990-го вернувшись в Москву, я сразу уехал на Вологодчину. А в тот тускло-солнечный день с утра уплыл на лодке по ферапонтовским озерам. За весь день ни на воде, ни по берегам ни души не видел. Вернулся в избу, а моя хозяйка, эдакая дожившая до «перестройки» Матрена, и говорит: «Слышь, под Москвой-то попа убили».

Упало сердце.

Топором. Представить это чело надколотым, этот лик окровавленным... невозможно.

2

Тогда при встрече — после семилетней разлуки — пастырь напомнил мне еще об одном, как-то подзабытом мной, качестве своей личности — повышенной по сравнению с обычными смертными энергичности. Ее же подметил и Фазиль Искандер: поздним вечером батюшке надо было уходить с еще одним пастырским визитом из уютного дома, но вместо вполне естественной неохоты, «уходя в дождливую ветреную ночь, отец Александр быстро и весело одевался, как мы с вами раздеваемся, приходя в дом, где нас ждет дружеское застолье»³. А видевший его уже перед гибелью Сергей Аверинцев замечает: «Все-радостная тайна была с ним — кажется, больше всего к концу, когда невыговоренное предчувствие конца становилось все отчетливее, и врожденная, природная полнота жизни уступала место иной, более неотмирной бодрости»⁴.

...Отец Александр Мень был первым видным церковным деятелем своего поколения — выбрав стезю православного служения в подлые хрущевские годы «возвращения к ленинским нормам», как охотно твердили тогда межеумки и советские либералы. О трудах же и днях его Аверинцев пишет так: «Воздавая должное его книгам, решимся сказать: то, в каких условиях это было написано, больше самих книг. Придут другие люди, напишут другие книги; дай им Бог. Но за о. Александром останется несравненная заслуга: с самого начала не поддаваться гипнозу ломавшей и сильных «исторической необходимости». Без героической позы, не отказываясь быть осторожным, но запретив себе даже тень капитулянтства, ни на миг не покладая рук, он сделал невозможное возможным. Он проторил дорогу. Теперь по ней пойдут другие, и на уровне «споров о мнениях» они не всегда будут с ним единомысленны. Но пусть и они не забывают того, кто вышел сеять, не дожидаясь рассвета, нетореной, заросшей тропой».

³ Искандер Ф. Он был светом. — В сб.: «И было утро... Воспоминания об отце Александре Мене». М. 1992, стр. 324.

⁴ Аверинцев С. Миссионер для племени интеллигентов. — Там же, стр. 328.

Нездоровая жизнь наша, однако, чем дальше, тем поляризуется все больше. И вместо вышеупомянутых «споров о мнениях» враждующие полярные заидеологизированные силы превращают — в зависимости от своей идейной корысти и устремлений — в сусальный или отпугивающий идол любую выдающуюся фигуру. На наших глазах фетишизировали, а значит, и оглушили покойного Иосифа Бродского: пиком ажиотажа стало комичное постановление президента об экстренном издании его двухтомника массовым тиражом. Идеологическим символом и яблоком раздора стал и наш убиенный пастырь. Его вполне здравый экуменизм, безусловно более умеренный, чем, скажем, у Владимира Соловьева, доводится до абсурда. Либеральная интеллигенция и пресса уже считают его неким «плюралистом без берегов» внутри церковной ограды, почти в одиночку противостоявшим гэбистско-обскурантистской Патриархии. Люди, вполне прощающие, например, себе наличие партбилета при коммунистах, не прощают измордованным тоталитаризмом священнослужителям ничего, размахивая именем отца Александра Меня. У него же самого, разумеется, никакой озлобленности такого рода — в отличие, например, от Глеба Якунина — не было и в помине, он понимал, что само бытие Православной Церкви в постреволюционную эру — историческое чудо, не могшее не обрести искажающими эмпирическими наростами. Книги отца Александра тоже одной стороной превращаемы ныне в какие-то непогрешимые катехизисы, другой — в ересь, в жидомасонскую и католическую диверсию. Почти во всех монастырях и большинстве храмов они к продаже запрещены. Впрочем, незримое аутодафе устроено им заодно с трудами отцов Павла Флоренского, Сергия Булгакова, Александра Шмемана. Разумеется, они отнюдь не непогрешимы. Да и вообще любое творческое богословие — если оно не бескрылая схоластическая эклектика, — как правило, несет в себе определенный новаторский, то бишь «еретический», элемент. Тут столкнулись «два понимания христианства» (лекцию с таким названием читал отец Александр) — условно говоря, понимания Зосимы и Ферапонта из «Карамазовых». Но ежели отец Александр считал, что это две полноправные и дополняющие части одной религии, что консерватизм и свобода дают вере плодотворное равновесие, то теперь консерватизм яростно, а потому бессильно анафемствует свободу, доходя аж до сотрудничества с коммунизмом и даже до симпатий к сатанизму сталинского режима. А свобода нынешнего разлива и впрямь надругалась над *всем святым*, используя его в своих меркантильных, рекламных целях. Книги отца Александра продаются теперь на одних прилавках с богомерзкой масскультурной дешევкой, а за церковным ящиком — обличающие его брошюры.

Вот, например, «О богословии протоиерея Александра Меня». Автор — протоиерей Сергей Антиминсов строг к трудам отца Александра: «научная недобросовестность», «искажение Библии», «погрешности комментариев не случайны» и т. д.⁵ Да, отец Александр «клонил» к тому, чтобы многое в Библии адаптировать к сознанию современного человека; протоиерей Антиминсов имеет счастье верить в библейские чудеса буквально, отмечая даже намек на умственную ревизию, — что ж, пусть будет и то и то. Православная паства сейчас столь разнообразна — и национально, и интеллектуально, и психологически, — что одни только строгие консервативные приходы ее в себя не вместят, разумная оглядка на прихожан просто необходима. Если мы жалеем народ, то должны ощущать и глубину его отпадения. Новое миссионерство требует самых широких и энергичных средств, а не просто ревнивого охранительства. В строгих границах приходская жизнь может варьироваться в зависимости от паствы и миссионерского темперамента настоятеля. С отцом Александром Менем можно и нужно спорить, но грубые обличения — мимо цели.

⁵ Издательство «Правило веры» при содействии газеты «Град Китеж». М. 1993.

Это еще цветочки, а вот и ягодки: «Мельчает кагал некогда свирепых рыб — Троцкий, Свердлов, Каганович, Мехлис, Эренбург, Минц, Мень, Волкогонов, Гайдар, Чубайс» (Горюнов А. Степной волк. — Информационно-аналитическая газета «Русский националист», 1996, № 6). Зато Жириновский аттестован там как «единственный из политиков современности, принявший почти без поправок психастеническую модель, имидж, сибаритские замашки и агрессивную риторику библейского парня из Назарета, доводившего до белого каления косноязычных, туповатых фарисеев».

Гуманистическое «заземление» Христа не с нас началось, протоиерей Антиминсов едко подметил у отца Александра «похвальные отзывы о картинах Поленова на евангельские темы. Изображение Христа у о. Александра очень близко к поленовскому: та же тщательность при передаче исторических подробностей эпохи и та же грубая приземленность, превращающая Спасителя человечества в просто странствующего „учителя праведности“». Аналогичные претензии предъявлял еще Достоевский к Николаю Ге: «Из своей «Тайной вечери», например, наделавшей когда-то столько шуму, он сделал совершенный жанр. ...Вот сидит Христос, — но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но... при чем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтобы из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?» («Дневник писателя», 1873).

Не закрывая глаза на родимые пятна позитивизма и «библейской критики» в трудах отца Александра, как все-таки не быть ему благодарным: ведь, по сути, это, повторяю, сейчас единственные доступные и отвечающие современному сознанию пособия приходящим в Церковь.

Однако проблема взаимоотношений православного клира и постсоветского общества, разумеется, шире отношения пусть к ключевой, но уже принадлежащей истории фигуре отца Александра Меня. ...Судя по резкому сокращению продолжительности жизни, росту смертности, падению рождаемости, выход России из коммунизма обернулся демографической катастрофой; судя по разложению нравов — катастрофой моральной. И Церковь, разумеется, озабочена этим чрезвычайно. Но и тут просматривается непоследовательность: с одной стороны, мешающее миссионерству принципиальное охранительство и охота на ведьм, с другой — апелляции и обращения к соотечественникам, по идее предполагающие не анафему, а увещания и доброжелательную поддержку. Общественный комитет «За нравственное возрождение Отечества», куда помимо пастырей входят и деятели культуры (Распутин, Белов, Крупин, Бородин, Заманский и другие), выпускает брошюры «Антихрист в Москве» — с энергичными возражениями против захлестывающей нас идеологии нравственного релятивизма и вседозволенности. Но тем более, понимая, как важно сказать нет безудержной пропаганде масскультуры, алкоголя, табака, сексуальной распущенности, — надобно взвешивать каждый шаг и отвечать за каждое слово. «Россия никогда не знала таких преступлений, которые сегодня терзают наше общество». Никита Струве возразил на это, и — не поспоришь: «Грех и зло не с 1993 года появились в Москве... Наивысшего сгущения зло достигло — вне всякой эротики — в ленинско-сталинское время, когда, вынужденно или нет, брат шел на брата, детей заставляли доносить на родителей (на одном только кладбище в Петербурге лежат 40 тысяч невинно убиенных за один 1937 год!)»⁶.

Наша действительность слишком тревожна для того, чтобы патетическими гиперболами невольно девальвировать драму⁷.

Член Общественного комитета священник Стефан Красовицкий в ответ обозвал Струве «колдуном» и «специалистом по белой магии». «Остановить агрессивную безнравственность СМИ» — нет, никакой намордник тут не поможет. Поможет катехизаторство и самая широкая проповедь, поможет разумная, споспешествующая христианскому просветительству «демократизация» церковной жизни. Не надо махать кувалдой анафем там, где их давно уже не боятся. В столь темпераментных и патетичных воззваниях комитета «За нравственное возрождение Отечества» есть, если угодно, некая святая наивность, донкихотское убеждение, что жернова цивилизации конца XX века можно

⁶ «Вестник РХД», № 172, стр. 3.

⁷ Или превращать в славявский абсурд. Вот «русский православный философ Татьяна Горичева» рассказывает о своем возвращении из Парижа в Питер: «...аэродром в Петербурге, площади, толпа каких-то журналистов. Я как-то отмахнулась от них и пошла в пивные, в бары. Входила и говорила: «Ребята! Христос воскрес!» У нас в России всегда Пасха. И это чувствуют все. Мне все отвечали: «Воистину воскрес!» И я поняла, что никогда не уезжала из России» (газета «600 секунд», 1995, № 10).

остановить заклинаниями и механическим государственным вмешательством. Реальность, однако, много серьезнее. И на недейственное слово мы попросту не имеем права, необходима выверенность и взвешенность производимого.

Да посмотрите на полюс противоположный обличаемому. Да разве о ни болеют душою за наш народ? Да разве они нашу историю чувствуют изнутри? И если б понимали, а не политиканствовали, разве б стали пинать, называть предателем генерала Власова, спасшего десятки тысяч русских солдат, преданных Сталиным, от голода в немецком плену? Разве б повернулся у них язык утверждать, что «пяти-шести лет не хватило Сталину для отстройки мощного национального государства», то есть Джугашвили со своей кроваво-шутовской шайкой, сгноившие миллионы сограждан, оказываются патриотами? Почитайте газету «Завтра», градусом своего популизма сравнимую с худшими образчиками бульварной прессы, — никакой демократический агитпроп не придумает лучшей агитации против патриотизма. Какая девальвация смысла, апология сталинизма, какое жуткое предательство жертв советского геноцида!

...Или раскрепощение общества, когда тебя, как теперь говорится, не «достаёт» никакой цербер, никакой идеолог, никакое ничтожество, имевшее над тобою лишь партийное преимущество, совсем ничего не значит? Неужели и впрямь ничего, кроме зла, посткоммунистическое время не принесло? Батюшки из новых приходов, имеющие дело с новым составом и растущим количеством прихожан, неужели ностальгируют по временам, когда любой староста, ставленник КГБ, в приходе хозяйничал как хотел? Комитет «За нравственное возрождение Отечества», если стремится эффективно работать, должен уважать и ценить свободу, не считая ее всю заведомо «от лукавого».

И здесь — как не хватает нам отца Александра! Думається, он бы нашел ключ воздействия и без крайностей спешествовал бы оздоровлению общества. Быть может, его авторитет не смогли б расшатать так, как расшатали даже авторитет Солженицына. Для всемогущей «четвертой власти» он был более свой, чем наш великий писатель, а все-таки не свой — Божий. Место его оказалось пусто: ему не нашлось замены⁸.

Минувшей весной в провинции — за месяц до новых демократических выборов, в которые вбухали миллиарды неведомо из каких закромов, — трудно было сажать картошку: голодные выслеживали и выбирали обратно из борозды (г. Тутаев на Верхней Волге). Улицы пустынные; мужики лыка не вяжут; водка в шалмане — рязанского разлива «Сергей Есенин» с кудрявой бабой на этикетке — дрянь; зеленая котлета с холодными макаронами — вся закуска. «Ел в вашей столовой пятнадцать лет назад, тогда было лучше. С тех пор довелось обедать в Лондоне, Афинах, Париже — нигде не было так невкусно, как сегодня у вас», — съязвил я. Малахольная раздатчица выпучила глаза.

Тутаев — в честь какого-то большевистского недомерка, погибшего во время Ярославского мятежа. На деле же это четырехвековой Романов (на левой стороне Волги) — Борисоглебск (на правой). Сказочное, домирающее теперь место с шедеврами допетровского зодчества. Как и — выше по Волге — Рыбинск, превратившийся в последние десять лет в руины, эдакий «Грозный» Верхневолжья, но не потребовалось ни бомбежек, ни «федералов», чтобы его уничтожить. В 1996 году смертность превысила здесь рождаемость в два с половиной раза.

...Храмы, немногочисленные, которые не закрывались, где богослужения на годы не прерывались, выглядят запущенной открытой после войны и позже, но сохраняют неповторимую атмосферу намоленности с дореволюционных еще времен. Таков борисоглебский Воскресенский собор — давно нуждающийся в реставрации, переполненный теснящимися на стенах иконами и выразительной деревянной скульптурой. Его главная духовная примечательность — трехметровый образ Спаса, уже почти непросматриваемый под почерневшей олифой, но угадываемый по огромной дуге серебряного венца. В вос-

⁸ Почти убежден: отец Александр не соблазнился б новой идеологической конъюнктурой, формируемой массмедиа и беспочвенными политиками, но формовал бы мировоззренческую среду с а м — и она б была и глубже, и честней, и своеобразней господствующей сегодня.

красное утро храм наполнен прихожанами, люди совсем другие, чем в городе, чувствуется крепкий приход. Ровная наклонная плоскость солнечного луча падает на семисвечник и солею; во мраке потрескивают и клонятся от жары свечи. В широкой боковой галерее на просушку вывешена зеленая с парчовым окаймлением риза. Хор не концертный, «простонародный», громкость вместо искусства. За свечным ящиком торгуют также и книгами — их много, выставлены рядами, рябят в глазах. Но когда я спросил, нет ли книг отца Александра Меня, деловая и богомольная продавщица посмотрела на меня как на чумного.

Каков поп, таков и приход: по продающимся в храме книгам легко прочитывается умонастроение клира.

Говорят, что нынешний батюшка Сретенской церкви отец Владимир (Архипов) — помню его еще «новеньким», приезжающим сюда в середине 70-х, — иногда огорчается: старые «меневцы» бывают в Новой Деревне все реже. Думается, тут дело не только в том, что постарели и обленились, что и в Москве теперь столько новых приходов, что каждому есть «по вкусу», главное — бо ль но: слишком помнится отец Александр здесь, в этом храме; возвращаться сюда — это как в ту жизнь, где он был с нами, в то время, которого больше нет, которое ушло со своими чаяниями, страхами, заботами и каким-то подпольным счастьем. Та наша община была слишком разнолика и разномастна, чтобы удержаться без своего духовного стержня. Да и новые условия жизни раскидали — каждый и житейски и духовно в новых обстоятельствах пошел своею дорогой; чтобы быть теперь на плаву, потребовались совершенно иные качества, чем уберегавшие от порчи тогда.

Один остроумец зорко подметил, что у нас есть поэзия, всходящая на кофе и никотине, и — поэзия, выросшая на водке и никотине. Первая — причудливой, метафоричней, эзотеричней и элитарней. Вторая — проще, реалистичней, русее. (И там и там, разумеется, есть стихи богоданные; есть рукодельные.) Как на первый взгляд это ни удивительно, отец Александр вторую предпочитал первой, ценил прямоту, сердце, лирику Есенина и Рубцова. Миссию русского литератора понимал традиционно, уважал в культуре нравственную благонамеренность. Того же Поленова он наверняка интимно любил за простодушную добросовестность его реализма⁹.

То же и в эстетике, и в богослужбной практике: в его приходе она была весьма православно-национальна, и не в силу обстоятельств, но — благорасположения пастыря. В своей священнической работе отец Александр был натурально традиционнее, чем в своих книгах. Его прощение и нестрогость к чадам шли не от «модернистского» релятивизма, но от всеобъемлющего органического милосердия. Пастырь добрый, он не способен был, повторяю, на суровость, на строгое вразумление.

...Однажды мы разговорились о «Новом средневековье» Бердяева, о том, что идеология новейшего времени третирует средневековье без всякого на то основания, со времен просветителей пролив несравненно больше крови и закабалив мозги своей мелкоотравчатой атеистической ахинеей посильней любого обскурантизма.

В 1904 году революционеры торжествовали: «Плеве убит... Россия не устает повторять эти два коротеньких слова... Кто вернул нас к средним векам с еврейским гетто, с кишиневской бойней, с разложившимся трупом святого Серафима?.. Судный день самодержавия близок»¹⁰. Террористы, а отнюдь не их жертвы затащили Россию в такое «средневековье», из какого, пожалуй, уже не выбраться. Щетно еще Гоголь пытался увещевать неистового Виссариона: «Вы сгорите, как свечка, и других сожжете», — социалистическая идеология,

⁹ Не надо забывать, что «Сын Человеческий» написан в 1960 году — двадцатипятилетним юношей. «Поленовско-васнецовская» эстетика по обстоятельствам времени просто не могла не быть ему близкой. А рукоположился отец Александр в 23 (!) года (см. замечательно интересные его «Воспоминания», недавно расшифрованные с магнитофонной пленки, — «Континент», № 88).

¹⁰ Кошель П. История российского терроризма. М. «Голос». 1995, стр. 296.

подобно раку, захватывала одну клетку российского общества за другой. И при этом все были уверены, что таким образом шествуют из средневековья в цивилизацию. (Разумеется, не надо снимать ответственности и с властей предржащих: там хватало тупиц и карьеристов, точивших Россию с другого краю.)

В другой раз отец Александр достал мне с полки «Духовные основы общества» Франка. Будто школьник, конспектировал я эту глубокую (пусть и несколько неряшливо, как показалось при повторном чтении через годы, написанную) книгу, определившую мои социальные убеждения.

«Вера в абсолютное значение и универсальную спасительность и применимость определенных конкретных общественных идеалов (определенной формы правления, определенного социального порядка) есть превращение относительного в абсолютное, и долопоклонство, одинаково и теоретически несостоятельное, и недопустимое морально-религиозно. Для данного народа, в данном его состоянии и в данных условиях его жизни хорош тот общественный порядок, который, с одной стороны, наиболее соответствует органически-жизненной основе его бытия, его живым верованиям и сущностно-нравственному складу его жизни и, с другой стороны, более всего содействует дальнейшему творческому развитию общественных сил. ...Источник общественной связи лежит в моменте служения, в утверждении общественного единства в святине... Ни права человека, ни воля народа не священны сами по себе, священна первичным образом только сама *правда* как таковая, само абсолютное, т. е. независимое от человека добро; и потому ближайшим образом человеческое поведение — индивидуальное и коллективное — определено не правом, а обязанностью — именно обязанностью служения добру. Все человеческие права вытекают в конечном счете — прямо или косвенно — из одного-единственного «природного» ему права: из права требовать, чтобы ему была дана возможность исполнять его обязанность».

...Отец Александр погиб в тот момент, когда при «остаточном» коммунизме общество наше балансировало — то ли перед подъемом, то ли над пропастью — перед новым витком, как выяснилось, уже посттоталитарной деморализации. Благодаря промысл за посланную свободу и ценя ее воздух, не будем закрывать глаза на реальность. Все, что так мудро и одновременно прекраснодушно прогнозировал для грядущего Франк, оказалось попорно новыми несорогами. Власть *первая* не создала, а дорушила нравственность социальную; власть *четвертая* — нравственность экзистенциальную и — шире — патриотическую. Порой кажется, что Россия представляет собою сейчас лишь то, что еще покуда не уворовано. Недотоптанный прежде «сущностно-нравственный склад жизни» дотаптывается еще оголтелее. Произошел резкий культурный слом; масскультура и бульварная журналистика стали беспрепятственно верховодить в России. И теперь — ссылаясь на результаты и последствия народной порчи как на реальность общественных вкусов и интересов, которую и обязаны обслуживать демократы, — имморализм заглаживает всё новые культурные и информационные территории. Наспех маскируемое предательство миллионов русских ближнего зарубежья отравляет существование как национальный позор. Кажется, что за последние пять лет — вместо восстановления преемства — мы отделились от исторической России еще на семьдесят.

В такие переходные, революционные моменты, как наш, в целях выживания, очевидно, вообще происходит резкое интеллектуальное упрощение; люди, которые прежде не конъюнктурили и, в целом, блюли порядочность, превращаясь в потухших хлопотунов, озабоченных мелким преуспеванием. Бескрыстное служение вымывается из социальной природы. А судьба страны ставится на кон, завися от рекламных возможностей конкурирующих политиков и даже огорчившего избирателей результата футбольного состязания.

Недавние выборы — преподанный народу откровенный, гомерический урок политического цинизма: теперь всем ясно, что «раскручивать на президента», в общем, можно кого угодно, были бы соответствующие интересы и деньги. То есть полная противоположность национальному традиционному представлению о власти как служении заповеданном и морально авторитетном.

Вот почему от всей полугодовой выборной кампании и осталось впечатление массового злостного надругательства — усилившегося, когда потом показали кухню: что агитация оплачивалась валютой, что основной сценарий сочиняли спецы из Штатов, что теньвыми режиссерами были непопулярные политики, получившие после победы новые высокие назначения и — в свою очередь — беззастенчиво продвигающие «своих». (И вот уже новое второе лицо в Совете Безопасности яростно грозит судом «за антисемитизм»... газете «Известия», указавшей на его двойное гражданство.)

В демократических выборах такого разлива не больше свободы выбора, чем в прежнем избрании коммунистических орангутангов: сознание избирателей также массированно зомбируется пропагандой. Слава Богу, что советская реставрация не прошла; только искренне радоваться победе т а к о й ценой могут лишь те, кто хорошо на этих выборах поживился.

В столь двусмысленной, загрязненной среде нечем дышать, трудно жить...

Но память об отце Александре, но его проповеди и книги — посильная поддержка мучеником нашего упования, одна из немногочисленных моральных опор.

P. S. Обнародование этого очерка задержалось, и я еще раз побывал в Новой Деревне. На могиле отца Александра — аляповатые восковые цветы, и было в этом что-то щемяще-простонародное.

В храме глядел на знакомые смолоду образа и поветшавшие стены; отец Владимир служил истово, вдохновенно. Его трудно узнать: сильно прихрамывающий, без бороды и волос, со шрамами на челе — в прошлом году угодил под пули местной криминальной разборки. Господи, сколько за эти годы погибло душ, тел, жизней; где она, здесь когда-то чаемая нами Россия?

...Отец Владимир, крест держа, проповедует: вот ведь какой сегодня день — день, когда читается то место Евангелия от Луки, что Достоевский взял эпиграфом к «Бесам»: «Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло». Сколько было надежд пять-шесть лет назад: вот-вот выйдут бесы из тела родины и она исцелится.

В служении отца Владимира эти надежды и посегодня не иссякают.

10.XI.1996.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. С. ПУШКИН. 1799 — 1999*

ИРИНА СУРАТ



«РОДРИК»: ЖИТИЕ ВЕЛИКОГО ГРЕШНИКА

Тысяча восемьсот тридцать пятый год — переломный в пушкинской лирике: с этого года в ней появляются и уже преобладают новые мотивы, связанные с предчувствием смерти; сгущаясь, они выстраиваются постепенно в единый сюжет, исполненный драматизма и неутомимо идущий к развязке. И по форме лирика 1835 года отличается от прежней: будучи по преимуществу переводной (из Анакреона, Горация, Шенье, Саути, Беньяна, Корнуолла, из Библии), она населена персонажами и говорит голосами поэтов и героев разных времен, но все они, войдя в мир Пушкина, так или иначе дают проекцию его судьбы, его внутренней жизни. Каково же место в этом ряду Родрика, последнего короля готов, или короля Родриго, как он именуется в испанских хрониках и старинных романах? Напомним, что весной 1835 года, а точнее около 16 апреля, из-под пера Пушкина выходит текст довольно странный по содержанию и художественным свойствам — речь идет о произведении, получившем у редакторов условное название «Родрик» («На Испанию родную...») и повествующем о злочлечениях последнего короля готов, свергнутого с престола в начале VIII века, когда Испания была завоевана маврами¹.

После пренебрежительной оценки Белинского («...это что-то недоконченное, вроде тех испанских баллад, которые давно уже прискучили...»²) за «Родриком» утвердилась репутация сочинения подражательного и слабого. И действительно, рядом с шедеврами 1835 года («Полководец», «Туча», «Странник», «Вновь я посетил...», «Когда владыка ассирийский...») некоторые стихи «Родрика» выглядят слишком уж непритязательными с точки зрения поэтической грамматики и фоники:

Готфы пали не бесславно:
Храбро билися они,
Долго мавры сомневались,
Одолеет кто кого.

Восемь дней сраженье длилось;
Спор решен был наконец...

Кажется, что Пушкин здесь и не стремится к совершенству, а выносит на бумагу первые пришедшие строки. На самом деле это, конечно же, не так —

* Продолжаем публикацию материалов, посвященных предстоящему 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Работа выполнена при поддержке Международного научного фонда.

¹ В Большом академическом собрании сочинений стихотворение датируется расплывчато — мартом — апрелем 1835 года (см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 3, полумом 1. М. 1949, стр. 1258). Обоснование более точной датировки см.: Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный всадник». История текста. — В сб.: «Пушкин. Исследования и материалы». Т. 3. М. — Л. 1960, стр. 328; корректировку даты см.: Петрунина Н. Н. «Полководец». — В кн.: «Стихотворения Пушкина 1820 — 1830-х годов». Л. 1974, стр. 286 — 287, 291.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 5. М. 1954, стр. 272.

достаточно заглянуть в черновики с множеством вариантов. На самом деле поэтика «Родрика» задана тем жанровым образцом, которому Пушкин следует: он воспроизводит форму испанского романсеро — цикла романсов с единым героем и единым, хоть и прерывистым, сюжетом, так что непритязательность, а местами и примитивность стиха «Родрика» — деланная, это искусная имитация стилистики испанского фольклора, столь искусная, что П. В. Анненков счел его непосредственным переводом «старого испанского романса»³. «Родрик» написан четверостишиями четырехстопного безрифменного хорея с чередованием мужских и женских окончаний — эта строфическая форма (с вариациями) стала в русской поэзии эквивалентом испанского народного силлабического стиха («Граф Гваринос» Н. М. Карамзина, «Сид» В. А. Жуковского, «Романсы о Сиде» П. А. Катенина). В композиционном отношении Пушкин также следует форме романсеро: его «Родрик» состоит из трех частей, или трех романсов, каждый из которых посвящен одному эпизоду из жизни героя (впрочем, у Пушкина связь этих эпизодов теснее, чем то бывает в романсеро, и «Родрик» воспринимается не как цикл, а как цельное трехчастное произведение).

Если жанровая природа пушкинского «Родрика» ясна, то самый замысел этого стихотворения остается непонятым⁴. Трудно поверить в то, что задача воспроизведения какой-либо жанрово-стилистической формы была актуальной художественной задачей для Пушкина в тот год, когда и лирика, и проза, и все его поведение свидетельствуют об остром душевном кризисе, о трагическом переломе во внутренней жизни⁵. Вероятнее, что начало его «Родрику» дал другой, более сильный творческий импульс, нежели чисто литературный интерес к экзотическому староиспанскому материалу, уже давно освоенному русской поэзией. Причину обращения Пушкина к образу короля Родриго имеет смысл искать не в плоскости его литературных интересов, а в кругу его внутренних проблем и умонастроений 1835 года, определявших тональность творчества.

Цикл о короле Родриго — самый древний в корпусе испанских романсов. Он основан на легенде, в которой народный вымысел расцвел щедро — до неузнаваемости — реальные исторические факты. Согласно легенде, дон Родриго, король Испании, потерял престол из-за любви к Ла Каве, дочери графа Хулиана, наместника Сеуты. Родриго обесчестил Каву, она просила защиты у отца, и Хулиан, мстя обидчику, предал родину и веру — вступил в сговор с маврами. Они разгромили испанское войско в решающей восьмидневной битве, в которой и погиб исторический Родриго. Но в народной легенде он остался жив. Дальнейшее — история скитаний, покаяния и спасения Родриго, осознавшего свой грех, из-за которого пало Испанское королевство.

Эту популярную среди писателей (особенно романтиков) легенду Пушкин знал по разным источникам. В его библиотеке было двухтомное, на испанском языке, собрание романсов, составленное Ж.-Б. Деппингом⁶, — открывается оно циклом о короле Родриго. По-испански Пушкин читал, хотя отец его Сергей Львович явно преувеличивал, утверждая, что сын «выучился в зрелом возрасте по-испански»⁷. Вряд ли «выучился», но смысл текста понимал и мог переводить, о чем свидетельствуют сохранившиеся в его бумагах упражнения⁸.

³ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб. 1855, стр. 387.

⁴ Единственная статья, специально посвященная «Родрику» (см.: Сайтанов В. А. Третий перевод из Саути. — В сб.: «Пушкин. Исследования и материалы». Т. 14. Л. 1991, стр. 97 — 120), при всей своей капитальности, содержит ряд сомнительных утверждений, и многие разобранные в ней вопросы требуют нового исследования и осмысления.

⁵ Противоположное мнение см.: Томашевский Б. В. Пушкин. Работы разных лет. М. 1990, стр. 245.

⁶ «Coleccion de los mas célebres romances antiguos Españoles históricos y caballerescos, publicada por G.-B. Depping, y ahora considerablemente emmendada por un Español Refugiado». Londres. 1825. Т. 1 — 2.

⁷ Пушкин С. Л. Замечания на так названную биографию Александра Сергеевича Пушкина, помещенную в «Портретной и биографической галерее». — «Отечественные записки». 1841. Т. 15, особое приложение, стр. 2.

⁸ См.: «Рукою Пушкина». М. — Л. 1935, стр. 83 — 87.

К тому же он собрал целую коллекцию испанских словарей⁹, так что его знакомство с испанским первоисточником более чем вероятно.

В сборнике Деспинга отражены лишь некоторые сюжетные звенья легенды: в него вошли романсы о том, как Родриго открыл Толедскую пещеру и получил предсказание о гибели Испании, о том, как он полюбил Ла Каву и соблазнил ее, о его переживаниях после поражения при Гвадалете. Среди этих романсов есть выразительные, психологически насыщенные — они могли привлечь внимание Пушкина и уж во всяком случае дали ему жанровый образец. Но основным источником его знаний о короле Родриго стала эпическая поэма Роберта Саути «Родрик, последний из готов» (1814), также бывшая в его домашней библиотеке¹⁰. Саути углубленно изучал испанскую историю и литературу, что отразилось и в самой поэме, и в обширном комментарии к ней, где собран богатый материал на английском и испанском языках — отрывки из хроник, исторических сочинений, художественных произведений, связанных с легендой о Родриго. Эти комментарии, особенно в последней своей части, касающейся отшельнической жизни, искушений и смерти Родриго, представляют собой едва ли не более увлекательное чтение, чем сама поэма — многословная и аффектированная. Кроме английского ее издания Пушкин располагал и французским переводом¹¹, к которому мог обращаться в случаях затруднений с пониманием английского текста.

По-французски Пушкин ознакомился с поэмой Саути еще в 1822 году, и тогда она так ему не понравилась, что он решительно не советовал Жуковскому братья за ее перевод (в письме Н. И. Гнедичу от 27 июня 1822 года). Но теперь, в 1835-м, прочитав ее в оригинале, он сам занялся тем, от чего отговаривал тогда Жуковского: его «Родрик» является сокращенным переводом первых 553-х стихов поэмы Саути (всего в ней двадцать пять песен и около 7300 стихов). Остается предположить, что в самом Пушкине происшедшие перемены только и могли так резко изменить его отношение к этому произведению, которое, по правде говоря, невозможно читать, если не вполне сочувствовать герою, если не принимать его проблемы как свои. Саути взял за основу последнюю часть легенды — историю скитаний короля после потери престола. Он повел своего героя путем прозрения, путем глубокого религиозного покаяния, через отшельничество и аскезу — к полному преображению, к новому рождению во Христе. В конце поэмы Родрик, уже будучи священником, исповедует и причащает умирающего графа Юлиана — бывшего своего врага; все, включая Флоринду (такое имя носит у Саути дочь Юлиана), примиряются и прощают друг друга в порыве христианских чувств. Религиозный пафос, привнесенный Саути в сюжет, достигает высшего накала в моменты мистических откровений герою, когда он слышит голос с небес или видит на кресте Спасителя, зовущего его к Себе.

Все это не было близко Пушкину в 1822 году, когда не просохли еще чернила на рукописи «Гавриилиады», так что неудивительно его тогдашнее неприятие поэмы Саути¹². Эстетически она и в 1835-м была, наверное, Пушкину не очень близка — при переводе он очищает сюжет от мелодраматических красок и вообще придает такой староиспанский вид своему «Родрику», будто он к поэме Саути и вовсе не имеет отношения. (Интересная деталь: Пушкин возвращает героине имя Кава, каковое она чаще всего носит в романах и хрониках, в том числе в романах из сборника Деспинга и в отрывках из хроник, приведенных у Саути.) Так что пушкинский замысел не состоял в переложении на русский язык сочинения английского поэта-лауреата. Черпая материал у Саути и претворяя его, Пушкин дает параллельную версию сюжета, приближенную к его собственному поэтическому миру. Растянутая эпическая

⁹ См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб. 1910, № 579, 827, 936, 937.

¹⁰ В издании: «The poetical works of Robert Southey. Complete in one volume. Paris. 1829.

¹¹ См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, № 1400.

¹² Об этом справедливо писал В. М. Костин в статье «Жуковский и Пушкин (проблемы восприятия поэмы Р. Саути «Родрик, последний из готов»)» (в сб.: «Проблемы метода и жанра». Вып. 6. Томск. 1979, стр. 126).

поэма, довольно чуждая Пушкину по духу и стилю, переводится в небольшое, по существу лирическое произведение, тесно вписанное в жизненно-творческий контекст 1835 года и в более широкий контекст его поэзии и судьбы. «Родрик» — это характерный для позднего Пушкина пример сюжетной лирики, лирики в третьем лице, — и сюжет, и герой стихотворения отстраняют, но вместе с тем и точно выражают незаимствованные пушкинские проблемы, рожденные потребностью внутреннего самоустроения в предчувствии конца.

Саути прибег к испанской легенде, чтобы с христианской точки зрения описать жизненный путь человека: от грехов и заблуждений через покаяние — к спасению. Пушкин понял замысел Саути и откликнулся на него, откликнулся, вероятно, потому, что идея христианского пути в последние годы стала приобретать для него личное значение.

По-видимому, первым творческим результатом нового чтения Саути стало одно из самых таинственных стихотворений Пушкина, которое исследователи то печатают среди черновых вариантов «Родрика», то выделяют в особое произведение, — недоработанный отрывок «Чудный сон мне Бог послал...», помеченный в автографе подписью «(Родригъ)». Эта подпись, сделанная в скобках, как бы для памяти, побуждает искать связь между «Чудным сном...» и «На Испанию родную...». Где лежит эта связь? В сюжете поэмы Саути? В темах испанских романсов? Или «Чудный сон...» — самостоятельное стихотворение, не имеющее отношения к этим вариациям старинной легенды? Но если верно последнее, то как объяснить пушкинскую помету под текстом?¹³ Поиски показали, что английская поэма (как и испанские романсы, доступные Пушкину) не содержит явных переключек с «Чудным сном...». И все-таки беремся утверждать, что этот отрывок возник под воздействием Саути.

У Пушкина разными бывают отношения между его созданиями и их иноязычными источниками. Наряду с переводами и переложениями встречаются такие случаи, когда некий текст, давший литературный повод к рождению пушкинского, совершенно в нем растворяется, почти не узнается, едва просвечивает сквозь новые смыслы и формы. Материал преобразуется полностью, и это возможно даже при буквальных совпадениях, прямом использовании. Вспомним «Пророка» в его отношении к 6-й главе Книги Исаи: это совсем новое, оригинальное лирическое произведение, а образы Исаи использованы в нем как кремень, о который высекают огонь, — они несут в стихи всю силу библейской традиции, но вырваны из своего сюжетного контекста и включены в новые лирические связи. Столь же сложный творческий механизм определяет отношения между «Чудным сном...» и его, условно говоря, источником. Попытки привязать это пушкинское стихотворение к определенному эпизоду поэмы Саути дают результаты неубедительные¹⁴, но ее ситуация и мотивы, а главное — духовные проблемы героя вошли в творческое сознание Пушкина и послужили ему материалом для лирического монолога. Кроме подписи «Родригъ» на это указывает и статус героя «Чудного сна...»: он наделен правом принимать исповедь, он, как и Родрик у Саути, — священник. Видение героя, его вещей сон, его усталость и ожидание конца, его религиозные устремления, страх Божьего суда и жажда прощения — все это соотносится с образно-тематическим миром поэмы Саути и в еще большей степени соотносится с рассказами о короле Родриго, приведенными у Саути в комментарии. В них повествуется о жизни Родриго, уединившегося во спасение души: он проводит дни и ночи в молитвах, ждет решения своей судьбы, торопит смерть. Его посещают видения: то дьявол приходит к нему в виде старца-отшельника, или Юлиана, или Кавы и мучит его искушениями, то является Святой Дух и обещает скорый конец испытаниям. Эти рассказы, сохранившие простодушие и занимательность народного вымысла, отложились в сюжетах и «Чудного сна...», и «Родрика». Но соприкосновение с этим фольклорным и литературным материалом, можно думать, послужило только внешним поводом для ли-

¹³ Детальный, хотя и субъективный, разбор мнений по этому вопросу см. в статье: Сайтанов В. А. Третий перевод из Саути, стр. 98 — 101.

¹⁴ См., например, комментарий Т. Г. Цявловской в кн.: Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 2. М. 1974, стр. 632.

рики, для создания двух стихотворений, связанных единой лирической темой и отразивших момент или целый этап внутренней жизни их автора.

«Чудный сон...» написан раньше «Родрика»¹⁵ — это первый, непосредственный отклик на прочитанное, принявший форму исповеди-молитвы. Легендарная судьба испанского короля оказалась Пушкину настолько созвучна, что в «Чудном сне...» он применил ее к себе — перевел в первое лицо. (Напомним читателю, что подобным же образом приватизирован чужой материал и в «Страннике» — эпическое повествование Дж. Беньяна «Путешествие пилигрима» Пушкин превратил в лирический монолог, отождествил себя с героем, сплавил аллегорический, религиозно-дидактический сюжет книги с собственными внутренними проблемами.) В «Чудном сне...» открыто сказала та личная тема, которая несколько позже в «Родрике» облечена уже в форму более сдержанную, условно-литературную. Таким образом, «Чудный сон...» проливает свет на «Родрика», выдает лирическую природу, личный подтекст переводной баллады.

Не ратные подвиги короля готов, не драматические события испанской истории определили интерес Пушкина к этому сюжету, а то, что через века объединяет людей независимо от происхождения и звания, — тема смерти, оставляющей человека наедине с Богом. Точнее — тема неготовности к смерти, греха, мысль о котором поражает вдруг и заставляет резко изменить жизнь.

Это неслучайная тема для Пушкина, его лирика последних лет («Пора, мой друг, пора!..», «Странник», «Напрасно я бегу к Сионским высотам...») пронизана новым ощущением жизни как сознательного и трудного пути к последнему рубежу, на котором сосредоточивает и выявляет себя смысл движения. Иначе говоря, проблема спасения в религиозном ее понимании вошла в жизнь и поэзию Пушкина, она же, эта проблема, и породила интерес к сюжетам Беньяна и Саути. «Спасенья верный путь и тесные врата» — так заканчивается «Странник», так определена цель, к которой устремился его герой. «Родриг»¹⁶ спасается в пещере один. Его сны, искушения — так начинается пушкинский «Родрик» в первых черновиках, и эта маленькая программа, предвещающая работу над стихом, обнаруживает то главное, ради чего, по-видимому, Пушкин и взялся за эту работу.

В «Чудном сне...» старец видения возвещает герою близкую смерть как спасение, как заслуженное воздаяние — возвещает в традиционных метафорических образах, кристаллизующих христианские представления о жизненном пути и его завершении:

Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес.
Скоро странствию земному
Твоему придет конец.
Уж готовит ангел смерти
Для тебя святой венец...
Путник — ляжешь на ночлеге,
В пристань¹⁷, плаватель, войдешь.
Бедный пахарь утомленный,
Отрешись волов от плуга
На последней борозде.

Герою этого отрывка спасение обещано, он заслужил и будет удостоен, хотя сам и не смеет поверить в это, — отсюда совершенно особая умиротворенная интонация, выделяющая «Чудный сон...» на фоне лирики последних лет с ее глубоким драматизмом. Здесь драматизма нет — герой уже прошел

¹⁵ Так считали Н. О. Лернер, Н. В. Яковлев, В. М. Костин; аргументацию этого мнения представил В. А. Сайтанов в статье «Третий перевод из Саути» (стр. 109 — 111).

¹⁶ Пушкин даже в одном автографе по-разному писал имя короля. Это говорит о том, что он знал это имя не только по тексту поэмы Саути, но и по испанским вариантам легенды и что все это слилось у него в общее впечатление, легшее в основу «Родрика».

¹⁷ Приводя текст в редакции Большого академического собрания сочинений (без технических знаков), мы конъектуру «гавань» заменяем на «пристань». Аргументацию см. в сб.: «Поэтическая фразеология Пушкина». М. 1969, стр. 186.

свой путь, возделал свое поле, исполнил повинность, он к смерти готов, теперь ему остается внимать пророчеству и ждать конца. И только парафраз гефсиманской Христовой молитвы — «Но Твоя да будет воля, / Не моя...» — вносит в этот монолог драматический отсвет евангельских событий.

Особенности пушкинского лиризма таковы, что прямое обращение к Богу для него неорганично, почти невозможно, хотя молитвенное начало присутствует во многих его стихах. В поздней лирике мы знаем два случая молитвы от первого лица, и в обоих она дана как чужая речь, к которой присоединяется автор. В переложении великопостной молитвы Ефрема Сирина он присоединяется к «отцам пустынножителям и женам непорочным» и к «священнику», который молитву «повторяет», — и все же это безусловная лирика, а не цитата. Так и в «Чудном сне...»: молится герой-священник, но в его словах, в их пронзительно-личном звучании слышится пушкинский голос:

Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец,
Но Твоя да будет воля,
Не моя. — Кто там идет?..

Эта молитва о скорой смерти находит множество отголосков в лирике и прозе Пушкина последних лет, и уже одно это не позволяет отнестись к ней как к поэтической риторике, а в обратной перспективе реальных событий конца января 1837 года приходится признать за поэтом неложное знание, предчувствие сердца, не единожды преломленное в позднем творчестве сквозь призму образов, часто заимствованных. Так что проблема готовности к смерти была для Пушкина в это время отнюдь не «проблемой сюжета», а острой, назревшей проблемой личной судьбы.

* * *

Пушкинский «Родрик» в целом настолько не похож на поэму Саути, что исследователи долгое время не догадывались о тесной связи двух этих произведений. Между тем Пушкин переводит поэму хоть и кратко, но местами очень точно, а в начале так почти дословно, удерживая детали¹⁸. Во второй части перевода он уже отступает от Саути, а в третьей, последней, вдруг делает существенную образную замену и резко завершает свой сюжет, именно свой, так как у Саути герою предстоят еще долгие странствия по городам и весям, встречи со многими людьми, борьба за освобождение Испании. Но Пушкину все это оказалось не нужно, чтобы сказать то, что он хотел сказать. Свой сюжет он исчерпал, переведя только две первых главы из двадцати пяти глав Саути. Не собирался ли Пушкин продолжить рассказ? Мнения на сей счет высказывались разные¹⁹. Для нас очевидно, что «Родрик» есть завершенное художественное высказывание. Его открытый финал характерен для Пушкина, он напоминает финал «Странника» и еще больше финал «Пророка» — здесь герой тоже потрясен встречей со Всевышним, действующим через своего посланца, и тоже направляется Божьей волей из пустыни обратно в мир — на служение:

И вещал ему угодник:
«Встань — и миру вновь явись».

¹⁸ Свод параллельных мест дан в работе: Яковлев Н. В. Из разысканий о литературных источниках в творчестве Пушкина. — «Пушкин в мировой литературе». Сб. статей. Л. 1926, стр. 145 — 159.

¹⁹ См.: Черняев Н. И. Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков. 1900, стр. 504 — 508; Яковлев Н. В. Из разысканий о литературных источниках в творчестве Пушкина, стр. 158; Костин В. М. Жуковский и Пушкин (проблемы восприятия поэмы Р. Саути «Родрик, последний из готов»), стр. 138.

Ты венец утратил царской,
 Но Господь руке твоей
 Даст победу над врагами,
 А душе твоей покой».

Пробудясь, Господню волю
 Сердцем он уразумел,
 И, с пустынею расставшись,
 В путь отправился король.

У Саути все только начинается, все впереди, — у Пушкина все уже произошло. Но что произошло? Каков этот новый сюжет, выстроенный Пушкиным на основе первых глав английской поэмы? Родрик обесчестил графскую дочь, и его грех обернулся бедствием для всей Испании. «Мавры хлынули потоком / На испанские брега», королевство пало, король исчез во время решающего сражения, его «почли убитым, / И никто не пожалел». «Но Родрик в живых остался», хоть и искал смерти в бою, — «утомившись», он тайно покинул поле битвы. Идя по дорогам своей страны, он видит ее в разорении и несчастях, которые прямо связаны с его былым грехом. Бедствия народа — его личная вина, это понимают все и начинает понимать он сам:

Все, рыдая, молят Бога
 О спасеньи христиан,
 Все Родрика проклинают;
 И проклятья слышит он.

И с поникшею главою
 Мимо их пройти спешит,
 И не смеет даже молвить:
 Помолитесь за него.

«С поникшею главою» — пластическая деталь, имеющая свою историю в пушкинской поэзии и означающая самую глубокую печаль и самую глубокую степень раскаяния²⁰. С этого начинается у Пушкина главное: история покаяния Родрика, его внутренний путь к Богу; внешне же, наоборот, он останавливается — как будто нужно было прекратить физическое движение, чтобы «оборотить глаза зрачками в душу». Он уединяется в пещере «на пустынном берегу», роет себе могилу и начинает новую, отшельническую жизнь в аскезе и молитвах — готовится к смерти. У Саути Родрик в начале скитаний встречает монаха Романо, и они вдвоем поселяются в пустыне рядом с могилкой отшельника. У Пушкина нет не только монаха Романо, но и вообще никого нет из многочисленных персонажей, окружавших короля в поэме Саути. Его Родрик совершенно одинок, наедине со своей грешной душой, он лишен не только королевских одежд, но и всех человеческих связей, он поставлен в экзистенциальную ситуацию: голый человек на голой земле — перед Богом. Рассказ о Родрике Пушкин освобождает от мотивировок, внутренних монологов и всяких психологических рассуждений, столь характерных для Саути. Конкретного человека он превращает в человека вообще, а его индивидуальную судьбу — в жизнь человека вообще, какой она представляется в свете веры.

Сюжет, лишенный боковых ходов, стремится без замедления по одному прямому руслу, он прост до схематизма и красноречив своей простотой. Все складывается из действий героя и их неизбежных следствий: когда-то Родрик поправ нравственный закон, и от этого греха, в каком-то смысле первородного, изначального в этом сюжете, кругами расходится зло — предательство Юлиана, война, смерть. И для самого Родрика его грех имеет сокрушительные последствия — он теряет все, оказывается отлучен от людей и Бога, лишается даже права воина умереть в бою по своему желанию.

²⁰ Ср. о блудном сыне в «Воспоминаниях в Царском Селе» 1829 года:

Так отрок библии, безумный расточитель,
 До капли истощив раскаянья фиал,
 Увидев наконец родимую обитель,
 Главой поник и зарыдал.

У Саути акценты расставлены иначе. Тема раскаяния звучит у него сильно, но вместе с тем герой как бы и не очень виноват: он женат на нелюбимой женщине, и его чистое, почти братское чувство к Флоринде вызывает скорее сочувствие, чем осуждение. Вопреки легенде, по которой Родрик искупает свою вину мученической смертью, у Саути он уже при жизни удостоен священнического сана, так что вопрос об искуплении стоит не так остро. У Пушкина нет этой оправданности, сглаженности греха, герой осужден жестко в самом начале («Дочь его Родрик похитил, / Обесчестил древний род»), а рассказ об искуплении занимает в пропорциях его сюжета центральное место.

Вспомним программу, в которой Пушкин зафиксировал главную тему своего романсеро и которой он точно следует в стихах: «Родрик спасается в пещере один. Его сны, искушения». «В пещере один» — такой путь очищения выбрал для себя пушкинский герой, путь аскета-пустынника, оставившего все мирское ради спасения души, оставившего навсегда — ведь он решил провести в этой пещере остаток дней «и себе могилу вырыл». В отличие от многословного Саути, у Пушкина ничего не говорится о том, как принимал Родрик это свое решение, — в его лаконичном повествовании все означено действием, поступком. Этот своего рода «аскетизм» поэтики соответствует теме рассказа и, пожалуй, полемичен по отношению к «избыточной» поэтике Саути. В программе специально подчеркнуто, что герой спасается один, и это тоже, может быть, полемично по отношению к Саути, у которого герои спасаются вместе. И пушкинский Странник из одноименного стихотворения спасается один, бросив жену и детей, но здесь-то Пушкин следует за Беньяном, тогда как в «Родрике» он отклоняется в эту сторону от Саути. Как видно, дело спасения мыслилось им как сугубо личное, интимное дело, в котором не может быть ни помощников, ни свидетелей.

«Его сны, искушения» — так Пушкин наметил в программе драму внутренней борьбы героя за свою душу. В черновиках она развернута подробно:

В сокрушении глубоко
 День и ночь он слезы льет,
 День и ночь у Бога молит
 Отпущение грехов.

 Лишь уснет — ему приснятся
 Графской дочери черты,
 Перед ним мелькает Кава,
 Каву снова видит он.
 Очи полны страстной думы
 Разгорелись и блестят,
 И младенчески раскрыты
 уста²¹.

Но в окончательный текст Пушкин не ввел эти «психологические» строфы, оставшись верным аскетической поэтике. В итоге душевная жизнь героя уходит за кадр, тема раскаяния звучит сдержанно и строго, а рассказ об искушениях сух и лишен индивидуализирующих подробностей — и лишь одна строфа отличается от других своей болезненной экспрессией:

Он проснется с содроганьем,
 Полон страха и стыда;
 Упоение соблазна
 Сокрушает дух его.

Чувствуется, что именно здесь проходит лирический нерв сюжета, что здесь пульсирует личный опыт, так или иначе растворенный во всяком лирическом произведении. Содроганье от своего греха — выразительнейшая деталь, напоминающая мотивы другого, более раннего стихотворения Пушкина, в котором личный опыт эксплицирован прямо, в первом лице, и в котором также собственный грех вызывает дрожь и слезы:

²¹ Строфы выбраны нами из ряда черновых вариантов.

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуясь, и горько слезы лью...

Как известно, «Воспоминание» в автографе имело вторую часть, слишком интимную и потому не попавшую в печатный текст, — в ней возникают загадочные образы двух ангелов «с пламенным мечом», которые «стерегут и мстят». Эти образы интриговали исследователей и породили разные толкования, но при любом толковании нельзя не учитывать их источника — третьей главы Книги Бытия, где говорится о грехопадении Адама и наказании Божиим: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3: 24). Ангел с пламенным мечом, преграждающий согрешившему человеку путь в бессмертие, символизирует Божий гнев и кару. Очевидно, художническое изображение Пушкина поразил этот библейский образ, не только введенный в текст «Воспоминания», но и графически запечатленный в его автографе: Пушкин нарисовал меч в виде пламени, передав его движение и горение. И тот же образ — ангела с пламенным мечом — зарисован на одном из черновигов «Родрика»²². Эти рисунки — свидетельство общей библейской темы двух стихотворений (грехопадения и его последствий); в «Воспоминании», во второй, непечатной его части, эта тема, воспринятая художественной интуицией, дана пунктиром — в «Родрике» она уже прописана отчетливо, как осознанная религиозная тема. Судьба испанского короля получает, таким образом, общезначимость притчи, сквозь которую просвечивает библейская история человека.

У Саути очищение дается герою нелегко, новое рождение в духе сопряжено с борьбой и страданием. Пушкин, некогда написавший об этом «Пророка», теперь расслышал эту проблематику в английской поэме и обнажил ее в своем рассказе о жизни Родрика-отшельника. Взыскав чистоты (о чем, впрочем, прямо не говорится и можно только догадываться), Родрик мало преуспевает в борьбе с лукавым:

Хочет он молиться Богу
И не может. Бес ему
Шепчет в уши звуки битвы
Или страстные слова.

Он в унынии проводит
Дни и ночи недвижим,
Устремив глаза на море,
Помяная старину.

«Уныние» у позднего Пушкина означает отлученность от Бога, Его света, мрак безбожия. Напомним, что «унынием тесним», «уныньем изнывает» герой «Странника», пока ему не указан «некий свет». Так и Родрик: он впадает в уныние оттого, что оказался слаб и подвержен искушениям, оттого, что избранный путь ему не по плечу. Но мир Пушкина — это мир «милости, а не правосудия» («Капитанская дочка»), мир благодати, а не закона. То, к чему так стремился герой, дается ему свыше вопреки обыденной логике, вопреки, может быть, даже справедливости — небеса открываются над ним:

Но отшельник, чьи останки
Он усердно схоронил,
За него перед Всевышним
Заступился в небесах.

В сновиденьи благодатном
Он явился королю,
Белой ризою одеян
И сияньем окружен.

Этот мотив небесного заступничества, отсутствующий в соответствующем месте поэмы Саути, приводит на память еще одно пушкинское стихотворение,

²² См.: Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М. 1983, стр. 54 — 55.

герой которого тоже не праведник, тоже вроде бы не заслужил, и, однако ж, удостоен высшей милости, — речь о «рыцаре бедном», полукошунственно влюбленном в Богородицу и принявшем ради нее монашество, сомнительное с точки зрения христианской аскетике²³:

Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он строго заключен,
Все влюбленный, все печальный,
Без причастья умер он;

Между тем как он кончался,
Дух лукавый подоспел,
Душу рыцаря сбирался
Бес тащить уж в свой предел:

Он-де Богу не молился,
Он не ведал-де поста,
Не путем-де волочился
Он за матушкой Христа.

Но Пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.

Перекличка двух текстов не исчерпывается этим мотивом: сходно описано поведение героев в добровольном заточении и происки «лукавого», почти совпадает и размер стихотворений. Все это не случайно: весной — летом 1835 года Пушкин вернулся к своей давней (1829 года) легенде о «рыцаре бедном» и радикально ее переработал, пересмотрел судьбу героя, лишив его небесного заступничества и отказав ему в посмертном спасении²⁴. Очевидно, что «Родрик» и поздняя редакция легенды возникли в пушкинском художественном сознании как параллельные тексты, в соположении друг с другом. Если в 1829 году путь «рыцаря бедного» метафорически выразил личные устремления Пушкина, то теперь, в 1835-м, избранный Родриком традиционный христианский путь больше соответствует его новым духовным потребностям, и именно этот путь получает высшее оправдание в сюжете его «испанской баллады».

* * *

Еще П. В. Анненков обратил внимание на интерес Пушкина к житиям; он сопоставил, в частности, «Странника» с фрагментом из жития Иоанна Кушника, который Пушкин выписал из январских Четых-Миней, и указал на их «сильное сходство»²⁵. Текстуальные совпадения, отмеченные Анненковым, может быть, и не бесспорны, но бесспорно, что самый дух житийной литературы оказал воздействие на Пушкина и отложился в его позднем творчестве.

Тема «Пушкин и жития» почти не изучена, а между тем материала для нее более чем достаточно. В бумагах поэта сохранились упомянутая выписка из жития Иоанна Кушника, выписки из житий св. Ора черноризца и преп. Никиты затворника Печерского, переложение на русский язык жития преп. Саввы Сторожевского, однако все эти тексты уже более шестидесяти лет не печатаются в собраниях сочинений Пушкина и их место в его творческих замыслах не прояснено. Начиная с 1825 года (время работы над «Борисом Годуновым») и до конца жизни Пушкин читал Четых-Миней регулярно и советовал читать другим²⁶. Если суммировать эти факты, если учесть многочисленные упоминания святых и житий в пушкинских статьях и письмах и если к тому прибавить

²³ Сходство впервые отмечено в статье: Якубович Д. П. Пушкинская «легенда» о рыцаре бедном. — «Западный сборник». 1. М. — Л. 1937, стр. 244.

²⁴ Подробно об этом см.: Сура т И. Жизнь и лира. О Пушкине. М. 1995, стр. 86 — 105.

²⁵ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб. 1855, стр. 386.

²⁶ Свод данных об этом см.: Фомичев С. А. Пушкин и древнерусская литература. — «Русская литература», 1987, № 1, стр. 28 — 32.

внушительный список книг религиозного содержания, находившихся в пушкинской библиотеке, то можно без сомнений говорить о том, что этот пласт нашей духовной культуры был для Пушкина существенно важен. Пик его интереса и внимания к житийной литературе приходится, судя по всему, на 1835 год, когда пушкинский лицейский друг М. Л. Яковлев и его приятель, лицеист более позднего выпуска Д. А. Эристов, вовлекли его в работу над «Словарем историческим о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых сподвижниках благочестия местно чтимых». Словарь вышел в свет в 1836 году, и Пушкин отозвался о нем с похвалой в «Современнике», но похоже, что материалы словаря были ему известны до печати. Мету и форму участия Пушкина в предприятии его друзей установить трудно: Анненков писал, что «он участвовал и советом и, если не ошибаемся, самим делом в составлении „Словаря...”²⁷, В. П. Гаевский со слов Яковлева говорил о «содействии» Пушкина²⁸. Вероятнее всего, Пушкин просматривал рукопись, подготовленную Эристовым и Яковлевым. Отношения у них были короткие, они встречались втроем, двумя годами раньше друзья предоставили Пушкину рукопись своего «Исторического словаря», и он использовал ее в работе над «Историей Пугачева». Видимо, то же произошло и теперь. Да и трудно допустить, чтобы Эристов и Яковлев в столь важном деле не прибегли к пушкинским советам или чтобы Пушкин отказал им в помощи. И после выхода словаря из печати между ними продолжалась эта тема — 19 ноября 1836 года Пушкин просит Яковлева: «Не забудь записку о святых доставить мне грешному». Так что житийные сюжеты и темы были для Пушкина в это время актуальны и по внутренней потребности, и по внешнему стечению обстоятельств. Он вошел в мир «отцов пустынников», проникся его аксиологией, и убедительнее других фактов об этом говорит «романсеро» о Родрике.

Житийные сюжеты и раньше встречались у Пушкина: в лицейской поэме «Монах» (1813) он пародировал житие Иоанна Новгородского, в «Русалке» (1819) сатирически смикшировал мотивы житийной аскетики и балладной романтики. «Русалка» начинается так:

Над озером, в глухих дубровах,
Спасался некогда Монах,
Всегда в занятиях суровых,
В посте, молитве и трудах.
Уже лопаткою смиренной
Себе могилу старец рыл —
И лишь о смерти вожденной
Святых угодников молил.

Буквально те же общежитийные мотивы повторены в «Родрике», но звучат они совсем иначе: всерьез. Житийные подтексты поэмы Саути Пушкин усилил и обогатил русской традицией. В рассказе об отшельничестве Родрика почти ничего уже нет от староиспанского романа, а тем паче от английской романтической поэмы; в нем сконцентрированы — на небольшом пространстве текста — идейно-сюжетные и стилевые константы житийного жанра, каким он сложился в литературе восточного христианства.

Уединение в пещере, найденные нетленные мощи, один отшельник хоронит другого, приготовление к смерти, молитвы, пост, плоды в пищу и ключевая вода, краткий сон и ночные искушения дьявола, борьба с ними, умерший святой заступается за живущих, является им, наставляет, призывает восстать, предрекает победу над врагами, возвещает Божью волю, пророчествует о будущем — все это общие места житий святых, чтимых в России²⁹. Пушкину наверняка были знакомы разные их редакции: помимо словаря Эристова и Яковлева он мог читать, скажем, «Памятник событий в Церкви и в Отечестве» Якова Орлова (2 — 6 тома издания 1818 года были в его домашней библиотеке³⁰), но в этих справочных изданиях жития представлены в сокращенных ва-

²⁷ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина, стр. 387.

²⁸ «Библиографические записки». 1861. Т. 3. № 10, стлб. 288.

²⁹ Напомним, что некоторые из этих мотивов (мотив нетленных мощей, мотив небесного заступничества) введены Пушкиным вразрез с сюжетом Саути.

³⁰ См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, № 272.

риантах, в беглых пересказах с упором на исторические события, в них отраженные. «Родрик» же убеждает в том, что его создатель был начитан глубже в житийной литературе, что он обращался к главному, церковнославянскому источнику — к Четым-Миниям или к отдельным изданиям житий в редакциях Четых-Миней Дмитрия Ростовского (именно из этого источника Пушкин сделал выписки, условно датируемые началом 1830-х годов³¹). Обозначенные нами элементы житийного канона, вошедшие в пушкинский сюжет, встречаются в популярных в России житиях Антония Печерского, Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, Александра Невского (последнее Пушкин безусловно внимательно читал, так как почитал Александра Невского своим небесным покровителем³²), но у Пушкина они лишены адресных примет. Для своего стихотворения он взял не характерные эпизоды конкретных житий, а наиболее устойчивые мотивы, дающие как бы некую схему, матрицу роста души.

Житийный сюжет включает, как правило, две составляющих: первая — борьба героя за спасение, вторая — убедительные доказательства достигнутой святости и непосредственной связи с Богом, чудеса, творимые святым при жизни и после смерти. У Пушкина второй составляющей нет, не святость его интересует, а греховность и путь освобождения от греха, внутренний поворот в человеке. Житийным подтекстом вводится открывающаяся герою идеальная перспектива аскетического опыта, наработанного «духовными тружениками».

Жанрово-смысловую доминанту пушкинского «Родрика» можно определить как житие великого грешника. По христианским воззрениям, всякий человек первородно грешен, и в этом смысле «Родрик» представляет обобщенно жизнь человека и предначертанный ему путь искупления. И на этом пути пушкинскому герою дается благодать, прощение, встреча. Грешник, отверженный Богом и людьми, становится посланцем Божиим, проводником высшей воли. «Пробудясь, Господню волю / Сердцем он уразумел...» Уразумел — сердцем. Это, конечно же, не обмолвка и не парадокс. Герой теперь в согласии с Богом, а потому его сердце и разум действуют в лад, как одно целое. А разлад ума и сердца — признак безверия, безбожия (ср. в лицейском «Безверии»: «Ум ищет божества, а сердце не находит»).

Родрик становится другим человеком, он рождается заново — вот внутренний сюжет пушкинского романсеро. Но это ведь и сюжет «Пророка» и вообще один из любимых пушкинских сюжетов, трансформируемый в разных жанрах. В «Родрике» он завершен: преображение состоялось — повествование окончено.

Итак, Родрик направляется Божьей волей из пустыни обратно в мир: «Встань — и миру вновь явись». Он хотел от мира удалиться, жить отшельником и так спасти свою душу, но оказывается, ему суждено другое. Вопрос об уходе от мира ставится с болезненной остротой и в других пушкинских стихотворениях этого времени: в «Пора, мой друг, пора!..» поэт мечтает о победе в «обитель дальнюю», но мечта его звучит обреченно; в «Страннике» герой рвет решительно все мирские связи, не внемлет мольбам ближних, оставляет их ради личного спасения. Именно здесь усмотрел Анненков «сильное сходство» с пушкинской выпиской из жития Иоанна Кушника, в котором дьявол искушает святого мыслями о ближних, оставленных в миру. В этом отношении житие Иоанна Кушника отличает только то, что Пушкин остановил на нем свое внимание. Вообще же решительный уход от мира — устойчивый житийный мотив, неперменный шаг в начале монашеско-аскетического пути. Но Родрик — воитель, и Бог определяет ему особое, не отшельническое, а ратное служение, через которое он и может стяжать спасение: «Но Господь руке твоей / Даст победу над врагами, / А душе твоей покой». Рассуждения толковате-

³¹ См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 6-ти томах. Под редакцией Д. Бедного, А. В. Луначарского и др. М. — Л. 1930. (Приложение к журналу «Красная нива» на 1930 год). Т. 5, кн. 11, стр. 475 — 476. Подготовка текста и примечания Ю. Г. Оксмана. Источник пушкинских выписок Оксманом не указан.

³² Об этом см.: Лебедева Э. С. «Святому Невскому служил...». — В сб.: «Пушкинская эпоха и христианская культура». Вып. 4. СПб. 1994, стр. 74 — 81.


лей о том, что «победу над врагами» надо понимать как победу над бесами и собственными страстями³³, кажутся надуманными — здесь у Пушкина опять традиционный житийный мотив: Господь через своего угодника благословляет воина на борьбу с врагами Отечества и христианской веры; так Сергей Радонежский именем Божиим пророчил Димитрию Донскому победу над татарами перед Куликовской битвой (житие преп. Сергия Радонежского).

Итак, проблема спасения героя решается Пушкиным в соответствии с христианским идеалом, с использованием ряда универсальных элементов житийного жанрового канона. И в стилевом отношении ему важно было найти поэтический эквивалент церковнославянскому житийному повествованию. Прозаической такой попыткой является уже упомянутое переложение жития Саввы Стожеевского. В «Родрике» стилистическая задача была много сложнее, если учесть, что в этом переводе с английского под видом испанского романсера житийное начало не явно выражено, а латентно подсвечивает сюжет. Пушкин, соблюдая тонкий стилевой баланс, ввел во вторую и третью части немногочисленные, но характерные, подходящие теме словоформы и сочетания: «изрытую», «в сновиденьи благодатном», «белой ризою одеян», «и вещал ему угодник». Показательный момент стилового поиска отражен в черновике: Пушкин сначала написал «тленье труп не коснулось», и хотя эта фраза уже достаточно специфична (как и сам мотив нетленных мощей), он внес в нее дополнительный архаизирующий оттенок, исправив «трупа» на «труп». В таких деталях мы видим дополнительный аргумент в пользу мысли о сознательной ориентации автора «Родрика» на древнюю духовную и художественную традицию.

Таким образом, при видимой простоте пушкинский «Родрик» оказывается произведением сложной смысловой и формальной структуры: на материал испанских романсов и английской эпической поэмы лег русский житийный пласт, но важно, что это многослойное художественное целое, состоящее из столь разнородных, казалось бы, компонентов, одновременно есть самая сокровенная лирика, свидетельство внутренней жизни поэта, чем и определяется цельность этого необычного стихотворения. Его лирическая природа обнаруживает себя и всплесками личного чувства, прорывающими балладно-повествовательную интонацию, и главное — многочисленными переключками с другими лирическими произведениями зрелого Пушкина. Мы писали о связях с «Легендой», «Воспоминанием», особенно с «Пророком»; если определять ближайший лирический контекст «Родрика», то в первую очередь это «Странник» (мысли о скорой смерти, побег, проблема спасения в христианском ее понимании), затем «Пора, мой друг, пора!..» (побег в предчувствии смерти, тема покоя душе), «Отцы пустынники и жены непорочны...» (тема «отцов пустынников» и их очистительных молитв), «Напрасно я бегу к Сионским высотам...» (неодолимость греха), «Полководец» (искание смерти в бою); а если говорить не только о видимых переключках, но и о глубинных смысловых связях, то к названным стихотворениям надо причислить и «Памятник», который с «Родриком» сближают мысли о посмертной судьбе души.

Так проясняется место «Родрика» в поздней лирике Пушкина: стихотворение как будто подражательное и теневое оказывается пересечением сквозных предсмертных тем, отражающих духовную драму поэта. И это очень по-пушкински — вместить глубоко личные свои проблемы в стилизованную поэтическую легенду о жизни готского короля.

³³ См.: Черняев Н. И. Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков. 1900, стр. 503 — 504; Лернер Н. О. Комментарий. — В кн.: Пушкин. Сочинения. Под редакцией С. А. Венгерова. Т. 6. Пг. 1915, стр. 452.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА



В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Кто из живых существ утром
ходит на четырех ногах, днем
на двух, а вечером на трех?

Загадка Сфинкса.

Непонятным мне было всегда это свидание Сфинкса с Эдипом, так трагически закончившееся для первого (первой?), а впрочем, приведшее и второго к не менее трагическим событиям и не менее трагическому концу. Была задана загадка, ценой разгадки которой оказалась жизнь загадывающего; загадка преградила Эдипу путь, и он ее отгадал. Это обстоятельство, обычно остающееся как-то в тени среди бурных событий жизни Эдипа, не выходит на первый план именно в силу своей непонятности.

Загадка кажется очень простой, каждый малыш ныне знает на нее ответ. Именно — знает, ведь загадку ему сообщают сразу вместе с ответом. Но ни ребенок, ни взрослый и сейчас не отгадали бы ее. Отгадал — Эдип. И ответ прозвучал так, что Сфинкс бросился с кручи и разбился о камни. Ответ покажется странно знакомым тем, кто помнит евангельскую историю, — и, наверное, в этом заключен какой-то смысл, ибо то, что сказал Эдип, звучало примерно как «Се человек».

Что же сделал Эдип? В странном зеркале, поднесенном ему Сфинксом — природой, он опознал себя. Почему это было так трудно — до того трудно, что все, кто проходил этим путем до Эдипа, гибли, не сумев разгадать загадки, несмотря на то что их не спрашивали ни о чем большем, чем они сами? Какое искажение было заложено в облик, предлагаемый глазам путников, в чем заключалась кривизна зеркала, менявшая собственное лицо вопрошаемого до неузнаваемости? До неузнаваемости даже под страхом смерти?

Время. Зеркало представляло человека во времени, и подвиг Эдипа заключался в опознании себя в этой невероятной развертке, в этом равенстве-неравенстве себе самому. Подвиг Эдипа заключался в признании реальности. И как только человек смог узнать себя в зеркале, поднесенном ему природой, как только он произнес магические слова узнавания — природа отступила, освободив ему путь. Опознав себя в реальности, человек овладел реальностью. Сумев сказать своему облику, предлагаемому природой и весьма далекому от внутреннего представления о себе самом: да, это я, — человек получил опору в реальности, опору, позволяющую продолжить путь, а не послужить пищей для химеры. Сфинкс пожирал — неузнающих. Путь Эдипа был путем трагических поражений, и самые ужасные его поступки были следствием его незнания того, что он — это он. Единственная его победа связана с узнаванием.

Но ведь можно все увидеть совсем в другом свете. Если предположить, что Эдип — первый, кто согласился принять себя таким. Согласился с такой своей определенностью. И тогда получится совсем другая история — история об изгнании из Рая, об обретении своих границ внутри «одежд кожаных», о начале течения времени — времени, несущего смерть отпавшему (избежавшему поглощения Сфинксом?) существу. Тогда Эдип предстанет первым позитивистом, согласившимся с тем, что человек ничего более из

себя не представляет, как только то, что было описано в загадке. Тело в пространстве и тело во времени — и все. И тогда победа Эдипа предстанет как первая утрата реальности, первое ее усечение, первая ложь о ней. И Сфинкс — погибшая, разбившаяся целостность.

В зависимости от этой разницы исходных точек зрения изменится все представление о ходе развития мировой литературы.

Замечательный фильм Ингмара Бергмана «Персона», одно из дальних следствий разгадки Эдипом загадки Сфинкса, — может быть, тоже попытка самоидентификации во времени. Встретились два лица, персонифицированные «позже» и «раньше», и пошли — к совпадению. Молчание (в фильме) ведь только кажется границей, перерывом связи. На самом деле, если можно упасть человеку в человека — то только в молчании. Слова, кажущаяся связь, являются на самом деле границей — самая потребность слов. Замолкание слова страшно тем, что можно услышать — помимо. Свои или чужие слова — равно защита. Заставить замолчать — условие вслушивания.

Почему мы не боимся зеркала? Может быть, до Эдипа зеркал боялись? «Откуда узнали вы, что вы наги?» Момент осознания себя был моментом постановки перед зеркалом: ты вдруг оказываешься перед гранью, из-за которой на тебя кто-то смотрит, и ты знаешь, что этот кто-то — ты. Эдип, уворачивающийся от пасти Сфинкса, становится Нарциссом; не желающий слиться со всем не может противостоять искушению слиться — с самим собой. Но момент слияния — момент уничтожения, и не только потому, что по несчастной случайности Нарцисс смотрелся в воду. Он на самом деле не утонул. Он исчез, аннигилировался на разделяющей поверхности. Сделав шаг себе навстречу, он исчез, как исчезают рванувшиеся друг к другу положительное и отрицательное числа. И тогда истинной реальностью оказывается лишь разделяющая грань. Ноль. Так встречается человек сам с собой, без посредников. Некоторым образом приходится признать, что литература определенной эпохи — всего лишь процесс, описывающий достижение ноля.

Однажды, читая с заболевшим сыном все попеременно, только что закончив рассказы А. Битова и перейдя к Диккенсу, мы натолкнулись на очень интересную (с точки зрения этой статьи) сцену, спровоцировавшую следующий диалог: «Мама, а это на самом деле так или ему только кажется?» — «У Диккенса всегда все на самом деле». — «А, понятно. Не то что у Битова».

Вот эта сцена из романа «Большие надежды». Пип, только что натерпевший страху из-за угрозы беглого каторжника, теперь сидит и терпит жуткую пытку за столом в ожидании того, что сейчас обнаружится пропажа паштета, а затем выйдут на свет Божий и все прочие его преступления. Он абсолютно убежден, что вслед за тем на него обрушатся невиданные кары. И вот сестра пошла за паштетом. «Сестра вышла из кухни. Я слышал, как ее шаги направились к кладовой. Я видел, как мистер Памблчук вооружился ножом и как от нового приступа аппетита раздулись римские ноздри мистера Уопсла. Я слышал замечание мистера Хабла, что „свиным паштетом можно заесть что угодно, вреда не будет“, и слова Джо: „Тебе тоже дадут, Пип“. До сих пор не знаю, только ли мысленно я испустил пронзительный вопль, или его слышали все остальные. Почувствовав, что мне больше не выдержать, что нужно спастись, я отпустил ножку стула и сломя голову бросился к двери. Но дальше порога я не добежал, потому что с размаху врезался в целую партию солдат с мушкетами, и один из них сказал, протягивая мне наручники: „Ага, попался, ну теперь берегись!“»

Можно себе представить, как написал бы ее кстати помянутый Битов. В сущности, он мог бы повторить ее слово в слово. Только потом, по окончании сцены, выяснилось бы, что ничего не было. Она наверняка родилась бы лишь в воображении битовского героя, порожденная напряженным и испуганным сознанием, которому уже не нужно реальности, не нужно события, чтобы пережить его и откликнуться на него. Достаточно ничтожного даже толчка, и воображение начинает создавать события самостоятельно, созидая некую вещающую себя реальность внутри сознания, разворачивая варианты события. Ни-

чего не случилось, а все уже прожито. Эти игры со вторичной реальностью, реальностью внутри сознания, не приносят опыта. Взамен они приносят усталость и опустошенность. Вместо истинности бытия и события расплескиваются яркие краски майи: жизнь проживается в воображении. В воображении человек становится могучим, смелым, любимым, самоотверженным и т. д. Ему уже нет нужды, у него, во всяком случае, нет желания бороться за реальность, за контакт с ней, который есть — ее сопротивление, что и является порукой и с т и н н о с т и, серьезности происходящего. Ручательством того, что все происходит так и никак иначе не произойдет. Не настаивая более на всем перечисленном выше, человек обретает вкус к ограничению реальности рамками себя.

Эдип положил начало узнаванию себя в зеркале, оторвавшись от нерасчлененного целого, допустив некоторую закономерность изменений того облика, о котором человек скажет: «Это я». Интересно, что даже начало процесса ограничения реальности самим собою тут же приводит к сбоям узнавания, к хаотическим, не связанным более никакой закономерностью, изменениям облика. В одном из ранних рассказов Битова «Бездельник» (1961 — 1962) герой ловит себя на том, что распадается на много «производимых впечатлений», но не может сказать, какой же он на самом деле; не может, даже опираясь на свое отражение в зеркале: «Возьмем, скажем, зеркало. Ведь именно перед зеркалом мы понимаем, какими нас видят люди. Для того и строимся. Я же редко узнаю себя в зеркале. То стою перед ним высокий и стройный, и лицо красивое, подтянутое, черты правильные и резкие, то невозможно толстая оладья — не понять вообще, есть ли эти черты. И не просто широкое, а безбрежное у меня иногда лицо, и сам я тогда коротенький и толстый. Одно время я думал, что только сам в этом путаюсь, а остальные видят меня объективно, с такими-то и такими-то определенными, именно мне присущими чертами. Оказывается, нет. Руководитель сказал мне как-то: «Позвольте, что с вами? Какой вы, оказывается, высокий! Вы что, на котурнах? Вы же всегда были низеньким?» При этом он знал меня уже около месяца и каждый день видел. ...Есть, конечно, и кое-какие объективные, вернее, полицейские данные: глаза — карие, волос — русый, губы — толстые. Хотя, кто знает: может, и это неточно».

Само собой разумеется, что еще более, чем черты лица, становится изменчивым то, что эти черты выражают. В человеке как бы зримо совмещаются возможности всего рода человеческого, диапазон его характеристик становится неограничен, так что невольно вспоминается замечательное Веничино определение, данное, правда, в «Москве — Петушках» несколько иному состоянию: у меня не голова, а дом терпимости. Плата за такую всеохватность все та же — утрата определенности, своего рода развоплощение. Герой, говорящий о себе: «Ну а уж о том, какие разные черты характера вижу я в своем лице, глядя в зеркало, и говорить не приходится. Вот оно, волевое и нежное, лицо Джека Лондона. А вот фанатичное, сгоревшее — одни глаза, — лицо индийского факира. Вот лицо чемпиона мира Юрия Власова. Вот лицо князя Мышкина. А вот безвольное, грязное лицо, со следами разврата, лицо человека, способного на любую подлость», — не способен определиться ни в каком из перечисленных качеств и образов, включая последний.

Если реальность ограничена рамками индивидуума, это вовсе не значит, что она безопасна. Тибетская книга мертвых, многократно повторяющая для своих адептов, что единственной реальностью в посмертии является Чистый Свет, подробно предписывает правила поведения и пути, которыми умерший, не достигший совершенства и находящийся на ступени зрительных образов, должен следовать для достижения Освобождения. Если умерший будет помнить о том, что те образы, с которыми он имеет дело в посмертии, суть его мыслеформы, и не испугается, не примет происходящего за реальность, он сможет достигнуть Освобождения, нирваны, единственной истинной реальности. Но если он поверит происходящему, то низвергнется в сансару, вращающееся колесо его собственных представлений, принимаемых им за реальность, поскольку истинной реальности он не опознал. И его испуг и морок

станут истинным страданием и болью, потому что такое состояние человека может быть сравнено с состоянием спящего, совершенно забывшего о том, что он спит и может проснуться, окончательно оторвавшегося от состояния бодрствования, заблудившегося в своих сновидениях, внутри которых ведь можно и умереть, не найдя выхода в явь.

Эта сновидческая реальность порождает как милующих, так и карающих богов. Она порождает как светлые грезы, так и кошмары. Но и те и другие застилают от человека первую реальность, нарушают контакт с ней, превращают человека в одинокое существо, скользящее своим одиноким путем, вырубленным в прозрачном стекле, — образ, использованный Битовым в том же рассказе: «И мне кажется: в жестком прозрачном камне прорублены узкие каналы для каждого. У каждого неумолимый и одинокий путь, и только можно взглянуть с грустью и сожалением, как за прозрачной стенкой проходит другой один-человек и тоже смотрит на тебя с грустью и сожалением, и даже не останавливаемся, ни ты, ни она, не стучим в стенку и не пишем пальцем и не делаем знаков — проходим мимо, и столько в этом горького опыта невозможности. Один-человек плюс один-человек — равно два один-человека. Особенно если женщины... Особенно если друзья... Особенно если дети... Особенно если старики...»

Так человек становится существом, не приспособленным для всякой встречи. Существом, боящимся самостоятельной жизни своих грез. Мечты лишают возможности узнать, стирают в сознании приметы, по которым узнают, как стираются края пароля — половинок серебряной рыбки — в повести Маканина «Один и одна» (1987), больше не складываясь, не сходясь, не совпадая, — столько раз идеально совпавшие в воображении, что в реальности малейшая зазубрина кажется роковой трещиной.

Где начало (во всяком случае, очевидное, ближайшее начало) этого пути? Представляется, что там, где традиционно видят вершину реализма в литературе. Психологизм, столь мощно захлестнувший литературу в XIX веке, оказался первым шагом в сторону от реальности. Вместо реальности стали описывать восприятие реальности персонажем. Со второго слова акцент постепенно смещался на первое. Возможно, момент равноударности — это литература потока сознания: сознания, все еще возбуждаемого реальностью, восприятия, все еще воспринимающего реальность. Это момент зарождения в романе лирического героя. Здесь он уже появился, но еще не стал одинок. Реальность, потеряв ударение, еще не исчезла из словосочетания, другие герои произведения еще не превратились — здесь две возможности: либо в проекции лирического героя, либо в белые пятна внутри ткани повествования, в заповедную зону. Во втором случае уважение к реальности другого все же сохраняется — наверное, именно поэтому в чистом виде этот вариант почти невозможно отыскать.

Лирический герой постепенно теряет дистанцию — и снимает маску, отделяющую его лицо от лица автора, как маска актера отделяет его от создаваемого им персонажа. Авторы начинают играть самих себя. С одной стороны, это попытка искренности. С другой — это потеря воздуха и плоти повествования, могущих возникать лишь в зазоре между автором и другим. Последняя грань, отделяющая Нарцисса от совпадения с самим собой и аннигиляции, последняя оставшаяся реальность — это сам процесс письма. За нее хочется ухватиться, поэтому очень часто процесс писания становится процессом описания процесса писания. Или даже — процесса вычеркивания, как, например, описано это в повести Маканина «Голоса» (1982). Причем вычеркивается именно она, реальность, и даже данный ею импульс, — если хоть как-то чувствуется, что этот импульс с реальностью связан. Желтые горы, породившие все писание молодого автора, последовательно уничтожаются совместными усилиями его и редакторов: автор камуфлирует реальность, а редакторы распознают ее даже под камуфляжем и последовательно избавляют от нее во всем остальном «прелестные» произведения начинающего творца.

Что психологизм есть уход от реализма, понимал Ф. М. Достоевский, когда написал свое знаменитое *profession de foi*: «Меня зовут психологом: неправ-

да, я лишь реалист в высшем смысле...» Тем самым он противопоставил психологизм тому, что делал сам, — изображению реальности, с которой человек сталкивается за внутренней гранью своей души. Потому что психологизм — это изображение и искажение реальности в плотной среде между внутренней и внешней гранью, внутри души. Эти искажения и их изображение занимали Достоевского лишь в очень небольшой степени. Его интересовали причины и следствия этих искажений, то есть реальность. Психологизм в литературе аналогичен психологической теории фрейдизма, когда весь мир внутри человека предстает как искажение фундаментальных и примитивных физиологических предпосылок, когда вся сложность, и ужас, и красота этого мира есть ложь, получаемая путем трансформации сознанием примитивных импульсов. Психология в том облике, который она обрела благодаря Юнгу, есть психология на пороге признания реальности и обращения к реальностям за внутренней гранью души. Этот момент в литературе зафиксирован понятием «постмодернизм». Литературу, обнимаемую этим понятием, объединяет полученный доступ к «коллективному бессознательному», а различаются ее течения признанием или непризнанием реальности того, с чем столкнулись. Потому что можно забыть, что ты спишь. Можно (и это, на мой взгляд, самое презренное состояние, свойственное эпигонам, дельцам от литературы) спать вполглаза или вообще придумывать сны, ни на миг не подвергаясь даже тени опасности. Но можно, будто бы еще во сне, вдруг обнаружить, что уже проснулся. Тогда рождаются шедевры постмодерна: Венедикт Ерофеев, «Москва — Петушки».

Импрессионизм, конструктивизм и другие «измы», буйствовавшие на границе XIX и XX веков, можно увидеть не как «отход» от реализма, но именно как попытку реализма в условиях, когда реальность разрушена, подточена, деонтологизирована психологизмом, как попытку поймать и удержать те крохи реальности, которые еще не сползли с мертвого остова, поймать мгновение (импрессионизм) или хотя бы удержать самый остов (конструктивизм). Литература в это время становится «теоретична» именно потому, что «охота» за реальностью не может вестись старыми методами, требуется разработать «план», прежде чем приступать к ловле, или хотя бы определить, кого, собственно, ловят. Иначе говоря, там, где мы привычно видим исчезновение реализма, исчезает не реализм — исчезает сама реальность.

Такое разрушительное воздействие психологизма на реальность объясняется уже описанной ситуацией Нарцисса. Психологизм — это и есть всматривание в себя без посредников, разрушительное самолюбование, когда отдельные черты приобретают самодовлеющую ценность и перестают служить созданию лика, облика, когда человеческая ценность возрастает неизмеримо — чтобы немедленно свергнуться в пропасть разложения, ибо отрицается ценность высшая, интегрирующая; самодовление оборачивается распадом. В отсутствие целеполагания перестают различаться черты важные и случайные (ведь такое различие может проводиться лишь с точки зрения некоторой цели), прыщик приобретает всю ценность и достоинство черты лица, невроз — черты характера. Подлинность зарастает (или размывается) мнимостями до такой степени, что вдруг выясняется, что онтологической, то есть незыблемой, характеристикой может быть текучее время.

Но времени, как именно неонтологическому состоянию некоторой вещи, нужна онтологическая опора, чтобы двигаться равномерно. Время способно вносить в мир упорядоченность и стройность, лишь находясь в постоянной соотнесенности с вечностью, с областью целей времени. Предоставленное само себе, оно бесится, выкидывает разнообразные фокусы, неоднократно описанные в критических и литературоведческих работах, а потом вообще исчезает, во всяком случае, становится неуловимо.

К этому вернемся чуть позже, а пока вспомним о пространстве. На том витке развития литературы, о котором здесь говорится и который наиболее адекватно представляют Андрей Битов, Владимир Маканин, Саша Соколов, Венедикт Ерофеев, Людмила Петрушевская, Василий Аксенов, с художественным пространством происходит удивительная вещь, я бы даже сказала — революционное изменение (хотя эта революция, как и всякая другая, была тща-

тельно эволюционно подготовлена). Я уже чуть-чуть намекнула на это изменение, заговорив о «лирическом герое» романа. Пространство повествования оказывается в нутри главного героя произведения, и есть свидетельство о том, как это произошло: «Жизнь его, взорвавшаяся, разбрызганная, как бы разлилась и наполнила все содержанием и жизнями. Он чувствовал себя богом, нигде и во всем, обнимавшим и пронизывающим мир» (Андрей Битов, «Жизнь в ветреную погоду»).

Отныне жизнь мира, луга, леса, улицы, поезда, практически любого героя любого произведения указанной линии развития литературы будет показана такой, какой она видится изнутри главного героя, почти без всяких корректировок, без всяких критериев адекватности. Теперь они все существуют уже не во плоти, а как тени его восприятия, мир расплывается, получает черты ирреальности, возможности вариативного развития, а главный герой, все чаще ведущий повествование и часто называющий себя «автор», случается, признается: «Но, может быть, я боюсь за них потому, что редко у них бываю и от незнания выдумываю. Может быть, я выдумщик, и потому не только Нинель Николаевна и Геннадий Павлович, но так же все прочие мои знакомые и приятели, и моя семья, жена, дочь, все люди и города, и деревни и весь мир вокруг — это хрупкая, моя и не моя, выдумка» (В. Маканин, «Один и одна»).

До блестящего завершения этот процесс был доведен еще Венедиктом Ерофеевым в «Москве — Петушках». Кажется, сейчас уже никого не удивит, если сказать, что мир этой бессмертной поэмы вполне сопоставим по своей фактуре с миром злых и добрых богов, увиденных умершим, оставшимся на стадии зрительных образов, как он описывается в Бардо Тедол (тибетской Книге мертвых). Это мир мыслеформ, где происходят самые ужасные вещи и все же ничего не происходит, где тело разрубают на куски и выпивают из него кровь, но не могут умертвить, «ибо пустота не может причинить вред пустоте». «Ни Мирных Божеств, ни Гневных, ни Пьющих Кровь, ни Обладателей Звериных и Птичьих голов, ни радужных ореолов, ни устрашающих обликов Бога Смерти в реальности, вне твоего разума не существует — в этом нет сомнения». Но сомнения нет также и в том, что все мучительные ощущения испытываются и переживаются героем этого мира с яркостью первозданной реальности.

В остальных случаях система персонажей не описывается с такой простотой и универсальностью. В повести «Один и одна» главных героев три, и, право, трудно сказать, кто в какой момент кого выдумывает. Вернее даже было бы сказать, что у «главного героя» повести три составляющих. Втроем рассказчик, Голощеков и Нинель Николаевна составляют не только единого, но и единственного героя повести, потому что все остальные выполняют функцию вспомогательную, существуют лишь по отношению к этому единственному «герою», «сопровождают» сюжет, разворачивающийся как приключения духа и сознания «героя», становятся его духовными «зарубками» в реальности (или «защепками» за эту реальность), осуществляя своего рода «привязку к местности». Но в принципе этот топографический момент вовсе не необходим, поэтому варианты повествования, маркированные рассказчиком как несуществовавшие, входят в текст на равных правах с теми, которые засвидетельствованы второстепенными героями.

Если «второстепенные» герои свидетельствуют о существовании «главного героя» в реальности, то три героя, входящие в его состав, свидетельствуют о принципиальной невозможности сосуществования с кем бы то ни было. Один одинокий герой весьма сомнителен: всегда есть вероятность, что он одинок по случайному стечению обстоятельств. Маканин, представляя трехсоставного одинокого героя, исключает из образа всякую случайность, всякую иную возможность. Проходящая через всю повесть аналогия с не встретившимися разведчиками также подчеркивает субстанциальность не встречи, потому что разведчики именно встретились, узнали друг друга, но не открылись друг другу навстречу, ключ не подошел к замку, не совпали половинки серебряных рыбок — их пароля, которые они долго носили в карманах и излом которых стерся от долгого неупотребления, от трения о другие вещи, обычно носимые

в карманах: деньги, ключи, прочие прагматические (а не сакральные) предметы, превратив предметы «сакральные» — в ненужные, в не подходящие ни к чему.

Так трение душ наших героев о несвойственные им чувства иных, неблизких, душ исказило их до неузнавания душами близкими, лишило возможности совпадения с кем-либо, кроме ими же созданных образов, которые тоже искажения, ибо подгонялись по уже порченной колодке. Место «слома» затерто, душа уже не найдет того, кому предназначена, а для непредназначенных она с самого начала была наглухо закрыта. Одиночество становится неизбежно и непреодолимо. Пространство в повести, располагаясь внутри «тройного» героя, перестает удостоверять само себя, распадаясь на участки и уровни, реальные для одного из троих и нереальные для другого.

И все же истинным «лирическим героем» повести нужно считать повествователя, Игоря Петровича, произнесшего процитированную выше фразу о выдумке всей изображенной здесь «реальности». Оканчивающая повесть история о том, как Геннадий Павлович был выброшен из электрички молодыми парнями, проливает свет на действительное соотношение «трех составляющих» «главного героя» произведения. Вернее, даже не сама история, а подозрение Геннадия Павловича, что это Игорь каким-то образом подставил его, — в то время как Игорь уверяет, что не знал ни начала этой истории, ни ее подробностей, пока не услышал их от пребывающего в госпитале Геннадия Павловича. Представленные нам отношения между рассказчиком и двумя другими лицами — это отношения автора со своими героями, автора, втершегося в доверие, заменившего им целый мир, будто не выпускающего их из своих объятий. С героями, конечно, довольно самостоятельными (автору, например, не удалось их поженить, что, впрочем, часто оказывалось не в авторской воле: у всех на памяти сетования Пушкина, что Татьяна удрала-таки с ним штуку и вышла замуж против всякого его ожидания), — но самостоятельными не более, чем самостоятельны хорошие литературные герои. Автор создал их, а они оказались неприспособленными, и он, Игорь, против всякой логики все время чувствует свою вину и ответственность, поэтому он так терпеливо выслушивает все их обвинения, с терпением принимает любые маски, напяливаемые на него героями, желающими общаться с разными людьми, с такими, каких они себе представляют, — потому что это лишь то малое, чем он может искупить свою вину — вину их создания. И его поглощенность чужим бытием, на которую он так горько сетует и от которой периодически ударяется «в бега», — это поглощенность автора бытием созданных им героев, изматывающая, высасывающая, не позволяющая жить собственной жизнью — что и выплескивается в его стремлении к побегу.

Оказывается, прочитанная на уровне этого персонажа, повесть становится повестью об отношениях автора и героев в современности.

Иным способом пространство внутри героя конструируется Василием Аксеновым в романе «Ожог», иные и отношения героя с реальностью в этом произведении, самим автором посвященном Майе. Пять судеб одного «я», из одной точки исходящих, сходятся в одной точке; не важно, какой из своих талантов реализовал интеллигентный мальчик, с какими людьми общался, с кем столкнулся, — главные люди его жизни остаются теми же, в каких бы обличьях они ни являлись. Покрывало майи в этом романе скрывает под собой не пустоту, но жесткую, железную конструкцию, бетонную схему, которую можно разрисовывать какими угодно цветочками и обливать блевотиной любого состава. Она неизменяема и неуничтожима, и не важно, по каким пунктам могут проблудить ипостаси главного героя романа Аксенова между пунктами А и Б, — крайние точки фиксированы намертво.

А сам «я» — кажется, впервые именно в этом романе — называет себя «лирическим героем этой книги».

Пространство, а впрочем, и время здесь смещаются и текут, подчиняясь законам ментальных структур настолько очевидно (будь то мышление по аналогии, воспоминания или просто фокусы абстиненции), что о том, где они (пространство и время) размещаются, спорить не приходится. Но именно

здесь очень показателен момент прорыва в реальность, потому что Аксенов удивительно точно почувствовал условие, необходимое для такого прорыва. В романе часто ведутся разговоры о Боге, но лишь ощущение своего предстояния перед Ним вдруг разрывает пути майи потерявшегося в своих границах сознания; простое чувство своего греха вдруг оказывается твердой почвой, на миг вырывающей героя из тенет сплошной относительности. «„Ты убьешь его?“ — еле слышно прошептала Нина. „Не зародилась ли она в тот морозный день, в тот морозный день, в тот мороз?“ „Я христианин“, — сказал Куницер. „Этого не может быть!“ — воскликнула Нина как бы с испугом. „Отчего же?“ — „Ну... ведь ты же частично еврей... и потом, и потом... это же дико... „христианин“ — это что-то отжившее...“ Куницер рванул галстук, задохнулся от злости. „Идиотка! Это ваш марксизм говенный — уже отжившее, а христианство только родилось! Всего две тысячи лет! Две тысячи всего! Две тысячи лет для Бога — ничто, а Черт успеет двадцать раз сдохнуть!“ — „Как ты наивен, — прошептала Нина. — Бедный, бедный, бедный мой мальчик...“ Больше не было уже сил терпеть! Приняла эстафету от мамочки! Сучья сердобольность, видно, у них в крови! „И потом... и потом... — совсем уже еле слышно прошептала девушка, — христианин ведь не может так делать, как ты со мной...“ Разряд электричества вдруг пронизал Аристарха. В грязном лифте дитя-обвинитель с мокрыми глазенками... Он протянул к ней руки. „Милая, прости меня. Вот сейчас, должно быть, ты права“. За решеткой появилось удивленное лицо Аргентова. „Ну, знаешь, Кун, на старости лет обжиматься в лифте! Ты неисправим!“»

С момента, когда разряд электричества пронзает Куницера, до появления лица Аргентова за решеткой герой оказывается извлеченным из своих приключений сознания — лицом к лицу с реальностью. Оказывается, реальность не требует удостоверения. Встретившись с ней, мы всегда с несомненностью ее узнаем. Она всегда оказывается лицом Другого — единственного для человека истинного другого, потому что, если этот Лик не проглянет в глядящем на нас лице, мы вновь и вновь сможем увидеть в нем только себя.

То же, но иначе происходит в «Школе для дураков». Волшебная симфония Саши Соколова начинается плесками Древних Вод, водяным хаосом сознания, где все темы, и вещи, и слова существуют нераздельно, откуда постепенно вытекают речки и ручейки отдельных тем, вычленяются лица, ведут свою партию, текут, чтобы перетечь в другое, друг в друга, чтобы на последней странице слиться для блистательного аккорда, для чуда — выхода автора и героя в реальность: «Весело болтая и пересчитывая карманную мелочь, хлопая друг друга по плечу и насвистывая дурацкие песенки, мы выходим на тысяченогую улицу и чудесным образом превращаемся в прохожих».

Автор здесь восприимчив при рождении мира из сознания героя — голос, иногда мягко перетекающий от персонажа к персонажу, создающий как бы единый поток, в который струями вплетаются, переплетаясь, голоса, иногда перенимающий нить повествования у Нимфеи, поддерживая готовое прерваться — из-за углубления в частности или путаницы во временах — течение речи. А иногда автор напоминает дирижера, в нетерпении выхватывающего скрипку из рук солиста — чтобы сменить «я» на «ты», создавая игру ракурсов, точек зрения, почти неуловимую, как игра света на воде, и такую же пластичную, легкую и искристую.

Время, только что вышедшее из древнего океана, здесь не течет, или течет произвольно, взад и вперед, или капает, каплями роняя дни в беспорядке. Здесь соседствуют день, когда Нимфея ходил в школу и ездил с мамой зимой на кладбище к бабушке, с дачным днем и с днем, когда дачу уже продали, с днем его службы в Министерстве тревог и с днем его работы в мастерской Леонардо, во рву Миланской крепости. Одновременно могут прийти день, когда умерла девочка из класса и надо попросить у мамы деньги на цветы, и день, когда он уже стал инженером и должен на машине захватить за возлюбленной своей Ветой, учившей его биологии в школе для дураков. «Наши календари слишком условны, и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам, — говорит Нимфея. —

...Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом, это какая-то поэтическая ерунда — череда дней. Никакой череды нет, дни приходят когда какому вздумается, а бывает, что и несколько сразу. А бывает, что день долго не приходит. Тогда живешь в пустоте, ничего не понимаешь и сильно болеешь. И другие тоже, тоже болеют, но молчат».

А еще внезапно может прийти день, когда герой обратится в нимфею, речную лилию, и не найдет себя нигде, и не оставит следов на песке, слившись с сорванным им цветком, перетекши в эту — другую — форму частично, ибо что-то осталось от него прежнего, осталось желание себя прежнего, и хотя он не сумел бы вспомнить, кем он был до исчезновения, ему вновь хотелось стать тем самым забытым кем-то. Но его существование длится, как длится музыка, когда уже перестали играть музыканты, как длится существование человека, когда он уже стал встречным металлическим ветром, горным одувачиком, мячиком шестилетней девочки, педалью шоссейного велосипеда, дорожным камнем, придорожным кустом, тенью на зимней дороге, побегом бамбука. Потому что исчезает лишь тот, кто настаивает на том, что он — именно и только он.

Здесь сознание шагает за свои пределы с другой, противоположной стороны, реальность обретается за внутренней гранью души и оказывается подобна и не подобна давно покинутой реальности за ее внешней гранью. И поэтому, казалось бы, интимнейшее творение нашего времени обретает мощные эпические черты и по жанру не может быть определено как поэма, но — как симфония. Это новый, на наших глазах возникающий мир, все еще существующий в вечном настоящем — еще не прошедший даже обряда именованья, но вечно именуемый (как это, впрочем, и должно быть в вечном настоящем): «Река называлась», «Станция называлась».

Но этот — за дальней гранью — мир обретается тоже только за счет другого, и в «Школе для дураков» платой за обретение реальности является раздвоение героя, то, что с точки зрения реальности внешней носит название «шизофрения». Только в зазоре между одним и другим Нимфеей возможно это новое великолепное творение мира, когда из кругов и водоворотов сознания, как Афродита из пены, рождаются вещи, люди, травы, цветы.

Вот, например (не могу удержаться от примера!), рождение Веты, учительницы и возлюбленной Нимфеи: «Это пятая зона, стоимость билета тридцать пять копеек, поезд идет час двадцать, северная ветка, ветка акации или, скажем, сирени, цветет белыми цветами, пахнет креозотом, пылью тамбура, куревом, маячит вдоль полосы отчуждения, вечером на цыпочках возвращается в сад и вслушивается в движение электрических поездов, вздрагивает от шорохов... ветка спит, но поезда, симметрично расположенные на ней, воспаленно бегут в темноте цепочками, окликают по имени каждый цветок... как твое имя меня называют Веткой я Ветка акации я Ветка железной дороги я Вета беременная от ласковой птицы по имени Найтингейл я беременна будущим летом и крушением товарняка вот берите меня берите я все равно отцветаю это совсем не дорого я на станции стою не больше рубля я продаюсь по билетам а хотите езжайте так бесплатно ревизора не будет он болен погодите я сама растегну видите я вся бесплатножна... я сказала неправду я Вета чистая белая ветка цвету не имеете права...»

Но определенность свою возлюбленная Вета обретает лишь в зазоре, образованном ревностью Нимфеи к себе другому. Лишь здесь черты ее если не лица (о лице Нимфея может сказать лишь: «дорогой Леонардо, представьте себе женщину, она столь прекрасна, что когда вы вглядываетесь в черты ее, то не можете сказать нет радостным слезам своим»), то существования обретают отчетливость и биографическую точность. Герою Саши Соколова для обретения пространства существования реальности пришлось разделить внутри себя.

В случае помещения пространства повествования «внутри» героя восстановить реальность удастся тогда, когда герой — все еще лирической герой произведения — признает тайну других персонажей, очерчивает их границы своим с ними соприкосновением, оставляя нетронутым их душевный мир, оставляя их пространство внутри повествования, хотя оно маркировано лишь как

белое пятно или, вернее, черный ящик. Этим способом воспользовался Юз Алешковский. Герой его «Николая Николаевича» ощущает всю твердость предстоящей ему реальности благодаря не п о н и м а н и ю, непониманием признавая автономность, а значит, и реальное существование другого.

То, что предлагает Саша Соколов, — не выход. Но это указанная возможность выхода, потому что если Нарцисс, увидев свое отражение, не потянется к нему любовно, уничтожая пространство бытия и реальности, но отшатнется в ужасе, подозрении, ненависти или ревности, он избежит исчезновения. И на отвоеванном пространстве он сможет сотворить живой и красочный мир, обладающий всем достоинством реальности и первозданности, платой за который будет, однако, расщепление личности и неизбежное падение в идиотизм и безумие — в силу скудости ресурсов разорванных половинок. Возможно и другое — фантастическое — предположение, что замутненные глаза идиота означают лишь а в т о н о м и ю, полное замыкание в пределах созданного им мира. Но проверить это не в состоянии никто, и вряд ли кто-то сознательно пожелает последовать по этому неверному пути.

Прежде чем заговорить о возможном выходе, несколько слов насчет поведения времени в произведениях Битова, автора, для которого исчезновение реальности и механизмы этого исчезновения стали не просто жизненно важной проблемой, но и были в этом качестве о с м ы с л е н ы. В романе-пунктире «Улетающий Монахов» (1962 — 1990 и позже) время с очевидностью выполняет роль преграды, закрывающей герою доступ к реальности. Он минимум на сутки отстает от своих переживаний (или опережает их), получая импульсы не от реальности внеположенной, но лишь от той, которая существует внутри него, в его сознании, переживая не происходящее, но воспоминания или мечты, — это ведь даже не оставание во времени, не переживание прошлого (или будущего), но именно переживание реальности другого плана, сотворенной собой и только в таком виде доступной для направленных на нее любви, тоски, обиды, боли, даже уколов самолюбия — словом, для любой личностной реакции.

Есть теория, по которой время представляет собой «развертку» вечности, где уже существуют все «происходящие» события, но как бы две руки закрывают их с двух сторон, оставляя посередине открытым — настоящее. Зримым образом такого существования времени является изданный под отдельным переплетом роман, скажем, XVIII века. От битовского героя настоящее закрыто напрочь, а прошлое и будущее недостоверны. Может быть, поэтому главный роман автора, «Пушкинский дом», написан перебиранием вариантов прошлого и будущего героя, ведущим к попытке насильственного сближения времени автора и героя — в тщетном стремлении уловить настоящее. Но подтолкнутое пинками к краю обрыва — авторского времени, — время героя опять-таки оказывается неуследимо (Ахиллес не догонит черепаху); не помогает даже пребывание автора и героя в одной реальности, оказывается, что встреча в общей реальности окончательно заслоняет героя от автора, как любого д р у г о г о, существующего во внеположенной автору реальности, вовне, то есть в месте недоступном. Может быть, поэтому, встречаясь с героем в «общей» реальности, автор проникается к нему уже окончательным отвращением?

Герой Битова в принципе не способен разгадать загадку Сфинкса и, по условию, должен погибнуть. В полном соответствии с этим положением автор, озабоченный сложностями существования героев в реальном мире, за пределами художественного произведения, приводит пространную аргументацию в пользу уничтожения героев при завершении текста.

Выход один — в предстоянии, в том, что в библейских текстах называется «ходить перед Богом». Поднявшему глаза горе, восстановившему связь с истинным Другим автору предоставляется сразу же некоторая свобода от и по отношению к его герою. Вросшая в лицо маска вдруг спадает, как старая змеиная шкура, вокруг лирического героя образует пространство, еще невидимое, но ощущаемое в н е ш н е е пространство; внутреннее, разбегающееся во всех направлениях время вдруг накладывается на пошедший внешний отсчет. Автор и герой начинают некоторым образом напоминать душу, глядящую с высоты, и тело, брошенное вниз. Выход за пределы горизонтального пространства, обретение вертикали, сразу обеспечивает автору давно потерянную

возможность оценки героя, превращая измотавшую душу исповедь без покаяния в возможность суждения и осуждения — возможность драгоценную в случае, если вслед за осуждением следует указание пути, если протянута рука — сверху вниз (но не свысока), рука уже выбравшегося из трясины еще в этой трясине находящемуся. Обретенная вертикаль избавляет автора и от чувства неизбывной вины перед героем, и от тяжелого к нему отращения, простирающегося от необходимости что-то для него сделать при полной невозможности сделать хоть что-нибудь.

Что такой текст вот-вот должен появиться, я чувствовала прежде, чем его прочла. Таким ожидаемым чудом стала «Любью» Юрия Малецкого — повесть, как ее называют публикаторы, или, следуя авторскому жанровому подзаголовку, «fugue in fusion».

В отличие от Саши Соколова, которому приходилось голосом вопиющего кричать слова страшной клятвы: «Palissandr c'est ne moi pas», — без всякой надежды на то, что ему поверят (несмотря на веские все-таки аргументы: «Ибо похож ли я на племянника Берии, внука Распутина или хотя бы на гермафродита», — убеждает он подозрительного читателя), Малецкому достаточно подписи к эпиграфу («Оговорка моей жены Любы, которой и посвящается все нижеследующее, имеющее к семейной жизни автора еще более далекое отношение, чем можно себе представить...»), чтобы ему поверили — априори, до чтения, в силу одной ироничной мягкости интонации, не настаивающей, но и не сомневающейся в сказанном. Пространство текста поделено графически на три части, выделяемые разными шрифтами. Внутри этих частей по-разному течет время: жирным шрифтом выделены старославянские тексты Библии — вечные, дающие опору и курсиву внутреннего мира «лирического героя» — растекающемуся времени воспоминаний и предвидения, снов и обличений из прошлого, — и простому шрифту времени простой реальности, отсчитываемому простым будильником (до тех пор, пока его не разобьют о голову «лирического героя», что вовсе не послужит препятствием для нормального течения времени, и этот факт сам по себе почти чудесен).

Уверенная опора на вновь обретенную реальность позволяет автору разрешить герою предельный субъективизм, отразившийся даже в орфографии: пишем как слышим, пишем как звенит в голове, пишем как думаем (со всеми, графически обозначенными, заминками и заковыками, лишними или пропущенными буквами). Пловец может смело пускаться в открытое море внутреннего мира героя именно потому, что твердо знает, где земля. И твердо знает, что она — твердая. Он может опускаться на большую глубину именно потому, что привязан к надежной опоре. Он откровеннее обнажает душу потому, что она отчасти — всего лишь брошенное тело.

И если герой этого текста напряженно переживает ситуацию постмодерна, блуждающей души в предчувствии выхода в реальность за гранью, то автор из этой ситуации уже извлечен — своими усилиями и с помощью Божией.

Отмежевавшись до начала текста, в подписи к эпиграфу, от своего «лирического героя», автор позволяет ему затем, не вмешиваясь, проделать все то, что склонен проделывать с другим и ближним «лирический герой», вовлекший пространство и время текста внутрь себя. Другой (другая в данном случае) изничтожается «при попытке к бегству», при посягновении на малейшую автономию; не то чтобы желательным, но единственно допустимым и возможным поведением другого (другой) является попытка полной адекватности, безграничного соответствия, немедленной готовности делать то, «чего я именно сейчас изволю: слушать с всепоглощающим интересом, или немедленно лечь в постель, или насладиться совместным прослушиванием на полной громкости какого-нибудь Фрэнк Заппы», даже если он и вызывает у «не я», у нее, лишь зубную боль, даже если для такой адекватности «не я», не переносящая спиртного, должна брать разгон вровень с «я», а потом ее будет рвать. Подлинно, другая половина (ибо в данном случае речь идет о жене), половина подчиненная, часть «меня». Это требование полной и безоговорочной капитуляции, самоотдачи, растворения, отказа от не только собственного, но хоть какого-либо существования, всякой субстанциальности — и есть любовь «лирического героя».

Он пытается убедить себя, что с Этой (прошлую жену он называет Та) все иначе: брак венчанный, он у нее единственный мужчина, они оба — равные части больше, чем каждый из них, целостности, соединенной в Боге, но

не может сдерживать ненависти и отвращения, которые вызывает у него это равенство. И праздник любви, Песнь Песней исполняется героем над расprostертым телом загнанной им в кому «любимой», не мешающей, наконец, ему любить себя, лишенной возможности сопротивляться и быть.

Лишь после всех размышлений героя на сцену вновь, буквально на последней странице, выходит автор и накладывает клеймо на обретенную «любовь» героя: «Думая о своей обретенной любви, он опять забыл о ней сам о й. Лукашка подждал его всегда, везде».

«Всегда, везде» «лирического героя», как мы уже выяснили, находится внутри него самого. Автономное существование, мир, оберегаемый границами «я», как и следовало ожидать, оказывается одержимостью. Что и удостоверяется происходящим с Этой: ее «приступ» — опустошение, истощение, а затем вторжение непонятно чего живого, с ужасом ощущаемое героиней, — буквальное описание «одержимости». «Лирический герой» и его «лукашка» работают на пару: первый стремится поглотить существование другого, второй — внедриться в другое существование для обретения существования собственного.

Но над недвижимым телом возлюбленной жены герой способен воспеть гимн автономности другого, дружности другого, д и с т а н ц и и, позволяющей быть и радости, и боли, ибо у них впервые появляется место, где быть. Гимн ненависти, позволяющей ощутить любовь, гимн предельному натяжению, позволяющему ощутить центостремительные силы.

Почти все внешнее действие разворачивается в темноте. Слишком невелико еще внешнее пространство, зазор между автором и героем, лишь над расprostертым телом жены вспыхивает свет, освещая сразу выросшую площадку, моментально увеличенную невозможностью авторского сочувствия ему¹ в этот миг. Последние слова текста посвящены затуханию света, спаданию развернувшегося было пространства.

Здесь можно было бы закончить, если бы не замечательная статья Александра Гольдштейна, опубликованная в журнале «Зеркало» и уже вызвавшая отклики, в том числе и на страницах «Нового мира» (1997, № 2). Статья, свидетельствующая, кроме всего прочего, о значительном отставании «сознания» критики от «сознания» литературы. Разбирать ее подробно здесь было бы неуместно, но в этой статье есть строки, как бы специально относящиеся к нашему разговору об обретении реальности, о способах и возможности такового обретения. «Попросту говоря, речь в тысячный раз идет о литературе подлинности или существования, за которой стоит человек со своею личной историей. Другие слова ведь уже не проникают в сознание, засыхают на фильтре, выметываются вон. Перспектива соприкоснуться с романом повергает в кому и ступор, а история, мемуар, свободное размышление, повесть судьбы, проза любви и отчаяния, подрывная листовка, прокламация заговорщика, манифест художника и поэта вроде бы куда-то годятся, их покамест не удалось скомпрометировать. Не полностью удалось, скажем во избежание. Только в границах означенных жанров еще можно говорить о жизни и смерти без того, чтобы пеленать эти темы в унижительный кокон якобы возвышающей нас художественности. Во имя чего автор должен прятать от нас свое лицо, во имя какой высшей цели должны мы вникать в сконструированные им беллетристические средостения? Нет такой цели и никогда не было».

Вот о цели и назначении «беллетристических средостений» и хотелось бы еще раз сказать. Дело в том, что «кокон художественности» «нас» вовсе не возвышает и не унижает — это не его функции, это не в его компетенции. Слово «кокон» хорошо здесь своими коннотациями. Из кокона, свернутого для того, чтобы, подобно зерну, умерла личинка и родилась бабочка, чтобы за счет смерти бескрылого пресмыкающегося родилось создание прекрасное, как душа, — и рождается мир, новое творение; из слизи и нечистот «человеческого документа» созидается истинная реальность.

¹ Ср. с иным мнением: «Автор и сам со-чувствует, и читателя заставляет со-переживать своему герою...» (Кублановский и Юрий. «Любью» — повесть, полная смысла. — «Новый мир», 1997, № 2). (Примеч. ред.)

Художественность — действительно кокон, позволяющий не «возвыситься», но достойно осознать, достоверно увидеть реальный опыт, чудовищно искаженный в так называемом «личном восприятии» и «психологической достоверности».

Я хочу сказать очень простую вещь, которую каждый может проверить по своему опыту. Если в драматической жизненной ситуации (скажем, развода) выслушать одну заинтересованную сторону, мир предстанет в таком свете, что жить не только не сможешь, но и не захочешь. Он окажется наполнен лжецами и предателями, изменницами (изменниками) и коварными друзьями — и Бог знает чем еще, полностью дискредитирующим и мир, и Бога. Но если выслушивается и вторая, и третья (а может быть, и четвертая) сторона в этом деле, то реальность начинает возникать сквозь гротескные формы, порожденные сном разума при одновременном разгуле эмоций. Сильный свет, льющийся с одной стороны, создает самый фантастический мир из смешения реальных форм и теней. Реальность творится лишь льющим отовсюду светом. Некоторым образом освещение из одного источника в живописи соответствует психологизму в литературе.

Не для бегства от реальности, но для создания реальности нужен человеку и автору другой. Если ты хочешь узнать нечто достоверное о мире, а не заблудиться в собственных миражах, не смотришь в зеркало — посмотри в другие глаза. Тут опасность меньше даже в том случае, если это будут глаза Сфинкса.

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



ЗАГАДКА «ФРО»

К истории заглавия рассказа Андрея Платонова

(ФР) РР-ОО. Всякое литературоведческое исследование имеет дело с двумя разными областями: во-первых, с психологией автора, создающего свои произведения; во-вторых, с самими произведениями, попадающими порой в такой контекст, о котором автор и не подозревал. Чем значительнее произведение, тем оно самостоятельнее, независимее от автора.

Но тем интереснее столкнуть психологию автора (что автор хотел) и самостоятельное бытие его сознания (что у него получилось). Столкновение это бризантно.

Название знаменитого рассказа Андрея Платонова, опубликованного в журнале «Литературный критик» в 1936 году, провоцирует литературоведов.

Оно — таинственно.

А. Жолковский приводит пять толкований этого заглавия.

Вот самые интересные из них.

«Фрр-о» — так отфыркивает усталая лошадь. Фру-Фру — «лошажье» воплощение Анны Карениной. «Фро» — переосмысленная «мифологема» Анны Карениной.

Фро — «несущая конструкция» имени богини любви — А-фро-диты. Это — уменьшительно-ласкательное имя богини. Афродиту в детстве звали Фро. (Это предположение подтверждается и тем, что много позже Платонов написал рассказ «Афродита», в котором использовал темы и мотивы рассказа «Фро».)

По-немецки froh — прилагательное, означающее «радостная, веселая». Фро — воплощенная радость, которой не идет печаль по мужу.

Все эти ассоциации вряд ли возникали у Андрея Платонова, когда он называл свой рассказ «Фро». Но это совершенно не важно. Рассказ живет своей жизнью, почти независимой от воли автора. И Фро (Фрося) — конечно, радостная, конечно, Афродита, — знал об этом ее создатель или не знал.

«ФРО» СРЕДИ ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПЛАТОНОВА. Ситуация «Фро»: деятель, делатель, мужчина уезжает из дома, где его ждет женщина, — используется Платоновым в повестях «Епифанские шлюзы» и «Джан». Ожидание женщины в этих повестях связано со смертью.

В «Епифанских шлюзах» гибнет мужчина — инженер Перри.

В «Джане» инженер Чагатаев остается жив, но умирает ожидающая его женщина — Вера.

В обеих повестях мужчины уезжают «цивилизовать» дикарей, варваров.

Инженер Перри едет в варварскую Россию.

Назар Чагатаев — в туркменскую пустыню, к вымирающему племени джан.

Главный герой рассказа «Фро» уезжает на Дальний Восток строить электростанции. Здесь ситуация «Джан» и «Епифанских шлюзов» перевернута, увидена не глазами мужчины-«делателя», но женщины, ожидающей.

Смерть оказывается во «Фро» обманкой, мнимостью. Фро посылает мужу телеграмму о своей мнимой смерти. Ее муж возвращается с полдороги и проводит у Фро десять — двенадцать дней. Потом уезжает снова.

ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ «ФРО». Финал «Фро» так же распахнут и таинствен, как и название рассказа.

Можно предположить, что муж Фро уезжает на смерть, на гибель.

Фро — накликала. Для того чтобы муж вернулся, она выдумала свою смерть и этим накликала смерть мужа.

Мужчина уже не нужен, раз в женщине живет его продолжение, его «будущее».

Становится понятен тоскливый колорит рассказа. Будущая неназванная, неопианная смерть отбрасывает тень на весь рассказ.

Платонов поступил в точности по совету Чехова. В начале и в конце рассказов, писал Чехов, мы, писатели, чаще и больше всего врем. Поэтому, написав рассказ, нужно вычеркнуть начало и финал.

По всей видимости, Платонов «вычеркнул» гибель Федора, мужа Фро. Федор погибнет на Дальнем Востоке так, как погиб инженер Перри в России, но ждать его Фро будет, как ждала Назара Чагатаева Вера, — «до самая смерти».

ШАРЛЬ ВИЛЬДРАК И АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Сын парижского коммунара Анри Мессаже, Шарль Мессаже, взявший себе псевдоним из романа Вальтера Скотта «Вудсток» — Вильдрак, был другом Советской России. По всем законам иронии истории, самое милитаризованное, самое эксплуататорское государство, сверхгосударство приветствовали пацифисты, антипатриоты, анархисты всех мастей, и в их числе — Шарль Вильдрак.

В 1931 году он послал свой короткий антивоенный рассказ не куда-нибудь, а в советский журнал «Прожектор». Рассказ был переведен и опубликован в пятом номере журнала за тот же год. Речь в рассказе шла о Первой мировой войне, о жадном игроке, убитом на этой войне и дважды обворованном своими приятелями. Рассказ назывался «Фро».

«Однажды вечером, когда я вышел с поста, ожидая, когда вспыхнет очередная ракета, я споткнулся обо что-то. Оказалось, что это была безжизненная, испачканная грязью нога. Я находился в том месте, где складывают трупы. „Это Фро, — подумал я, — за сегодняшний день один убитый, Фро”» (Ш. Вильдрак, «Фро»).

« — Фро? Вы не русская?

— Ну конечно, нет! <...>

— Почему же нет? Ведь отец ваш русский: Евстафьев!

— Не важно, — прошептала Фрося. — Меня зовут Фро!» (А. Платонов, «Фро»).

Андрей Платонов назвал свою героиню именем из рассказа французского писателя, не обращая никакого внимания на все остальное в этом рассказе.

Так Юрий Олеся назвал капитана дворцовой гвардии Бонавентурой, канатоходца — Тибулом и старую домоправительницу — тетушкой Ганимед, не обращая внимания на то, что Бонавентура был католическим святым, Тибул — латинским поэтом, а Ганимед — любовником Зевса. Олеся нужно было звучание, и только. Бонавентура, в самом деле, воинственное, шпорами бренчащее имя. И Фро имя нежное, женское. Какое отношение это имя может иметь к убитому солдату Первой мировой?

«Фро был родом из Бри, с замашками грубого возчика, забавлявшегося тем, что предлагал всем выпить и сам не упускал возможность попойничать. Он получал из дому по пятьсот франков и огромные съестные посылки... Он выбирал двух-трех товарищей, чаще всего земляков, с которыми пил, обжирался и играл на деньги в покер. На передовых позициях Фро и его товарищи

не только привыкли к войне, как мы все, но мало-помалу стали с азартом предаваться страсти — игре в карты, которая заслоняла от них все события. Фро, богатый крестьянин...» (Ш. Вильдрак, «Фро»).

Литература держится не столько притяжениями, сколько отталкиваниями, «переворотами», «революциями», а не плавным перетеканием одного сюжета в другой.

Писателю порой хочется сделать не точно так же, а с точностью до наоборот.

«А! Так у тебя Фро — богатый крестьянин, которому важна только игра в карты, а до остального ему дела нет? Тогда у меня Фро будет нежная женщина, которая любит своего мужа, ждет его, хранит его фотографии...»

«Фро ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа; позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой; позади него росли волшебные деревья, и в отдалении находились фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа...» (А. Платонов, «Фро»).

Фотография появляется и в рассказе Шарля Вильдрака.

Санитар Обертэн разбирает вещи убитого Фро: «„Военная книжка, трубка, серебряные часы, перочинный ножик”». Потом я увидел бумажник и портмоне. Обертэн стал вынимать содержимое. Фотография молодой женщины переходила из рук в руки...»

Писатель-пролетарий, Андрей Платонов не просто знает народную психологию. Он и сам в полной мере ею обладает. «Мышление по примыканию» — вот ее характерная особенность. Фро зовут не только главного героя рассказа, но и все, что ему принадлежит; имя героя «перетекает» на все, что к нему «примыкает», на все, что герою принадлежит. Фотография молодой женщины, принадлежащая Фро, — тоже Фро.

Таким вот образом фотография молодой женщины, которую хранит у себя игрок, богатый крестьянин Фро, «превращается» в фотографию мальчика, которую хранит у себя любящая женщина — Фро.

Для чего вообще писатель дает своим произведениям названия, уже «бывшие в употреблении»?

Мне кажется, по двум причинам.

Либо писатель хочет указать на своего предшественника, хочет предупредить читателя: я попытаюсь изобразить тот человеческий тип, который уже изображен до меня, но я даю этот человеческий тип в изменившейся обстановке. Так появляются «Гамлет Щигровского уезда», «Степной король Лир», «Улисс» и «Леди Макбет Мценского уезда».

Либо писатель совсем не хочет указывать на своего предшественника, он как бы говорит самому себе: «Эта бездарь испортила такое замечательное заглавие. Ничего... Лет пять пройдет — все и думать забудут про этот рассказ, тогда и используем это имя».

Твардовский вовсе не собирался напоминать об умном прижимистом купце, герое романа Боборыкина «Василий Теркин», когда писал свою поэму о солдате Василии Теркине. Он потому и назвал так свою поэму, что почти не сомневался: роман Боборыкина забыт давным-давно.

В первом случае писатель как бы подзаряжается энергией от «вечно живущего», да еще и добавляет ему своей энергии. Во втором случае писатель сталкивает предшественника в тьму забвения, зато сам получает сильный импульс.

В первом случае литература — традиция, почтение к старшим и уважение к предшественникам, во втором — «сведение счетов».

После рассказа «Усомнившийся Макар» и повести «Впрок» Андрея Платонова не печатал ни один журнал.

И вот в это самое время журнал «Прожектор» печатает средний рассказик про то, как убитого солдата, богатея и игрока, дважды обворовывают.

«Перевод по рукописи М. Зельдович» — вот какой припиской сопровождается этот рассказ. По рукописи!

«Сведение счетов» в литературе тем радикальнее, тем безжалостнее, чем менее оно осознанно. Платонов запомнил резкое, звучное название чужого рассказа, опубликованного в злую для него пору, но сам рассказ забыл начисто, накрепко, как и вся читающая публика Советского Союза. В 1936 году, когда в журнале «Литературный критик» появился рассказ «Фро» Платонова, никто и не вспомнил о рассказе под тем же названием Шарля Вильдрака.

Более того: по прошествии почти шестидесяти лет помнят «Фро» Платонова и слыхом не слыхивали про рассказ Вильдрака.

Можно сказать, что Вильдрак в известном смысле спровоцировал Платонова на использование названия своего рассказа. В новелле Вильдрака речь идет о том, как дважды обворовывают чрезвычайно несимпатичного убитого солдата. Сначала друзья-приятели вытаскивают из бумажника убитого восемьсот франков, потом санитар Обертэн забирает оставшиеся триста. Диада волит триады. Жадный богач и азартный игрок, Фро лишается и своего имени. Его имя получает нежная и любящая женщина, Фро.

POSTSCRIPTUM. Я знаю только один (предположительный) случай подобной «мести» литератора.

Этот случай связан с другом Андрея Платонова — Василием Гроссманом.

Семен Липкин вспоминает, как однажды к ним (Платонову, Липкину и Гроссману) подошел славный старичок Иван Никанорович Розанов.

Гроссман пошел на угол к табачному киоску.

Старичок-стиховед Иван Розанов поглядел вслед удаляющемуся Гроссману и, улыбаясь, спросил: «Чувствуете, меньше стало чесноком пахнуть?»

Потом вернулся Василий Гроссман (с папиросами), посмотрел вслед удаляющемуся Ивану Никаноровичу и сказал: «Какой чудный старик! Как он любит русскую поэзию!» — «И как не любит евреев», — печально вздохнув, сообщили Василию неприятную новость его друзья, Семен и Андрей.

Василий буквально остолбенел. Потом принялся кричать: «Почему вы его не обругали? Почему не обложили по матушке? Почему?»

Гроссман пошел на угол к табачному киоску.

Липкин написал, что Гроссман в своем романе «Жизнь и судьба» отдает реплику Ивану Никаноровича Розанова отвратительному старику.

Но даже Липкин не заметил, в чем могла состоять главная «месть» писателя.

Роман Гроссмана «Жизнь и судьба» назывался фактически так же, как и давняя работа Ивана Розанова: «Н. А. Некрасов. Жизнь и судьба».



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

...С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ЕРШАЛАИМ

Дина Рубина. «Вот идет Мессия!...» — «Дружба народов», 1996, № 9 — 10.

Читая прозу Дины Рубиной просто так, для себя, старомодно-запойно — удовольствие. Глотая «Мессию» ее заподряд, прощаешь все: и оплошки сентиментальности, и излишки патетики. Про сюжетно-композиционные завитушки-излишества и не упоминаю. Легко, безнатурно прощаешь. За живость соображения. За находчивый умный ум. За ненасытно-алчное внимание к дробям жизни и пестрому мусору общежития. А пуще всего за дерзость, с какою — обиды не страшась — сор сей из избы (дома Давидова) выметает!..

Стоит, однако, переместиться с удобного читательского шестка на иной, профессиональный — и удовольствие сменяется дискомфортом: сразу же превращаешься в «третьего лишнего», в этакого назойливого толмача-посредника, в услугах которого ни Читатель, ни Писатель как бы и не нуждаются. А ежели и удастся (тишком-бочком) протиснуться в доверительный «тет-а-тет» (по-старому ЧиП) и довольные собой стороны подвинутся, освобождая место для критического корытика, то что ты, критик, им, самодостаточным, скажешь?

Что, позволяя образцово-показательной Зиновии-Зяме (выставочный образец настоящей израильянки) разыскивать по всему Израилю отставных любовниц обожаемого деда (красного бандита и красного хозяйственника), Рубина ставит и себя и ее в неловкое положение? Что неумеренность родственного умиления, трогательная в семейном кругу, претенциозна за его пределами? Что сказочное воскрешение Ангела-Раи, этого доброго гения Большой русской алии, — чудесное ее, так сказать, возвращение из страны мертвых — безвкусно? Что преобразование невольного убийцы Зямы — сына писательницы N (инфантила, балбеса, неврастеника, почти потенциального пациента психоневрологической клиники) — в лучшего стрелка своей роты и даже ночного снайпера биологически невозможно?

Ну и что? — ухмыльнется простодушный Читатель.

Могу «смоделировать» и реакцию самой писательницы (приблизительно, разумеется). Со мной, мол, всю мою творческую жизнь так. Читатели-издатели чуть ли не на руках носили. А серьезных статей — раз-два и обчелся. Ну а когда, по заказу редакции, взглядывали, мимоходом, мимо и сквозь смотрели. «Мессию»-то заприметили, из косяка женской беллетристики по личной надобности выловив. А на поверку? А на поверку: и хула — мимо, и хвала — сквозь. И ваши претензии тоже...

Делать нечего — перечитала. И роман Рубиной, и все отклики на него. С полной на сей раз «ответственностью понимающего перед понимаемым сообщением» (на уровне, лично мне доступном).

И впрямь мимо!

Допустим, Татьяна Кравченко, в «Литгазете» («Две женщины и все остальные», 1996, 27 ноября): «Все фрагменты мозаики великолепны, а узор (правильный центристский роман. — А. М.) не сложился». Верно: не сложился! И не может сложиться! Почему? Да потому, что та «vita nova», которую Рубина пытается запечатлеть («схватить», «прокусить!»), обрубочна и отрывочна и, даже напрягаясь до утраты сил, не узнает самое себя (свой смысл и свое содержание) в этих обрубках. Сгребешь кое-как в грудку-кучу, а они, дробь жизни, сор-мусор общежития, тут же и рассыпаются — и вновь дробятся на всяк сущий в этом крохотном вавилоне доязык.

Да и о каком правильном узоре заводить речь, если единственный (верно-надежный) инструмент, с помощью которого Рубина может хоть как-то уложить в некое подобие формы разбегающуюся, клубящуюся туманность, — проклятый, обожаемый, ненавистный, неуместный на Святой земле русский? Вы только

вдумайтесь в этот трагический парадокс: национальный израильский роман — на русском языке?!

Да и вообще почему современный роман, остро, горячечно современный, безотносительно к месту его литпрописки, зачатый и рожденный в эпоху торжества мозаичной культуры, должен стыдиться своей мозаичности?

А возьмите блестящее послесловие Льва Аннинского к журнальной первопубликации романа. Казалось бы, предусмотрительно ограничил зону своего пристрастия: «Душевное поле израильтян, которые были евреями. „Бывший наш народ”». И высказался на «сей щет» страстно, с размахом, и при этом корректно — на цыпочках обошел затабуированный «арабский вопрос». Однако ж и он, даже он, не озадачил себя необходимостью угадать закон, обязательный для исполнения на всей территории, обживаемой писательницей Д. Рубиной. И ею над собой признанный. Отделался комплиментом, приятным, но безответственным: удачная, дескать, вещь, «панорамный добротный роман».

Увы, и эта дежурная любезность тоже целит Мимо и летит Сквозь... В ярком и на редкость, на диво обаятельном романе добротности (в классическом представлении об искусстве литкрояки и литшитья) как раз и нет. Да и не нужна она ему напрочь. Куда нужнее общее впечатление (линия, цвет, фактура). Важно, не как сшито-отстрочено, а как смотрится. А смотрится отлично: ладно, уместно, слегка театрално. Так и задумано — чтоб отвечало (шло-«личило») климатическому стилю не слишком стильной, ни на что не похожей жизни. И при этом не стесняло, не жало в шаг — ни на спусках, ни на подъемах, не мешало шагать именно туда, куда манит чутье. Чутье, а не выучка, не ученическая оглядка на запатентованные образцы.

Сложнее со второй фигурой комплимента: «панорамный». Конечно же, на панорамность, то есть на охват всего круга новоизраильского горизонта, Дина Рубина, при всей лирической дерзости — если не я, то кто? — не претендует. И алчная ее наблюдательность, и недюжинная ее воля к «умножению ведения» (выражаясь высоким библейским слогом) по необходимости ограничены. И языковыми барьерами. И низкой прозой бытовых обстоятельств. И спецификой дара, привязанного-прикрученного к «живой натуре» («Никогда не пишу о том, чего не знает собственная шкура»). И капризной избирательностью собственных брезгливостей. Даже там, где, казалось бы, ей внятно все, — к примеру, про «бывший наш народ», на заре перестройки переместившийся на историческую родину, — ей многое не интересно. А раз не интересно, то и неподъемно. Неинтересны, например, те из совместников, кого, при приземлении на Святую землю, «рикошетом отбросило за океан». Судя по всему, не очень-то занимают писательницу Д. Р. и «еврейские христиане», равно как и местные диссиденты, убежденные, что этот чертов Израиль «создали умные евреи для глупых евреев» (цитата, натурально, не из Рубиной, а из Сергея Каледина. См. его повесть «Тахана мерказит» в 87-м выпуске журнала «Континент»). С не очень-то, честно говоря, приятным мне высокомерием обходит она и судьбы неудачников и слабаков, вдребезги разбившихся уже при посадке. Отметим как факт, отыграет эпизод — снимет посмертную маску, да и вернется на свою тропу. Не слишком приятно. Однако понятно: ее жизнестойкой натуре интереснее большинство. А большинство выдержало испытание пересадкой на иную планету:

«Большинство... было таких, кто, почесывая ушибы и синяки, похныкал, топтался, расселся потихоньку, огляделся... да и зажил себе, курилка...»

Ну хорошо, чую, прервет меня на этом самом месте Читатель, не тот первый, простодушный, тот давно отключился, а пронизательный, кому адресуются журнальные статьи. Согласен-де с вами: культура чтения и впрямь вещь необходимая, и не только вам, профессионалам, но и нам, просвещенным дилетантам, гуманитариям по душевной надобности и склонности. Но чтобы я мог не опаздывая, синхронно следить за тонкостями ваших профразборков, ответьте не лукавя на немодный, внемодный вечно-читательский вопрос: нравится вам роман Рубиной или не нравится? А то сначала — вроде сладко, а потом как бы и кисло.

Отвечаю — вопросом на вопрос: какой именно роман? На мой взгляд, в тексте, опубликованном в двух номерах «Дружбы народов» под общим названием «Вот идет Мессия!..», сплелись, сцепились, перетекая друг в друга, целых три, и притом

разных, в разном стиле исполненных, романа. Один — в стиле «идиш». Второй как бы продолжает традиции женской старомосковской прозы, той, что когда-то началась с простеньких повестушек Н. Баранской и Анны Вальцевой. Помните — «Неделя как неделя», «Квартира номер 13»?

А третий и вовсе в стиле «иврит». Аукаются, переплетаются, выясняют отношения. Выясняют отношения даже эпиграфы, припиленные беспорядочно, одна-ко внутри себя твердо знающие свое истинное место¹.

Однако странноватая сия совместность — вовсе не традиционный триптих.

Это... Но тут ничего не объяснишь без помощи метафоры. Одна из героинь Рубиной, в сердцах, в порыве «бессильной ярости» (ну что за правительство, что за народ? что за армия? И правят, и живут, и воюют в «домашних тапочках»), называет Израиль «трехкомнатной страной». Так вот, романное пространство, на котором своеобразно распоряжается его хозяйка, писательница N, она же, хотя и не буквально, писательница Д. P., тоже «трехкомнатное». Этакая трехкомнатная коммуналка, на совместное проживание трех разных романов как бы и не рассчитанная. Однако же — уживаются. Причем самое большое из помещений — с прекрасным видом на Ершалаим — занимают персонажи романа под условным названием (файлом) «Шхуна „Маханэ руси”» (в переводе на бывший природный: «Русский стан»). Так между собой именуют дружную свою общину счастливые обладатели кооперативных коттеджей, вскарабкавшихся на плечо библейской горы. Они отчасти уже знакомы нам по опубликованной несколько лет тому назад повести Рубиной «У врат твоих». Правда, тогда они были моложе и, кажется, лучше — свеженькие наивные репатрианты, слегка пришибленные слишком уж резкой переменной судьбы. В ту пору они еще поглаживали старые раны, еще остро чувствовали ампутированные корни и комли, еще почесывали-потирали полученные при приземлении синяки-шишки-ссадины. Старались выжить — не жить, хотя бы выжить, не пропасть, не потеряться, не помереть с голодухи! И вот надо же, зажили. Живут! И очень довольны. И собой. И своим обедом — не хуже, чем у людей. И тишостью-верностью жен-мужей. И даже детьми довольны. А почему не жить, не радоваться просто жизни, они эту радость заслужили! Почему не жить, если шхуна «Маханэ руси» — с божьей помощью и собственными трудами — укомплектована (снаряжена) всем необходимым для долгого и благополучного плавания по морю житейскому? Если даже там, у конечной пристани, запроектирован комфортабельный приют для престарелых. Свой, естественно, для своих. Почему не жить, если все свое! Свой капитан, лоцман, рулевой — Ангел-Рая, маленькая женщина с государственным умом. Свой боцман-завхоз-казначей, по совместительству массовик-затейник, — Сашка Рабинович (в той жизни — театральный художник). А также — свой Доктор, а также — своя пара нечистых: ангисемит Борька Каган и неистовый юдофил, «этнический русский» Юрик Баранов, он же, после принятия иудаизма, Ури Бар-Ханина. Есть и своя сирена, Танька Гурвич, по прозванию Танька Голая, за то так прозванная, что шатается по шхуне чуть ли не в костюме Евы. Впрочем, порядочность гарантируется. Просто сирена любит, чтобы тело дышало. В наличии и свой собственный корабельный летописец, точнее — летописица, писательница N.

По стратегическому плану Ангела-Раи именно ей, писательнице N, надлежит (выпала честь) запечатлеть для истории труды и дни командного состава «Маханэ руси». Прежде всего, конечно, Раины, ангельские, неусыпные труды. Нечего, дескать, киснуть да депрессировать! И какие проблемы при таких-то данных. Мировая известность плюс редкостной красоты голос — «переливы арфы, музыка небесных сфер». «Конечно, конечно, Раюсик», — ласково отвечает на лестное предложение носительница арфического тембра. И, несмотря на неблагоприятные семейные обстоятельства, не очень-то располагающие к вдохновению, исполняет заказанную работу точно в срок — ко Дню возвращения капитанши из мира ино-

¹ Эпиграф к роману в стиле «иврит»: «Я верую полной верой в приход Мессии, и хотя он медлит, я буду ждать каждый день, что он придет».

Эпиграф к роману в стиле «идиш»: «Когда долго говорят о Мессии, приходит его осел...»

Эпиграф к роману в «московском» стиле: «Душа моя пожелала любить их, хотя они этого и не заслуживают».

го. И в точном соответствии со стилистикой заказа. В центре, конечно, парадный портрет Ангела-Раи: «Из... машины вышла прелестная — на сей раз медного оттенка — рыжеволосая женщина и величавой походкой поднялась по ступеням в зал. На ней было умопомрачительное, простого — якобы — покроя лиловое платье (из той материи, что по двести сорок шекелей за метр). К тонкой талии, как тяжелый маятник, был подвешен зад, совершавший мерные плавные раскачивания. Из обнаженного плеча полноводным ручьем выбегала холеная белая рука с единственным, но платиновым браслетом и одиноким, но крупным сапфиром на пальчике. Позади, как всегда в тени ее великолепия, шествовал молчаливый инспектор транспортной полиции. Все — от невесомого лилового белья и лиловых туфель-плетеночек до соответствующей сумочки и искрометных аметистовых клипс — было куплено им накануне в самых дорогих магазинах. Для этого он взломал один из своих пенсионных фондов».

Послушайте, скажет, приглядевшись повнимательней к сапфирово-аметистовому великолепию восставшей из мертвых капитанши, пронизательный читатель. Может, это... пародия? Или хуже того — издевка, «под одеждою лести»? Может, Рубина просто-напросто испытывает нашу читательскую доверчивость к буквальному звучанию слов? Вот и эпитафия к этому роману, как вы выражаетесь — в стиле «идиш», на то же самое намекает: «Когда долго говорят о Мессии, приходит его осел...»

Может, и так. Особо браслет подозрителен, прямо-таки аукается с цветаевским: хуже золота для меня только платина. Но может, и не совсем так, ведь у Рубиной слезы и смех вместе: «Душа моя пожелала любить их...» А в трудном, своевольном случае писательницы N, если душа ее чего-то пожелает, ничто не указ и не окорот — ни ее собственный злой и въедливый ум, ни ее ничуть не более добрый глаз.

Так вот, этот роман сам по себе мне не слишком нравится. Да, веселит глаз эффектной декоративностью. Да, удивляет слух экзотичностью перепадов от сарказма к патетике, от идиллии к фарсу. К тому же хорошо, стильно сработано: просто, быстро и вкусно. Но при этом не занимает ум, оставляя его не то чтобы вовсе голодным, а вроде как недокормленным. Костюмы другие, и декорации свежие, броские, но пьеса-то старая, давным-давно отыгранная на домашних сценах московских и питерских хрущоб. Впрочем, Льву Аннинскому именно это — с в о я п р о в и н ц и я! — кажется, и приглянулось. Так увлекся спором-диспутом — надо, надо, господа, доспорить: «А кто кому НЕ должен?» — что проворонил самое главное. То именно, что писательница N, словоговорение на тему «еврейско-русский вопрос» подстроившая, сама в нем не участвует. Ее особое мнение в и н ы х романах выражено. Сначала в маленьком автобиографическом (условный файл: г о р б). Не впрямую, вербально, а способом жизни, решительно не похожим на тот, что общепринят на верхней палубе шхуны «Маханэ руси». Отдельным. Особым. Ни хохота-гогота, ни анекдотов, ни аттракционов: просто, грубо, жестко, отчаянно. Вообще-то отдельность истории писательницы N беглому взгляду не так-то легко заметить — Рубина хорошенько ее запрягала, прямо-таки затолкала в самый темный угол трехкомнатной коммуналки. Подальше от слишком довольных собой и посему холодных глаз и ушей. Чтобы там, в закуте, проголосить, провить отнюдь не арфическим голосом — песню своего, личного, штучного изгойства, своей горбатости, своего без-исход-ного одиночества. Худшего из одиночеств: одиночества вдвоем, одиночества на пиру и в миру, одиночества среди своих. И даже среди своего возлюбленного народа.

«Ну что это, ну как этот ад называется на человеческом языке... приближение смерти? старость? Черт с ней, старостью и смертью, смерть по крайней мере избавит от этого натирающего горб ярма — ежеутреннего, едва сознание нащупывает тропинки в пробуждающемся мозгу, почти мышечного уже сигнала: работать. Встать, принять душ, вылакать свой кофе и сесть за работу...»

И никто, никто, даже собственный муж, не видит, как уродует ее, еще такую молодую и хорошенькую, этот горб! Самым искренним образом недоумевает — ну почему, почему его удачливая жена напоминает ему, художнику, жалкую несчастную девушку-горбунью, которую когда-то, в пору армейской юности, солдаты его роты навещали группами — для известной надобности, а возвратясь из увольне-

ния, посмеивались: в другой раз надо бы сделать в земле ямку для ее горбика. А ведь не обманывает, уверяя, что бог знает чем готов заплатить, «чтобы хоть неделю, хоть единый день в своей жизни она почувствовала себя спокойной и счастливой».

Какое счастье? Какой покой?! Если — горб?

Да, конечно: творчество вообще очень одинокое дело. И она не первая из племени горбунов. «Раскачивай горб впереди поэтовых арб — неси один и радость, и скорбь, и прочий людской скарб»... «Работай, работай, работай: ты будешь с уродским горбом»... Но ведь это совсем-совсем другие — мужские горбы!

И если уж нельзя избавиться от пожизненного проклятья, то ведь можно, хотя бы мысленно, вообразить-представить, как сложилась бы ее Судьба, если бы не этот исключаяющий и покой и счастье — горб?

О, тогда! Тогда бы все было другим. И она — та же самая, а совсем-совсем другая. И все остальное другое — те же, да не те: муж, дети, родители и предки-прадеды.

Вот тогда бы не перемогалась десять лет, ожидая, пока ампутированные корни оживут и заставят ее, зажмурившуюся, почувствовать — как приятно для глаз видеть солнце! О, тогда — сразу бы, не задумываясь, не бунтующим умом, а брюхом, едва ступив на святую — свою-свою-свою — землю, осознала, «что все было правильно», что «мозаичный узор судьбы подбирался по камушку, складывался медленно и старательно». Не маялась бы жалкой, пришибленной репатрианткой у врат потерянного, да так и не обретенного рая, а чувствовала бы себя «камушком, точно вставленным в изгиб узора огромного мозаичного панно, кусочком смальты, которые подбирает рука Того, кто задумал весь узор».

Вот где исток, корень третьего — самого главного, самого значительного — романа Рубиной (стиль «иврит», файл «Ж е р т в о п р и н о ш е н и е»). В художественном отношении он, может, и не столь убедителен, как первые два, где все «списано с натуры», «взято из действительного происшествия», потому-то они и растут, подобно дереву, раскидисто. А этот, «Жертвоприношение», строится по строго рассчитанному философическому плану. Зяма едва очухалась от операции (по разъединению «сиамских близнецов»), еще только вступила на тесный путь спасения, а писательница N (по секрету от героини) уже сообщает нам, читателям, ее дальнейший маршрут: «Эта женщина, в отличие от... автора, должна любить это маленькое, единственное для нее пространство, эту землю и населяющих ее людей, которых она считает своим народом, ведь истинная жертва та, что за народ... И хотя Бог отвергает человеческие жертвы... она все же принесет ее, ибо наступают страшные времена и остановить их — остановить братоубийство — должна возлюбленная жертва».

Впрочем, почерком писательницы N, на ее выученном, бедном бытовом иврите написано только начало «Жертвоприношения», а середина провисает — наброски, планы, заметки на полях. И не потому, что не хватило творческого воображения этот план реализовать, а потому, что жизнь, которая, как известно, в особо срочных, чрезвычайных ситуациях принимает на себя «роль писца», обгоняет ее, быстроногую, и сама дописывает конец — на ином, почти библейских кондиций, наречии...

Зяма, уже подставившая жертвенно-лебединую шею под арабский нож, послушно-удобно склоненную, словно просящую об ударе, вдруг «обернулась и увидела за спиной визжащую как от боли арабку с ножом... Этот всеобщий нестерпимый окаменелый визг, *длящийся бесконечно крик ненависти*, простертой над этой террасой, этим городом, этой землей, *невозможно было вынести...* (курсив мой. — А. М.)».

Нет, визжащая как от боли арабка тут ни при чем, равно как и напряженность в местах совместного арабо-израильского проживания. Тут-то как раз объяснимо: за землю, за волю, за лучшую долю — в переводе на арабский: за свою оливу над своим источником. Иной, мистический, ужас бросает Зяму под шальную, не ей, а арабской террористке предназначенную пулю: спасая ее, спасает себя. Не от греха, от страха перед иррациональной ненавистью, какую от века вызывает возлюбленный ее народ «во всех племенах вселенной». От того Мистического Ужаса, что тьму столетий назад оледенит библейскую Есфирь — властительную супругу повелителя всея Ассирии Артаксеркса.

«...всех с женами и детьми всецело истребить вражескими мечами без всякого сожаления и пощады... чтобы эти, *и прежде, и теперь враждебные люди*, быв в один день насильно исторгнуты в преисподнюю, не препятствовали нам в последующее время проводить жизнь мирно и безмятежно до конца» (Книга Есфирь, гл. 4).

«Господи... избавь меня от страха моего!» (там же).

Согласитесь, что при такой постановке «еврейского вопроса» многие сюжетные линии «Мессии» обнаруживают не видную с верхней палубы шхуны «Маханэ руси» трагическую глубину. И прежде всего история лобастого русского мальчика Юрия Баранова, ставшего от невозможности решить сей вопрос иудеем. Ибо «если есть у человека ангел-заступник, хотя бы один на тысячу, то пусть молвит слово в его оправдание...».

Поставив этот русский акцент, я было и хотела закончить рецензию, но, перебивая текст, поймала себя на мысли: а ведь Лев Аннинский вовсе не так уж не прав, утверждая, что роман «Вот идет Мессия!..» панорамный. Целил мимо, а попал в цель! По наитию, видимо, отреагировав на некоторую его «кинематографичность» («пулеметно-кинематографическая смена эпизодов и отыгрыш аттракционов с размазанными по лицу тортами»).

Чтобы не размазывать сие соображение на страницу, ради экономии места, просто сделаю выписку из «Энциклопедического словаря»:

«ПАНОРАМНОЕ КИНО. Способ съемки кинофильмов и демонстрирования их на экранах больших размеров (неск. сот м²). Кинофильм обычно снимают на *три* 35-мм пленки, при этом на каждой получается *треть* изображения объекта (курсив мой. — А. М.)».

Сравните:

Экран размером в несколько сот квадратных метров.

Огромное мозаичное панно, созданное рукой Того, кто задумал весь узор.

Алла МАРЧЕНКО.

*

ТЕКСТОФРАЗЫ

«U r b i». Литературный альманах. Выпуск 6. («Баден-Баден»). СПб. 1996. 176 стр.
«U r b i». Литературный альманах. Выпуск 7. («Труды Феогида»). СПб. 1996. 128 стр.

Есть нечто, выделяющее два номера «U r b i» из всего богатого списка нынешних периодических изданий, нечто, заставляющее пристальнее вглядываться даже в то, что поначалу отталкивает или оставляет равнодушным. Это вовсе не журнальные или альманашные выпуски, это, по сути дела, книги (недаром каждая со своим именем, а не просто под номером); вернее, и не книги даже, а некое новое единство, по-новому организованная целостность — образцы какого-то нового жанра. (Подобного рода стремление к организации прочитывается и во многих других журналах, но здесь есть намек на новое качество.)

Очевиднее это по отношению к «Трудам Феогида», где соответствующее намерение явно продекларировано группировкой текстов различных авторов (А. Пурина, А. Машевского, К. Кобрина, А. Леонтьева, А. Кирдянова) вокруг единого, порождаемого ими «автора»-героя Н. Уперса с его псевдоантичными (и этой «псевдости» не скрывающими, а, напротив, ее лелеющими) гомоэротическими стихами. И вот что любопытно: эти тексты вовсе не стремятся стать традиционным продуктом коллективного творчества — этаким Козьмой Прутковым конца XX столетия или, тем паче, «романом», — напротив, они стилистически весьма и весьма далеки друг от друга (общей школы и разделяемых литературных образцов и пристрастей для «персонажного» единства явно не достаточно).

Здесь и сама себя пародирующая, извивающаяся от утомительно-оглушительного хора двусмысленных созвучий, чудящихся в каждом почти слове, проза Пурина, и его же стихи, с поразительным, несколько даже чрезмерным (душным) чувством слова, с кушнеровской тщательностью в описании... гениталий и подробностей любовных гомосексуальных игр, по-своему как бы выполняющей (опять-таки

«псевдо» — и не без пародийности) завет учителя: «никто в стихах не трогал это диво» (тьфу ты, на фоне этих текстов ни слова нельзя произнести, чтобы не попасть впросак). Здесь и совершенно не способные к подобной «прямой речи» стихи Машевского, все время соскальзывающие в умолчания и недосказанности в резком контрасте с абсолютной ясностью и сюрреалистической четкостью пуринской эротики — они как бы антиподы: Машевский сказать что-либо может, лишь смолчав, прикрыв глаза (даже, возможно, и против своей воли), пропустив в стихах движение молчания — молчания переживания и предмета; Пурин — лишь широко раскрыв глаза, навострив уши, сказав все — и в этом все переходя ту грань, за которой всякая реальность исчезает (по крайней мере тускнеет) на фоне царствующего безраздельно «слова как такового». Здесь и проза Кобринна, пародирующая серьезность прозы Машевского, стремительная, острая, злая — и этим резко контрастирующая с вяловатой ироничностью пуринских автокомментариев. Здесь и энергичная безнадежность подражательных в слове, но не в интонации (что на самом деле важнее) восьмистиший Леонтьева, и стихотворение Кирдянова, почти лишенное уже поднадоевшего на предыдущих страницах словесного треска.

Единство не предшествует своему выражению (то есть автор как целое и единое — пускай даже иллюзорно, как образ или маска — не предшествует своему произведению), но этим мнимым на поверку единством оправдывается каждый конкретный текст, его рождение, его жизнь, он сам как таковой. Смысл не только и даже не столько заложен в тексте, порождается текстом, сколько возникает в надтекстовом пространстве, в переключках, сочетаниях — в этой имитации единства.

О чем идет речь? Эта игра в организацию, в организм начинается уже в содержании шестого выпуска: немецкий курорт разрезан пополам, как бы между зеркальной поверхностью и амальгамной изнанкой, так что даже бедный дефис аккурратно разломан на две половинки: первая «часть» (глава? раздел? — не все ли равно...) называется «Баден-», а вторая — «-Баден»; а потом нас ожидает еще и «Висбаден», и «Карлсбад». Чтобы усилить эффект этого двоения (мелькания, мельтешения — и далее, в теме «зеркальности», по всей книге), на первой странице красуется девиз-пародия «urbi et urbi» (Баден et Баден).

Обилие «рифм» всякого рода даже при поверхностном чтении бросается в глаза с самого начала. В заметках Владимира Климычева «Рыбки» упоминаются «Записные книжки» Вяземского, которые дали составителям материал для псевдо-эпиграфов (как и положено — невпопадных, «случайных») к своим псевдоразделам. Упоминается и Игорь Померанцев, соседний автор «насекомой» радиокомпозиции «Любимцы господина Фабра», за которой следует стихотворение Юрия Шилова о насекомых же, и т. д. — и что существеннее всего, на смысловом уровне эти переключки лишены всякого обоснования (так же, как, скажем, одновременное упоминание Калибана и Игорем Павловым, и Кириллом Кобринным); тексты тех же Шилова и Померанцева или Павлова и Кобринна ничего общего между собой не имеют — то есть нет, именно что имеют, но это связь чисто внешняя, «случайная», хотя плотность этой паутины как бы превосходит некий предел, за которым случайность перестает быть таковой. И в этом все дело. В сущности, о том же — и стилистический плюрализм уперсовских наследников: структура отслаивается от содержания — при чем здесь Висбаден, при чем здесь Карлсбад? А ни при чем. Вернее, уже те тексты, которые маркированы этими именами, становятся как бы вторичны по отношению к паутине, порождаемой ими же.

И потому не случайно, что эта теряющая даже иллюзию смысла литературная деятельность постоянно возвращается к теме собственной исчерпанности, несостоятельности (это, по сути, практически единственная ее настоящая тема): Валерий Хазин пишет о разрывании книг, Игнат Филиппов — об их сжигании, Ры Никоннова — о «вакуумной» поэзии, обходящейся без слов, — а разве не о том же строчки Александра Леонтьева: «вода в канале вытерта до блеска», «до дырки / вытерта ночь», «покуда не исчерпана до дна», «двум Никто возможно слиться только / в Ничто... Но все — не то...». И Витгенштейн, нелепо, до блеска нелепо («до-блеска-вытерто-нелепо») сопрягаемый с Розановым у Кобринна (опять тот же доминирующий во всем альманахе императив «случайности, являющейся неизбежной», но не становящейся от этого убедительнее — что, впрочем, разрушило бы суть обсуждае-

мого явления), — ведь и он всю жизнь «яростно доказывал... невозможность сказать что-либо».

Случайность сопряжений, сопряжение случайного, паутина созвучий, слова, теряющие значение в бесконечной перелицовке, аморфность и рыхлость, дающая шанс на проникновение, — все это как бы заново конструируемый на обломках такой невозможности смысл.

Вернее, не смысл, но скорее оправдание. Все слова случайны (я уж не говорю — произвольны) — но стоит им сложиться в предложение, приобрести синтаксическую структуру, как сама эта структурность, совершая достаточно жесткий отбор (ну как же, подлежащее там, предикаты всякие...), хотя бы отчасти, хотя бы понарошку санкционирует право на существование, на о-существление этому мгновению назад совершенно бесформенному набору слов. И тем более, когда слова включаются в становящуюся до боли жесткой конструкцию — такую, как стихи. Может быть, и тяга к поэтической речи, к этому безудержному рифмоплетству, которую также, и притом не без шарма и удали, демонстрирует по крайней мере седьмой выпуск, как раз несет в своей глубине эту жажду оправдания, поиск устоя — не станем говорить, смысла, хотя в данном случае это почти синоним, — иллюзию которого дает именно конструкция, структурность. И вновь: не связь возникает по некоему основанию (по родству, по идее и т. п.), но основание возникает как результат связи; и не результат вовсе, но его имитация.

(И недаром прозвучало слово: имитация. Она столь изошрена и многолика в этих альманахах, что сама становится темой, и даже более того, где-то на периферии начинает сквозить нечто совсем новое и странное — какая-то боль имитации. А по поводу бесконечной рефлексии, автокомментариев, аутореферентности, которые тоже ведь не что иное, как орудие имитации, можно было бы говорить особо и подробно...)

Но ужас произвола лишь возрастает, когда количество текстов, якобы спасавших дело своей упорядоченностью, превосходит, кажется, количество слов и уже сами тексты, как отдельные слова, ищут основания (смысла) в сочетаниях, переличках — в конструкции: вот откуда тяга к цитате (не только в этом причина, но и в этом тоже) — любая связь как соломинка, ниточка, луковка. Но одной лишь цитатности мало — и вот тексты складываются в новые единства («предложения», «строки», «строфы») — я бы и обозначил жанр этих «альманахов» как *текстотфразы*, *текстостансы* — текстобормотание. Даже рыхлость структуры основного феогнидовско-пуринского корпуса, эта бесконечность нанизываемых одно на другое («шелкаемых как орешки») восьмистиший, так же как (преднамеренная) навязчивость их однообразия, неостановимость словоизвержения, становится в этой перспективе «осмысленной»: только аморфность позволяет возникнуть апелляции к надтекстовому пространству — цитатный контакт, кстати, потому и оказывается в конечном итоге малоэффективен, что предполагает наличие состоявшихся и отстоявшихся целостностей; цитирование — это, как правило, не внедрение и тем более не средство объединения в нечто новое — это как бы отскакивание целлулоидного шарика от прочной стены.

За одним, впрочем, исключением — и исключением, ставшим в последнее время (особенно в тени Бродского) правилом, а уж на страницах наших альманахов господствующим всецело и безраздельно: я имею в виду цитирование ироническое, деформирующее оригинал до неузнаваемости (скажем, когда Померанцев вкладывает в уста Фабра слегка переиначенную фразу Свана, переадресованную от Одетты к жуку). Такое разрушительное цитирование разрыхляет если не сам оригинал, то его образ, внедряется в него на заповеданную глубину — потому что дерзко ему не верит — и делает возможными совсем иные, новые связи и единства.

Хочу еще раз повторить, что не берусь оценивать каждый отдельный текст (и многие из них вовсе не вписываются в то, о чем я говорю, — без ущерба для их качества): я хотел попытаться услышать эти две тоненькие книжки в целом, поверх голов — наспех, комкая, вступая ненароком в тот же аморфный хор, делаясь частью этого самоформирующегося шума, шепота, родящегося прежде губ, которым больше нечего сказать.

А. БАРЗАХ.

С.-Петербург.



«КОЩЕЙ ПРАВОСЛАВЬЯ» В ОТЗЫВАХ ПОТОМКОВ

К. П. Победоносцев: pro et contra. Личность, общественно-политическая деятельность и мировоззрение Константина Победоносцева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Вступительная статья, составление, примечания, алфавитный указатель С. Л. Фирсова. СПб. Издательство Русского Христианского гуманитарного института. 1996. 575 стр.

Содержание этой книги шире названия: в нее включены не только развернутые суждения о Победоносцеве, принадлежащие «русским мыслителям и исследователям» (как обещано на титуле), но и статьи самого Победоносцева. Открывает книгу его темпераментное эссе «Граф В. Н. Панин. Министр юстиции», поражающее горячностью обличений и по праву напечатанное в конце 1850-х, накануне «великих реформ», в герценовских «Голосах из России». В то время Победоносцев — молодой, либерально настроенный юрист, еще ничего не совершивший для увенчавшей его в конце века громкой славы притеснителя религиозных свобод, «Кощей православья». А костяк книги составляет главное произведение Победоносцева — «Московский сборник», изданный уже известным на всю Россию обер-прокурором Синода и читающийся ныне как жесткий, но прозорливый приговор европейской цивилизации, как самый мрачный манифест консервативной мысли.

Правда, «Московский сборник» не так давно переиздавался (пять лет назад в издательстве «Русская книга», в серии «Мыслители России»). И хотя переиздан он был крайне плохо, прелесть новизны утрачена, поэтому главный интерес новой книги сосредоточен во второй ее части, где подобраны материалы о Победоносцеве — начиная от самых разношерстных и разнокалиберных отзывов современников, таких, как непременно цитируемый почти во всех работах об обер-прокуроре желчный памфлет А. Амфитеатрова и Е. Аничкова или, напротив, малоизвестная шуточная эпиграмма В. С. Соловьева и С. Н. Трубецкого (откуда и взяты нами слова о «Кошее православья»), и кончая написанными на основе богатых — в том числе архивных — материалов работами историков нашего столетия, осмыслявших Победоносцева с большой дистанции. Среди последних особенно выделяется блестящая и, к сожалению, до сих пор недооцененная статья замечательного историка Ю. В. Готье «К. П. Победоносцев и наследник Александр Александрович», изданная в 1928 году небольшим тиражом в почти раритетном ныне «Сборнике Публичной Библиотеки им. Ленина» (когда-то Ленинка и так называлась). Эта небольшая по объему работа — мастерский этюд ученого, первым, пожалуй, заинтересовавшегося интеллектуальной и психологической биографией Победоносцева: там, где всегда привычно рисовалась искаженная злобой гримаса реакционера, Готье разглядел трагедию личности и сумел понять эту трагедию в контексте истории.

Уже за то следует поблагодарить составителя антологии, что мы получили возможность беспрепятственно знакомиться с такого рода работами, труднодоступными теперь не только для так называемого широкого читателя, но и для самого «узкого специалиста», которому ныне решительно ограничен вход в руинированные залы научных библиотек. Но похвалы заслуживает не только введение в сборник отдельных раритетных статей. Состав всей книги хорошо продуман, материалы подобраны со знанием дела, и в удачной комбинации имен видно стремление сочетать репрезентативность с новизной: малоизвестные, незатасканные тексты (такие, как очерк либерального священника Г. Петрова «Страшный нигилист», где прототип Победоносцева лишь угадывается, прямо по имени он не назван) соседствуют с извлечениями из знаменитых, почти хрестоматийных работ Н. А. Бердяева, В. В. Розанова, Г. П. Флоровского, писавших о Победоносцеве точнее и пронизательнее всех.

Конечно, материалы о прославленном реакционере представлены в антологии далеко не исчерпывающим образом. Иначе и быть не могло: многое и не заслуживает публикации, от многого — прежде всего от одиозного, плаксиво-апологетического (а такого вокруг Победоносцева почему-то очень густо) — составитель последовательно уходил. И тем не менее кое о чем, оставшемся за бортом, приходится пожалеть.

Обидно, что скупо введены мемуарные источники. Составитель ограничился лишь довольно скромными выдержками из воспоминаний А. Ф. Кони и Е. М. Феоктистова, тогда как мемуарная литература о Победоносцеве огромна, и в этом море исключительное место по остроте и точности мысли занимает воспоминания С. Ю. Витте, к сожалению вовсе обойденные в антологии. Приходится посетовать также, что крайне любопытные архивные материалы лишь в выдержках вошли во вступительную статью, хотя в расширенном виде могли бы значительно обогатить основной корпус текстов. Огорчительно, что не заинтересовали составителя глубокие, хотя и рассеянные по разным работам, суждения С. Л. Франка о Победоносцеве. И все же в целом состав книги кажется очень удачным, дающим широкую панораму отзывов и мнений.

Но именно эта удача — обоснованность и разнообразие состава — побуждает предъявлять к антологии требования иного рода — требования, которые, к сожалению, остаются неудовлетворенными.

Фигура Победоносцева настолько для российской истории характерна, настолько сложна, «зловеща» и вместе с тем загадочна, что даже из XX века беспристрастно судить о нем почти невозможно. Он шире себя самого, он сливается с эпохой, с режимом, с системой, но, может быть, главное — он сливается с тем, что обычно любую систему переживает: с государственной мифологией, с представлениями о национальной идентичности. Этим определяется запальчивость почти всех включенных в сборник статей. Мнения о Победоносцеве всегда высказывались крайне, что не мешало, правда по прошествии лет, авторам этих мнений решительно их пересматривать.

Примеры тому обнаруживаются в самой рецензируемой книге, куда включены, скажем, замечательные статьи В. В. Розанова, разделенные небольшим хронологическим промежутком, ознаменовавшим, однако, решительный поворот писателя в оценке Победоносцева: если первая статья («Скептический ум») выдержана в интонации толерантной, хотя и настороженной, даже опасливой (Розанов не нападет, но и не защищает, ценит достоинства, но не закрывает глаза на слабости), то последняя статья («Гамлет в роли администратора») откровенно насмешлива и враждебна. Это лишь частный пример. Любые суждения о Победоносцеве, включая те, что представлены в антологии, не могут быть верно истолкованы вне контекста, вне эпохи, когда они появились, вне своеобразия автора.

Между тем никаких сведений о позиции «мыслителей и исследователей», судивших о Победоносцеве, никакой информации об исторических обстоятельствах, в атмосфере которых их мнения складывались и корректировались, мы в рецензируемой книге не найдем. В случае, например, с Ю. В. Готье и Б. Б. Глинским — фигурами не первого ряда, но с неожиданно яркими работами — такая информация совершенно необходима. Что же касается найденного составителем паллиатива (сведения об авторах втиснуты в узкие рамки кратких аннотаций именного указателя), то проблема этим не решается: перечень биографических фактов, не имеющих прямого отношения к публикуемым текстам, более уместен в энциклопедическом словаре. В некоторых случаях остаются загадочными даже даты появления включенных в антологию статей: указана книга, по которой они печатаются, но ни слова не сказано о времени их создания, а книги могут ведь выходить и посмертно.

Еще хуже обстоит дело с текстами самого Победоносцева. Трактаты, эссе, заметки, вошедшие в состав «Московского сборника», написаны, как известно, не вдруг. Победоносцев объединил под одной обложкой работы, создававшиеся в течение четверти века, причем возвращался к ним — в основном расширял — не раз. К сожалению, мы действительно знаем далеко не все о «Кошее православья» (именно потому, что пугающая репутация как бы отменяла живой к нему интерес), изучением его наследия занимались мало, так что на сегодняшний день установленные датировки далеко не всех его статей. Однако время создания большинства из них определено историками общественной мысли, и пишущему о Победоносцеве знать об этом необходимо. В противном случае ему совершенно бесосновательно покажется, что обер-прокурор Синода лишь «на закате XIX столетия» «на страницах своего знаменитого „Московского сборника“» (впервые действительно изданного отдельной книгой лишь в 1896 году) сформулировал те мысли, которые на са-

мом деле он высказал почти за четверть века до того, в 1873 году, в газете «Гражданин», где была напечатана программная, открывающая «Московский сборник» статья «Церковь и государство». Не удивительно, что, в итоге, главная книга Победоносцева прочитана как «отражение страхов и предчувствий старого обер-прокурора», испуганного сложившейся «к началу XX столетия» «новой политической обстановкой». Похоже, С. Л. Фирсову, автору предисловия к рецензируемой книге, неизвестно, что значительная часть работ, составивших «Московский сборник», была написана не только не «старым», но даже еще и не «обер-прокурором», не успевшим к тому же испугаться политической ситуации, сложившейся много лет спустя.

Вне определенной исторической перспективы смысл любого суждения искажается, и рецензируемая книга — наглядный тому пример. Сравнивая раннюю статью Победоносцева о графе Викторе Никитиче Панине (которому, кстати, попеременно присваиваются в рецензируемой книге почему-то разные инициалы — то В. Н., то В. П.) с «Московским сборником» и настаивая на том, что последняя книга была написана «уже совсем другим» Победоносцевым, не «скромным чиновником», но «разочаровавшимся в людях скептиком и циником», «облеченным доверием монарха» и заласканным при дворе, С. Л. Фирсов явно упрощает и интеллектуальную биографию Победоносцева, и психологический рисунок личности. Не так круто и вовсе не под таким уж сильным влиянием двора менялся Победоносцев, как это может показаться и безусловно покажется, если следить за его эволюцией по неверно расставленным вехам. Собственно, почти весь собранный в антологии материал противоречит этим упрощенным решениям, как и кондово-советским ничего не объясняющим попыткам вскрыть «корни политического цинизма» Победоносцева и убедить читателя, что обер-прокурор Синода обладал «порочными в своей основе взглядами». Как раз последовательность, твердость и искренняя преданность режиму (при всех внутренних психологических разломах и срывах) поражала в Победоносцеве даже его самых резких критиков.

Многое еще удивляет в рецензируемой книге. Непонятно, например, почему тексты «Московского сборника» печатаются не по последнему прижизненному, самому полному изданию, вышедшему в начале XX века, но по первому изданию, позднее систематически пополнявшемуся автором и потому не отражающему его «последней воли». Если составителя в самом деле интересовали Победоносцев и его эволюция, которая как раз и запечатлена в текстуальном наращивании статей, то почему так легко и без всякой аргументации отдано предпочтение неполному тексту? Внимательный читатель, кстати, найдет в статье В. В. Розанова «Скептический ум» подробный перечень дополнений, введенных в пятое издание «Московского сборника», — и может законно возроптать или, во всяком случае, удивиться, почему теперь, когда Победоносцева начали наконец издавать и переиздавать, полный текст «Московского сборника» упорно, как и в книге пятилетней давности, игнорируется.

Непонятно, кроме того, почему комментатор утаил от читателя, что несколько статей «Московского сборника» — это вольный перевод или вольный пересказ работ западных философов. Сам Победоносцев, правда, проставил под названиями некоторых из таких статей имена Ральфа Эмерсона, Герберта Спенсера, Томаса Карлейля. Но что побудило его выставить эти имена и названия их трудов? Полемизирует он с ними или рецензирует, переводит или пишет собственные заметки под свежим впечатлением от прочитанного? Обо всем этом остается только гадать непосвященным. Что же говорить о других, тоже переводных статьях «Московского сборника», где Победоносцев по разным причинам от любых ссылок отказался и имен писателей вовсе не упомянул? В частности, не упомянул имени Макса Нордау, вольный перевод из которого представляет собой ни более ни менее как программная статья Победоносцева «Великая лож нашего времени». Как должен расценивать эти тексты читатель, которому ничего не сообщили об их природе?

Непонятно, наконец, почему последовательно не прокомментированы в рецензируемой книге евангельские цитаты — далеко не всегда очевидные, иногда глубоко спрятанные в текст. Для Победоносцева, человека церковной культуры, каждая отсылка к Писанию исполнена глубокого смысла и особенно ответственна, уже поэтому стоило бы привлечь внимание читателя и к скрытым, и к явным биб-

лейским цитатам. Курьезно при этом, что, игнорируя их, комментатор воспринял некоторые из них с ненужной прямоотой. Так, победоносцевская отсылка к Деяниям апостолов, к рассказу о мятеже ефесян и крике «Велика Артемида Ефесская!», в комментарии обойдена молчанием, но в именной указатель попадает следующая позиция: «Артемида (Эфесская) — греч. богиня», и далее следует много интересных для любознательного подростка сведений, не имеющих, однако, отношения ни к тексту Победоносцева, ни к Писанию, но зато легко извлекаемых из любой энциклопедии.

Вообще, курьезных моментов в книге немало, но все они так или иначе объяснимы, за исключением одного, на котором и закончу их печальный список. Победоносцев цитирует стихотворную строку «древнего поэта про водяную болезнь», которая мало того что неточно переведена, но сопровождается — вместо сообщения, что она принадлежит Горацию, — вполне абсурдным разъяснением: «речь идет о О. фон Бисмарке» (на которого, правда, Победоносцев намекает несколькими абзацами ниже). Каким образом древний поэт провидел явление Бисмарка и как связал его с водяной — остается мистической тайной.

В первые годы перестройки прорвалась наружу древняя вера в некую скрытую от народа правду: достаточно сходить в архив или в спецхран (вариант — в кабинет партаппаратчика) и просто эту правду взять, чтобы предъявить обманутому народу. Издания, подобные рецензируемому, держатся пафосом тех лет: главное — напечатать ранее закрытое, утаенное (кстати, Победоносцев всегда был доступен в общественных библиотеках), и все само собой встанет на места, будет ясно, где истина. Оказывается, это иллюзия. Чтобы осмыслить фигуру такого масштаба, чтобы найти для нее правильную оправу, невозможно просто взять ее штурмом. Тиражировать тексты, не зная их истинного места и даже истинной природы, — это бросаться на амбразуру. И трудно сказать, какие чувства испытываешь к смельчаку — грусть или недоумение перед очередной попыткой, все-таки не приблизившей нас к пониманию крупной исторической фигуры, интерес к которой растет и, безусловно, будет расти.

Ольга МАЙОРОВА.



МУДРОСТЬ БЕССИЛИЯ — ИЛИ ТОЛСТОКОЖЕСТИ?

Мишель Япко. Помоги себе сам. Депрессия. Перевод с английского. М. «Бином». 1996. 294 стр.

Мне уже случалось писать, что антиутопии с самого начала всеми четырьмя копытами стоят на земле, а утопии маняще парят в воздухе, обращаясь в антиутопии лишь тогда, когда их пытаются силой стащить с небес на землю. Антиутопическими при воплощении становятся любые модели социального бытия, отказывающиеся признать его трагически неразрешимую противоречивость: самые благие и кровно необходимые нам цели не только дополняют, но и отрицают друг друга; приближаясь к одной, мы неизбежно отдаляемся от остальных. «Общее» и «личное» не исключение — эти начала всегда будут соперничать друг с другом, — но полная и окончательная победа любой из сторон окажется губительной. Человечеству предстоит либо научиться жить в трагическом мире, либо погибнуть в оптимистическом мире односторонней правоты и самоупоенной праведности. Это, вероятно, тоже не слишком ново, однако я не так уж уверен, что «народные массы» до конца выбрались из тоталитарной утопии, а «интеллигенция» — я имею в виду совесть нации, ее министерство праведности — похоже, до чрезвычайности уютно себя чувствует в утопии либеральной. Кто поблагородней — в гуманистическом ее варианте (все для блага человека, человек юбер аллес!), кто попроще — и в не очень гуманистическом: юбер аллес экономическая эффективность. Этот вариант в миру, пожалуй, даже более влиятелен, но в сфере духа совсем уж убог, гораздо завлекательнее выглядят те гуманисты, кто отвергает все сверхличное, а печется о простом человеческом счастье конкретной личности. Не знаю, удастся ли и этой грезе дойти до воплощения в кошмар, но уже сегодня у сравнительно образован-

ной публики (а индикаторы духовной моды — женщины) вакансию мудреца, пророка, вождя, духовника, кажется, начинает понемногу занимать психотерапевт: книги и брошюры типа «Будьте счастливы» можно встретить чуть не в каждом доме. «И это прекрасно, ибо наше психологическое невежество...» — однако эту тирану каждый может продолжить и сам, а вот меня начинает тревожить, что все эти (весьма полезные) премудрости частного существования грозят без остатка приватизировать те ценности общего пользования, без которых жизнь лишится сначала красоты, а потом, возможно, и вообще всякой привлекательности.

Но так трудно поверить, что те самые предметы, которые сковывают и угнетают нас, что именно они же нас защищают и воодушевляют. Вообразим семейный клан или общину, которая из поколения в поколение существует благодаря какому-то совместному достоянию, в чем бы оно ни заключалось: общий дом, общее хозяйство, общий язык, общие привычки и вкусы, общий запас доверия друг к другу и так далее. Но вот все больше и больше членов этого наследственного союза начинают тяготиться прежними обязанностями: одни удобства ради принимают пробовать новые двери поближе к своему спальному месту, другие предпочитают поменьше усердствовать и побольше прихватывать из общего хозяйства, третьи (впрочем, они могут быть также и первыми, и вторыми) не желают сковывать себя языковыми нормами и приличиями... В результате более добросовестные или, если хотите, более консервативные члены сообщества начинают чувствовать себя все менее и менее комфортно, а кто-то доходит до глубокой депрессии.

Несчастный отправляется за советом к мудрецу и слышит наставление: «Будь проще: они разбирают стены — и ты разбирай, они халтурят — и ты халтурь, они мошеничают — и ты мошеничай, они хамят — и ты хами, они говорят «щца» вместо «сейчас» — и ты говори «пала» вместо «падала». Главное, держаться в авангарде прогресса, ибо именно авангард пожинает весь урожай удовольствий, арьергарду же достается только пыль. И не смущайся: думать, что люди должны заниматься хоть каким-то общим делом, беречь хоть какие-то общие ценности и нормы, означает поддерживать колхозы и лить воду на мельницу Зюганова. Все, что стесняет человеческую личность, есть отрывка проклятого тоталитаризма. Неведомый промысл устроил жизнь так, что, когда каждый будет стремиться к собственной выгоде, этим достигнется и общая выгода: скоро у каждого вырастет свой частный дом, свое частное хозяйство, свой частный язык, своя частная вежливость, своя частная честь, своя частная добросовестность — так что дерзай, мой сын, без страха и сомненья».

Мудро? Мудрей некуда. Впрочем, я все же преувеличил, ибо популярные теории предустановленной гармонии редко касаются незримых материй, обычно ограничиваясь экономикой и политикой. «Открыть простор частным выгодам — и автоматически воцарится благоденствие», — веками перекатывающееся эхо вторит Адаму Смиту. «Подчинить частные воли общей — и автоматически воцарится благоденствие», — боюсь, где-то в подпольях снова настаиваются новые дурманы по истрепанным рецептам Жан-Жака Руссо. Но прогрессивный публицист на авансцене и отзывчивый психотерапевт в тиши кабинета все неуклонно становятся на сторону отдельного человека — только психотерапевт и не утверждает, что если каждый будет действовать как ему удобнее, то и всем будет хорошо: врач должен лечить прежде всего больного, а не общество. Однако соблазн безграничной снисходительности так же опасен, как соблазн любого упростиельства, любой моноидеи, и всякий, кто хоть сколько-нибудь озабочен хоть каким-нибудь общим делом, сохранением хоть какого-нибудь общего достояния, неизбежно должен принимать решения, хоть в чем-нибудь да притесняющие интересы частных лиц.

Недавно в Москве вышла весьма приметная книга известного американского психотерапевта Мишеля Япко «Помоги себе сам. Депрессия». Во введении автор бегло перечисляет итоги неконформистской эпохи шестидесятых — главным достижением оказываются права личности, новые возможности строить жизнь по индивидуальному вкусу конкретного человека, а главным поражением — десятикратно возросшее число несчастных, страдающих от депрессии (эпидемия коснулась тридцати — сорока миллионов человек). С чего бы это? Но врачавателя душ, естественно, волнует другой вопрос: чем помочь страдальцам?

И в книге этой немало полезных соображений мог бы найти даже президент или директор государственной телерадиокомпании. Первая заповедь — избегать глобализма мышления, не искать никаких единоспасающих формул, помнить, что в самом непримиримом споре иногда бывают правы оба, что огромные проблемы могут быть разобраны лишь по крупицам, что даже наимогущественнейший человек способен контролировать лишь малую часть бытия, а потому, с одной стороны, никогда не следует чересчур уповать на успех, а с другой — не нужно изводить себя за провал: ни то, ни другое не зависит от тебя полностью. Не нужно обобщать — особенно в сторону ухудшения, нужно изо всех сил держаться точных фактов, не игнорируя положительной информации. Ни из одной и даже из тысячи неудач все равно не следуют заключения типа «я никуда не гоюсь», «никогда ничего не получится» и тому подобное. Даже самоубийство, по Япко, есть простой результат глобализма мышления: «так будет всегда».

Но имеются в книге и целые вороха несомненно полезных частному лицу практических советов, рекомендовать которые для общего употребления, однако, затруднился бы не только государственный муж, но и какой-нибудь скромный поклонник Канта, полагающий нравственным исключительно то, что допустимо возвести в общее правило. И впрямь, что станется с миром, если это делается нормой — «просто живите», а не стремитесь к каким-то целям; не гонитесь за совершенством, оно невозможно, да и не нужно, вы и так достаточно хороши; не старайтесь угодить окружающим, а лучше позаботьтесь о себе, не расчитывайте, что другие сами вспомнят о ваших интересах; при знакомстве лучше исходить из того, что вы человек замечательный и нужно лишь проверить, достоин ли вас ваш собеседник; если вы плохая жена и мать, не огорчайтесь, может быть, лично вам это не подходит, и вообще, стремясь соответствовать каким бы то ни было стандартам, вы обесцениваете свою неповторимую личность, которая хороша вовсе не потому, что она что-то из себя представляет, как считали при тоталитаризме («ты стоишь столько, сколько стоит дело, из-за которого ты хлопочешь»), а просто оттого, что она родилась на свет.

Не стремитесь постигать жизнь вглубь — куда приятнее вкушать ее разнообразие; забудьте бесплодные вопросы типа «достоин ли я счастья?» — ясно, что достоин; рассуждения насчет смысла жизни приберегите для абстрактных дискуссий, не касающихся вашего благополучия, — в серьезных делах они только путаются под ногами.

Вредно также держаться за традиции — незачем себя сковывать: это столь же очевидно, как тот неоспоримый факт, что в разбегающейся армии хуже всего приходится тем, кто до последнего сидит в окопе. Вот только если верить, что выгодное каждому выгодно всем, становится не ясно, почему классик мировой социологии Эмиль Дюркгейм еще в начале века связывал стремительный рост самоубийств с упадком сплоченности и, в частности, традиций. Казалось бы, что может быть надежнее для благополучия, чем неусыпная забота о себе? Однако Дюркгейм выделил очень важную группу самоубийств — эгоистические самоубийства: когда человек служит лишь самому себе, он утрачивает смысл существования. Но ведь смысл жизни — лишь предмет праздных разглагольствований? И разве подчинение свободной личности каким угодно внешним целям не есть отрывка проклятого тоталитаризма (ныне такое же утрашающее заклинание, как некогда «мещанство»)?

Еще один классик, современный американский психолог Виктор Франкл, много лет подряд твердил, что человек — существо трансцендентное: он не может быть сам себе целью, самозабвенное служение превосходящей его цели делает его почти неуязвимым, зато сосредоточенность на собственной шкуре обезоруживает перед любой цапапиной.

Есть расхожая формула Маслоу: фундаментальные человеческие потребности — биологические, это, так сказать, первейше необходимый кусок хлеба; социальные потребности — уже масло на этом хлебе, и лишь затем наступает очередь джема — всяких туманных идеальностей. Но Виктор Франкл в немецком концлагере убедился, что дело обстоит как раз наоборот: именно тогда, когда с хлебом и почетом наступает полный завал, во всей грандиозности встает вопрос: «А чего ради я должен все это терпеть?» Франкл как что-то очень личное цитирует Фридриха Ницше: у кого есть Зачем жить, тот выдержит почти любое Как. И это не го-

лые декларации, это научные труды со всеми положенными цифрами и корреляциями — как-никак гарвардский профессор.

И при этом старший современник и, можно сказать, земляк Мишеля Япко. Как же может статься, что два явно весьма неглупых человека утверждают почти противоположные вещи? А точно так же, как в самом непримиримом споре могут быть правы оба. Есть мудрость бойца — и мудрость дезертира, есть мудрость атлета — и мудрость инвалида. Да, может быть и инвалидская мудрость, без всякой иронии. На обложке книги «Помоги себе сам» помещен рекламный отклик еще одного американского профессора психиатрии: это настоящий кладезь мудрости для тех, кто хочет избавиться от чувства вины, стыда, низкой самооценки. Не спорю, избавляться от них очень и очень приятно. Но повышенная ответственность, склонность к раскаянию и смирению — те ли это чувства, от избытка которых страдает мир? Я думаю, даже самый отпетый человеколюбец не решился бы вовсе изгнать из жизни эти огорчительности. А ведь в кладезях типа «спасайся кто как может», разумеется, нет никаких ограничений и оговорок — хотя бы в том духе, что ориентированы они на тех, кто стал жертвой психологических паразитов либо совсем уж раздавлен обязанностями, налагаемыми человеческим достоинством. Я ведь и сам немножко гуманист, я совсем не желаю, чтобы загнанных лошадей пристреливали, я за то, чтобы дать им место в лазарете. И все же я хочу лишь милосердия для них, но против того, чтобы оказывать им равное уважение с теми, кто хрипит, но везет, кто стремится что-то создать, кому-то или чему-то помочь, кто не умеет повышать самооценку иным способом, кроме как проявив какую-то реальную доблесть. Я против того, чтобы считать нормой малодушие, пусть даже мое собственное, я против того, чтобы выбрасывать компас, если требуется напряжение, чтобы следовать его указаниям.

Читая пособия по психологическому самообслуживанию, снова и снова убеждаешься, что страдание — это очень плохо, а его прекращение — очень хорошо. Рядом с бездонной глубиной этой истины не только негуманно, но прямо-таки неприлично напоминать о разных бесчеловечных и устарелых трюизмах вроде того, что мужество — это хорошо, а тряпичность — плохо, что верность — хорошо, а предательство — плохо, что великодушие — хорошо, а...

Впрочем, я уже начинаю покушаться на самое святое.

Александр МЕЛИХОВ.

С.-Петербург.

ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА. Сто полей. Роман. СПб. «Терра» — «Азбука». 1996. 654 стр.

ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА. Колдуны и Империя. Роман. Послесловие Р. Арбитмана. Саратов. «Труба». 1996. 496 стр.

Сформулируем это так. В некоей Империи группа людей, выдающих себя не за то, что они есть, пользуясь влиянием на руководителя страны, пытается двинуть страну по пути прогресса, провести рыночные реформы, что оборачивается революцией и гражданской войной и заканчивается прямым силовым вмешательством «прогрессоров» (термин Стругацких) с использованием небывалых — для этой страны — видов оружия. Я достаточно общо, но, думаю, вполне адекватно изложил содержание романа Юлии Латыниной «Колдуны и

Империя». В романе «Сто полей» (который является первой частью дилогии, но появился в московских магазинах гораздо позже «Колдунов») рассказывается, как и откуда пришли в Империю чужаки реформаторы.

В таком намеренно убогом, *обездушенном* пересказе это напоминает что-то знакомое (как не вспомнить легендарное «Трудно быть богом»); к тому же приведенную выше схему при желании можно идеологически интерпретировать по-разному, вплоть до «остраненного» изображения пресловутого жидомасонского заговора (и в нынешних массовых жанрах есть своя *патриотическая* струя). Но в дилогии Ю. Латыниной этот остов, облеченный художественной плотью, выглядит совсем иначе — оригинально и умно. Интерес книги, конечно, не в том, что действие происхо-

дит на другой планете, куда случайно или как раз не случайно свалился «частный» космический корабль землян, контрабандой перевозивший оружие; эка невидаль, тем более что никаких монстров, разумных или неразумных, на планете не водится, все земноподобно до изумления. Можно даже найти в истории человечества приемлемые аналоги; например, средневековый Китай, на его основе Латынина и возводила свою Вейскую Империю, отчасти (а местами так и излишне) стилизуя повествование под древнекитайскую городскую прозу «хуабэнь».

Самое, на мой взгляд, любопытное, это как Юлия Латынина пытается совместить правила игры всем хорошо знакомого жанра «фэнтэзи» (она вообще неравнодушна к массовым жанрам и профессионально владеет их приемами) с ненавязчивым изложением историко-софских, политологических и проч. концепций, уже знакомых по ее серьезным статьям в периодической печати. В целом это ей удается. Я бы даже выразился так: коль скоро существует экономическая наука или, точнее, если мы экономическую науку (и ту же политологию) признаем и в самом деле наукой, то романы Латыниной с полным правом могут читаться и как «научная фантастика». Во всяком случае, сложное и актуальное для нас переплетение и противостояние *социальных интересов* чиновничества, воинов, торговцев, разбойников и простых тружеников Империи играют в романе не меньшую (но, к счастью, и не большую) роль, чем «экшн», увлекательные приключения, выпадающие на долю персонажей. Персонажи интригуют, ссорятся, заключают союзы, предают, дерутся на мечах (изредка прибегая к помощи лазера, спрятанного в рукоять кинжала), кто — за славу, кто за — честь, кто — за золото, кто — за власть, а в целом разворачивается многоходовая битва за утверждение или, напротив, за искоренение *частной собственности* на землю и средства производства. И победителей (в полном смысле слова) в этой борьбе нет. И земляне втягиваются в эту борьбу не столько из возвышенных миссионерских побуждений (впрочем, и тут находится идеалист-демократ Сайлас Бредшо), сколько из соображений выгоды; земляне-то представляют не межгалактическое сообщество, а — межга-

лактический *бизнес*. Не удивительно, что «местный» мужественный рыцарь Марбод Кукушонок выглядит привлекательнее, колоритнее, *ярче* (буквально по Константину Леонтьеву), чем практичный земной торговец Клайд Ванвейлен. (Вспомним, что у Стругацких благородный землянин Румата на голову превосходит все темное инопланетное средневековье, в котором ему по долгу службы приходится барахтаться.) И мы, пожалуй, не сможем однозначно определить, на чьей Латынина стороне — «наших» пришельцев или аборигенов. Она — на своей стороне, на стороне своей *мысли*. И на стороне читателя.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

*

МАРГАРИТА ДЕНИСОВА. Без гнева и пристрастия. Стихи. Брянск. Издательство «Придесенье». 1996. 173 стр.

МАРГАРИТА ДЕНИСОВА. Откровение. Стихи. Барнаул. Библиотека журнала «Встреча». АО «Полиграфист». 1993. 32 стр.

Кроме вынесенного автором в название новой книги и способного вызвать недоумение известного изречения (слово о любви — а Денисова пишет только «про это» — может ли быть произнесено без гнева и пристрастия?) поэтесса дает в эпиграфе и иную подсказку, тоже с латинского: «Я сказал и облегчил тем душу».

Что сказал? — ударение здесь падает на первую часть высказывания. Видимо, очень важное для автора — трудное и наиболее, — только так можно облегчить душу. Но высказанное слово должно быть и твердым, художественно прочным — только так можно избежать дурной эмпиричности и дешевой банальности «поплакать в жилетку». Эти два условия соблюдены Денисовой — она пишет историю своей любви, постоянно ощущая романное ее течение. Отдельные стихотворения лирических циклов движутся как главы внутреннего сюжета чувства. Маргарита Денисова говорит языком вещи, детали, извлекая из нее неожиданные психологические смыслы, когда, скажем, «знак перемирия» в отношениях любящих ведет себя непредусмотренным образом: брошь «платье мое уколола пребольно. Платье

поежилась даже невольно, внешне предчувствуя ложь».

Или — языком природы, придавая особое значение «искусству слушать дождь», искусству тонких неизреченных состояний, где в роли учителя нередко выступает богатая интуицией женская душа: «Закройте неживой дневник. Я научу Вас слушать дождь».

Или языком чисел, дней, недель — той арифметики любви, что перерастает в сложную алгебру человеческих отношений между мужчиной и женщиной, как это происходит «второпях» в одноименном стихотворении:

Мы решили обмануть себя,
Называя ласково друг друга,
Не заметив, что сменила вьюга
Три протяжных месяца дождя.
А когда нагрянула беда,
Мы решили все начать сначала,
Но судьба уже нас развенчала —
Рано утром, в среду, навсегда.

Все это уже было, было, и гораздо лучше, хотя бы и у Ахматовой, — подумает иной читатель. И будет прав, но отчасти. Прав — в том смысле, который провидел Николай Гумилев: «Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний, и каждой современной поэтессе, чтобы найти себя, надо пройти через ее творчество». Но имя Ахматовой вспоминается и по другому — не менее важному — случаю. В свое время Андрей Платонов обратил особое внимание читателя и критики на ахматовские строки:

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко.
И сказал мне: «Не стой на ветру», —

и прокомментировал его следующим образом: «Вопль любящей женщины заглушается пошлым бесчеловечием любимого; убивая, он заботится о ее здоровье: «не стой на ветру». Это образец того, как интимное человеческое, обычное в сущности, превращается в факт трагической поэзии. В лице персонажа «любимого» в стихотворении присутствует распространенный, «мировой» житель, столь часто испытующий сердце женщины своей «мужественной» беспощадностью, сохраняя при этом вежливую рассудочность».

Можно сказать, что к концу XX века «мужественная беспощадность» любимого, «испытующего» сердце женщины, так возросла, что моральный ущерб не-

соизмерим с понятиями ахматовского времени.

Поэзия Маргариты Денисовой помогает нам уловить в сознании этот сдвиг, понять, что интимное, человеческое, обычное, в сущности, давно уже превратилось в трагический факт нашего бытия.

Но не поэзии в целом.

В мире мужской поэзии (приходится пойти на это искусственное разделение, чтобы подчеркнуть серьезность проблемы) мы не найдем даже отзвука этих трагедий, происходящих в личностном мире между мужчиной и женщиной, — даже эха меж голосом и звуком. Одна сторона мучится «попыткой говорить» (как это происходит в одноименном стихотворении), другая — «замкнула слух»:

Пусть будет все — как я хочу.
Слова безумные шепчу.
Слова густые, как песок,
Который под дождем намок.
.....
И, вроде, все — как я хочу.
Слова безумные шепчу,
Но, раздробясь о глухоту,
Слова стекают в пустоту.

Драматургия таких сцен, с бесстрастными зеркалами, дождями и уменьшившимся небом, отражающими ложь, пустоту, игру в человеческих отношениях мужчины и женщины, — «смеялась голосом чужим, а утром, жизнь изображая, пила горячий кофе с ним, его руками ночь листая», — психологически точно разработана Денисовой.

Ничего не происходит. И в этом тоже трагедия любящей и страдающей женщины: «Не уходите! Я умру без Вас! Как жалок мир. Я до сих пор — жива».

Книга Маргариты Денисовой, написанная объективно-точно о «субъективно-неточном», личном, заставляет нас задуматься — «с гневом и пристрастием» — о слишком важных вещах, вызывающих к совести и пониманию.

Инна РОСТОВЦЕВА.

*

ДЖЕЙМС ХОЛЛ. Словарь сюжетов и символов в искусстве. Перевод с английского и вступительная статья Александра Майкапара. Москва. «Крон-Пресс». 1996. 656 стр.

«Словарь» Дж. Холла, предназначенный широкому кругу любителей ис-

куств, изданный впервые в 1974 году и выдержавший на Западе более десятка переизданий, вышел на русском языке в квалифицированном переводе известного музыканта и искусствоведа А. Е. Майкапара.

Словарь охватывает содержание сюжетов, лежащих в основе произведений изобразительного искусства Запада от Средних веков до конца XVIII столетия. Внимание автора сосредоточено на распространенных библейских и античных сюжетах. Что касается святых, то предпочтение отдается тем из них, чьи культ и иконография стали общепринятыми, — именно поэтому многие сюжеты повествовательной живописи прерафаэлитов в книгу не вошли.

Словарные статьи расположены в алфавитном порядке и представлены по трем направлениям. Во-первых, описаны известные персонажи мифологии (и литературы) и сюжетов, в которых эти персонажи играют главную роль. Во-вторых, статьи, посвященные названиям определенных картин, изображающих широко известные сюжеты, например «Поклонение волхвов», «Святое семейство», «Суд Париса» и т. д. И в-третьих, статьи, описывающие предметы, связанные с каким-либо персонажем и являющиеся его атрибутом. Так, голубь является христианским символом Святого Духа. В этом значении он появляется в изображениях Благовещения, крещения Христа — или парящим около уха святого, прославившегося своими литературными трудами, как символ его вдохновения. Голубь, вылетающий из уст монахини, символизирует ее возносящуюся в небо душу. Семь голубей, парящих вокруг образа Христа или Девы Марии с Младенцем, символизируют семь даров Святого Духа.

Художники Ренессанса комбинировали символы и сплетали из них в своих картинах довольно сложные аллегории.

Темами словарных статей являются конкретные персонажи и сцены («Воин», «Охотник», «Трапеза»), а иногда и числительные («Три грации», «Пять чувств») или части человеческого тела («Рука», «Волосы», «Глаз»). Вместе с тем словарь помогает читателю глубже проникнуть в содержание средневековой живописи. Так, автор объясняет типологию Ветхого Завета. Ранние отцы церкви установили соответствия между

частями Св. Писания: персонажи и события Ветхого Завета рассматривались как предтечи или предзнаменования фигур и сцен из Нового Завета. С течением времени темы из Ветхого Завета, в которых было выявлено родство с Новым Заветом, приобрели свое собственное значение и образовали самостоятельные сюжеты в христианском искусстве. Подобным образом начали трактоваться и некоторые из классических мифов.

Отдавая должное богатству содержания и четкой структуре словаря, хотелось бы отметить и некоторые упущения автора. В большинстве статей о сюжетах, повторяющихся в живописи на протяжении столетий, Джеймс Холл касается вопросов интерпретации этих сюжетов. Словарь содержит сведения о том, как трактовался тот или иной символ в Средние века, какие изменения в его толковании произошли в период Возрождения, что прибавилось или исчезло под этим углом зрения в период контрреформации. Однако явно упущена эпоха Реформации с ее своеобразным толкованием Библии, отразившимся, например, в творчестве таких немецких мастеров, как Лукас Кранах Старший, Лукас Кранах Младший, и ряда других выдающихся художников. Из содержания «Словаря» как бы выпал целый пласт европейского искусства, развивавшегося в протестантских странах. Явно недостаточным кажется освещение символов в живописи периода барокко.

Перечисление отдельных недостатков словаря можно было бы, наверно, и продолжить. Но и достоинств работы Джеймса Холла более чем достаточно для того, чтобы мы могли поздравить отечественных любителей искусств с выходом его книги.

Л. ЛАПТЕВА.

*

Н. М. ЛИСОВСКИЙ. Библиография русской периодической печати. 1703 — 1900. (Материалы для истории русской журналистики). В 2-х томах. М. «Литературное обозрение». 1996. Т. 1, стр. I — XVI и 1 — 608. Т. 2, стр. 609 — 1066.

Рецензировать репринтное издание — дело вроде бы почти бессмысленное. Особенно если учесть, что речь идет о справочнике, первые выпуски которого были опубликованы в качестве приложения к журналу «Библиограф» еще в

1891 году. И все же — разговор о библиографическом труде Н. М. Лисовскоговозможен и необходим.

Книга Лисовского в высшей степени характерна для общей ситуации в гуманитарной науке и культурной жизни последней четверти прошлого века. Это было время «промежутка» между напряженными идеологическими спорами «европеистов» и «самобытников», бушевавшими в 1840 — 1860-х годах, и духовными прозрениями деятелей серебряного века. Культ точного знания и преобладание позитивистского описания фактов над их философским осмыслением были свойственны не только последователям героев романа «Что делать?», живо обсуждавшим брошюры о правильном питании и женской эмансипации. Литературоведы, историки, фольклористы, этнографы старались не отстать от физиков, биологов, медиков, стремились приблизить свои занятия к нормам и требованиям «точного» знания. Отсюда — небывалая популярность словарных и библиографических исследований. Достаточно упомянуть хотя бы о масштабных словарных проектах Г. Н. Геннади, Д. Д. Языкова, С. А. Венгерова (кстати, гимназического однокашника Лисовского). В 1880 — 1890-е годы один за другим возникают специальные библиографические журналы («Российская библиография», «Библиограф», «Библиографические записки», «Книговедение»). Границы между академическими и прикладными штудиями становятся почти неуловимыми: библиографические материалы широко используются в издательском деле и книготорговле, смыкаются по своим функциям с рекламными объявлениями, ориентированными на нужды «массового» читателя.

В представительной плеяде приверженцев «конкретного» литературоведения, чье творческое становление (либо расцвет деятельности) пришлось на последние десятилетия прошлого века (В. И. Межов, Н. П. Барсуков, П. В. Быков, В. И. Саитов, Н. А. Рубакин, А. В. Мезьер, Б. Л. Модзалевский, И. Ф. Масанов, Б. С. Боднарский, В. В. Данилов и многие другие), имя Николая Михайловича Лисовского (1854 — 1920) по праву занимает достойное место. Многие годы отдавший службе в канцелярии Военного министерства, Лисовский выступал в печати как публицист по вопросам

экономики и сельского хозяйства, писал также театральные и музыкальные рецензии. Однако более всего известны его биобиблиографические работы, в частности статьи о Пушкине, Лермонтове, Тургеневе. В начале нашего столетия Лисовский выдвинулся в число ведущих специалистов в области книговедения. Именно он стал автором первых университетских курсов по истории книгоиздания и периодической печати, которые были прочитаны в Московском и Петербургском Императорских университетах, а также в Народном университете, основанном в Москве известным меценатом Альфонсом Шанявским.

Главный труд Николая Лисовского — «Библиография русской периодической печати» — сохранил свое значение до наших дней. Попытки составить справочник по российской периодике предпринимались в XIX веке неоднократно. Известен, например, цикл статей Николая Полевого, опубликованных в 1827 году в «Московском телеграфе» под псевдонимом *Журнальный Сыщик* («Обозрение русских газет и журналов, с самого начала до 1828 года»). Однако книга Лисовского содержит наиболее полные сведения практически обо всех видах отечественных периодических изданий: правительственных и литературных, научных и ведомственных, столичных и провинциальных. Каждый из печатных органов характеризуется по четкой и продуманной схеме: время и место издания, данные об изменении названия, периодичность выхода в свет, фамилии издателей и редакторов, формат и т. д. Всякий историк знает, сколь незаменим справочник Лисовского для распутывания различного рода детективных сюжетов, связанных со взаимоотношениями российской печати и цензурных ведомств, с установлением мельчайших перипетий перехода журналов и газет от одного владельца к другому и т. д. Приложенные к основному тексту алфавитные и тематические указатели значительно облегчают работу с книгой.

Указатель Лисовского принадлежит к числу справочных изданий, которые помимо ученых нужд вполне пригодны для обычного «сквозного» чтения. Ну разве не любопытно узнать подробности издания еженедельника «Кошелек»

(Санкт-Петербург), журналов «Вестник голубиноного спорта» (Киев) или «Тюремный вестник» (петербургское издание Главного тюремного управления)? Справочник Лисовского можно дополнять и совершенствовать, однако нелегко найти в нем фактические погрешности. Впрочем, пользуясь случаем, рискну указать на одну микроскопическую неточность. Лисовский упоминает о И. Н. Румянцеве (издателе и редакторе газеты-журнала «Гражданин», позднее переименованного в «Луч») и о И. П. Румянцеве (недолгое время исполнявшем обязанности редактора газеты «Новости»). На самом деле речь идет об одном и том же человеке, Иване Николаевиче Румянцеве, крестьянине-самоучке, в 1870-е годы подвизавшемся в Петербурге на журналистском поприще.

Часть тиража Указателя, изданного в 1915 году, была снабжена цветными справочными таблицами. С их помощью легко определить перечень периодических изданий, выходявших в России в течение того или иного конкретного года либо отрезка времени. К сожалению, у нынешних издателей не нашлось возможности перепечатать таблицы. Дело известное: сложная полиграфия, дополнительные затраты и как следствие — грозящее повышение розничной цены книги. Все это, увы, в порядке вещей. Вызывает, однако, недоумение отсутствие каких бы то ни было редакторских разъяснений. Без них текст предисловия Н. М. Лисовского к изданию 1915 года оказывается в значительной степени непонятным, поскольку содержит комментарии к таблицам, отсутствующим в воспроизводимом варианте справочника.

Не грех было бы снабдить переиздание Указателя хотя бы кратким предуведомлением общего характера. Современному читателю (и покупателю!) стоило бы подробнее рассказать о Н. М. Лисовском и о значении его фундаментального труда. Впрочем, и при отсутствии предисловия и научного комментария выход книги стал крупным событием: филолог может теперь любовно поставить на книжную полку классический справочник, давние издания которого нынче не так просто найти даже в крупных библиотеках.

Дмитрий БАК.

*

А. И. ВОРОБЬЕВ, П. А. ВОРОБЬЕВ. До и после Чернобыля (взгляд врача). М. «Ньюдиамед». 1996. 180 стр.

Над японским городом Хиросима вот уже полвека плывут скорбные звуки колокола, напоминающие человечеству о первой ядерной трагедии, разыгравшейся в августе 1945 года. А у нас нет такого колокола и нет набата в память ни о трагедии Чернобыля, ни о жертвах радиации во время страшной аварии 1957 года под Челябинском, ни о более мелких атомных драмах, не ставших от этого менее скорбными.

Рецензируемая книга — это, пожалуй, и есть попытка напомнить всем, что проблемы Чернобыля не решены и что не только в нашей стране, но и во всем мире никто не застрахован от подобных катастроф. О них нужно знать, к возможным катастрофам нужно готовиться. Впервые по наболевшим вопросам радиационной медицины столь открыто к общественному мнению апеллируют специалисты, досконально знающие эти проблемы.

Первый автор книги — академик РАМН, лауреат Государственной премии, бывший министр здравоохранения РФ, а ныне директор Гематологического научного центра РАМН; второй, его сын, — кандидат медицинских наук — принимал участие в оказании помощи чернобыльцам и пострадавшим во время землетрясения в Армении.

О чем эта книга? Прежде всего о том, что, вопреки расхожему мнению, наша научная медицина, во всяком случае передовая ее часть, к Чернобыльской катастрофе была подготовлена, а, так сказать, организаторы медицины — практики-радиологи — нет. Их действия не были заранее смоделированы, что неизбежно привело к бессмысленным потерям. К тому же население нашей страны в целом не обладало элементарными научными знаниями и практическими навыками: не было, например, никакой системы оповещения людей об авариях на атомных станциях. В книге подчеркивается, что, к сожалению, к подобным бедам специальные службы в достаточной мере не готовы и поныне. Поэтому авторы и попытались дать правдивую информацию о проблемах современной медицины в экстре-

мальных ситуациях. Естественно, что и жанром их повествования стал не ученый трактат, а острый научно-публицистический памфлет, написанный живым языком и представляющий к тому же популярное пособие по радиационной медицине.

Авторы утверждают: не надо впадать в панику от одного слова «радиация», современный человек обязан научиться правилам поведения в новой сложной экологической обстановке. Мы живем в условиях непрерывного общения с радиацией, непрерывного облучения: оно приходит из космоса, от земли, из рентгеновской трубки. Каждый за свою жизнь получает энную дозу облучения. Но не любая доза ионизирующей радиации опасна, она начинает угрожать жизни только начиная с определенных высоких доз, только их и надо бояться.

...В клиническом отделе Института биофизики — еще до Чернобыльской катастрофы — под руководством А. И. Воробьева было создано первое и единственное в стране специализированное отделение для лечения лучевой болезни. Там разрабатывались научные основы ее диагностики и лечения, принципы биологической дозиметрии, определение по хромосомному анализу клеток крови и костного мозга тяжести надвигающейся лучевой болезни, позволяющие установить дозу, полученную больным, даже и спустя некоторое время после облучения. Вместе с тем наши медики успешно освоили и разработанный японцами метод определения лучевого воздействия на человека по эмали зубов.

С помощью биологической дозиметрии было установлено, что определенному объему облучения соответствует и строго определенная тяжесть болезни по принципу: «доза — эффект»; если человек при облучении в авариях получил 600 бэр и больше, это значит, что он обречен и никакие пересадки костного мозга его не спасут, такое поражение несовместимо с жизнью. Можно себе представить психологическое состояние врачей, лечащих героев-пожарников из Четвертого блока Чернобыльской АЭС: больные еще разговаривают и даже шутят, а у их изголовья уже стоит неминуемая смерть. Кстати, все попытки спасти этих больных с помощью пересадок костного мозга, проделанных нашими учеными самостоятельно и со-

вместно с американским профессором Робертом Гейлом, потерпели неудачу из-за несовместимых с жизнью поражений других тканей.

В то же время лиц, получивших 100 бэр и меньше, можно спокойно отпускать домой, ограничившись строгим диспансерным контролем без госпитализации. Опыт показал, что с ними в ближайшее время ничего не случится. Кстати, как это ни парадоксально на первый взгляд, средняя продолжительность жизни людей, облученных при американской атомной бомбардировке, выше, чем в Японии в целом: это объясняется, конечно, хорошим и регулярным медицинским обслуживанием.

Такая дифференциация больных дает возможность сосредоточиться на помощи тем, кто в ней больше всего нуждается. За жизни этих людей предстоит тяжелая, изнурительная борьба, но их все-таки можно спасти. Это и диктует необходимость индивидуального, а не среднестатистического подхода при определении уровня облучения пострадавших. Даже у людей, находившихся в очаге поражения недалеко друг от друга, могут быть различия в полученных дозах облучения на том или ином участке тела.

Еще одна медицинская проблема, с которой пришлось столкнуться А. И. Воробьеву и его сотрудникам, — так называемые пороговые эффекты радиации. Существует некий порог в дозах облучения, до которого радиационное поражение не представляет опасности для человека. Как показал многолетний опыт наблюдения за работниками радиационной промышленности и тщательный анализ последствий атомной бомбардировки японских городов, человеческий организм справляется с последствиями малых доз облучения, он приспособился к борьбе с фоновым облучением. Так обстоит дело с облучением медленным — по несколько бэр в год. И только при быстром однократном облучении, начиная с дозы 20 бэр и выше, повышается риск появления опухолей разных органов.

Именно прежняя «беспороговая» гипотеза привела к тому, что грянувшая эпидемия рака щитовидной железы у детей на загрязненных территориях была неожиданной как для местных врачей, так и для некоторых ученых, все еще продолжающих говорить о без-

опасности радиоактивной обстановки в загрязненных районах.

Авторы убедительно показывают, какой вред обществу и человеческому здоровью нанесла информационная блокада Чернобыльской катастрофы и развернутая в то же время широкая дезинформация, в которой, увы, повинны и многие медицинские авторитеты. Впрочем, аналогичная картина была и в атомной медицине США, как это вытекает из цитируемого в книге утверждения американского врача-атомщика Гофмана; дезинформация в какой-то мере исходила даже и от комиссии МАГАТЭ. Именно чиновники от науки скрыли от населения опасность аварии на АЭС, именно они занижали дозы радиации, оставляя людей в опасных для здоровья зонах, именно они фактически сорвали массовую эвакуацию пострадавших из зоны бедствия.

Не были приняты меры для снабжения населения «грязных» районов экологически чистыми продуктами, водой, препаратами йода. Радиоактивный йод из Чернобыльского котла мог бы и не накапливаться в щитовидных железах, если бы люди уже в первые часы после аварии начали принимать препараты; позже радиоактивный йод уже прочно сидел в железах и делал свое черное дело.

Авторы спрашивают: а что сделано теперь для максимально быстрого оповещения людей в случае повторения подобных аварий? В сущности, ничего!

Одна из главок книги называется «Чернобыльские проблемы и власть». Впрочем, фактически вся книга пронизана темой взаимоотношения общества и власти, власти и науки. Как в черную дыру уходили и уходят до сих пор огромные государственные средства, отпускаемые государством на помощь чернобыльцам, но так и не дошедшие до них. (Как это напоминает сегодняшний беспредел, когда триллионы, направленные на восстановление Чечни, исчезли бесследно.)

Из материалов книги можно сделать еще один важный вывод, хотя он и не обозначен в тексте: Чернобыль — это не только экологическая катастрофа, Чернобыль — это приговор всей прежней социально-экономической системе, показавшей свою полную недееспособность. После Чернобыля уже стало невозможным скрывать от своего наро-

да и мировой общественности не только большие, но и малые катаклизмы; вынесен приговор жесткой централизации при решении местных проблем и всевластию бюрократов, в том числе от науки.

Книга глубоко выстрадана авторами, она написана на одном дыхании и легко читается. Вместе с тем кажется, что А. И. и П. А. Воробьевы не всегда четко представляют себе своих потенциальных читателей: иные места требуют определенной подготовки в области физики и медицины. Однако современный человек просто обязан знать хотя бы азы радиационной медицины, которые непременно надо получить из первых рук. Уж в слишком тревожное время мы живем!

В. МАЛИНОВСКИЙ.

*

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Красноярское кн. изд-во. 1995. 408 стр., с илл.

Горько об этом говорить, но экологическое сознание нашего общества еще не вышло из младенческого состояния. Оно держится пока на нулевой отметке, и ни стоны местных жителей, ни печатные проклятья отдельных личностей не в силах остановить эту вакханалию разрушения, а точнее говоря, сандизма по отношению к природе. За семьдесят с лишним лет «совкового» существования мы взрастили в себе такой дух жестокости и равнодушия, что не хотим понимать: вред, причиняемый природе, по сути дела, есть вред, который мы причиняем самим себе.

Вот почему с такой надеждой я открываю эту книгу в ярко-красной глянцево-обложке, с прекрасными рисунками, посвященную сибирским зверям, птицам, рыбам, насекомым и прочей живности. Я вспоминаю слова Д. Даррелла о том, что «в отличие от нас животные не властны над своим будущим» и что дело их спасения «не терпит проволочки, ибо через десять, даже через пять лет будет поздно — они исчезнут с лица Земли».

Своим появлением на свет «Красная книга Красноярского края» обязана из-

вестному зоологу, исследователю животного мира Сибири академику Е. Е. Сыроечковскому и доктору биологических наук, орнитологу Э. В. Рогачевой. В течение сорока лет ученые исколесили вдоль и поперек всю территорию огромного Красноярского края — от арктических пустынь Северной Земли и Таймыра до южных степей Хакасии. По разнообразию природных зон и ландшафтов этому региону нет равных в СНГ. Обилие собранного авторами научного материала потрясает, и это несмотря на то, что подготовленная ими рукопись пятнадцать лет пролежала в издательстве без движения и могла в чем-то устареть.

Напомню, что всего в крае обитает около 370 видов птиц и 90 видов млекопитающих, но из них около трети находится на грани исчезновения. Правда, в некоторых природных зонах, сообщают авторы, восстановлен ранее уничтоженный соболь; почти повсеместным видом стал исчезнувший еще в начале века бобр; неплохо акклиматизировалась в водоемах североамериканская ондатра, а таймырское стадо диких северных оленей насчитывает сейчас около семисот тысяч. Однако эти обнадеживающие, но единичные примеры тонут под напором все возрастающей антропогенной и индустриальной агрессии. Слишком много развелось нынче людей, а еще больше АО и ТОО, одержимых своими победами над живой природой. Ученые предупреждают, что процесс исчезновения целых видов животных идет значительно быстрее, чем еще де-

сят лет назад: «уж нет нигде сотенных осенних скоплений глухарей, нет былого обилия водоплавающей дичи, сократилась численность косуль, почти истреблен таймень и т. д.». А ведь были времена, и не столь давние, когда по южным рубежам края бродили тысячные стада диких баранов — архаров. Их видел и описал знаменитый ссыльный, протопоп Аввакум, упомянувший также и других редких животных и птиц: диких коз, изюбров, сайгаков, пеликанов.

Разговоры о том, чтобы решительно оградить животный мир Сибири от уничтожения и вымирания, ведутся уже давно. Но, как остроумно заметил один эколог, «количество обсуждений растет обратно пропорционально численности птиц и зверей». Основываясь на своих многолетних научных исследованиях, авторы книги настоятельно подчеркивают, что для Сибири, в особенности для промышленных зон Красноярского края, необходимы опережающая ход индустрии охранная система и ресурсосберегающая политика, что местная администрация и руководители ведомств должны изменить взгляд на природу как на бездонный колодец, откуда можно черпать бесконечно и бесконтрольно. Ибо если мы не сделаем невозможное, нас ждет немислимое.

Красноярская «Красная книга», подготовленная под руководством Е. Е. Сыроечковского и Э. В. Рогачевой, является хорошим примером для создания других региональных книг о «братьях наших меньших».

А. АЛЕКСАНДРОВА.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПОСЛЕ МОЛОГИ

Не могу справиться с чувствами, наполнившими душу после чтения «Записок пойменного жителя» Павла Зайцева¹. Проходят месяцы, а перед глазами стоят описанные им картины мOLOGской жизни. И накладываются на с детства запомненные рассказы мамы.

В войну отца не призвали — часть водников имела броню: надо было осваивать Рыбинское море. В 1943 году с началом навигации открылось водное сообщение Череповец — Пошехонье — Рыбинск. В Пошехонье отца и перевели.

Следующая зима едва не стала для нас погibelью. Отца отозвали в порт, мама была в годах, да к тому же с пороком сердца, мы — слишком малы, чтоб работать. Уж сколько раз вспоминали мы той зимою нашу прежнюю живность: коз Майку и Лизку, поросенка Жильду, спущенных за бесценок при выселении нас с Мологи.

Продовольственные талоны на нас, иждивенцев, давали по месту работы отца, пошехонские магазины и лавки их не отоваривали. У отца же не было возможности привезти нам даже эти крохотные пайки: автобусной связи не было, за пять минут опоздания (никто не разбирался в его причинах) — суд и срок. Продавали последнее: это были тканые и вязанные мамой и сестрой мOLOGские салфетки, скатерти, подзоры, прошвы, полотенца, посуда еще из маминого приданого.

Темными голодными вечерами возле печурки мама рассказывала нам свою жизнь в Мологе. Рассказы были короткие, всегда поучительные, похожие на притчи. И будто воочию видели мы мOLOGжан, их ладные дома, справные усадьбы, сытую скотину, ухоженную землю, на которой от постоянных трудовых поклонов столько выросло, что убрать было едва под силу. А какая лексика в обращении со скотиной: вымечко, титечки, рыльце, теленочек.

От размягченного маминого голоса тянуло нас в сон, и — снились конфеты, которыми граф и графиня Мусины-Пушкины угощали, насыпая в ладошки, когда-то маминых сверстников.

В ту зиму мы выжили еще и благодаря сестре нашей Марии: она пошла пешком в Рыбинск к отцу за продуктами, вернулась, везя на саночках спасительный хлеб. Мама всегда повторяла нам с братом, чтобы мы были благодарны Марии за спасение, не дай Бог, говорила она, обойти вам ее вниманием или как-то обидеть. Жаль, рано ушла сестрица Мария Павловна из жизни — в 48 лет.

Семьдесят километров было до Рыбинска, валенок не было, ходила Мария в материнских цыганских башмаках с высокими каблуками — зимой-то, по снегу. Когда вернулась, помню, не ступни у нее были — сплошная мозоль...

Тетка моя, Катерина, тоже не забывала Мологу. На войне потеряла сына и мужа. Доброты была необычайной, всего один красноречивый пример: на выпускном вечере в институте было у меня платье из крепдешина, ее подарок, а сама никогда выше штапеля так и не поднялась. Умерла в прошлом году, а незадолго до того связала мне из тонких ниток подзор, красивый такой, нежный. Словно неловкость какую испытывала, вручая его, ведь сейчас такие не вешают, но: «Возьми на память, у нас такие вязали». «У нас» — значит, в Мологе.

Про отца моего не раз слышала я такой рассказ.

Вскоре после войны местную пассажирскую линию Рыбинск — Пошехонье обслуживал немецкий трофейный пароход, переименованный по-нашему в... «Пятилетку». Отец как-то возвращался на нем в Рыбинский порт. Водники люди общительные, хлынули рассказы, воспоминания; за бортом катились волны рукотворного моря.

Вдруг отец встал, кивком головы указал на гармошку сидящему на кнехте матросу и в каком-то неистовом порыве пошел по кругу.

¹ «Новый мир», 1994, № 11; полный текст: «Наш современник», 1995, № 11 — 12.

У отца был красивый голос, он знал и любил русскую песню, пел не только в застолье, но и в будние дни за работой. По осени в выходные он садился за маленький столик подшивать (ремонтировать) нам, детишкам, валенки и тогда давал волю песне. Соседи даже слушать приходили. И хорошо плясал русского.

Тогда на «Пятилетке» его словно прорвало. Здесь — на воде, над затопленного Мологою — будто сошлись два куска жизни: до и после затопления. Сошлись — и вылились в безудержный танец. Кольцом обступили пляшущего пассажиры, даже капитан вышел из рубки, отец все плясал и плясал. И, думаю, видел за кормой не белесые валики волн, а широкие богатые мологские улицы...

Сама, повторяю, я той пляски отца не видала. Но свидетели и через годы вспоминали ее. А я мысленно называю ее реквиемом: отходной по землякам и по родине.

...Пирамида — так называются большие бакены на Рыбинском море, указывающие судам опасные мели. Под восьмой пирамидой, на дне, — село Вольское, где я родилась. Здесь и после затопления еще несколько лет над водой высилась наша сельская колокольня, пока не рухнула. Здесь занимались ремонтом деревянных судов; красивая пристань называлась строгим и непонятным словом «брандвахта». Был в Вольском магазин с тяжелыми остекленными дверями и тоже со странным названием «Кооперация», были вместительная школа, амбулатория; демонстрировавшиеся фильмы в афишах наименовались «кинокартина». И в церкви — отличный хор, его голоса и посегодня со мною.

Нашу лодку отец сделал своими руками, мы рано научились сидеть за веслами, переехать на другой берег Шексны не составляло труда. Старшие дети всегда брали меня с собой, и эти незабываемые картины лугового приволья греют и теперь душу: дикий лук, шавель с сочными «столбунцами», розоватые «опестыши»... А ежевика! Темная, крупная, сладкая — сколько ее было...

Последнее перед выселением лето; родители вдруг стали немногословными, раздражительными, молча выкапывали картошку. Сновали какие-то пришельцы с портфелями. И уже по утрам и вечерам не проводили селом на лесоповал подконвойных заключенных, которых почему-то называли у нас услонцами².

Увели док, брандвахту, не открылась первого сентября школа, уехал магазин. Мы дотянули до последнего и оказались в завершающей партии отъезжающих. Так что нас никто уж не провожал, тогда как мы провожали многих...

И когда — теперь из-за непомерных цен все реже — несет меня «Метеор» Рыбинским морем, ищу восьмую пирамиду:

Приоткрой ты мне, море, калитку
в затонувший родительский дом!

З. П. ГОРЮНОВА.

Село Кладово,
Пошехонский район, Ярославская область.

² УСЛОН — Управление Соловецких лагерей особого назначения; после расформирования Соловецкого концлагеря часть заключенных была перебросена в Верхневолжские лагеря на рывте котлована для будущего водохранилища. (Примеч. ред.)

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

М. УЛАНОВСКАЯ. Свобода и догма. Жизнь и творчество Артура Кёстлера. Иерусалим. 1996. 175 стр. (Евреи в мировой культуре).

Первая на русском языке биография Артура Кёстлера (1905 — 1983) вышла с обидным опозданием. Интерес к автору «Слепящей тьмы», вспыхнувший у нас в стране в конце 80-х в связи с публикацией его знаменитого романа (который даже полвека спустя после написания стал литературно-общественным событием), нынче явно сошел на нет. В представлении российских читателей, которые судят о писателе по единственному переведенному у нас роману, Кёстлер ассоциируется с разоблачением сталинизма и московских процессов, с демифологизацией нашего тоталитарного прошлого — и там, в этом прошлом (от которого мы поспешили откреститься, устав разбираться), остался. Это верно лишь отчасти. Книги Кёстлера, неотделимые от минувшей эпохи, — действительно не из тех, которые хочется перечитывать. Возможно, для большинства из них время и впрямь прошло. Парадокс, однако, в том, что личность Кёстлера значительнее отдельных его вещей. Теперь, на расстоянии, видно, что самым ярким его творением была собственная жизнь, и эта невыдуманная история, в которой отразился век, заслуживает нашего внимания и прочтения. Но описать ее чрезвычайно трудно.

Не только потому, что Кёстлер — «последний homo universale нашего века» (по слову Улановской) — отличался редкой широтой и разнообразием интересов и его работы, посвященные психологии, биологии, философии, истории науки и истории как таковой, требуют от биографа соответствующих знаний. Проблема состоит еще и в непривычном смещении жанров (если позволено так сказать о жизни). Биография Кёстлера дает материал для авантюрного романа — и для драмы утраченных иллюзий, для хроники политической борьбы времен тоталитаризма и революций — и для философского эссе о духовных странствиях человека, томимого жадной Абсолюта и не способного ни поверить в Бога, ни принять жизнь и мир без высшего смысла. Кёстлер так и просится в герои «романизированной биографии» в духе цвейговской «Совести против насилия». Но, конечно, для подобного художественного исследования нужен талант Цвейга, его психологическая пронизательность и дар сопереживания. Не говоря уж о пере. Так что оставим пустые мечтания и обратимся к книге нашего автора.

Улановская не пытается нарочито «оживить» образ или подогнать его к некоей заранее заданной концепции и навязать читателю свою точку зрения. Объективность, научная основательность и корректность — вот очевидные достоинства «Свободы и догмы», обеспечивающие ей знак качества. И потребовавшие, добавим, огромной предварительной работы. В самом деле, Улановская внимательно прочла не только все книги Кёстлера (а их около тридцати) и статьи, разбросанные по старым газетам, но большую часть того, что о нем написано; выделила, отобразила самое существенное и сумела уложить всю необходимую информацию на каких-нибудь ста семидесяти страницах. Прежде всего именно информацию — о событиях жизни и содержании произведений Кёстлера. Такова первая задача, которую ставит себе — вынужден ставить себе — автор, открывая русскоязычному читателю Кёстлера и «кёстлериану». (Отсутствие переводов несомненно во многом обусловило принцип подачи материала.) Улановская предьявляет нам факты и тексты, дабы мы могли составить себе собственное представление об этом выдающемся писателе, публицисте, общественном деятеле, который «разделял с самыми яркими представителями своего поколения их заблуждения и славу... менял убеждения, привязанности, страны и оставался самим собой... оспаривал признанные ав-

торитеты и законы природы и умер по своей воле на избранной им самой родине» (то есть в Англии).

Здесь не место пересказывать, вслед за Улановской, прихотливый сюжет кёстлеровской судьбы. Нужно лишь обозначить ее основные моменты и противоречивые черты личности, эту судьбу предопределившие. Человек действия и мечтатель с трезвым аналитическим умом, индивидуалист, жаждущий общественного служения и почти болезненно со-страдающий обездоленным, Кёстлер с молодости жил в состоянии «хронического негодования», яростно бунтовал против несправедливости и гонялся за утопиями земного рая, а посему оказывался в самых горячих точках; был сионистом, коммунистом и — до конца своих дней — антифашистом; агентом Коминтерна, узником франкистской тюрьмы и французского концлагеря, наконец, антикоммунистом и «рыцарем холодной войны» — и все это время неустанно «бил в барабан», то есть писал романы, статьи, репортажи, памфлеты, очерки, документальные книги, обращения к общественности, пытаясь своим словом повлиять на ход исторических событий (как ни удивительно, в некоторых случаях это ему удавалось). А после пятидесяти, разочаровавшись в политике, Кёстлер с тем же жаром, с каким воевал за очередное «правое дело», отдался поискам ответа на вечные вопросы о смысле жизни и истории, бунтовал против ограниченности науки и несовершенства человеческой природы (каковую надеялся исправить с помощью некоего чудесного энзима) и упорно мечтал о вере, которая «предоставит моральное руководство, научит потерянной способности созерцать и восстановит контакт со сверхъестественным, не требуя отречения от разума».

Об этом напряженном, полном крутых поворотов и острых конфликтов, побед и поражений пути автор повествует в спокойной, беспристрастной манере, в какой мы, бывало, писали рефераты в Институте научной информации, где работала до эмиграции Улановская, и этот холодноватый тон составляет странный контраст с высоким накалом кёстлеровской ангажированности. Впрочем, факты и тексты (Кёстлера) действительно говорят сами за себя. Хотя, конечно, в их отборе сказалась организующая воля исследовательницы. И все-таки мне порой недостает большей определенности авторского взгляда. Тем более, что повествование явно выигрывает, обретает энергию, когда Улановская нарушает нейтралитет. А происходит это в случаях особой личной заинтересованности (которая, право же, не мешает «научности» информации). Например, когда дело касается весьма двойственного, амбивалентного отношения Кёстлера к Израилю, еврейской проблеме и собственному еврейству, автор позволяет себе сдержанно-иронический комментарий, в котором я узнаю живой голос Улановской. Так же, как и в интересном критическом анализе «Спящей тьмы». Но это скорее исключение.

Большой же частью Улановская скромно держится в тени, а если высказываетсь по ходу дела, то обычно слишком кратко и иной раз недостаточно внятно. Вот я читаю, к примеру: «...бывшим коммунистам грозит опасность стать крайними правыми или удариться в религию», — и останавливаюсь в недоумении, напрасно силясь понять, почему именно коммунисту «опасна» религия. Ежели судить по нашим начальникам-градонамначальникам и прочим правителям, которые, в отличие от Кёстлера, все, как один, ударились в религию, то это совершенно безопасный номер. Но — шутки в сторону. Ведь речь идет о весьма серьезной и притом злободневной нравственной проблеме, которую мало кто из наших современников, вдруг сделавшихся светочами демократии, сумел решить пристойно. Бывший коммунист Кёстлер мог бы служить примером того, как достойно расставаться с недостойным прошлым.

Я хочу подчеркнуть это еще и потому, что Улановская рассматривает преимущественно одну сторону дела. То есть освещает «роковые» ошибки, компромиссы, умолчания, сделки с совестью, на которые Кёстлер шел во имя коммунистического идеала, широко цитируя при этом его автобиографические книги и удивляясь иным признаниям (которые «трудно переварить современному читателю»), но как бы не замечает, что свидетелем обвинения выступает сам автор, сознательно подставивший себя под удар — нам в назидание и предостережение. Воспоминания

Кёстлера («Стрела в небе», «Невидимые письма» и др.) несомненно заслуживают отдельного разговора. Это не просто правдивое жизнеописание-исследование пережитого, а редкая по искренности и беспощадности к себе исповедь. Акт покаяния, продиктованный обостренным чувством вины и неутихшей болью. Какой урок всем нам (и не только бывшим коммунистам)! ...Жаль, что Улановская упустила эту возможность показать, сколь актуален Кёстлер.

В заключение я хотела бы, по заведенному обычаю, написать, что наши читатели наконец смогут познакомиться с жизненным и творческим путем Артура Кёстлера, но... Первая русская биография Кёстлера вышла в Иерусалиме. Возможно, ее прочтут те израильские граждане, которые в прежней своей жизни считали себя русскими интеллигентами. Что касается российских читателей, то я не уверена, что «Свобода и догма» попадет к ним в руки. Впрочем, судьбы книг, как и людей, непредсказуемы.

Майя ЗЛОБИНА.



ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

RUSSISCHE FILOSOFIE NA DE PERESTROJKA. Red. Evert von der Zweerde. Amsterdam. Krisis/Parresia. 1995. 152 S.

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕСТРОЙКИ.

В Голландии вышла книга, название которой достаточно точно отражает ее содержание, поскольку она составлена из работ российских философов, написанных в конце 80-х — начале 90-х годов.

Известный специалист в области современной российской философии, сотрудник католического университета в Наймегене, составитель и редактор сборника доктор Эверт ван дер Звееerde и его сотрудники внимательно следят за основными философскими изданиями современной России. Отобрано было, как видно из предисловия редактора и его предуведомлений к каждой из статей, то, что в сумме представляется ему достаточно целостной картиной современной русской философии, а также тех областей, которые с ней сопрягаются, — социологии, политологии, культурологии. Так, в сборник вошли принадлежащий А. Миграняну и Ф. Фукуяме «Диалог о конце истории», статьи В. Нерсесянца «Продолжение истории: от социализма к цивилизации» и Ф. Михайлова «Умер ли Маркс в России?». Культурология представлена статьей И. Роднянской «Русский западник в канун второго возрождения Европы» (о разрыве между нынешним российским западничеством и реальным Западом). Завершают сборник работы М. Мамардашвили «Как я понимаю философию», В. Подороги «Феномен власти», где объектом анализа выступает советский тоталитаризм, и Л. Карасева «Русская идея: символика и смысл», в которой делается попытка рассмотреть русскую ментальность через метафору детства.

Итак, книга «Русская философия после перестройки» отразила философскую ситуацию в России 90-х годов. Насколько объективно это отражение? Трудно сказать; во всяком случае, из Голландии новейшая русская философия видится именно такой.

К. Л.



**СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШЕГО ЛЮБИМОГО АВТОРА
ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА МАКАНИНА
С 60-ЛЕТИЕМ!
ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕСКИХ СВЕРШЕНИЙ,
ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
С НАШИМ ЖУРНАЛОМ.**

НОВОМИРЦЫ.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



А. Белинков. Черновик чувств. Роман. М. «Александр Севастьянов». 1996. 244 стр. 1000 экз.

Юношеский роман Белинкова, писавшийся в качестве дипломной работы в Литературном институте, за который в 1944 году автор был исключен из комсомола и арестован органами НКВД. Освободился в 1956 году. Текст романа был возвращен вдове в 1995 году.

Борис Галанов. Записки на краю стола. М. «Возвращение». 1996. 352 стр. 1000 экз.

Мемуары писателя. Из авторского предисловия: «Не стану определять жанр книги. Рассказы, очерки, дневниковые записи чередуются с портретными зарисовками людей известных — Маршака, Катаева, Олеси, Фадеева, Татлина, Андроникова, Чаплина, Марка Шагала — и совсем не знаменитых, промелькнувших в круговерти войны...»

Зинаида Гиппиус. Тихое пламя. Стихотворения 1889 — 1938 годов. Из автобиографической прозы. Из дневников. Редактор-составитель И. А. Курамжина. М. «Центр-100». 1996. 286 стр. 55 000 экз.

Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений. Канонические тексты. Т. 2. Составитель В. Н. Захаров. Петрозаводск. Издательство Петрозаводского университета. 1996. 752 стр. 5000 экз.

Жемчужное ожерелье. Антология арабской средневековой поэзии и прозы. Составление, вступительная статья, комментарии И. М. Фильштинского. М. Издательская фирма «Восточная литература» РАН. 1996. 420 стр. 3000 экз.

Руслан Киреев. Музы любви. В 2-х томах. М. «СЛОВО/SLOVO». 1995. 5000 экз. Том 1. Русский Парнас. 367 стр. Том 2. На окрестных холмах. 351 стр.

Около шестидесяти документальных новелл о женщинах, сыгравших большую роль в жизни и творчестве русских писателей (том 1): Жуковского, Пушкина, Гончарова, Лермонтова, Фета, Блока, Пастернака и других; и зарубежных (том 2), среди которых Руссо, Гюго, Байрон, Бодлер, Ницше, Кафка, Фицджеральд, Хемингуэй.

Михаил Кузмин. Стихотворения. Вступительная статья, составление, подготовка текста, примечания Н. А. Богомолова. СПб. Гуманитарное агентство «Академический проект». 1996. 832 стр. 3000 экз. В серии «Новая библиотека поэта».

А. Моруа. Жорж Санд, или История жизни Авроры Дюдеван. Перевод с французского Е. Булгаковой. М. «Культура и традиции». 1996. 528 стр. 3000 экз.

Борис Поплавский. Неизданное. Дневники. Статьи. Стихи. Письма. Составление и комментарии А. Богословского и Е. Менегальдо. М. Христианское издательство. 1996. 512 стр.

В книгу вошли никогда не публиковавшиеся в полном виде дневники поэта, а также стихи и проза, появлявшиеся в периодике 20 — 30-х годов. В издание включены работы А. Богословского «„Частное письмо“ Бориса Поплавского», «О литературном наследии Бориса Поплавского и о судьбе его архива» и биографический очерк Е. Менегальдо «Линия жизни». В Приложении помещены материалы хроники литературной жизни русской эмиграции и газетные отклики на смерть Поплавского (в их числе статья В. Ходасевича «Книги и люди. Два поэта»). Книга завершена обширными комментариями и библиографией.

Козьма Прутков. Никто не обнимет необъятного. Самое избранное. М. «Интербук». 1996. 240 стр. 10 000 экз.

Российская маринистика. В 6-ти томах. Том 3. В. Катаев. Флаг. Ю. Виноградов. Иду на Берлин. В. Рудный. Остров спасения. Е. Войкунский. На скалах Гангута. Н. Михайловский. Гибель «Виронии». Н. Чуковский. Остров Сухо. И. Чернышев. Два против тринадцати. А. Зорин. Страницы походного дневника. А. Крон. Капитан дальнего плавания. М. «Современник». 1996. 512 стр. 5000 экз.

Валентин Алексеев. Венгрия-56. Прорыв цепи. Общая редакция и предисловие В. Л. Шейниса. М. «Независимая газета». 1996. 278 стр.

Работа ленинградского историка, посвященная восстанию венгерского народа против венгерского варианта сталинизма, закончившемуся вторжением советских войск; выходит после смерти автора. Писалась в 50 — 80-е годы.

Архив А. М. Горького. Том XV. М. Горький и Р. Роллан. Переписка (1916 — 1936). Под редакцией А. Д. Михайлова и других. М. «Наследие». 1995. 544 стр.

Г. Л. Выготская, Т. М. Лифанова. Лев Семенович Выготский. Жизнь. Деятельность. Штрихи к портрету. М. «AcademiA», «Смысл». 1996. 420 стр. 2000 экз.

Достоевский в конце XX века. Сборник статей. Составитель К. Степанян. М. «Классика плюс». 1996. 621 стр. 3000 экз.

Сборник составлен из статей семи первых номеров альманаха «Достоевский и мировая культура» (см. рецензию в «Новом мире», 1996, № 12). Открывается беседой, проведенной К. Степаняном с академиком РАН Г. М. Фридендером. Среди авторов — Георгий Гачев, Татьяна Касаткина, Галина Коган, Игорь Волгин, Лариса Левкина, Григорий Померанц (Москва); Борис Тихомиров, Наталья Ашимбаева, Белла Улановская (Санкт-Петербург); Владимир Захаров (Петрозаводск), Евгений Трофимов (Иваново), Тэцуо Мотидзуки (Япония), Ричард А. Пис (Англия) и другие авторы из России, США, Дании, Франции.

Р. Лаут. Философия Достоевского в систематическом изложении. Перевод с немецкого И. С. Андреевой. Под редакцией А. В. Гулыги. М. «Республика». 1996. 448 стр. 5000 экз.

Юрий Манн. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М. «Coda». 1996. 474 стр. 4000 экз.

Александр Родченко. Опыты для будущего. Дневники. Статьи. Письма. Записки. М. Издательство «Грантъ». 416 стр. 1300 экз.

В книгу также вошла автобиографическая проза Родченко, стихи, эстетические манифесты, в числе которых автомонография о творчестве 1917 — 1921 годов с репродукциями и работа 1936 года «Перестройка художника», посвященная его переходу в фотографию, фотоработы. Составление В. А. Родченко, А. Н. Лаврентьева. Тексты сопровождаются комментариями и библиографией.

Н. Д. Толстой. Жертвы Ялты. Перевод с английского Е. С. Гессен. М. «Русский путь». 1996. 544 стр. 5000 экз.

О насильственной депортации русских после Второй мировой войны, осуществленной по негласной договоренности между западными союзниками СССР и Сталиным в Ялте. Первое издание работы было осуществлено в 1978 году. На русском языке книга вышла в 1988 году. Настоящее издание содержит заново отредактированный перевод. Вышло в серии «Новейшие исследования русской истории» под общей редакцией А. И. Солженицына.

Зуфар Фаткудинов. Афоризмы и максимы, или Откровения XX века. Казань. Татарское книжное издательство. 1996. 358 стр. 5000 экз.

Игорь Штокман. Жизнь на миру. Время и проза: шестидесятые — девяностые. М. «Ключ». 1996. 287 стр. 1000 экз.

В книгу вошли статьи о прозе К. Воробьева, В. Быкова, Ю. Бондарева, В. Тендрякова, Ю. Казакова, Е. Носова, А. Кима, В. Астафьева, М. Кураева, Г. Владимова и других.

Энциклопедия Третьего рейха. Составитель С. Воропаев. М. «Локид» — МИФ. 1996. 588 стр. 26 000 экз.

Более тысячи статей о теории и истории нацистской партии в Германии, о ее вождях и руководителях; об идеологии и мифологии Третьего рейха, о его законодательстве, быте, культуре, образовании; об армии, о ходе Второй мировой войны и поражении; о множестве других аспектов этого зловещего феномена в истории нашего века. Авторы статей активно использовали материалы современных англоязычных историков.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Вестник РХД», «Волга», «Грани», «День и ночь», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Континент», «Литературная газета», «Литературное обозрение», «Мансарда», «Наш современник», «Нева», «Невский альбом», «Независимая газета», «Новая Европа», «Ной», «Постскриптум»

Александр Архангельский. Блуждающий огонь. Рассуждение об Александре Первом. — «Дружба народов», 1996, № 11, 12.

Свободное размышление о личности и эпохе Александра I (не являющееся при этом исторической фантазией или фантастикой). Журнальный вариант. Фрагмент книги печатался в «Новом мире» (1995, № 11).

Белла Ахмадулина. Среди долины ровныя... — «Литературная газета», 1996, № 51, 18 декабря.

К 25-летию со дня смерти А. Т. Твардовского.

Игорь Бабанов. Апология Дон Жуана. — «Звезда», 1996, № 10.

Статья филолога Игоря Евгеньевича Бабанова (1936 — 1994) является частью его обширного издательского замысла конца 80-х годов, связанного с интерпретацией разными авторами канонических сюжетов мировой литературы. Публикация сопровождается предисловием-мемуаром Андрея Арьева.

Андрей Битов. Истрадавшаяся душа. — «Континент», № 87.

Эссе к годовщине смерти Владимира Максимова было опубликовано под другим названием в «Новом мире» (1996, № 9). Тут же печатается короткий мемуар Владимира Буковского о том, как они с Максимовым в шторм пересекли на пароме Ла-Манш, а также стихотворение Владимира Максимова 1967 года «Ярославу Смелякову».

Вардван Варжапетян. Святой доктор. Рассказ. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. 1996, № 9.

Доктор Гааз.

Рената Гальцева, Ирина Роднянская. Summa ideologiae. Главы из книги. — «Грани», № 181.

Два фрагмента из работы 1984 года, предназначавшейся в те времена «для служебного пользования». Авторов интересовала главная, по их мнению, и универсальная в XX веке загадка — наступление и (неокончательное) торжество тотальных идеологий, которых прежде не знал мир.

И. Грекова. О Фриде Вигдоровой. Предисловие А. Когана. — «Литературное обозрение», 1996, № 3.

Статья из не вышедшего (по экономическим причинам) коллективного сборника «Московские страницы», включенного в план выпуска «Советского писателя» в 1992 году.

Дон Аминадо. Суд над русской эмиграцией. Юмористический сценарий в трех действиях, но без политики. Вступительная статья, публикация и комментарии Рашида Янгирова. — «Литературное обозрение», 1996, № 3.

Сатирический текст А. П. Шполянского (1888 — 1957), известного под псевдонимом Дон Аминадо, печатается по парижскому еженедельнику «Иллюстрированная Россия» (1930, № 45, 46).

Ион Друцэ. Падение Рима. Драма в 2-х частях. — «Континент», № 87.

Историческая пьеса известного писателя, одновременно работающего над обширным повествованием об апостоле Павле (фрагменты которого тоже печатались в «Континенте»).

Мария Желновакова (Фудель). Воспоминания о матери. — «Наш современник», 1996, № 11.

Семейные воспоминания. Мария Сергеевна Желновакова — внучка протоиерея Иосифа Ивановича Фуделя (1864 — 1918), дочь Сергея Иосифовича Фуделя (1900 — 1977), автора религиозно-философских работ, неоднократно подвергавшегося репрессиям. «Воспоминания» С. Фуделя печатались в «Новом мире» (1991, № 3, 4).

Алена Злобина. Оранжерея нарциссов. Субъективные заметки. — «Знамя», 1996, № 10.

Театральная... (чуть было не сказал: жизнь), конечно, агония.

К 110-летию Георгия Федотова. Документы и письма по поводу разногласия, возникшего между профессором Г. П. Федотовым и Правлением Православного богословского института в Париже. Публикация, подготовка текста, вступительная заметка и комментарии Даниэль Бон. — «Звезда», 1996, № 10.

Письма и другие документы из архива Г. П. Федотова в Колумбийском университете (Нью-Йорк) относятся к 1939 году и проясняют обстоятельства скандала, связанного с публикацией «левых» статей Федотова в газете А. Ф. Керенского «Новая Россия».

Сергей Каледин. Тахана мерказит. Повесть. — «Континент», № 87.

Русский плотник на земле Израиля. Новая повесть московского прозаика, чьи повести «Смирненное кладбище», «Стройбат», «Поп и работник» некогда печатались в «Новом мире».

Сергей Кондратьев. <Стихи>. — «Литературное обозрение», 1996, № 3.

Публикация стихотворений Сергея Александровича Кондратьева (1896 — 1970), метеоролога, геодезиста, натуралиста, этнографа и, возможно, тамплиера, сопровождается статьей Андрея Никитина.

Юрий Кувалдин. Вавилонская башня. Повесть. — «Грани», № 181.

Врач-книголюб, одержимый навязчивыми идеями, торгует наркотическими препаратами. Внучка-наркоманка. Товар и деньги передаются на Переделкинском кладбище у могилы Пастернака («— Спасибо, Борис Леонидович! — сказал, поднимаясь, Гофик»). Квартирные махинации. Погружение в безумие. Язык повести прост (это похвала), сюжет недодуман. Ср. с «Записками сумасшедшего»: у Гоголя, несмотря на отсутствие «объективного» авторского текста, мы все время понимаем, что происходит «на самом деле», можем мысленно реконструировать реальность, скрывающуюся за словами бедного безумца. У Кувалдина не то: сама реальность обезумела.

Александр Кушнер. Новые стихи. — «Невский альбом». Журнал петербургской поэзии. Санкт-Петербург. 1996, № 1.

Первый номер нового журнала (главный редактор Б. В. Аверин) открывается пятнадцатью стихотворениями А. Кушнера, написанными в августе 1995 года (некоторые из них были напечатаны в «Новом мире»). Стихам предшествует краткая автобиография поэта. Тут же печатается статья Алексея Машевского «Бродский и Кушнер», а также воспоминания Валерия Скобло «Человек из толпы» — о литературном объединении Александра Кушнера 70-х годов.

Дмитрий Лихачев. Счастье и несчастья в моей жизни. — «Мансарда». Журнал Санкт-Петербургского русского ПЕН-клуба. 1996, выпуск 1.

Вместо автобиографии. «Блок всегда был для меня воплощением самого несчастного человека. Стихи его мне не запомнились».

Лидия Лотман. Пачка писем в обстановке «Взрыва». Ю. М. Лотман в годы войны. — «Нева», 1996, № 10.

Письма молодого Лотмана, тогда студента-филолога, призванного в армию накануне войны, а также некоторые его письма 50 — 70-х годов.

Георгий Мейер. Свет в ночи. Предисловие Сергея Федякина. — «Независимая газета», 1996, № 211, 11 ноября.

К 175-летию Достоевского публикуются фрагменты из незаконченной книги литератора-эмигранта Георгия Мейера (1894 — 1966) — главы «Топор Раскольникова» и «Дух глухой и немой». По мнению Сергея Федякина, после книги «Свет в ночи» становится ясно, почему русского классика можно с полным правом называть христианским писателем. Текст перепечатывается по изданию: «Посев», 1967.

В. Набоков в отзывах современников. Слухи, сплетни, ругань и другие материалы к биографии литературной эпохи. Предисловие и подготовка текста О. Коростелева. — «Литературное обозрение», 1996, № 3.

Из отзыва преподавателя Тенишевского училища Евстифеева об одиннадцатилетнем Набокове: «Для меня загадка. Слог — стиль — есть. Сути нет».

Жорж Нива. От Жюльена Сореля — к Цинциннату. (Стендаль — Набоков). Перевод Наталии Трауберг. — «Континент», № 87.

Статья французского слависта. «На всем пути от Жюльена к Цинциннату русская литература старалась приспособить к себе, принять и понять Стендаля, но почти ничего не выходило».

Юрий Олеша. «Мы должны оставить множество свидетельств...». Дневники. Вступительная статья и публикация Виолетты Гудковой. — «Знамя», 1996, № 10.

Дневниковые записи 1930 — 1959 годов из РГАЛИ. О Мейерхольде: «Он часто в эпоху своей славы и признания именно со стороны государства наклонялся ко мне и ни с того ни с сего говорил мне шепотом:

— Меня расстреляют».

Оформление публикации, мягко говоря, странное (видимо, сломался редакционный компьютер).

В. Отрошенко. Последняя метаморфоза Овидия. — «Постскриптум». Литературный журнал. Под редакцией Владимира Аллоя, Татьяны Вольтской и Самуила Лурье. Санкт-Петербург — Москва. 1996, № 3.

О том, что Овидия никто никогда никуда не ссылал (единственным источником, содержащим сведения о его ссылке, являются поэтические произведения самого Овидия «Скорбные элегии» и «Письма с Понта»).

Памяти Иосифа Бродского. — «Литературное обозрение», 1996, № 3.

В подборку входят не опубликованные ранее переводы Бродского из Антонио Мачадо и других авторов, сопровождаемые послесловием Виктора Куллэ. Также печатаются интервью Дерек Уолкотта, Чеслава Милоша и Томаса Венцловы, статьи Ольги Седлаковой, Владимира Уфлянда и других. Особую ценность представляют составленная Валентиной Полухиной библиография «Русские поэты о Бродском» и составленный Виктором Куллэ библиографический обзор «Иосиф Бродский».

Ирина Пантелей. «Мертвый Христос» у Ф. М. Достоевского и Ф. Сологуба. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. 1996, № 9.

Изображение Христа в литературе и живописи (картина немецкого художника XVI века Ганса Гольбейна Младшего «Христос в гробу»). Статья Ирины Пантелей сопровождается статьей-ответом художника-иконописца Александра Столярова «Был ли у Достоевского свой особый «символ веры»?». К их диалогу редакция «Новой Европы» подключает мнение третьего «участника» — фрагмент статьи о Сергия Булгакова «О Воскресении Христовом» (1931).

Борис Парамонов. Евтушенко в Квинсе. — «Звезда», 1996, № 10.

Евтушенко как всемирный путешественник, шоумен, владеющий всеми «цирковыми» жанрами. «Ближайшая параллель к Евтушенко — не Бродский, конечно, и даже не Маяковский (хотя можно вести его и от последнего), но Алла Пугачева».

Письма Т. И. Манухиной к Вере Николаевне Буниной. Публикация, предисловие и примечания Т. Пахмусс. — «Вестник Русского Христианского Движения». Париж — Нью-Йорк — Москва, № 173.

Журналистка и писательница Татьяна Ивановна Манухина (урожденная Крундышева; 1885 — 1962), жена известного еще до революции врача И. И. Манухина, принимала живое участие в различных эмигрантских благотворительных и церковных организациях. В ее письмах 30-х годов к Вере Буниной фигурируют многие известные деятели русской эмиграции (Зинаида Гиппиус, мать Мария и другие).

Г. Померанц. Неужто ирония — Бог нашего времени? В защиту простоты и серьезности. — «Литературная газета», 1996, № 51, 18 декабря.

Полемика с литгазетовской же (№ 21) статьей Бориса Хазанова «С точки зрения ворон» — о поэзии Иосифа Бродского. «Ирония — усталая улыбка умирающей цивилизации. С ней легко уснуть. Чтобы проснуться, нужно другое» (Г. Померанц). Интересно отметить, что в тот же день в другой московской газете, «Куранты» (№ 212, 18 декабря), напечатано содержательное (что неочевидно) интервью Г. Померанца «Истина в вине. Собственной».

Валерий Попов. Лучший из худших. Повесть. — «Знамя», 1996, № 10.

Новое остросюжетное произведение известного питерского прозаика. Отклик Ольги Кузнецовой на предыдущую его книгу «Разбойница» см. в «Новом мире» (1996, № 11).

Постмодернизм в современном мире. — «Континент», № 89.

Под этим общим названием в рубрике «Гнозис» печатаются статьи Юрия Н. Давыдова «Современность под знаком „пост-“» и Ренаты Гальцевой «Второе крушение гуманизма», а также менее подробные ответы на анкету о постмодернизме Бориса Гройса (Кёльн) и Льва Аннинского. Тут же в рубрике «Литература и время» печатаются статьи Евгения Ермолина «Между кладбищем и свалкой. Постмодернизм как паразитическая версия Постмодерна» и Станислава Рассадина «Номенклатура-2. Полемика», посвященные тем же проблемам.

Михаил Пришвин. «Какая остается Россия после бесов». Из дневниковых записей о Ф. М. Достоевском. Вступительная заметка, примечания и публикация Л. Рязановой. — «Дружба народов», 1996, № 11.

Записи 1909 — 1952 годов. Напечатано, видимо, к 175-летию Достоевского. «Подика, убей человека для своего благополучия и попадешь в положение Раскольникова. Но стоит это же самое сделать для партии — как будет все хорошо...» (запись от 30 января 1945 года).

В. В. Розанов. Идиллия на вулкане. — «Вестник Русского Христианского Движения». Париж — Нью-Йорк — Москва, № 172.

Неизданная статья 1919 года. Как явствует из ее текста, писалась она В. В. Розановым в последний год жизни, в Сергиевом Посаде, сохранилась в архиве П. Н. Медведева. Печатается по рукописи.

Александр Романов. Время собирать камни. — «Волга», 1996, № 5-6.

Обширные и подробные воспоминания политзека первой половины 70-х годов. Автор родился в Саратове, был участником саратовской «Группы революционного коммунизма», в Саратове был арестован.

Салман Рушди. Сатанинские стихи. Глава из романа. Перевод с английского. Послесловие Вардвана Варжапетяна. — «Ной». Армяно-еврейский вестник. Москва. 1996, № 18.

Из скандально известного романа печатается глава «Ангел Джibriил». Переводчик благоразумно не указан.

Виктор Соснора. Книга юга. — «Мансарда». Журнал Санкт-Петербургского русского ПЕН-клуба. 1996, выпуск 1.

«Беда в том, что я пишу книгами. «Отдельные стихотворения» мне печатать нельзя, не звучат». Полностью печатается ранняя поэтическая книга 1963 года.

Виктор Топоров. Гибель Нагибина. — «Постскриптум». Литературный журнал. Под редакцией Владимира Аллоя, Татьяны Вольтской и Самуила Лурье. Санкт-Петербург — Москва. 1996, № 3.

Сокрушительный памфлет (?) о последних произведениях Нагибина («Дневник», «Любовь вождей», «Тьма в конце туннеля», «Моя золотая теща»).

Жорес Трошев. Таймырская трагедия. Главы из документально-исторической повести. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск. 1996, № 6 (октябрь — декабрь).

Весна 1932 года. Вооруженное восстание коренного населения Таймыра против самоуправления местных властей.

Белла Улановская. Личная нескромность павлина. — «Мансарда». Журнал Санкт-Петербургского русского ПЕН-клуба. 1996, выпуск 1.

«Ощипали бунинские мужички... барских павлинов и пустили живыми гулять. А не дразните трудовую Россию» (март 1996).

Евгений Федоров. Умерла насякомая. Смена вех: год 1953. — «Континент», № 89.

Новая лагерная повесть Евгения Федорова входит в большой повествовательный цикл «Бунт», публиковавшийся частями в «Неве» («Жареный петух»), «Новом мире» («Одиссея») и «Звезде» («Илиада Жени Васяева»). Журнал «Континент» намерен продолжить публикацию фрагментов этого цикла.

О прозе Е. Федорова см. статью Валерия Мильдона «Афины, Мекка, ОЛП...» в «Независимой газете» (1996, № 234, 15 декабря).

Михаил Чулаки. Борисоглеб. — «Мансарда». Журнал Санкт-Петербургского русского ПЕН-клуба. 1996, выпуск 1.

Натуралистическая повесть о сиамиских близнецах.



Академик Александр Панченко. «Большевики были самозванцами во всем». Беседовал Игорь Архипов. — «Посев». Общественно-политический журнал. 1996, № 5. (Фрагмент беседы был ранее опубликован в «Общей газете», 1996, № 12.)

«Да какая в России может быть Конституция?! Вы, может быть, по своей работе и читали нынешнюю Конституцию, я же ее не читал и не жалею! Конституция в России — это просто бред! У меня есть отцовские журналы «Нива», читал я речи думских ораторов, и мне все ясно — дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Никто из них ничего не понимает, но зато в Думе они все люди исключительно благородные: братья Петрункевичи, председатель Первой Думы профессор Муромцев и т. п., но проку-то от их благородства нет! И от нашей Думы нет никакой пользы...»

...И это наше несчастье, что христианство у нас всегда было очень слабым и добрым и у нас никогда не было инквизиции. Хорошо, конечно, что нас миновала инквизиция в традиционном, западном понимании. Но давайте скажем прямо: инквизиция — это не только муки невинных или вольнодумных. Инквизиция — это и вбивание христианства, и то, что христианства у нас никто не вбивал, плохо! Взять хотя бы нынешнее религиозное безобразие. Быть может, это самое страшное, что у нас творится.

Прежде я выступал против атеизма, но теперь, посмотрев на всех этих сектантов, вдруг стал сочувствовать атеистам — нормальным, конечно, а не «научным», считающим, что «бога нет и все позволено». Я православный, горжусь, что все и всегда были у нас в роду православными. Но, конечно, я не фанатик: для меня православие — это прежде всего культура! Беда же русского народа в том, что он очень религиозен, но совсем необтесан культурой. Я за таких атеистов, как Стива Облонский. Он ухлестывал за французенкой-гувернанткой, на охоте двадцать верст пробегал, был здоровенный как боров, а в церкви, видите ли, ноги затекали и службу не мог выстоять! Пусть такие будут — без Бога, но зато обтесанные культурой, которые не будут воровать, убивать, драть жену...»

No comments.

Составитель Андрей Василевский.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Март

30 лет назад — в № 3 за 1967 год напечатана повесть Валентина Катаева «Трава забвения».

55 лет назад — в № 3(4) за 1942 год напечатана историческая повесть В. Яна «Батый».

65 лет назад — в № 3 за 1932 год были напечатаны рассказ И. Бабеля «Аргмак» и начало американского романа Бор. Пильняка «О'кей», а также продолжалась публикация романов М. Шолохова «Поднятая целина» и Федора Гладкова «Энергия».

70 лет назад — в № 3 за 1927 год были напечатаны стихотворения Ник. Ушакова «Фруктовая весна предместий» и Э. Багрицкого «Контрабандисты».

**ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ВЫПИСЫВАЕТЕ «НОВЫЙ МИР»,
ПОДПИШИТЕСЬ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1997 ГОДА**

**ЕСЛИ ВЫ ВЫПИСЫВАЕТЕ «НОВЫЙ МИР»,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1997 ГОДА**

Ф. СП-1

МС РФ ГПС (Госпочтамт)

АБОНЕМЕНТ на журнал **70636**
газету (индекс издания)
«НОВЫЙ МИР»

(наименование издания)	Количество комплектов:
------------------------	------------------------

на 1997 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда: _____
(почтовый индекс) (адрес)

Кому: _____
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ПВ	место	ли-тер	на <u>журнал</u> 70636 <u>газету</u> (индекс издания)
----	-------	--------	---

«НОВЫЙ МИР» (индекс издания)
(наименование издания)

Стои-мость	подписки	_____ руб.	Количество комплектов:
	пере-адресовки	_____ руб.	

на 1997 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда: _____
(почтовый индекс) (адрес)

Кому: _____
(фамилия, инициалы)

**ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ПРОДЛИЛИ СВОЮ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1997 ГОДА,
УБЕДИТЕ ВАШИХ ДРУЗЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЬ ВАШЕМУ ПРИМЕРУ**

**ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!**



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

—

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

—

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Нову Мир»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Olga Postnikova, Aleksei Pulin, Yelena Akselrod, Vladimir Retseptser, Michail Sinelnikov and Yevgeny Karasev.

We are publishing the narrative «Mitya's Love» by Galina Shcherbakova, short stories by Boris Yekimov, Grigory Petrov and Darya Simonova, as well as the prosaic miniatures «Tiny Pieces» by Alexander Solzhenitsyn.

The section «New Translations» is presented by two short stories by Antony Burgess translated by Dmitry Chekalov.

Two articles, «Fish Days in the Novgorod Region» by Mark Kostrov and «The Crimean Notebook» by Vladimir Korobov, occupy the section «Essays of Nowadays».

The section «Publicistics» presents the articles «In Totalitarian Times About Future Russia» by Leonid Afonsky and «Dmitry Panin's Revolt» by Victor Berdinskikh.

In the section «Writer's Diary» we are publishing an article by Yury Kublanovsky on Alexander Men.

In the section «Publications and Reports» we are publishing the essay by Irina Surat on the poem «Rodrik» by Alexander Pushkin.

The section «Literary Criticism» presents the articles «Searching the Lost Reality» by Tatyana Kasatkina, as well as the notes by Nikita Yeliseyev on the short story «Fro» by Andrey Platonov.

In the section «Editor's Mail» we are publishing our reader Z. Goryunova's comments of the notes by peasant Pavel Zaitsev which have been published in our magazine.

The issue also presents our traditional sections «Reviews», «Russian Books Abroad», «Foreign Books About Russia» and «Bibliography».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора),

С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Сдано в набор 20.11.96 г. Подписано к печати 23.01.97 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 ¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 17 020 экз. Зак. 4126. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1997 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Подписанты (повесть);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 ЮРИЙ БУЙДА. Слишком, чтоб было правдой... (рассказы);
 МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
 ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Из «Дневника» (перевод с польского);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);
 ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ. Из литературного наследия;
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.
 Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. Наш старый дом (повесть);
 ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
 МИХАИЛ КУРАЕВ. Произведение (маленькая повесть);
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Роман с простатитом;
 АНАТОЛИЙ НАЙМАН. Б. Б. и др. (рассказы);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Грибники ходят с ножами (повесть);
 КРИСТОФ РАНСМАЙР. Morbus Kitahara (роман, перевод с немецкого);
 ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак в коридоре (опыт фантастических воспоминаний);
 ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. Маканин нового времени;
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;
 ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. Корова на крыше (повесть);
 АНТОН УТКИН. Свадьба за Бугом (повесть);
 ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. В санитарном поезде Черниговского Дворянства (заметки и впечатления, 1915);
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);
 ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман);

а также новые произведения СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, АНДРЕЯ ВОЛОСА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, АНАТОЛИЯ КИМА, АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, БУЛАТА ОКУДЖАВЫ, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**